



"Папийон"

**Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org**

Анри Шарьер

Папийон

(Папийон-1)

Тетрадь первая

ДОРОГА НА ДНО

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Удар был так силен, что пришел я в себя лишь через тринадцать лет. Необычайный был удар, и били они меня всей кодлой.

Происходило это двадцать шестого октября 1931 года. В восемь утра меня выдернули из камеры в Консьержери [1] — клетки, в которой я просидел почти год. Меня тщательно побрили и прилично одели — костюм сидел на мне, словно его сшили на заказ, а белая рубашка и голубой галстук-бабочка придавали моему облику почти пижонский вид.

Было мне двадцать пять, а выглядел я на двадцать. Видимо, и на жандармов мое одеяние произвело впечатление, обращались они со мной весьма вежливо. Даже наручники сняли. И вот мы, пятеро жандармов и я, сидим на двух скамьях в пустой комнате. За окном — хмурое небо. Дверь напротив, должно быть, ведет в зал суда, поскольку именно в этом парижском здании размещается Дворец правосудия.

Через несколько секунд меня начнут судить за преднамеренное убийство. Мой адвокат мэтр Раймон Юбер подошел ко мне.

— Против вас в деле нет никаких веских доказательств. Надеюсь, нас оправдают.

Это «нас» заставило меня улыбнуться. Можно подумать, что мэтр Юбер тоже будет сидеть на скамье подсудимых и, если приговором станет «виновен», тоже отправится на каторгу.

Служитель открыл дверь и пригласил нас войти. В сопровождении жандармов и одного сержанта я вошел через широко распахнутые двери в огромный зал. Словно чтобы окончательно добить меня, этот зал оказался красным, весь кроваво-красным: красными были стены, ковры, шторы на окнах и даже мантии судей, которые готовились заняться мной минуты через две-три.

— Господа, суд идет!

Из двери справа один за другим вышли шестеро мужчин: председатель, а за ним пятеро судей в магистерских шапочках. Председатель остановился у кресла в центре, справа и слева расположились его коллеги. В зале наступила торжественная тишина, и все, включая меня, встали. Суд сел, сели и все остальные.

Председатель оказался широкоплечим мужчиной с розовыми щеками и холодными глазами, они глядели на меня, но как бы сквозь меня и были лишены какого-либо выражения. Звали его Бевен. Разбирательство он повел бодро, как по накатанной дорожке, с надменным видом профессионала, не слишком убежденного в искренности свидетелей и полиции. Нет, такой не понесет никакой ответственности за мое осуждение, но, уж будьте уверены, добьется его

непременно.

Прокурором был некто Прадель, и вся адвокатская коллегия боялась его как огня. У него была репутация основного поставщика материала, как для гильотины, так и для французских и заокеанских тюрем.

Прадель выступал в роли общественного обвинителя. Все человеческое было ему абсолютно чуждо. Он представлял закон, весы правосудия и так ловко манипулировал ими, что они всегда перевешивали в его сторону. Опустив тяжелые веки над пронзительными орлиными глазами, он так и прожигал меня взглядом с высоты своего роста. Если учесть, что он стоял на трибуне, да и ростом его бог не обидел — где-то под метр девяносто, — то это производило впечатление. Мантию он не снял, лишь положил свою шапочку перед собой и стоял, упершись в постамент огромными и толстыми, словно свиные окорока, лапами, и вся его поза, казалось, говорила: «Если ты думаешь, что можешь ускользнуть от меня, юный прохвост, то ошибаешься. Судьи считают меня самым грозным прокурором именно потому, что я ни разу еще не дал своей жертве ускользнуть. И мне все равно — виновен ты или нет. Я здесь для того, чтобы употребить все сказанное про тебя — против тебя. Твой богемный образ жизни на Монмартре, доказательства, которые собрала полиция, и свидетельства самой полиции. И мне только остается собрать всю эту грязь и представить твой образ столь омерзительным и неприглядным, чтобы единственным желанием судей стало желание отторгнуть тебя от общества, и как можно скорей».

Мне казалось, что я действительно слышал эти слова, хотя это совершенно невероятно... «Ах, ты надеешься на присяжных? Оставь, эти двенадцать человек понятия не имеют, что такое жизнь. Взгляни, вот они сидят, напротив. Двенадцать придурков, привезенных в Париж из глухой провинции, — ну что, разглядел? Мелкие лавочники, пенсионеры, торговцы. А тут появляешься, ты — такой молодой и красивый. И ты сомневаешься, что мне будет трудно представить тебя эдаким ночным донжуаном с Монмартра? Да одно, это сразу настроит их против тебя. Ты слишком шикарно одет, надо было выбрать более скромный костюм. Разве ты не видишь, как они завидуют этому костюму? Они покупают готовое платье и даже не мечтают о костюме, сшитом на заказ... »

Меня судили за убийство сутенера — полицейского стукача, парня из уголовного мира Монмартра. Доказательств не было, но фараоны, получая вознаграждение за каждого пойманного преступника, готовы были клясться и божиться, что я виновен. Самый сильный козырь в руках обвинения — один свидетель (которого они хорошенько накачали, и он, словно граммофонная пластинка, записанная на набережной Орфевр, 36 [2], твердил свое), парень по имени Полен. И когда я повторял снова и снова, что не знаком с ним, председатель спросил, что называется, в лоб:

— Итак, вы утверждаете, что этот свидетель лжет. Очень хорошо. Но зачем ему лгать?

— Господин председатель, с того момента, как меня арестовали, я не сомкнул глаз. И вовсе не оттого, что мучился угрызениями совести за убийство Малютки Ролана. Я его не убивал. Но оттого, что пытался понять, какие мотивы движут этим свидетелем, столь яростно нападающим на меня и приводящим всякий раз новые доказательства, когда обвинение готово пошатнуться. Я пришел к заключению, господин председатель, что полиция поймала его на чем-то грязном и заключила с ним сделку—мол, мы тебя простим, но ты должен помочь нам сожрать Папийона.

В то время я еще не знал, насколько был близок к истине. Через несколько лет этот самый Полен, который здесь был представлен заседателям как честнейший человек, не имевший ни

одной судимости, был арестован и осужден за торговлю кокаином.

Мэтр Юбер пытался защищать меня, но куда ему было до прокурора! Лишь мэтру Беффе немного удалось смягчить мрачную картину, нарисованную прокурором, Впрочем, ловкий Прадель очень скоро снова взял верх» и даже умудрился польстить присяжным, заметив, что они «на равных» с ним решают судьбу обвиняемого. Те чуть не полопались от гордости.

К одиннадцати вечера эта шахматная партия, наконец, завершилась. Защита получила шах и мат. А я, не совершавший преступления человек, был признан виновным.

Руками прокурора Праделя общество выкинуло меня из жизни, еще молодого, двадцатипятилетнего человека, и до конца моих дней. Вот так, на полную катушку, и ни днем меньше. И мне пришлось скушать это из рук самого председателя Бевена.

— Подсудимый, встаньте! — распорядился он голосом, лишенным какого-либо выражения.

Я встал. В зале наступило мертвое молчание. Люди затаили дыхание, и мне казалось, я слышу биение собственного сердца. Некоторые из присяжных воззрились на меня с любопытством, другие стыдливо опустили головы.

— Подсудимый, поскольку присяжные ответили «да» на все пункты обвинения, кроме одного — «преднамеренное», — вы приговорены к пожизненному заключению. Отбывать наказание будете на каторге. Желаете сказать что-нибудь?

Я не шевельнулся, лишь крепче сжал поручень барьера, отделявшего мою скамью от публики.

— Да, господин председатель. Единственное, что я могу сказать, — это что я не виновен и стал жертвой полицейских интриг.

— Стража! — сказал председатель. — Убрать заключенного!

Перед тем как исчезнуть, я услышал из зала голос:

вернуться

1

Тюрьма в Париже, недалеко от здания суда. (Здесь и далее примеч. перев.).

вернуться

2

Адрес уголовной полиции в Париже.

— Не бойся, любимый! Я поеду за тобой, я найду тебя! — Это моя славная храбрая Нинетт подавала голос мне, своему возлюбленному. Ребята из нашей компашки, тоже сидевшие в зале суда, зааплодировали — они прекрасно знали все обстоятельства убийства и хотели показать, что гордятся мной — ведь я не проболтался и никого не заложил.

В той же комнате, где мы ждали суда, стражники надели на меня наручники, и один из них с

помощью короткой цепочки присоединил мое правое запястье к своему левому. При этом не было произнесено ни слова. Я попросил сигарету. Сержант дал мне одну и прикурил ее. Всякий раз, когда я подносил сигарету ко рту, жандарм, следуя моим движениям, тоже должен был поднимать и опускать руку.

Так, стоя, я выкурил три сигареты. Никто не произнес ни слова. Я первый нарушил молчание — взглянул на сержанта и сказал: «Пошли».

Окруженный целой дюжиной жандармов, спустился по лестнице и вышел во внутренний дворик. Там уже ждал тюремный фургон, отсеков и камер в нем не было, и все подряд уселись на длинные скамьи. Сержант скомандовал:

— В Консьержери!

КОНСЬЕРЖЕРИ

Доехав до здания, где некогда размещался последний дворец Марии-Антуанетты, жандармы передали меня старшему охраннику, тут же расписавшемуся в приемке, и ушли, не сказав ни слова. Но перед уходом сержант пожал мне обе руки, скованные наручниками. Вот уж никак не ожидал!

— Ну и сколько тебе влепили? — спросил охранник.

— Пожизненное.

— Быть не может! — Он взглянул на жандармов и по их глазам понял, что я не вру. Этому пятидесятилетнему человеку немало довелось повидать в жизни, знал он и мое дело. — Вот суки, совсем рехнулись! — воскликнул он искренне.

Он осторожно снял с меня наручники и лично проводил в камеру, из тех, что предназначены для приговоренных к казни, сумасшедших, особо опасных преступников и получивших пожизненное заключение.

— Ладно, держи хвост пистолетом! — сказал он, запирая дверь. — Сейчас тебе принесут жратвы и твои вещи из старой камеры. Держись, Папийон!

— Спасибо, начальник. Со мной все в порядке, не бойся! А они пусть подотрутса своим вонючим приговором!

Через несколько минут в дверь заскреблись.

— Чего надо? — спросил я.

— Ничего, — ответил чей-то голос. — Вешаю табличку на дверь.

— Какую еще табличку

— «Пожизненное заключение. Нуждается в особом надзоре».

Совсем взбесились, подумал я. Неужели они всерьез считают, что эти тонны камня, висящие над головой, могут подвигнуть меня на самоубийство? Я храбрый человек, всегда им был и останусь. Я готов сразиться со всеми и вся.

Наутро за кофе я размышлял, стоит ли подавать апелляцию. Какой смысл? Вряд ли с другим

составом суда мне повезет больше. А сколько времени потеряю... Год, а может, и целых полтора. И ради чего? Чтобы получить двадцать лет вместо пожизненного?

Поскольку в глубине души я уже твердо решил бежать, количество лет значения не имело. Я вспомнил, как один подсудимый сказал судье: «Месье, а сколько лет длится пожизненное заключение во Франции?»

Итак, все кончено, занавес! Близкие мои будут страдать куда больше меня, а как снести этот тяжкий крест моему отцу там, в деревне?..

И вдруг у меня дыхание перехватило: но я же не виновен! Действительно, не виновен, но в чьих глазах? И я стал твердить себе: «Никогда не пытайся убедить людей в своей невиновности, они будут только смеяться над тобой. Получить пожизненное за какого-то сутенера, а потом уверять, что его убил кто-то другой, — самое что ни на есть дурацкое занятие».

За все то время, что я находился под следствием, сначала в Санте, потом в Консьержери, мне ни разу не приходило в голову, что я могу получить такой срок.

Ну да ладно. Первым делом надо связаться с другими осужденными, сколотить команду из надежных ребят, с которыми можно будет бежать.

Выбор мой пал на Дега, парня из Марселя. С ним можно увидеться в парикмахерской — он каждый день ходил туда бриться. Я тоже заявил, что хочу побриться.

Все произошло так, как я и рассчитывал. Я вошел в парикмахерскую и увидел, что Дега сидит лицом к стене. Заметив меня, он тут же уступил свою очередь кому-то. И я пристроился возле него, оттеснив какого-то парня плечом, и быстро спросил:

— Ты как, в порядке, Дега?

— Нормально, Папи. Схлопотал пятнадцать. А ты? Говорят, тебе врезали на полную катушку?

— Да, пожизненное.

— Будешь подавать апелляцию?

— Нет. Сейчас самое главное — как следует питаться и держать себя в форме. И ты тоже, Дега, не раскисай. Нам понадобятся крепкие мускулы. Ты заряжен?

— Ага. Десять кусков в фунтах стерлингов. А у тебя?

— Ни хрена.

— Вот тебе совет, заряжайся быстрее. Кажется, адвокатом у тебя Юбер? Чересчур правильный, такой сроду не передаст патрона. Пошли свою бабу с упакованным патроном к Данте. Он передаст его Доминику ле Ришу, и гарантирую, ты его получишь.

— Тише, охранник смотрит!

— О чем сплетничаєте, кумушки?

— Да ничего серьезного, — ответил Дега. — Он говорит, что заболел.

— Чем же это? Никак судебные колики? — И толстозадый охранник покотился со смеху.

Как ни странно, но и это тоже была жизнь. Я уже находился на пути в преисподнюю. Оказывается, можно умирать со смеху, узнав, что молодого, двадцатипятилетнего человека приговорили к пожизненному заключению.

Патрон я получил. Он представлял собой прекрасно отполированную алюминиевую трубку, развинчивающуюся ровно посередине. Одна часть входит в другую. Внутри пять тысяч шестьсот франков новенькими банкнотами. Получив этот патрон толщиной в большой палец, я так обрадовался, что поцеловал его, да, поцеловал, перед тем как засунуть в задницу. Пришлось глубоко выдохнуть воздух, чтобы он попал в прямую кишку. Теперь там был мой сейф. Меня могут раздеть догола, заставить расставить ноги, кашлять и даже согнуться пополам, но никогда его не найдут. Уж очень глубоко я запихнул этот патрон. Внутри себя я носил жизнь и свободу. И путь к мести... Потому что я твердо вознамерился мстить. По правде сказать, я только и думал, что о мести...

На улице ночь. Я в камере один. Сильная лампа под потолком позволяет охраннику наблюдать за мной через маленькое отверстие в двери. Он слепил меня, этот свет. Я прикрыл глаза свернутым в несколько раз платком. Уж очень режет глаза. Я лежал на железной кровати, на голом матрасе без подушки, снова и снова прокручивая в памяти все омерзительные детали суда.

«Ну, хорошо, все это в прошлом. А чем заняться после побега? Теперь, имея деньги, я уже ни секунды не сомневался, что убегу. Прежде всего, как можно быстрее попасть в Париж... И первым, кого я прикончу, будет Полен, лжесвидетель. Затем двух фараонов, которые вели дело... Нет, двух недостаточно. Надо больше. Надо их всех поубивать, ну, не всех, но чем больше, тем лучше. Или вот еще недурная идея. Приеду в Париж, набью сундук взрывчаткой. Доверху. Килограммов десять — пятнадцать, а может, и все тридцать, не знаю сколько». И я начал прикидывать, сколько понадобится взрывчатки, чтобы разом прихлопнуть как можно больше людей.

Надо будет точно определить, сколько времени это займет; доставить сундук с улицы, где я включу часовой механизм, до первого этажа дома на набережной Орфевр. В десять утра там в зале собираются минимум сто пятьдесят фараонов на сводку новостей и получение заданий. А сколько там ступенек? Тут нельзя ошибаться...

Поднялся попить. От всех этих мыслей разболелась голова. Я лежал с платком на глазах, минуты ползли медленно-медленно. Этот свет над головой, господи боже, он меня с ума сведет!

Ладно, с фараонами все ясно. Ну а прокурор, этот ястреб в красной робе? О, для него надо измыслить нечто особенно ужасное. Сниму виллу с огромным подвалом, толстыми стенами и железной дверью. Буду следить за каждым его шагом и наконец похищу. И там, в подвале, прикую железными цепями к кольцам» вделанным в стену. Посмотрим, как он тогда запоет...

Хватит, Папийон, ты действительно сошел с ума. Встал. От двери до стены четыре метра, или пять моих шагов. Я стал ходить, заложив руки за спину. И перед глазами вновь всплыла торжествующая физиономия прокурора, его злобная и хитрая улыбка: «Ну нет, это для тебя слишком хорошо, сдохнуть с голоду в каменной клетке, — подумал я. — Сперва я выколю тебе глаза. Потом злобный, опасный язык, которым ты погубил столько невинных людей. Тот язык, который шепчет ласковые слова твоим детям, жене и любовнице. У тебя любовница? Скорее уж любовник. Точно, любовник. Ты никем не можешь быть, кроме как пассивным педиком, который только и может, что подставлять задницу... »

Я безостановочно шагал по камере, голова кружилась. И вдруг вырубился свет. Серое рассеянное сияние наступающего дня просачивалось сквозь маленькое зарешеченное окошко.

Что это? Уже утро? Ничего не скажешь, прекрасно провел ночь! Всем отомстил, со всеми рассчитался. Как незаметно пролетели часы. Эта ночь, такая долгая, какой же она оказалась короткой!..

«Лязг-лязг!» Это отворилась отдушина размером двадцать на двадцать сантиметров в моей двери. Через нее мне подали кофе и кусок хлеба граммов на семьсот пятьдесят. Будучи осужденным, я уже не имел права заказывать еду из ресторана. Правда, за деньги можно было купить сигарет и что-нибудь из еды в тюремной столовой. Впрочем, все это продлится недолго, всего несколько дней, потом и этой возможности не будет. В хлебе оказалась записка от Дега, Он советовал мне попроситься в дезинфекционную камеру. «Посылаю в спичечном коробке три вши». Вынув коробок, вставленный все в тот же кусок хлеба, я действительно обнаружил трех здоровенных, на славу откормленных вшей — настоящих зверюг. Я понимал, что надо показать их охраннику, чтобы завтра утром со всем моим барахлом меня отправили в камеру, где паром убивают всех паразитов, кроме нас, разумеется. И действительно, на завтра я встретил там Дега. Охранника в помещении не было. Никто нам не мешал.

— Ты молодчина, Дега. Благодаря тебе я получил патрон.

— Он тебя не беспокоит?

— Нет.

— Каждый раз, как сходишь в сортир, хорошенько его промой, прежде чем засунуть обратно.

— Знаю. Надеюсь, он водонепроницаемый. Все банкноты целехоньки, хотя ношу его вот уже неделю.

— Значит, нормальный...

— Что собираешься делать дальше, Дега?

— Притворюсь чокнутым. Неохота ехать в Гвиану [3]. Лучше уж прокантуюсь тут, во Франции, лет восемь — десять. Связи кое-какие имеются, может, удастся скостить срок лет на пять.

— А тебе сколько?

— Сорок два.

— Да ты совсем рехнулся! Отсидишь десять из своих пятнадцати и выйдешь стариком. Ты чего, так боишься каторги?

— Да. Мне не стыдно признаться в этом, Папийон, Боюсь. Гвиана — это настоящий кошмар. Туда шлют один конвой за другим, и каждый год процентов восемьдесят из них просто подыхают. А в каждом, заметь, до двух тысяч заключенных. И если не подхватишь проказу, то заболеешь желтой лихорадкой или дизентерией, каким-нибудь туберкулезом или малярией, А если и пронесет, то могут пришить из-за патрона или во время побега. Верь мне, Папийон, я не хочу пугать тебя, но я знал ребят, что возвратились во Францию, отсидев там лет пять — семь, и знаю, о ч говорю. Это полные развалины. По девять месяцев в году торчат в больнице. Ну а что касается побега, не думай, это тоже не сахар.

— Я тебе верю, Дега, Но и в себя верю тоже. Я не собираюсь торчать там долго. Не сомневайся, убегу, и очень скоро. Я моряк и знаю море. А ты? Представляешь ли ты, что значит просидеть в тюрьме десять лет? Если даже и скостят пять, в чем я не уверен, ты можешь дать гарантии, что не рехнешься, сидя здесь в одиночке? Ну, вот хоть меня возьми. Один в этой клетке, без книг, без прогулок, не имея даже возможности перекинуться словечком хоть с кем-нибудь — и так двадцать четыре часа в сутки, умножь еще на шестьдесят минут, а там еще на десять, потому как десять лет, и ты сам увидишь, что не прав.

— Может быть. Но ты молодой, а мне сорок два.

— Слушай, Дега, только честно: чего ты больше всего боишься? Других преступников?

— Если честно, Папи, то да, Тут многие почему-то думают, что я миллионер, в два счета перережут глотку, считая, что при мне тысяч пятьдесят — сто.

— Слушай, давай заключим договор. Ты обещаешь мне не сходить с ума, я — все время быть с тобою рядом. Будем держаться вместе. Я сильный, быстрый, драться умею с детства, а ножом орудую — дай Бог! Так что не трусь, нас будут не только уважать, но и бояться. Я умею обращаться с компасом и управлять лодкой. Чего тебе еще?

Он посмотрел мне прямо в глаза. Мы обнялись. Договор был подписан. Через несколько секунд двери отворились. Он со своим барахлом двинулся в одну сторону, я — в другую. Наши камеры были неподалеку, мы сможем видеться время от времени — у врача, парикмахера или в церкви по воскресеньям.

Дега сидел за подделку облигаций, национальной обороны. Талантливый фальшивомонетчик, он производил их весьма неординарным образом: обесцвечивая пятисотфранковые бумажки и делая новую надпечатку: вместо пяти — десять. Бумага по качеству оставалась той же, так что банки и бизнесмены принимали их без возражений. Длилось это годы, и центральный финансовый департамент так и не заподозрил бы ничего, если бы в один прекрасный день одного типа по имени Бриоле не зацапали, что называется, с поличным.

Луи Дега преспокойненько приглядывал за собственным баром в Марселе, где каждый вечер собирались сливки южной мафии и куда слетались прожженные парни со всех концов света, как на международный симпозиум. Шел 1929 год, и Дега слыл миллионером, И вдруг однажды в этот клуб заявила некая молодая, элегантно одетая дама. И спросила месье Луи Дега.

— Это я, мадам. Чем могу быть полезен? Пройдемте сюда, пожалуйста.

— Видите ли, я жена Бриоле. Он в Париже, арестован за сбыт фальшивых облигаций. Я была на свидании с ним в тюрьме. Он дал мне адрес вашего бара и просил приехать и попросить у вас двадцать тысяч — заплатить адвокату.

И тут, недооценив эту женщину, опасную уже тем, что она была посвящена в его дела, Дега, этот самый ловкий и изобретательный мошенник во Франции, допустил роковое для себя высказывание:

— Послушайте, мадам, я знать не знаю вашего мужа, а если вам так нужны деньги, то идите на панель. Такая молоденькая и хорошенькая дамочка может заработать даже больше.

Бедняжка, возмущенная и расстроенная, выбежала от него в слезах. И все рассказала мужу. Бриоле был взбешен и на следующий же день все рассказал следователям, прямо обвиняя Дега в подделке ценных бумаг. Делом Дега занялась целая команда самых опытных детективов

страны. Месяц спустя Дега, двое фальшивомонетчиков, гравер и одиннадцать их помощников были одновременно арестованы в разных местах и посажены за решетку. Затем они предстали перед судом, который длился недели две. Каждого защищал знаменитый адвокат. Бриоле не взял назад ни единого слова. В результате из-за каких-то несчастных двадцати тысяч и одной идиотской фразы этот выдающийся в истории Франции мошенник получил пятнадцать лет каторги.

Со мной пришел повидаться мэтр Раймон Юбер. Он был не очень-то доволен собой. Впрочем, я не высказал ему ни слова упрека.

Один, два, три, четыре, пять — кругом... один, два, три, четыре, пять — кругом... Долгие часы расхаживал я вот так от двери до окна камеры. Я курил и чувствовал, что вполне владею собой, что я крепкий уравновешенный человек, вполне способный справиться с любой задачей. Даже на время забыть о мести.

Пусть прокурор повисит пока там, где я его оставил — прикованным цепями к стене, и подождет, пока я решу, каким именно способом отправить его на тот свет.

Однажды совершенно внезапно из-за двери раздался пронзительный, отчаянный, полный ужаса вопль. Что это? Похоже, пытаются человека. С одной стороны, здесь все же не полиция. В течение ночи вопли будили меня несколько раз. Как же страшно громко надо было кричать, чтобы крики проникли через толстые каменные стены! Может, вопит сумасшедший? В этих клетках немудрено сойти с ума... И я заговорил сам с собой: «Какое это все имеет к тебе отношение? Думай о себе, только о себе и своем новом соратнике Дега...»

Этот пронзительный крик совершенно вывел меня из равновесия. Я метался по камере, как зверь в клетке, с ужасным, все нарастающим ощущением, что меня все забыли, и я похоронен здесь заживо. Я один, абсолютно один, и единственное, что до меня доходит, — это чьи-то пронзительные вопли.

Дверь распахнулась. На пороге стоял старый священник. Слава богу, теперь ты не один. Смотри, вот перед тобой стоит священник.

вернуться

3

Имеется в виду Французская Гвиана, ныне заморский департамент Франции в Южной Америке.

— Добрый вечер, сын мой. Прости, что не приходил раньше. Я был в отпуске. Как ты себя чувствуешь? — Старый добрый кюре тихо зашел в камеру и сел на мою койку. — Откуда ты родом?

— Из Ардеша.

— Родители?..

— Мама умерла, когда мне было одиннадцать. Отец был очень добр ко мне...

— А чем он занимался?

— Школьный учитель.

— Он жив?

— Да.

— Тогда почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?

— Потому что, хоть он и жив, я умер.

— Не надо так говорить. За что тебя посадили?

— Полиция считает, что я убил человека. Ну, раз она так считает, значит, так оно и есть.

— Это был торговец?

— Нет, сутенер.

— Выходит, тебя приговорили к пожизненному заключению за одного из уголовников? Не понимаю... Это было умышленное убийство?

— Нет.

— Бедный мой мальчик, это невероятно! Скажи, что я могу для тебя сделать? Хочешь, помолимся вместе?

— Меня не воспитывали в религиозном духе, я не умею молиться.

— Это неважно, сын мой. Я помолюсь за тебя. Бог любит всех своих детей. Неважно, крещены они или нет. Просто повторяй за мной каждое слово, ладно?

Глаза его излучали теплоту, а круглое лицо светилось такой добротой, что я не посмел отказаться и опустился на колени вместе с ним. «Отче наш...» — пробормотал я первые слова молитвы, слезы выступили у меня на глазах. Увидев их, добрый священник коснулся пухлым пальцем крупной капли на щеке, а затем приложил палец к губам и слизнул.

— Сын мой, — сказал он, — эти слезы — самое дорогое, чем мог вознаградить меня сегодня Господь, и награда эта пришла от тебя. Благодарю.

Он поднялся и поцеловал меня в лоб.

Потом мы снова сидели рядышком на койке.

— Как давно ты плакал в последний раз?

— Четырнадцать лет назад.

— Почему именно четырнадцать?

— Когда мама умерла.

Он взял мою руку в свою и сказал:

— Прости тех, кто заставил тебя страдать.

Я вырвал руку и выскочил на середину камеры.

— Ни за что в жизни! Никогда не прощу! И вот что я вам еще скажу, отец. Нет дня, ночи, часа или минуты, когда б я не думал, как поубивать мерзавцев, засадивших меня сюда.

— Ты говоришь это, сын мой, и ты в это веришь. Ты еще молод, очень молод. А когда повзрослеешь, ты оставишь эту мысль о мести и наказании

С тех пор прошло тридцать четыре года, и теперь я вижу, что он оказался прав.

— Чем я могу помочь тебе? — снова спросил он.

— Совершить преступление, отец.

— Какое преступление?

— Пойти в тридцать седьмую камеру и сказать Дега, чтобы он просил своего адвоката помочь отправить его в центральную тюрьму в Кайенне. И еще скажите, что я сегодня сделал то же самое. Нам надо как можно быстрее выбраться отсюда и попасть в одну пересылку, где составляют конвой в Гвиану. Дело в том, что, если мы не попадем на первый же пароход, второго придется ждать два года. Два года торчать в одиночке! А потом, когда повидаетесь с ним, зайдите снова ко мне.

— Но я должен это как-то оправдать!

— Скажите, что забыли здесь молитвенник. А я буду ждать ответа.

— Но почему ты так торопишься попасть в это ужасное место?

Я пристально посмотрел ему в глаза и понял — этот человек меня не выдаст.

— Да чтоб сбежать быстрее, отец.

— Помоги тебе Бог, мой мальчик. Уверен, ты сумеешь начать новую жизнь, я читаю это в твоих глазах. Это глаза порядочного человека, у тебя есть душа и сердце. Хорошо, я найду к твоему товарищу. Жди ответа.

Он вернулся очень скоро. Дега был согласен. Кюре оставил мне молитвенник до следующего дня.

Его посещение для меня было лучом света. Благодаря этому славному человеку моя камера словно осветилась.

Если есть Бог, то почему он позволяет уживаться на земле столь разным существам? Таким мерзавцам, как прокурор или Полен, и этому доброму капеллану, человеку из Консьержери?

Его приход ободрил и окрылил меня. К тому же оказался небесполезен. Наши просьбы удовлетворили быстро, и уже через неделю в четыре утра семеро заключенных выстроились в коридоре. Охрана тоже, конечно, была там

— Раздеться!

Мы начали медленно стаскивать с себя одежду. Было жутко холодно. Тело тут же покрылось гусиной кожей.

— Вещи сложить на полу! У ног! Повернуться! Шаг назад!

Перед каждым из нас оказалось по пакету.

— Одеваться!

Дорогую льняную рубашку сменила грубая рубаха из некрашеного полотна, а мой элегантный костюм — нескладная роба и брюки из грубой шерстяной ткани. И никаких туфель. Вместо них — пара деревянных сабо. Я взглянул на остальных: Боже, ну и чучела! За две минуты мы все превратились в типичных заключенных.

— Равнение направо! Шагом марш!

Под эскортом двадцати охранников мы вышли во двор там нас по одному запихнули в узкие отсеки в зарешеченном фургоне. И мы двинулись в путь. Направление — Болье, одна из центральных тюрем в Кане.

КАН. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЮРЬМА

По прибытии нас в первую очередь ввели в кабинет начальника тюрьмы. Он торжественно восседал за столом в стиле ампира, возвышавшимся на специальном постаменте.

— Смирно! Начальник будет говорить.

— Заключенные, вы здесь на пересылке. Отсюда вас пошлют на каторгу. Это необычная тюрьма. Молчать все время, никаких посещений, никаких писем. Или вы подчиняетесь этим правилам, или вас ликвидируют. Отсюда только два выхода: один на каторгу, для тех, кто будет вести себя хорошо, другой — на кладбище. За малейший промах — шестьдесят дней карцера на хлебе и воде. Не было случая, чтоб кто-то выдержал два срока в этой дыре. Имеющий уши да услышит!

Затем он обратился к Придурку Пьеро, высланному из Испании.

— Ты что делал на воле?

— Был тореро, господин начальник.

Ответ почему-то разозлил начальника, и он рявкнул:

— Взять его! Двойной срок! — И не успели мы и глазом моргнуть, как на тореро налетели сразу пятеро охранников, сбили его с ног и уволокли. Мы только слышали, как он кричал: «Ублюдки! Пятеро против одного! Еще и с дубинками! Трусливые суки!» Последнее, что мы услышали, — это пронзительное «а-а!», словно вскрикнуло смертельно раненное животное. А потом настала тишина. Было лишь слышно, как его волокли по цементному полу.

Разве что идиот не усвоил бы преподанного урока. Минут через десять каждый из нас оказался в отдельной камере дисциплинарного блока, за исключением Придурка Пьеро, которого уволокли вниз, в карцер.

По счастью, Дега оказался в соседней со мной камере. Но перед тем как захлопнулись двери, нас показали некоему рыжеволосому одноглазому чудовищу под два метра ростом и с новеньким бичом из бычьей кожи в правой руке. Это был староста, тоже из заключенных. На всех сидевших он навел ужас. Имея под рукой этого мерзавца, охранники не утруждали себя

— он лично избивал и терзал заключенных, а кроме того, в случае гибели жертвы на него можно было свалить все.

Чуть позже в тюремной больнице я узнал историю этого монстра в обличье человека. Когда-то на воле он работал в каменном карьере. Жил в маленьком городке где-то во Фландрии. Но в один прекрасный день ему взбрело в голову покончить с собой, а заодно убить и свою жену. Для этого он притащил домой динамитную шашку. Ночью лег рядом с женой (их спальня находилась на втором этаже шестизэтажного дома) и подождал, пока жена крепко уснула. Потом закурил сигарету и поджег ею шнур шашки, которую держал в левой руке между своей головой и головой жены. Ну и ахнуло! В результате жену пришлось соскабливать со стен, часть дома обрушилась, погибли трое детей и семидесятилетняя старуха. Остальные жильцы получили ранения. Что же касается нашего Потрошителя, то он отделался потерей части левой кисти (сохранился лишь мизинец и половина большого пальца), левого глаза и уха. Это не считая ранения в голову, потребовавшего трепанации черепа. И уже с первых дней заключения этот маньяк стал старостой дисциплинарного блока центральной тюрьмы и мог полностью распоряжаться судьбой любого попавшегося ему на глаза заключенного.

Один, два, три, четыре, пять, кругом... Один, два, три, четыре, пять, кругом... — снова началось хождение по камере взад-вперед, от стенки до двери. Ложиться днем на койку не разрешалось. Ровно в пять всех будил пронзительный свисток. Надо было немедленно встать, заправить койку, умыться, а потом или бродить по камере, или сидеть на откидном стульчике. Койка тоже была откидная и прикреплялась на день к стене. Не урвать даже секунды, чтобы прилечь и вытянуть ноги хоть на миг.

Один, два, три, четыре, пять... Четырнадцать часов ходьбы. Да, камеры здесь освещены лучше, чем в Консьержери, к тому же сюда проникают звуки извне — из карцера и даже со двора. Вечером можно даже различить свист или веселое пение крестьян, возвращавшихся домой и после работы пропустивших по кружке сидра.

На Рождество я получил подарок: в ставнях, закрывающих окно, оказалась маленькая щелочка. В нее я увидел заснеженные поля и несколько высоких черных деревьев. Полная луна заливала этот пейзаж голубоватым светом. Ну чем не рождественская открытка! Ветер сотрясал деревья, весь снег с них слетел, и темные силуэты отчетливо проступали на светлом фоне.

Один, два, три, четыре, пять... Закон превратил меня в маятник, а вся жизнь сводилась теперь к непрерывному хождению по камере. Меня наказали бы самым жесточайшим образом, если бы застигли за подглядыванием в щелочку между ставнями. В конечном счете, они были правы. Кто я такой, если не живой труп? Трупы не имеют права любоваться пейзажем.

Как-то у окна я обнаружил бабочку. Бледно-голубую, с мелкими черными пятнышками. А неподалеку от нее — пчелу. Должно быть, их сбило с толку яркое зимнее солнце, а может, они залетели в тюрьму согреться?.. Бабочка зимой — это символ неистребимости жизни. Как это она не погибла?.. Как и почему пчела покинула свой улей? Воистину, нужна незаурядная храбрость, чтобы залететь сюда, вот только они этого не понимают... Через день после визита ко мне замечательных крылатых существ я заявил, что болен. Я просто не мог уже выносить этого ужасного, давящего одиночества. Мне нужно было увидеть человеческое лицо, услышать голос, пусть даже самый неприятный... Потому что все равно это будет голос... И я так хочу его услышать.

... Абсолютно голый, я стоял в коридоре, где царил ледяной холод, лицом к стене, предпоследним в шеренге из восьми заключенных. И ждал своей очереди предстать перед

врачом. Я просто хотел увидеть людей. И получил свое. Староста застучал меня как раз в тот момент, когда я прошептал что-то Жуло по прозвищу Молоток. Реакция у рыжего маньяка была молниеносной — он оглушил меня ударом кулака по затылку, и я даже не почувствовал, что расквасил нос. врезавшись лицом в стенку. Брызнула кровь. Я поднялся с пола и встряхнулся, пытаюсь понять, что произошло. И сделал слабый протестующий жест. Только этого и ждал громила. От удара в живот я снова повалился на пол, а он начал хлестать меня бичом, Жуло этого не вынес. Бросился на него, и они сцепились, как два пса. Жуло крепко досталось, он явно уступал противнику в силе, а два охранника спокойно стояли и наблюдали за происходящим. Я поднялся, никто не обращал на меня внимания. Огляделся в поисках какого-нибудь оружия. И тут заметил, что врач, перегибаясь через кресло, пытался разглядеть из кабинета, что происходит в коридоре. И еще на глаза мне попала огромная эмалированная кастрюля с крышкой, распираемой паром. Кастрюля стояла на плите, обогревавшей кабинет. Пар, наверное, был призван очищать воздух.

Быстрым, почти неуловимым движением я схватил кастрюлю за ручки — страшно жгло, но я как-то умудрился не уронить ее — и одним движением выплеснул всю кипящую воду прямо в лицо старосте. Увлеченный избиением Жуло, он даже не заметил, как, я подкрался. Ужасный, душераздирающий вопль, и он покатился по полу, пытаюсь сорвать с себя три шерстяные фуфайки, надетые одна на другую. И когда, наконец, добрался до третьей, то вместе с ней сошла и кожа. Фуфайка была с узким горлом, он содрал кожу с груди, части шеи и лица. Содранная кожа прилипла к шерсти. Его единственный здоровый глаз тоже получил ожог, и теперь он ослеп полностью. С трудом он поднялся на ноги, разъяренный, истекающий кровью, и тут Жуло, воспользовавшись моментом, врезал ему что было силы в пах. С ним было кончено. Два охранника, наблюдавшие за всей этой сценой, не осмелились нас тронуть, а вызвали подкрепление. На нас навалились со всех сторон, и дубинки так и загуляли по плечам. Мне повезло: я вырубился почти сразу же и перестал что-либо чувствовать.

Очнулся я двумя этажами ниже. Совершенно голый, я лежал в затопленной водой камере. Приходил в себя постепенно. Сначала ощупал ноющее тело. На голове обнаружилось минимум пятнадцать шишек. Интересно, сколько сейчас времени? Определить это было невозможно — здесь, в подземелье, всегда царила ночь, ни единого лучика света. И вдруг я услышал стук в стену, похоже, он доносился издалека.

Тут, тук, тук... Стуком мы переговаривались. Мне следовало стукнуть дважды, что означало: «Готов вести беседу». Но чем? Кулаком бесполезно — звук получался глухой, практически неразличимый. А что здесь найдешь в темноте? Я двинулся туда, где, по моим предположениям, находилась дверь. Там было самую чуточку светлее. И больно ударился о прутья, которых не увидел. Шаря руками вокруг, я понял, что дверь находится примерно на расстоянии метра, но подступ к ней перегораживает металлическая решетка. Таким образом, любой вошедший в карцер, где содержится опасный преступник, может чувствовать себя в полной безопасности. С преступником в клетке можно разговаривать, протягивать ему еду, оскорблять, и все без малейшего риска. У него же только одно преимущество — его нельзя избить, потому что для этого пришлось бы отпирать клетку.

Стук периодически повторялся. Парень заслуживал ответа, ведь он дьявольски рисковал. Его в любой момент могли застучать за этим занятием. Передвигаясь по камере, я вдруг едва не упал, наступив на что-то твердое и круглое. Пошарил и обнаружил деревянную ложку. Теперь есть чем ответить! Я ждал, прижавшись ухом к стене. Тук, тук, тук-тук, пауза... Затем тук-тук. Тук-тук, — ответил я. Для пария, находившегося за стеной, это означало, валяй, я на проводе. И снова: тук-тук-тук... Буквы алфавита проскакивали быстро. Стоп! Он остановился на «п». Я ударил громко один раз: бум! Это означало: я принял букву. Затем последовали «а», «п» и так далее. Он спрашивал: «Папи, как ты? Тебе досталось. У меня сломана рука». Это был Жуло.

Мы проговорили часа два с лишним, не боясь быть застигнутыми врасплох. И страшно радовались, обмениваясь посланиями. Я сообщил, что у меня вроде бы ничего не сломано, только на голове полно шишек. Он рассказал, что видел, как меня волокли за ногу и как голова моя стучалась о каждую ступеньку. Сам он сознания не терял.

Три быстрых повторяющихся стука — это значило, что приближается опасность. Я затих. И действительно, через несколько секунд дверь распахнулась. Раздался окрик:

— Назад, скотина! К стене! Стоять смирно! Это был новый староста.

— Меня зовут Батон [4]. Это не прозвище, а настоящее имя, в самый раз для такой работенки. — Он осветил камеру и меня большим корабельным фонарем. — Вот тебе, накинь. И не рыпайся с места. Тут еще хлеб и вода. Только не жри все зараз. Здесь на сутки [5].

Он орал как оглашенный, но, когда поднес фонарь к лицу, я увидел, что он улыбается, причем не подло, а вполне дружелюбно. Затем он приложил палец к губам и указал на вещи, оставленные на полу. Должно быть, поблизости в коридоре находился охранник, а он хотел дать понять, что он не враг. И верно, под буханкой хлеба я обнаружил большой кусок вареного мяса, а в кармане штанов — Господи, целое состояние! — пачку сигарет и трутовое огниво. Подарки такого рода стоят здесь миллион. Две рубашки вместо одной и шерстяные кальсоны, доходящие до щиколоток. Никогда не забуду его, этого Батона. Он благодарил меня за то, что я убрал Потрошителя. Ведь до всей этой заварушки он был только его помощником.

вернуться

4

Большая Дубинка, палка (фр.).

вернуться

5

450 граммов хлеба и один литр воды.

А теперь сам стал большим человеком. Вот и благодарил на свой манер.

Теперь мы с Жуло чувствовали себя в относительной безопасности и обменивались посланиями целый день. От него я узнал, что отправка наша не за горами, через три-четыре месяца.

Два дня спустя нас вывели из карцера и, приставив к каждому по два охранника, проводили в кабинет начальника. За столом против двери восседало трое — своего рода суд.

— Так, вояки!.. Ну, что скажете?

Жуло был бледен. Глаза запавшие, он явно температурил. Ведь руку ему сломали три дня назад, и все это время он мучился от боли. Он тихо сказал:

— У меня рука сломана...

— Ничего, потерпишь, тебе это на пользу. Не думай, что я стану специально посылать за

врачом ради такого подонка! Подождешь общего обхода, тогда и тебя посмотрит. А пока вплоть до особых распоряжений я приговариваю вас обоих к карцеру.

Жуло посмотрел мне в глаза. Взор его, казалось, говорил: «Как легко распоряжается чужими судьбами этот тип».

Я перевел взгляд на начальника. Он понял, что я собираюсь что-то сказать, и спросил:

— Ты чем-то недоволен? И я ответил

— Я доволен абсолютно всем, господин начальник. Единственно, чего мне не хватает для полного счастья, так это плюнуть вам в глаза. Но воздержусь. Слюну пачкать жалко.

Он совершенно растерялся, покраснел и, похоже, никак не мог переварить услышанное. Но старший охранник оказался сообразительнее и рывкнул:

— Взять его и проучить хорошенько! Чтоб ровно через час ползал тут на коленях и просил прощения. Мы его укротим!

Нет смысла рассказывать, что они со мной вытворяли. Достаточно упомянуть, что наручники не снимали с меня одиннадцать дней. Своей жизнью я обязан Батону. Каждый день он бросал мне в клетку положенную порцию хлеба, но поскольку руки были скованы, съесть его не удавалось. Я не мог откусить ни кусочка, даже когда прижимал буханку головой к решетке. Тогда Батон начал бросать мне хлеб мелкими кусочками, чтобы я не помер с голоду. Я подгребал их к себе ногой, ложился на пол и ел, как собака. Старался жевать аккуратно, чтобы не потерять ни крошки.

Когда на двенадцатый день с меня сняли наручники, оказалось, что сталь настолько глубоко въелась в плоть, что снимались они только вместе с мясом. Охранник перепугался, когда я потерял сознание от боли. Меня привели в чувство и поместили в больницу, где обработали раны перекисью водорода. Санитар настоял, чтобы ввели противостолбнячную сыворотку. Руки так затекли, что никак не удавалось вернуть их в нормальное положение. Наверное, добрые полчаса мне втирали камфорное масло, прежде чем я смог, наконец, опустить их.

Меня вернули в карцер, и старший охранник, заметив на полу одиннадцать нетронутых кусочков, заметил:

— Ну вот, сейчас нажрешься! Одно странно, глядя на тебя, сроду не скажешь, что ты постился одиннадцать дней.

— Пил много воды, шеф.

— Ах, вот оно как... Понял. Ну, теперь можешь жрать от пуза. Восстанавливай силы.

И он ушел.

Ах ты, сукин сын, кретин поганый! Он и впрямь поверил, что я не ел одиннадцать дней, и думал, что теперь я немедленно наброшусь на еду и тут же сдохну. Нет уж, хрен тебе! К вечеру Батон принес табаку и папиросной бумаги. Я курил и не мог накуриться, выдыхая дым в трубу центрального отопления — она, разумеется, никогда не работала, так хоть какая-то от нее польза.

Чуть позже постучал Жуло. Рука у него была в гипсе, чувствовал он себя неплохо и похвалил

меня за выдержку. По его данным, отправка была уже не за горами. Сани тар сказал ему, что скоро начнут делать прививки. Обычно это происходило за месяц до отправки. И еще Жуло допустил одну неосторожность — спросил, цел ли у меня патрон? Сохранить-то я его сохранил, но вы даже представить себе не можете, чего это мне стоило. Весь задний проход превратился в сплошную рану.

Три недели спустя нас вывели из карцера, отвели в душ — сплошное наслаждение, с мылом и горячей водой!.. Я просто чувствовал, что возрождаюсь к жизни. Жуло смеялся, как ребенок, а Придурок Пьеро прямо-таки сиял от счастья.

Нас поместили в обычные камеры. Получив впервые за сорок три дня на обед миску горячего супа, я обнаружил в ней кусок дощечки. На нем было написано: «Отправка через неделю. Прививки завтра».

Кто ее послал, я так и не узнал. Должно быть, какой-то заключенный хотел предупредить. Он понимал: если хотя бы один из нас узнает новость, то будут знать все. Ко мне это послание попало по чистой случайности, Я тут же постучал Жуло и передал ему. Телеграф работал всю ночь. Я уже не принимал в этом участия. Уютненько лежал себе на койке, не желая ни о чем беспокоиться. Перспектива снова попасть в карцер мне улыбалась сегодня еще меньше, чем обычно.

Тетрадь вторая

ПУТЬ В ГВИАНУ

СЕН-МАРТЕН-ДЕ-РЕ

Вечером Батон передал три сигареты «Голуаз» и записку, гласившую: «Папийон, надеюсь, ты будешь помнить меня. добром. Я хоть и староста, но стараюсь как можно меньше мучить заключенных. А согласился на эту работу только потому, что у меня девять детей и ждать амнистии я не могу. Надо как-то выслуживаться, не причиняя людям зла. Прощай! И удачи тебе. Конвой послезавтра».

А на следующий день нас собрали в коридоре дисциплинарного блока, разбив на группы по тридцать человек. Санитары начали делать нам прививки против тропических болезней. По три на каждого плюс два литра молока. Дега стоял рядом с задумчивым видом. Мы уже больше не боялись разговаривать, потому как знали — после прививок в карцер не посадят. И тихо переговаривались на глазах у охранников. Дега спросил:

— Интересно, хватит ли у них фургонов, чтобы отправить одним заходом всех?

— Не думаю.

— Сен-Мартен-де-Ре — это же жутко далеко. Если нас будут отправлять по шестьдесят человек за раз, то это протянется дней десять, не меньше.

Рассказывать о конвое особенно нечего, разве что всех нас распахали по тесным клетушкам в фургонах. Было страшно душно. По прибытии в Ла-Рошель выяснилось, что в нашем фургоне два покойника — несчастные просто задохнулись.

На пристани толпился народ: ведь Сен-Мартен-де-Ре — остров, туда надо переправляться по воде. И все видели, как из фургона вытащили двух мертвецов. Должен сказать, это не

произвело на зевак никакого впечатления. А поскольку жандармы должны сдавать нас в крепость по счету, неважно, живых или мертвых, они загрузили в лодки и трупы.

Переправа была недолгой, но хоть свежим воздухом удалось подышать. Я сказал Дега:

— Чувствуешь? Побегом запахло...

Дега улыбнулся, а Жуло, сидевший рядом, заметил:

— Побегом... Лично я возвращаюсь туда, откуда удрал пять лет назад. Попался, как полный идиот, как раз когда собрался пришить иуду, заложившего меня десять лет назад... Давайте держаться вместе. В Сен-Мартене они пихают в каждую камеру по десять, человек. Всех подряд, без разбора.

Дружище Жуло ошибся. По прибытии его и еще двоих заключенных сразу изолировали от остальных. Эти трое совершили побеги с каторги, были пойманы во Франции и теперь подлежали особой повторной отправке.

И вот началась жизнь в ожидании,

Камеры, столовая, двор, где мы маршировали часами... Раз-два, раз-два, раз-два!.. Маршировали группами по сто пятьдесят человек. Эдакой длинной змеей, лишь деревянные сабо стучали. Разговаривать не разрешалось. По команде «разойдись!» рассаживались на земле, образуя группы по кланам или статусу. Сначала так называемая «аристократия», «киты» уголовного мира. Здесь не смотрели, откуда ты, — тут были корсиканцы, люди из Марселя, Тулузы, Бретани, Парижа и так далее. Выл даже один человек из Ардеша, а именно я. Кстати, во всем конгоне, насчитывающем около двух тысяч человек, из Ардеша было только двое — я и еще один парень, осужденный за убийство жены. Что свидетельствует о том, что в Ардеше живут в основном добропорядочные ребята. Прочие группы формировались более или менее случайно, ведь на каторгу попадают чаще новички, нежели матерые преступники.

Как-то днем я сидел и грелся на солнышке, как вдруг ко мне подошел незнакомый человек. Маленький, хрупкий, в очках. Я пытался его «определить», но это оказалось непросто. Одинаковая одежда нивелировала.

— Это ты тот тип, которого тут кличут Папийон? — Он говорил с корсиканским акцентом.

— Да, точно. Ну, и что тебе от меня надо?

— Пойдем в сортир, — предложил он и направился туда первым.

— Этот парень, — заметил Дега, — с Корсики. Наверняка из бандитов-горцев. Как ты думаешь, чего он от тебя хочет?

— Пойду узнаю.

Я направился к туалетам, расположенным посреди двора, вошел и сделал вид, что мочусь. В той же позе рядом со мной стоял тот человечек. Не оборачиваясь, он сказал.

— Я шурин Паскаля Матра. Мы виделись с ним в комнате свиданий, он сказал, что я могу обратиться к тебе, когда понадобится помощь. От его имени.

— Да, Паскаль мой друг. А что тебе надо?

— Я больше не могу держать патрон. У меня дизентерия. Не знаю, кому доверить. Боюсь, что сопрут или охрана найдет. Прошу тебя, Папийон, поддержи у себя несколько дней. — И он показал мне патрон гораздо больших размеров, чем мой. Я испугался, что это ловушка, — а вдруг это делается специально, чтобы выяснить, есть ли у меня собственный. Если скажу, что два мне не удержать, он поймет, что у меня тоже есть. Сохраняя невозмутимость, я спросил:

— А там сколько?

— Двадцать пять кусков.

Без долгих слов я взял патрон — идеально чистый — и прямо на его глазах засунул себе в задницу, размышляя при этом, может ли человек удержать сразу два патрона. Встал, застегнул штаны... Вроде бы порядок. Второй патрон меня не беспокоил.

— Я Игнасио Гальгани, — оказал бывший владелец патрона перед тем, как уйти. — Спасибо тебе, Папийон.

Я вернулся к Дега и поделился с ним новостью.

— Не тяжело?

— Нет.

— Ну и ладно. Забудем об этом.

Все это время мы пытались связаться с беглыми — Жуло или Гитту. Нужна была информация — как там что, как обращаются с заключенными, как устроить, чтобы тебя не разлучили с другом, и прочее. По счастью, нам удалось наткнуться на одного весьма странного типа. Это был корсиканец, родившийся на каторге. Его отец служил охранником, они с матерью жили на островах Спасения. Сам он родился на острове Руаяль, одном из трех, два других назывались Сен-Жозеф и остров Дьявола. И ют, по иронии судьбы, теперь он снова возвращался туда, но уже не как сын охранника, а каторжником.

Он дал нам один очень ценный совет: побег следует совершать с каторги, так как бежать с островов практически невозможно. Надо стараться не попасть в список особо опасных, иначе не успеешь сойти на берег в Сен-Лоран-де Марони, как тебя изолируют на несколько лет, а то и на всю жизнь, в зависимости от приклеенного тебе ярлыка. В целом же на острова попадает не более пяти процентов заключенных. Остальные торчат на материке. Климат на островах здоровее, а на материке, как уже говорил Дега, подстерегают самце разнообразные болезни, неожиданная смерть, убийство и так далее.

Мы с Дега молили Бога, чтоб нас не послали на острова. Сам я терзался страхом — а вдруг меня сочтут особо опасным? Во-первых, пожизненное, во-вторых, история с Потрошителем, потом с начальником тюрьмы. Будет чудом, если не отправят на острова...

В один прекрасный день по тюрьме разнесся слух: не ходить в санчасть, что бы ни случилось, поскольку там якобы травят самых опасных, а заодно и больных, чтоб потом с ними не возиться. Все это, конечно, был бред чистейшей воды. Кстати, один парижанин, Франсис ла Пасс, стал тут же убеждать нас, что все это выдумки. Да, был такой тип, что умер от отравления, но родной брат Франсиса, работавший в санчасти, рассказал, как было дело.

Этот парень покончил жизнь самоубийством. Он был знаменитым медвежатником, поговаривали даже, что во время войны он умудрился ограбить немецкое посольство то ли в

Женева, то ли в Лозанне, и сделал это по заданию французской разведки. Заодно забрал какие-то очень важные документы и передал их французским агентам. Для этой работы его и выпустили из тюрьмы, где он отбывал пятилетний срок. А с начала двадцатых годов он жил тихо и выходил на дело не чаще, чем раз в полгода. И всякий раз, попавшись, начинал шантажировать следствие, тут же немедленно вмешивалась разведка, и его отпускали. Однако в последний раз это не сработало. Он схлопотал двадцать лет и подлежал отправке на каторгу. Чтобы не попасть в конвой, лег в больницу. По словам брата Франсиса, одной таблетки цианистого калия оказалось для него достаточно. Банки и разведка отныне могли спать спокойно.

Вообще двор гудел от разных историй, иногда правдивых, но большей частью выдуманных. Мы слушали все без разбора — это помогало скоротать время.

В сортир, во двор и в камеру я всегда ходил в сопровождении Дега. Из-за патронов, конечно. Он загоразживал меня от посторонних любопытных глаз.

Один патрон — это уже не сахар, а у меня все еще их было два. Гальгани становилось все хуже и хуже. Вообще, таинственное дело патрон, который я засовывал последним, последним и выходил, а первый — всегда первым. Как они там переворачивались в кишках — понятия не имею. Но факт есть факт.

Вчера в парикмахерской попытались прикончить Клозио, как раз в тот момент, когда его брили. Два ножевых ранения у самого сердца. Он не погиб только чудом. Эту историю рассказал его друг. Причина покушения — сведение счетов. Однажды в душевой между двумя братьями разгорелась драка. Они сцепились, как дикие коты. Потом одного из них посадили к нам в камеру. Звали его Андре Байяр. Сам он объяснил, что наказывать его за драку никак нельзя. Это целиком вина администрации, ведь охране предписывалось ни в коем случае не допускать встречи братьев. Сейчас вы поймете почему.

Андре убил старуху из-за денег, а его брат Эмиль спрятал украденное. Вскоре сам Эмиль попался на краже и получил три года. И вот как-то в камере он все разболтал соседям: он был крайне зол, что брат не посылает ему денег и сигарет в достаточном количестве. Он выложил все: и как Андре убил старуху, и как он, Эмиль, спрятал деньги. Более того, он даже поклялся, что, когда выйдет, не даст Андре ни су. Один из заключенных поспешил поделиться услышанным с начальником тюрьмы. Андре арестовали, а вскоре обоих братьев приговорили к смертной казни. В тюрьме они оказались в соседних камерах смертников. Каждый подал на пересмотр дела. Эмиля помиловали, а Андре отказали. Однако, щадя чувства Андре, их по прежнему продолжали держать все в тех же камерах и ежедневно выводили на прогулку вместе, скованными за ноги одной цепью.

На сорок шестой день в половине шестого утра дверь в камеру Андре отворилась. Пришли все и начальник тюрьмы, и секретарь суда, и прокурор, так яростно требовавший его головы. Так, значит, казнь... Начальник, сделав шаг вперед, уже собрался было зачитать смертный приговор, как вдруг ворвался адвокат Андре в сопровождении человека, который протянул прокурору бумагу. Все они вышли в коридор. У Андре в горле стоял ком, он не в силах был вымолвить ни слова. Это было невероятным — казнь еще никогда не останавливали, раз уж она началась. Но именно это и произошло

Только на следующий день после долгих мучительных часов ожидания Андре узнал от своего адвоката, что перед самой его казнью президента Думера убил некий Гор-гулов. Правда, Думер умер не сразу и адвокат всю ночь продежурил у стен госпиталя, предварительно сообщив министру правосудия, что если президент умрет до начала казни, которая традиционно

совершается между половиной пятого и пятью утра, то ее можно отменить на том основании, что в данный момент нет главы государства. Думер скончался в две минуты пятого. Времени оставалось в обрез, но адвокат успел сообщить в министерство, прыгнуть в такси и примчаться в тюрьму в сопровождении чиновника с указом об отмене казни. Опоздал он всего минуты на три, в камеру Андре только что вошли. Обоих братьев приговорили к пожизненным каторжным работам. В день выборов нового президента адвокат направился в Версаль и, как только был избран Альбер ле Брун, подошел к нему и подал петицию. Еще ни один президент не отказался подписать первую поданную ему петицию. «И вот, ребята, я здесь, — рассказывал Андре. — Живой и здоровый и еду с вами в Гвиану».

Однако мы так с ним и не подружились. При мысли о том, что он убил старую беззащитную женщину ради денег, меня начинало тошнить. А вообще этот Андре был удивительный везунчик. Позже на острове Сен Жозеф он убил своего брата. Нашлись и свидетели этого происшествия — несколько заключенных. Эмиль удил рыбу, стоя на камне и не замечая ничего, кроме своей удочки. Рокот прибой заглушал все звуки. Андре подкрался к брату сзади, вооруженный толстой трехметровой бамбуковой палкой, и одним движением толкнул его в воду. Бухта кишела акулами. И Эмиль угодил им на обед. Он не явился на вечернюю поверку и был зарегистрирован как пропавший без вести при попытке к бегству. Вскоре о нем благополучно забыли. Лишь несколько заключенных, собиравших кокосовые орехи в горах, видели, что произошло, и, конечно, об этом знали все, за исключением начальства. Андре Байяру никто не сказал ни слова.

За «хорошее поведение» его выпустили из тюрьмы и определили на свободное поселение в Сен-Лоран-де-Марони. Ему даже дали маленькую отдельную хижину. Как-то раз он поссорился с одним заключенным, обманом заманил его в эту хижину и убил ударом ножа в сердце. Его оправдали на том основании, что он якобы сделал это в целях самообороны. Позднее, когда отменили пожизненное заключение, он был помилован все с той же формулировкой: «за хорошее поведение».

Заключенных в Сен-Мартен-де-Ре можно было разделить на две основные группы: человек восемьсот или тысяча настоящих преступников и около девятисот депортированных. Настоящим считался тот, кто действительно совершил серьезное преступление или по крайней мере был осужден за таковое. Самое мягкое наказание в этом случае — семь лет каторги. Дальше — больше, вплоть до пожизненного. Получившего помилование после смертного приговора автоматически осуждали на пожизненное.

С депортированными все обстояло совсем иначе. Осужденного от трех до семи раз за мелкие преступления обычно депортировали. В основном это были мелкие воришки. Конечно, общество должно как-то ограждать себя от таких людей, и все же позор, что цивилизованная нация использует при этом такую страшную меру, как депортация. По большей части эти неумелые начинающие воришки шуровали по магазинам, и максимум, что им удавалось наворовать за всю жизнь, — это десять тысяч франков. А их приговаривали практически к пожизненной каторге. Величайшая бессмыслица, которую совершает так называемое гуманное французское общество. Нация не имеет права мстить или стирать с лица земли людей, которые вставляют мелкие палки в колеса государственной машины.

Уже семнадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Мы уже знаем название парохода, который повезет нас на каторгу, — «Мартиньер». Он должен был принять на борт двести тысяч заключенных. И вот утром около девятисот заключенных собрали во внутреннем дворе крепости. Выстроенные рядами по десять человек в каждом, мы простояли там примерно час. Наконец распахнулись ворота, и во двор вошли охранники, одетые совсем не так, как наши. На них была добротная, военного образца форма небесно-голубого цвета. Ни на

жандармов, ни на солдат они не походили. На каждом — широкий пояс с кобурой, откуда торчала рукоятка револьвера. Было их человек восемьдесят. Некоторые носили на рукавах нашивки. Все, как один, крепкие, загорелые, возраста самого разного — от тридцати пяти до пятидесяти лет. Те, что постарше, выглядели как-то посимпатичнее в отличие от молодых, выпячивающих грудь и всячески напускающих на себя важность. Вместе с ними появились начальник тюрьмы, жандармский полковник, три или четыре врача в колониальной форме и два священника в белых сутанах. Жандармский полковник приложил к губам мегафон. Мы ожидали услышать «Смирно!» Но он сказал.

— Эй, вы, все! Слушайте меня внимательно! С этого момента вы подчиняетесь властям министерства правосудия, представляющим здесь администрацию Французской Гвианы, с центром в городе Кайенна. Господин майор Барро, я передаю вам здесь восемьсот шестьдесят заключенных и прилагаю поименный список. Будьте любезны проверить их по этому списку.

Началась переключка; длилась она часа два. Все соответствовало списку. Затем двое чиновников по очереди поставили свои подписи на бумагах — с этой целью им даже вынесли во двор маленький столик.

У майора Барро нашивок было столько же, сколько у полковника, правда, золотых, а не серебряных, как у жандармов. Настал его черед взяться за мегафон.

— Этапники! Отныне вас будут называть именно так! Этапник такой-то и такой-то или этапник номер такой-то — каждому дадут номер. Отныне вы подчиняетесь особому распорядку каторги и попадаете под действие трибунала внутренних дел. Он будет решать вашу судьбу. За преступление, совершенное на каторге, трибунал может вынести вам любой приговор — вплоть до смертной казни. Дисциплинарное наказание отбывается либо в общей тюрьме, либо в одиночной камере. Люди, которых вы здесь видите, называются надзирателями. Обращаться к ним можно только так «Господин надзиратель!» После баланды каждый получит по матросскому мешку с формой, там есть все необходимое, ничего другого с собой не брать! Завтра начнется погрузка на борт.

И не расстраивайтесь, что покидаете страну, на каторге куда лучше, чем во французской тюрьме! Можете переговариваться, развлекаться, пить и курить. Лупить вас никто не собирается, если только сами не напроситесь. Прошу оставить сведения всех личных счетов до Гвианы. Если среди вас есть такие, которые считают, что не перенесут путешествия, прошу каждого доложить, их осмотрят врачи, сопровождающие конвой. Желаю всем доброго пути!

На этом церемония закончилась.

— Ну, Дега, что ты обо всем этом думаешь?

— Знаешь, Папийон, старый ты чудило, теперь я понял, что был прав, когда говорил, что самое страшное — это уголовники. Даром, что ли, он сказал «Оставьте сведения счетов до Гвианы»... Представляешь, что будет твориться в дороге, сколько народу порежут?

— Ладно, не психуй. Положись на меня. Я разыскал Франсиса ла Пасса и спросил:

— А что твой брат, по-прежнему в санитарях?

— Ага. Он вообще не блатной, так себе, дерьмо вонючее.

— Тогда свяжись с ним как можно скорей и попроси скальпель. Запросит бабки, скажешь мне сколько. Я заплачу.

Часа через два я стал обладателем прекрасного скальпеля с прочной и длинной стальной ручкой. Единственный недостаток — уж больно велик. Но зато грозное оружие, даже с виду.

Я уселся невдалеке от туалетов и послал за Гальгани, которому твердо вознамерился вернуть патрон. Его практически приволокли ко мне, потому как даже в очках с толстыми линзами он почти ни хрена не видел. Надо сказать, выглядел он получше. Подошел и, ни слова не говоря, пожал мне руку.

— Хочу вернуть тебе патрон, — сказал я. — Ты вроде бы оклемался: можешь сам его носить. Не могу взять на себя на корабле такую ответственность, а потом, кто знает, куда нас раскидают, когда приплывем... Так что уж лучше возьми. — Гальгани испуганно таращил на меня глаза за стеклами очков. — Идем в сортир, — продолжил я. — Там и отдам.

— Да ну его на фиг! Не нужен он мне. Дарю! Он твой.

— Ты что, сдурел?

— Не хочу, чтоб из-за него меня пришили. Лучше уж жить без денег, чем оказаться с порезанным горлом и задницей.

— Что, наложил в штанишки, Гальгани? Может, тебе угрожали? Кто знает, что ты заряженный?

— Да какие-то три араба ходят за мной всю дорогу. Потому я и к тебе не подходил, чтоб не учуяли. Каждый раз, как иду в туалет, днем или ночью, один из них подходит и пристраивается рядом. Я уж сколько раз показывал, что нету, а они все равно не отстают. Подозревают, что я передал патрон, вот только кому, не знают. Вот и следят, надеются, что мне его вернут.

Повнимательней взглядевшись в его лицо, я понял, что этот человек смертельно напуган, и спросил:

— А где они ошиваются, в какой части двора?

— Да вон там, где кухня и прачечная.

— Ладно, побудь здесь. Я скоро. Хотя нет, идем лучше со мной.

И вот вместе с Гальгани я отправился к арабам, предварительно вынув скальпель из кепи и запрятав в рукав так, чтобы рукоятка оставалась в ладони. Мы пересекли двор, и я тут же увидел их. Четверых. Три араба и корсиканец, некий тип по имени Жирандо. Оценив ситуацию, я сообразил: блатные отшили этого корсиканца, вот он и прилепился к арабам.

— Привет, Мохран, как дела?

— Нормально, Папийон. Как ты? Нормально?

— Да куда там, хреново. Вот, пришел сказать твоим ребятам, что Гальгани — мой друг. И если с ним что случится, то ты, Жирандо, получишь первый, а потом все остальные. Вот такой расклад.

Мохран поднялся. Он был высокий, почти с меня ростом, и широкоплечий. Видно, мои слова заделали его за живое, он уже собрался броситься в бой, но тут я вытащил из рукава скальпель и сказал:

— Только дернись, убью как собаку!

Все это — и сам факт, что у меня имелся скальпель в таком месте, где все время обыскивают, и длина его лезвия — произвело на него должное впечатление. И Мохран сказал:

— Я встал, чтобы потолковать, а не драться. Я знал, что он врет, но не собирался уличать.

— Ладно, почему не потолковать... Это можно.

— Я не знал, что Гальгани твой друг. Думал, он так, сопляк недоделанный. А ты сам знаешь, Папийон, коли человек собирается бежать, ему нужны бабки.

— Это верно. Каждый человек имеет право бороться за свою жизнь, Мохран. Но только держись подальше от Гальгани, понял? Поищи в другом месте.

Он протянул мне руку, я крепко пожал ее. Можно считать, пока пронесло. Потому как если б я убил этого типа, то на следующий день меня никуда бы не отправили. Чуть позже я понял, какую серьезную совершил ошибку. Мы с Гальгани ушли.

Я сделал еще одну попытку убедить его забрать патрон, на что он ответил:

— Завтра, перед отправкой.

Но завтра он как сквозь землю провалился, так что пришлось подниматься на борт с двумя патронами.

В ту ночь ни один из нас, а в камере нас было одиннадцать человек, не промолвил ни слова. Все думали об одном: сегодня последний день на земле Франции. И каждый заранее тосковал и не мог примириться с мыслью, что покидает родину раз и навсегда, что в конце пути нас ждет неведомая земля, неведомый и чуждый образ жизни.

Итак, что мы имеем? Мне двадцать шесть, я крепок и здоров, в кишках у меня пять тысяч шестьсот собственных франков и еще два с половиной куса, принадлежащих Гальгани. У моего товарища Дега своих десять кусков.

Итак, все складывается не так уж плохо. Как только мы доберемся, попробую бежать вместе с Дега и Гальгани.

Это главное, на чем следует сосредоточить силы. Я прикоснулся пальцем к лезвию. Холодная сталь вселяла чувство уверенности. Хорошо, что в руках у меня такое грозное оружие. В его полезности я убедился только что, разговаривая с арабами.

В три часа ночи к решетке нашей камеры положили одиннадцать мешков. Все полные, и на каждом ярлык. Мне удалось прочитать надпись на одном из них: «К. Пьер, 30 лет, 1 м 73 см, талия 42, размер обуви 41, номер такой-то». Этот Пьер К. был тот самый Придурок Пьеро из Бордо, что получил двадцать лет за непреднамеренное убийство.

Парень он был неплохой, среди уголовников завоевал репутацию порядочного. Бирка показала, насколько серьезно и организовано подходят власти к проблеме экипировки. Уж куда лучше, чем в армии, где все надо примерять или вещи просто раздаются на глазок. Здесь же все аккуратно записывали и каждый человек получал одежду и обувь точно своего размера. Из мешка торчал кусочек ткани, по нему было видно, какого цвета форма — белая с вертикальными красными полосами. Да, в таком костюме незамеченным далеко не уйдешь!

Придурок Пьеро подошел к решетке и спросит

— Ну как, все нормально, Папи?

— Нормально. А ты?

— Знаешь, лично я всегда мечтал прошвырнуться в Америку. Но я картежник, причем заядлый, и все никак не удавалось скопить. А тут такой подарок! Причем бесплатно

— Гляди, Пьеро! Вон, видишь, твой мешок.

Он наклонился и внимательно прочитал надпись на бирке и, медленно выговаривая каждое слово, заметил:

— Жду не дождусь, как натянуть на себя эти шмотки. Открою-ка я его, пожалуй. Кто мне что скажет? Вещи-то мои...

— Да оставь ты мешок в покое. Нам скажут, когда одеваться. Не то еще нарвешься на неприятности, Пьер. А на фиг они нам, неприятности...

Он согласился и отошел от решетки. Луи Дега посмотрел на меня и сказал:

— Ну что, последняя ночка, малыш? А завтра — прощай, прекрасная Франция?

— У прекрасной Франции совсем не прекрасные законы, Дега. Возможно, нам доведется попасть и в другие страны, пусть не такие прекрасные, но зато более гуманные по отношению к человеку, что всего лишь раз оступился.

Я и не предполагал, насколько близок был к истине.

ОТПРАВКА

В шесть утра все пришло в движение. Заключенным дали кофе. Затем появились охранники. Сегодня они были в белом, но с револьверами, впрочем, не расставались. Безупречно белые мундиры и пуговицы, сверкающие как золото. У одного на рукаве было целых три золотые нашивки.

— Этапники! Выходить в коридор по двое! Каждый со своим мешком, на бирке есть имя. Взять мешок и стать спиной к стене, мешок держать перед собой.

Минут через двадцать все мы выстроились в коридоре, поставив мешки у ног.

— Раздеться! Скатать одежду, завернуть в куртки и связать рукава! Вот так. Эй, ты, там, собери узлы и закинь в камеру!.. Теперь одеваться — сперва кальсоны, майку, штаны, потом куртки, носки, ботинки... Ну вот. Все одеты?

— Да, господин надзиратель!

— Так. Хорошо! Вынуть из мешков шерстяные свитеры, на случай дождя или холода. Мешок через левое плечо и по двое — за мной!

Через два часа во дворе уже выстроились восемьсот десять заключенных. Затем выкликнули сорок человек, в том числе меня, Дега и еще троих, совершивших ранее побег, — Жуло, Гальгани и Сантини. Нас выстроили в четыре ряда по десять человек в каждом. К каждой

такой колонне приставили по охраннику. Ни цепей, ни наручников. В десяти метрах впереди, развернувшись к нам лицом, шли жандармы. Так и пятились с ружьями наперевес.

Огромные ворота отворились, и колонна медленно пришла в движение. На выходе из крепости к охране присоединилось подкрепление — жандармы с автоматами, держались они метрах в двух от нас и старались попадать в ногу. Еще целая орава жандармов сдерживала огромную толпу зевак, собравшихся поглазеть на нас. Где-то на полпути к бухте я услышал тихий свист из окон одного дома. Поднял глаза и увидел в одном окне мою жену Нинетт и моего друга Антуана Д., а в другом — Паулу, жену Дега, и его приятеля Антуана Жилетти. Дега тоже заметил их. Так мы и промаршировали, не сводя глаз с этих окон. Это было в последний раз, когда я видел свою жену и Антуана — он погиб несколько лет спустя при воздушном налете на Марсель. Никто не произнес ни слова — и на улице, и в колонне полное молчание, разрывающее сердце. Даже охранники и жандармы не решались нарушить его — каждый знал, что эта тысяча с лишним человек навсегда уходит из прежней своей жизни.

Мы поднялись на борт. Первые сорок человек, в числе которых был и я, погрузили на самое дно трюма, в камеру с толстыми решетками. На ней висела табличка: «Отсек № 1. 40 человек спецкатегории. Строгое непрерывное наблюдение». Каждому выдали скатанный в рулон гамак с колечками, с помощью которых его можно было подвесить к стене. Внезапно кто-то схватил меня за руку. Жуло! У него уже был опыт — десять лет назад ему довелось проделать точно такое же путешествие. Он сказал:

— Быстрее сюда. Ставь мешок там, где будет висеть гамак. Это хорошее место, возле иллюминатора. Сейчас он задраен, но, когда выйдем в море, его откроют, и в этой клетке будет чем дышать.

Я познакомил с ним Дега. Мы сидели и болтали, как вдруг к нам подошел какой-то тип. Жуло вытянул руку, преграждая ему путь, и сказал:

— Не смей соваться в этот угол, если хочешь доплыть живым. Понял?

— Да, — ответил тип.

— И знаешь почему?

— Да.

— Тогда отваливай.

Парень ушел. Дега был в восторге, видя, как нас боятся.

— Да, ребята, пока вы со мной, можно спать спокойно! Путешествие длилось восемнадцать дней. За все это

время было только одно происшествие. Как-то ночью «ас разбудил дикий, нечеловеческий крик. Нашли труп с торчавшим между лопатками длинным ножом. Парня проткнули насквозь, снизу вверх, через гамак. Чудовищное оружие, длина лезвия сантиметров двадцать, если не больше.

Со всех сторон тут же слетелись охранники и через решетку направили на нас свои ружья и револьверы.

— Всем раздеться! Живо! Живо!

Поняв, что предстоит шмон, я наступил босой ногой на скальпель, перенеся всю тяжесть веса на другую, чтобы не порезаться. Охранники ворвались в камеру и начали перетряхивать все, от ботинок до одежды. Перед тем как войти, они оставили оружие снаружи и заперли двери. Правда, через решетку нас держали под прицелом другие.

— Кто шевельнется — покойник! — предупредил старший.

Во время обыска они обнаружили три ножа, два длинных заточенных гвоздя, штопор и золотой патрон. На палубу выволокли шесть человек, как были, в чем мать родила. Охранники столпились на одном конце палубы. В середине стоял Барро и прочее начальство. Напротив выстроились в ряд по стойке смирно шестеро голых мужчин.

— Это его! — Один охранник указал на владельца ножа.

— Верно, мой.

— Прекрасно, — заметил Барро. — Дальше он поедет в отдельной камере под машинным отделением.

Остальные тоже признали, что найденное оружие принадлежит им. И каждого увели вверх по трапу в сопровождении двух охранников. На палубе остался один нож, один золотой патрон и всего один человек. Он был молод, лет двадцати трех — двадцати пяти, сложен как атлет, с красивыми синими глазами.

— Твой? — спросил надзиратель, указав на патрон.

— Да, мой.

— Что в нем? — спросил Барро, взяв в руки патрон. — Триста фунтов стерлингов, двести долларов и два

бриллианта по пять каратов каждый.

— Прекрасно, проверим... — Он открыл патрон. Вокруг него столпились люди, и мы ничего не видели. Но слышали, как Барро сказал:

— Все верно. Имя?

— Сальваторе Ромео.

— Итальянец?

— Да, господин.

— За патрон тебя наказывать не будем. Накажем за нож.

— Прошу прощения, но нож не мой.

— Ври, да не завирайся, — сказал один из охранников. — Я нашел его у тебя в ботинке.

— Повторяю — не мой.

— Выходит, я лгу, так?

— Нет, Вы просто ошибаетесь.

— Если, не хочешь, чтоб тебя засадили в карцер, а ты там живьем сваришься, потому как он под котлом, говори, чей нож!

— Не знаю.

— Нож нашли у него в ботинке, а он, видите ли, не знает! Пусть не твой, но ты должен знать чей. Говори!

— Не мой. А чей — не скажу, и все тут. Я не доносчик. Что я, заодно с вами, что ли?

— Надеть на него наручники! Сейчас мы тебе пропишем!

Два офицера, капитан корабля и начальник конвоя пошептались между собой. Затем капитан отдал какое-то распоряжение боцману, тут же отправившемуся на верхнюю палубу. Через несколько секунд появился моряк-бретонец, настоящий гигант. В одной руке он держал деревянное ведро с морской водой, в другой веревку толщиной с руку в запястье. Заключенного привязали к нижней ступеньке лестницы и поставили на колени. Матрос обмакнул веревку в ведро, а затем изо всей силы стал хлестать беднягу по спине и заднице. На коже выступила кровь, но несчастный не проронил ни звука. Гробовое молчание нарушил крик из камеры:

— Вы, сволочи, ублюдки, убийцы поганые!!!

Казалось, только того и ждали заключенные, чтобы разразиться криками: «Убийцы! Свиньи! Скоты!» И чем дольше нам угрожали ружьями, тем громче ревели мы, пока наконец капитан не скомандовал:

— Пустить пар!

Матросы повернули какие-то рычаги, и пар обрушился на нас с такой силой, что в долю секунды все лежали ничком на полу. Струи пара находились примерно на уровне груди. Всех охватила паника. Ошпаренные, обожженные, мы больше не осмеливались издать ни звука. Длилось это меньше минуты, но струхнули мы здорово.

— Ну, скоты, поняли теперь?! Еще кто вякнет, снова пускаю пар! Поняли? Встать!!!

Серьезные ожоги получили трое. Их увели в санчасть. Парня, из-за которого заварилась вся эта каша, поместили к нам в камеру. Шесть лет спустя он погибнет, совершая со мной побег.

Времени в пути оказалось достаточно, чтобы получить хоть какое-то представление о том, что нас ждет на каторге. И все же, оказавшись там, мы поняли, что все обстоит иначе, вопреки стараниям Жуло передать нам свой опыт и знания. Так, например, мы узнали, что Сен-Лоран-де-Марони — деревня в ста километрах от моря и что стоит она на реке Марони. Вот что сказал Жуло:

— В деревне тюрьма, что-то вроде административного центра каторги. Там сортируют заключенных. Депортированных направляют прямоком в тюрьму Сен-Жак, что в ста пятидесяти километрах от центра. Остальных делят на три группы. Первая категория — самые опасные, по прибытии их сразу отделяют и распикивают по камерам дисциплинарного блока, а потом отправляют на острова Спасения. Эти острова находятся в пятистах километрах от Сен-Лорана и в ста — от Кайенны. Острова три: Руаяль, самый большой, Сен-Жозеф с тюрьмой

одиноким заключения и остров Дьявола, самый маленький. На остров Дьявола отправляют разве только в самых исключительных случаях, там сидят политические. Потом вторая категория — «опасных», они остаются на Сен-Лоране в лагере и занимаются садоводством или земледелием. При необходимости их могут отправить в лагерь жесткого режима — Кам Форестье, Шарвен, Каскад, Крик Руж и на 42-й километр. Этот, последний, называют еще лагерем смерти.

Ну и, наконец, последняя категория — самые благонадежные. Они получают работу в конторах, на кухнях, работают мусорщиками или в разных мастерских — плотниками, малярами, кузнецами, электриками, делают матрасы, стирают и так далее. Итак, решающий момент — день прибытия. Если тебя отделили от остальных и засадили в камеру, значит, тебя отправят на острова. И тогда можешь распрощаться с мыслью о побеге. Тут только один шанс — быстренько покалечиться — разрезать коленку или брюхо, чтобы тебя отправили в госпиталь. Словом, любой ценой постараться отвертеться от островов. Еще один шанс: пока корабль, отвозящий заключенных на острова, не готов к отправке, попробовать подкупить санитаря. И тот сделает укол скипидара в сустав или засунет в порез волосы, вымоченные в моче, чтобы рана воспалилась, или даст подышать серой, а потом доложит врачу, что у тебя температура под сорок.

Если тебя не вызвали, а оставили вместе с другими в лагерьном бараке, у тебя будет время подыскать работу, но только на территории лагеря. Тут снова надо сунуть начальству, чтобы устроиться золотарем, мусорщиком в деревне или на лесопилку к частнику. Тогда ты будешь свободен в передвижении, ведь в лагерь нужно возвращаться только к вечеру, что даст возможность связаться с вольными поселенцами, живущими в деревне, или с китайцами, которые могут помочь организовать побег. В другие лагеря нос лучше не совать. Там люди мрут как мухи. Больше трех месяцев никто не выдерживает. А в джунглях заключенных заставляют рубить деревья по кубометру в день на каждого.

На протяжении всего пути Жуло накачивал нас всей этой ценной информацией. Со своей судьбой он уже смирился. Он знал, что как совершивший побег прямиком отправится в дисциплинарный блок. Потому он запасся небольшим кусочком бритвы, запрятал его в свой патрон. Сразу по прибытии он собирался разрезать себе колено. Он уже решил, что, спускаясь по трапу, свалится с него у всех на глазах. И тогда его прямо с парохода заберут в больницу. Так оно и случилось.

СЕН-ЛОРАН-ДЕ-МАРОНИ

Охранники переоделись. Они предстали перед нами во всем белом, а кепи сменили на колониальные шлемы. «Вот и прибыли», — заметил Жуло. Жара стояла чудовищная, к тому же снова задраили все иллюминаторы. Через стекло смутно виднелся в отдалении лес. Это значило, что мы уже плывем по реке Марони. Мутная вода, нетронутый девственный лес, ярко-зеленый и величественный. Вспугнутые ревом сирены, с веток срываются и носятся по небу птицы.плыли мы очень медленно, и всю буйную пышную растительность удалось хорошо разглядеть. Вот показались первые деревянные дома под жестяными крышами. В дверях стояли черные мужчины и женщины, глядя на проплывающий мимо пароход. Они уже привыкли, что пароход этот возит живой груз, и не приветствовали нас даже взмахом руки. Еще три последних гудка, шум винта стих, и мы остановились. Ни звука, полная тишина, слышно было, как пролетает муха.

Жуло раскрыл нож и начал разрезать штаны на колене так, чтобы порез выглядел рваным. Само колено он собирался разрезать на палубе, чтобы не оставлять в трюме следов крови. Охранники отперли камеры и выстроили нас по трое. Жуло, Дега и я оказались в четвертом

ряду. Мы поднялись на палубу. Было два часа дня, и жгучие лучи ослепительного солнца словно хлестнули по коротко стриженной голове и глазам. Нас повели к трапу. Когда первый человек начал спускаться, колонна чуть замешкалась, и тут Жуло передал мне свой мешок. Он хотел, чтобы обе руки были у него свободны. Одним ударом он нанес себе рану сантиметров в шесть-семь. Потом передал мне лезвие и взял свой мешок. И как только мы вступили на трап, он упал и скатился вниз. Его подняли и, увидев рану, тут же вызвали санитаров с носилками. Сцена была разыграна как по нотам.

С пристани на нас с любопытством глазела пестрая толпа. Негры, полукровки, индейцы, китайцы и какой-то беглый брод (наверняка бывшие заключенные, или освободившиеся, или из вольных поселенцев), они внимательно разглядывали каждого из вновь прибывших по мере того, как мы сходили на берег и выстраивались на пирсе. По другую сторону стояли охранники, прилично одетые мужчины в штатском, женщины в летних платьях, дети — все в солнцезащитных шлемах. Они тоже разглядывали нас. Когда на берегу собралось человек двести, колонна пришла в движение. Шли мы минут десять, пока не приблизились к высоким бревенчатым воротам с надписью: «Тюрьма Сен-Лоран-де-Марони. Вместимость 3000 человек». Ворота отворились, и рядами по десять человек мы вошли внутрь. «Левой, правой, левой, правой, шагом марш!» На нас со всех сторон глазели заключенные. Некоторые даже взобрались на подоконники, чтобы разглядеть получше.

Оказавшись в центре двора, услышали команду: «Стой! Мешки к ногам! Эй, раздать им шляпы!» Каждый из нас получил соломенную шляпу, крайне необходимую здесь вещь — двое-трое из заключенных уже успели получить солнечный удар. Какой-то надзиратель с нашивками взял в руки список, и мы с Дега обменялись быстрыми взглядами. Настал тот критический момент, о котором предупреждал Жуло. Первым выкликнули Гитту: «Пройди сюда!» Его увели двое охранников. Затем то же произошло с Сузини, потом с Жирасом.

— Жюль Пиньяр!

— Жюль Пиньяр (это и был наш Жуло) ранен, в, больнице.

— Хорошо.

Так были вызваны все, предназначенные для отправки на острова. А надзиратель продолжал:

— Слушай меня внимательно! Каждый, кого я выкликну, делает шаг вперед, мешок держать на плече и строиться вон там, возле желтого барака номер один!

Переключка продолжалась. Дега, Каррье и я выстроились вместе с остальными возле барака. Двери открылись, и мы вошли в большое помещение прямоугольной формы.

В середине шел проход метра два шириной с толстыми железными прутьями по обе стороны. Между прутьями и стеной были подвешены полотняные гамаки, на них лежало по одеялу. Каждый сам выбирал себе место. Дега, Придурок Пьеро, Сантори, Гранде и я разместились по соседству. Тут же начали образовываться небольшие группки — гурби [6]. Я прошел в дальний конец барака и обнаружил справа душ, слева — туалеты. Водопроводной воды не было.

Начала прибывать вторая партия заключенных, мы наблюдали за ними из окон, вцепившись в решетки. Луи Дега, Придурок Пьеро и я были в самом прекрасном настроении — раз мы попали в обычный барак, значит, нас не интернируют. Иначе нас давно бы отделили от остальных, как предупреждал Жуло.

В тропиках сумерек нет, день и ночь сменяются резко, сразу. Вы моментально переходите из

ночи в день и наоборот, и так круглый год. Где-то в половине седьмого — бах! — и сразу ночь. А ровно в полседьмого два старика-заключенных вносят в барак две керосиновые лампы и подвешивают их на крючке к потолку. Светят они тускло, и три четверти помещения погружены во тьму.

К девяти часам все уже спали, утомленные путешествием и впечатлениями по прибытии, к тому же жара буквально валила с ног. Ни глотка свежего воздуха. Все разделись до трусов. Гамак мой висел между гамаками Дега и Придурка Пьеро. Пошептавшись немного, мы тоже заснули.

Наутро, еще затемно, прозвучал сигнал побудки. Все поднялись, умылись, оделись. Нам принесли кофе и по куску хлеба. Для каждого в стену была вбита полочка для хлеба, кружки и прочих мелких вещей. В девять в бараке появились два охранника с молодым заключенным, одетым в белое, но без полосок. Охранники оказались корсиканцами, они заговорили по-корсикански со своими из заключенных. Затем в барак вошел санитар. Когда подошла моя очередь, он спросил:

— Как поживаешь, Папи? Ты что, меня не узнаешь?

— Нет.

— Я Серра, из Алжира. Мы встречались в Париже, у Данте.

— Ах да, теперь вспомнил! Но тебя же сослали на каторгу в 29-м, сейчас 33-й, выходит, ты все еще здесь?

— Да. Так сразу отсюда не выбраться. Скажись больным, ладно? А этот парень кто?

— Дега, мой друг.

— Я его тоже запишу к врачу. А ты, Папи, помни, у тебя дизентерия. А у тебя, старина, приступы астмы. Увидимся у врача в одиннадцать, мне надо вам еще кое-что сказать.

И он двинулся дальше, выкликая: «Ну, кто тут еще болен?» И подходя к тем, кто поднимал руку, записывал их имена. На обратном пути он подошел к нам уже с охранником, пожилым загорелым человеком.

— Папийон, позволь представить тебе моего начальника, старшего санитара Бартилони. Господин Бартилони, вот те два моих друга, о которых я говорил.

— Понятно. Чем можем, поможем.

Ровно в одиннадцать за нами пришли. Больными записалось девять человек. Мы пересекли двор, и подошли к белому зданию с красным крестом. В приемной сидело человек шестьдесят. В каждом углу по два охранника. Появился Серра в безупречно белом халате и скомандовал:

— Ты, ты и ты, войдите!.. Позволь тебя обнять, Папи. Буду рад помочь тебе и твоему другу. Вас обоих собираются отправить на острова... Дай мне докончить! Ведь у тебя пожизненное, Папи, а у тебя, Дега, пятнадцать лет. Бабки у вас имеются?

— Да.

Тогда давайте мне по пять сотен каждый, и завтра утром вас положат в больницу. У тебя

дизентерия, а у тебя, Дега, — астма. Барабань в дверь всю ночь напролет, а лучше пусть кто-нибудь вызовет охранника и скажет, что Дега погибает от астмы. Остальное — мое дело. Единственное, о чем прошу, Папийон, когда захочешь рвать когти, предупреди заранее. В больнице можем держать тебя месяц, за каждую неделю — по сотне. Так что не тни резину.

Фернандес вышел из туалета и на глазах у всех нас протянул Серра пятьсот франков. Настал и мой черед, и, когда я вышел, тоже протянул Серра деньги, только не тысячу, а полторы. Однако он отказался от лишних денег, и я не стал настаивать. Он объяснил это так:

— Бабки не для меня, а для охранников. Лично мне ты ничего не должен. Мы же друзья, верно?

На следующий день Дега, Фернандес и я оказались в огромной больничной палате. Дега срочно доставили сюда в середине ночи. Санитаром в отделении был малый лет тридцати пяти по имени Шатай. Он уже все про нас знал от Серра и при обходе должен был показать врачу мой анализ, где кишмя кишели дизентерийные палочки. А за десять минут до обхода ему следовало поджечь серу и дать Дега подышать, накрыв голову полотенцем. У Фернандеса чудовищно опухло лицо — он наколот изнутри кожу щеки и в течение часа надувал ее. И так преуспел в этом занятии, что у него даже заплыл один глаз. Палата находилась на первом этаже. В ней размещалось около семидесяти больных, в основном дизентерийные. Я спросил Шатаю о Жуло.

вернуться

6

Шалаш (алж. диал.). В данном случае небольшая группа каторжан, которые ведут совместное хозяйство, спят рядом, защищают друг друга и свои интересы.

— Он в здании напротив. Хочешь что-нибудь передать?

— Да, скажи ему, что Папийон и Дега здесь. И попроси, пусть покажется в окошко.

Санитары входили и выходили отсюда свободно. Просто надо было постучать в дверь, и ее открывал араб. Этот араб, надзиратель из заключенных, был придан в помощь охранникам. По правую и левую сторону от двери стояли стулья, на которых постоянно сидели охранники с ружьями на коленях. Прутья оконных решеток были толщиной, чуть ли не с железнодорожный рельс. Интересно, размышлял я, можно ли перепилить такой? Я сидел у окна.

Между нашим корпусом и больницей, где находился Жуло, был сад, полный прелестных цветов. Но вот в окне появился Жуло. В руке он держал кусочек мела, которым начертил на стекле одно слово: «Браво». Через час санитар принес от него записку: «Постараюсь попасть к тебе в палату. Если не получится, попробуй ты в мою. У тебя в палате враги. Не падай духом. Мы еще им покажем». Мы с Жуло очень сблизились после происшествия в тюрьме Болье, когда нам обоим приходилось туго.

Жуло в свое время изобрел себе оригинальное орудие — деревянную колотушку и часто ею пользовался, за что его прозвали «Человек-Молоток». Средь бела дня он подкатывал на автомобиле к ювелирному магазину, где на витрине обычно выставлены самые лучшие драгоценности. За рулем сидел помощник, мотор они не выключали. Жуло выскакивал из машины с молотком, одним ударом разбивал витрину и хватал все, что попадало под руку и

сколько мог унести. Потом прыгал обратно в машину, и она тут же с ревом уносилась. Так он орудовал в Лионе, Анжере, Туре, Гавре. А однажды совершил налет на крупный ювелирный магазин в Париже в три часа дня и унес разных цацек стоимостью в целый миллион. Он никогда не рассказывал мне, как и на чем попался. Дали ему двадцать лет. И где-то на пятый год отсидки он сбежал. По его словам, арестовали его в Париже, сразу по возвращению. Он разыскивал там своего помощника, хотел пришить его из-за того, что тот не давал сестре Жуло денег, хотя должен был ему крупную сумму. Помощник заметил его на своей улице и донес в полицию. Жуло схватили и отправили обратно в Гвиану вместе с нами.

Вот уже неделя как мы в больнице. Вчера я отдал Шатаю двести франков за содержание нас двоих. Чтобы наладить отношения с соседями, мы угощали табакотом тех, у кого не было курева. С Дега подружился один матерый тип из Марселя, мужчина лет под шестьдесят по имени Карора. Он стал его советчиком. И по несколько раз на дню твердил, что если б у него были бабки и об этом знали бы в деревне (во французских газетах, которые сюда доставляли, публиковались отчеты о всех важных уголовных делах), он ни за что не стал бы бежать, потому как заключенные, разгуливающие на свободе, наверняка бы убили его из-за патрона. Дега пересказывал мне все беседы с этим стариком. И напрасно я советовал не слушать эту старую развалину. Дега продолжал свое, байки этого придурка производили на него неизгладимое впечатление. И хотя я всячески старался вселить в него бодрость, он совсем приуныл.

Я послал Серра записку с просьбой устроить мне свидание с Гальгани. Он обещал привести Гальгани ровно в полдень, на пять минут. Как раз в момент смены караула. Он выведет Гальгани на веранду, и мы сможем поговорить через окно. От платы за услуги Серра отказался. Действительно, ровно в полдень к моему окну подвели Гальгани. Я торопливо сунул ему в руки патрон. Он стоял на веранде и плакал. Два дня спустя я получил от него журнал, куда были вложены пять банкнот по тысяче каждая и записка с одним-единственным словом— «Спасибо»,

Журнал передал Шатай, он видел деньги. Однако не сказал ни слова. Я хотел отблагодарить его. Но он не брал ни в какую. Тогда я сказал:

— Мы собираемся бежать. Давай с нами?

— Нет, Папийои, я уже договорился с другими. Месяцев через пять, когда освободят одного моего товарища. Так будет лучше, по крайней мере наверняка... Я понимаю, ты торопишься, боишься, что тебя отправят на острова. Но выбраться отсюда, с такими решетками, крайне трудно. И не рассчитывай на мою помощь, своей работой я рисковать не буду. Лучше уж тихо и мирно дождусь, когда выпустят моего приятеля.

— Ладно, Шатай. Ни слова больше об этом.

— И все равно, — добавил он, — записки я для тебя носить буду.

— Спасибо, Шатай.

В ту ночь мы вдруг слышали автоматные очереди. А на следующий день узнали, что сбежал Человек-Молоток. Помогли ему Бог, он был хорошим товарищем. Должно быть, подвернулся шанс, вот он и воспользовался им. Что ж, все к лучшему.

Пятнадцать лет спустя, в 1948 году, я отправился на Гаити, где вместе с одним венесуэльским миллионером собирался подписать, контракт о хозяином казино, чтобы открыть свой игорный дом. И вот однажды ночью мы вышли из клуба, где пили шампанское, и одна из девиц, что была с нами, — угольно-черная, но воспитанная в лучших традициях французской

провинциальной семьи — вдруг сказала:

— Моя бабушка колдунья, она исповедует религию вуду и живет со старым французом. Когда-то он бежал из Кайенны. Они вместе вот уже пятнадцать лет, и он почти все время пьян. Его зовут Жюль Молоток. И я немедленно воскликнул:

— А ну-ка, цыплелок, быстренько вези меня к своей бабушке.

Она договорилась с таксистом, и мы помчались. Проезжая мимо ночного бара, все еще открытого, я попросил остановиться, купил там бутылку перно, две бутылки шампанского и две местного рома. Теперь едем! Наконец мы подъехали к ухоженному белому домику с красной черепичной крышей. Он стоял на самом берегу, и волны почти лизали ступени крыльца. Девушка довольно долго стучала, наконец, дверь открыла огромная толстая негритянка с совершенно седыми волосами, в накидке до пят. Женщины о чем-то пошептались, и старуха сказала:

— Входите, месье, мой дом — ваш дом. Ацетиленовая лампа освещала чисто прибранную комнату, битком набитую чучелами птиц и рыб.

— Так вы хотите видеть Жуло? Сейчас он выйдет. Жюль! Жюль! Тут тебя один человек спрашивает!

Появился старик — босой, в полосатой голубой пижаме, очень напоминавшей нашу тюремную форму.

— Э, Снежок, кому это я понадобился посреди ночи? Папийон! Быть не может! — Он заключил меня в объятия. — А ну, тащи сюда лампу, Снежок, чтобы я мог разглядеть своего старого друга! Да, это ты, без сомненья ты! Добро пожаловать! Эти стены, все это барахло, внучка моей старухи — все твое! Только слово скажи!

Мы выпили и перно, и шампанское, и ром. Время от времени Жуло начинал петь.

— Ну что, Папи, сунули мы им, а? Пришлось пошляться по белу свету! Где я только не был — и в Колумбии, и в Панаме, и в Коста-Рике, и на Ямайке, и наконец, пятнадцать лет назад пришел сюда и совершенно счастлив Снежок — замечательная женщина. Дай Бог каждому мужчине такую! Ты здесь надолго? Когда уезжаешь?

— Через неделю.

— Чего здесь делаешь?

— Хочу подписать контракт с владельцем казино.

— Брат, я был бы счастлив прожить с тобой бок о бок в этой дыре до конца своих дней, но послушай моего совета. Не связывайся с этим типом, он пришлет тебя в ту же секунду, как только увидит, что у тебя пошли дела.

— Что ж, спасибо за совет.

— Эй, Снежок, давай, живенько покажи нашему другу танец вуду. Настоящий вариант, не для туристов. Одно представление для моего лучшего друга!

О том, какое поразительное зрелище мне удалось увидеть в ту ночь, я расскажу как-нибудь в

другой раз.

Итак, Жуло бежал, а я, Дега и Фернандес сидели и ждали. Время от времени я как бы невзначай подходил и разглядывал решетки на окнах. Настоящие рельсы. Да, их не одолеешь... Оставался еще один выход — дверь. Ее днем и ночью охраняли три вооруженных стража. После побега Жуло охрана ужесточилась. Обходы патруля участились, а врач разговаривал с нами уже не так дружелюбно. Шатай заходил в палату два раза в день: сделать уколы и измерить температуру. Истекала вторая неделя, и я еще раз заплатил двести франков. Дега говорил о чем угодно, только не о побеге.

Фернандес оказался не испанцем, он был из Аргентины. Замечательный человек, настоящий авантюрист, птица высокого полета. Но и на него повлияла болтовня старика Кароры. Однажды я услышал, как он говорит Дега: «Говорят, климат на островах здоровее, не то что здесь, и потом там не так жарко. А здесь в любой момент можно подхватить дизентерию. Пойдешь в сортир и подцепишь там микроб». В этой палате на семьдесят человек каждый день один-два умирали от дизентерии. Странно, но умирали они всегда на исходе дня, вечером. Утром еще ни один не умер. Почему? Еще одна загадка природы.

Этой ночью я поговорил с Дега. Сказал ему, что этот идиот араб часто заходит ночью и сдергивает с тяжелобольных простыню, так, чтобы лицо оставалось открытым. Его можно сбить с ног, оглушить и забрать одежду (на наг были только шорты и сандалии). Переодевшись, я выйду, вырву у одного из охранников ружье и, держа их под прицелом, заставлю войти в палату и запру. А мы перелезем через стену госпиталя, выходящую на Марони, прыгнем в воду и поплывем по течению. А там видно будет, что делать дальше. Деньги у нас есть. Можно купить лодку и провизии и уйти морем. Оба они отвергли мой план, раскритиковав его в пух и прах. Я чувствовал, что они трусят, и страшно огорчился, А дни тем временем летели.

Через два дня будет ровно три недели как мы в больнице. В нашем распоряжении остается от силы десять — пятнадцать дней...

21 ноября 1933 года. Знаменательный день. Сегодня в палату привели Жана Клозио, человека, которого пытались убить в Сен-Мартене в парикмахерской. Глаза его были закрыты, он почти ничего не видел — сильное нагноение. Я тут же подошел к нему. Он рассказал, что всех, кого полагалось, уже отправили на острова недели две назад. А его каким-то образом проглядели. Однако три дня назад какой-то чиновник о нем вдруг вспомнил. Тогда Жан закапал в оба глаза касторовое масло, началось нагноение, и его отправили в больницу. Он твердо настроился бежать. Сказал, что пойдет на все, даже на убийство, лишь бы вырваться отсюда. У него было три тысячи франков. Глаза промыли теплой водой, и он снова обрел зрение. Я изложил ему свой план. Он его одобрил, но сказал, что для того, чтобы справиться с охраной, нужно хотя бы два человека, а то и три. Можно отвинтить железные ножки у кроватей и, вооружившись ими, убрать охрану с дороги. Он уверял, что, даже увидев направленное на них ружье, охранники не поверят, что в них будут стрелять, и позовут подкрепление из здания, откуда бежал Жуло. Оно находилось всего в двадцати метрах.

Тетрадь третья

ПЕРВЫЙ ПОБЕГ

ПОБЕГ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Вечером произошел решающий разговор — сперва с Дега, потом с Фернандесом. Дега сказал, что не верит в этот план и уже подумывает дать большую взятку, чтобы его не интернировали.

Он попросил меня написать Серра и выяснить, есть ли какие-нибудь возможности на этот счет. Шатай в тот же день отнес записку, и вскоре мы получили ответ: «Платить ничего не надо. Этот вопрос решается во Франции, и никто, даже начальник тюрьмы, не вправе отменить распоряжение. Если в больнице так уж неважко, попробуйте выбраться, но не ранее, чем на острова отправится пароход».

В той же записке Серра сообщил, что, если я хочу, он может переговорить с одним поселенцем и попросить подготовить для меня лодку и держать ее невдалеке от больницы. Им был некий тип из Тулона, по прозвищу Иисус, два года назад он подготовил побег доктора Бугра. Встретиться с ним я мог только в рентгеновском кабинете, расположенном в отдельном крыле. Поселенцам разрешалось делать там рентген. Он также посоветовал предварительно вынуть патрон, так как врач всегда может заглянуть ниже легких и заметить его. Я написал Серра, что готов встретиться с Иисусом, и договорился с Шатаем, чтобы меня направили на рентген. Мне было назначено явиться туда послезавтра.

На следующий день Дега попросил выписать его из больницы. То же сделал и Фернандес. Пароход «Мана» уже отплыл утром. Они надеялись убежать из лагеря, Я пожелал им удачи, но свой план не изменил.

Встретился с Иисусом. Это был загорелый и тощий, как селедка, старик, морщинистое лицо пересекали два страшных шрама. Один глаз все время слезился. Ужасное лицо, ужасный глаз. Он не вызвал у меня особого доверия, и, как выяснилось позже, я оказался прав. Мы быстро переговорили.

— Могу достать тебе лодку на четыре, самое большее на пять человек. Бочонок с водой, жратва, кофе, табак, три весла, четыре пустых мешка от муки, иголку с ниткой, компас, топор, нож, пять бутылок тафии [7]. Все это обойдется в два с небольшим куса. Луны не будет дня три. Если сговоримся, то через четыре дня я каждую ночь в течение недели буду ждать тебя в лодке на реке с одиннадцати до трех. Не придешь, дольше ждать не буду. Это точно напротив больницы, у нижнего угла стены. Так и иди по стене, пока не упруешься в лодку, иначе ее с двух метров не разглядеть.

Повторяю, я не очень доверял ему, но все равно согласился.

— Ну а бабки? — спросил Иисус.

— Пришлю через Серра.

Мы распрощались, даже не пожав друг другу руки.

В три часа Шатай отправился в лагерь, прихватив с собой деньги для Серра, две с половиной тысячи франков. В голове у меня билась одна мысль: «Я могу позволить это себе только благодаря Гальгани. Боже, сделай так, чтоб он не пропил их, не извел на эту свою тафию!»

Клозио был вне себя от радости. Он верил в мои и свои силы, верил, что план удастся. Его беспокоила только одна вещь: араб приходил часто, но далеко не каждую ночь, а если и приходил, то слишком поздно. Еще одна проблема: кого взять третьим?..

И вот однажды, когда мы как раз шептались об этом, к нам подошел восемнадцатилетний педик, хорошенький, как девушка. Звали его Матуретт. Он получил смертный приговор за убийство таксиста, но его помиловали ввиду юного возраста, тогда ему было всего семнадцать. Их было двое, соучастников, два паренька шестнадцати и семнадцати лет, и вот, вместо того, чтобы валить один на другого, каждый из них утверждал, что убил он. Однако таксист получил

только одну пулю. Своим поведением во время суда оба паренька заработали уважение и популярность в среде заключенных.

И вот этот страшно похожий на смазливую молоденькую девушку Матуретт подошел к нам и нежным голосом попросил огонька. Мы дали ему прикурить, и я даже подарил ему. Четыре сигареты и коробок спичек. Он поблагодарил меня зазывной обольстительной улыбкой и удалился. Клозио сказал:

— Папи, мы спасены! Попросим эту малышку Матуретта построить арабу глазки. Все знают, что арабы обожают мальчиков. Ну а когда он в него влюбится, заманить его сюда проще простого. Парнишка будет кривляться и ломаться, говорить, что боится, как бы их не застукали, вот араб и станет приходить, когда нам удобно.

— Беру это на себя!

Я подошел к Матуретту, который приветствовал меня торжествующей улыбкой. Он был уверен, что обольстил меня с первого взгляда. Тут-то я ему и выложил:

— Ты заблуждаешься, парень. Идем в сортир, потолковать надо.

В сортире я сказал ему следующее:

— Если хоть словечком кому обмолвишься, раздавлю, как вошь. Вот что, согласен ты сделать то-то и то-то за деньги? Сколько хочешь? Хочешь деньгами или бежать с нами?

— Иду с вами, можно?

Мы договорились и пожали друг другу руки.

Он отправился спать, и я, пошептавшись еще немного с Жаном Клозио, сделал то же самое. В восемь вечера Матуретт сел возле окна. Ему не понадобилось звать араба, тот пришел сам. Они долго о чем-то перешептывались. В десять вечера Матуретт лег. Мы тоже лежали, притворяясь, что спим. Араб зашел после девяти, сделал обход и обнаружил мертвеца. Он постучал в дверь, появились двое с носилками и забрали труп. Этот труп сыграл нам на пользу... Он оправдывал поздние появления араба в нашей палате.

На следующий день по нашему наущению Матуретт договорился встретиться с арабом в одиннадцать. Тот появился ровно в назначенное время и, проходя мимо койки паренька, дернул его за ногу, давая понять, что надо следовать за ним в сортир. Матуретт пошел. Где-то через четверть часа араб вышел оттуда и удалился, чуть позже вышел и Матуретт и, не сказав нам ни слова, лег на койку. На следующий день повторилось то же самое, только в полночь. Итак, все было на мази: араб приходил ровно в назначенное мальчишкой время.

27 ноября 1933 года. В четыре я ждал записку от Серра. Однако Шатай передал на словах: «Иисус ждет в назначенном месте. Желаю удачи!» В восемь вечера Матуретт заявил арабу:

вернуться

7

Сорт местного рома.

— Приходи после двенадцати, может, тогда удастся побыть вместе подольше.

Араб радостно согласился. Ровно в полночь мы были наготове. Араб появился где-то в четверть первого. Подошел к Матуретту, подергал его за ногу и направился в туалет. Матуретт последовал за ним. Я выдернул ножку из-под моей кровати, обернул ее в тряпку, Клозио сделал то же самое. Я занял место у двери в туалет, Клозио приготовился отвлекать внимание араба. Ждать пришлось минут двадцать, Араб вышел из сортира и удивился, увидев Клозио:

— Ты чего это шляешься среди ночи? А ну, быстро в койку!

В ту же секунду я ударил его сзади по голове. Он повалился как подкошенный, не издав ни звука. Я быстро натянул его одежду и ботинки, потом мы затолкали араба под кровать, а напоследок я добавил ему еще раз по башке. Так, с этим вроде бы порядок.

Ни один из спящих в палате восьмидесяти человек не шевельнулся. Я быстро направился к двери, за мной следовали Клозио и Матуретт, оба в шортах. Постучал. Охранник открыл. Я треснул его по голове. Второй, сидевший напротив, уронил ружье, так крепко заснул. Он и проснуться не успел, как я оглушил и его. Они и не пискнули, ни один. Третий, которого ударил Клозио, успел выкрикнуть: «А-а!» и распростерся на полу. Мы затаили дыхание. Должно быть, все услышали это «а-а», ведь завопил он довольно громко. Однако кругом по-прежнему царили тишина и спокойствие. Мы не стали затаскивать охранников в палату. Просто забрали ружья, и все. А потом по лестнице, слабо освещенной фонарем, стали спускаться вниз. Впереди Клозио, за ним мальчишка, последним я. Клозио бросил свою дубинку, я же держал свою в левой, а ружье — в правой руке. Спустились. Все спокойно. Темно, хоть глаз выколи. Мы с трудом разыскали стену, спускавшуюся к реке. Добравшись до нее, я пригнулся, Клозио влез мне на спину, перелез на стену, а затем втянул Матуретта и меня. Мы спрыгнули по другую сторону. Клозио в темноте угодил в яму и подвернул ногу. Матуретт и я приземлились удачно. Теперь надо разыскать ружья, которые мы побросали со стены вниз. Клозио пытался подняться, но не мог и уверял, что нога у него сломана. Я оставил Матуретта с ним, а сам пополз вдоль стены, шаря руками по земле. Стояла такая темень, что я не заметил, как добрался до угла — вытянутая вперед рука провалилась в пустоту, и я упал лицом вперед. Снизу, с реки, послышался голос:

— Вы, что ли?

— Да. Иисус?

— Да.

На полсекунды вспыхнула спичка. Я прыгнул в воду и поплыл. В лодке находились двое.

— Залазь. Ты кто?

— Папийон. — Лады.

— Иисус, давай поплывем вон туда. Мой друг сломал ногу.

— Ладно, тогда бери весло и гребь.

Три весла дружно врезались в воду, и легкая лодка очень быстро доплыла до того места, где, по моим предположениям, находились Клозио и Матуретт. Однако не видно было ни зги, и я окликнул:

— Клозио!

— Заткнись, ты, мать твою за ногу! Толстяк, чиркни зажигалкой! — прошипел Иисус.

Вспыхнули искры, они увидели нас. Клозио свистнул особым «лионским» свистом — вроде бы и негромким, но слышным вполне отчетливо. Я бы назвал это змеиным свистом. Так он сигнализировал, пока мы не подплыли.

Толстяк вылез, подхватил Клозио на руки и втащил в лодку. Затем в нее забрался Матуретт. Нас было пятеро, и борта поднимались над водой всего сантиметра на два.

— Не дергайтесь, пока не скажу, — шепотом скомандовал Иисус. — Давай гребь, Папийон! Клади весло на колени. Толстяк, давай гребь и ты.

Лодку подхватило быстрое течение, и мы поплыли по темной реке. Через несколько сотен метров миновали тюрьму, слабо освещенную светом, получаемым от допотопной установки. Вышли на середину, и течение понесло нас с невероятной скоростью. Толстяк даже бросил весло. Иисус не выпускал свое из рук и, плотно прижимая рукоятку к борту, выравнивал лодку.

— Ну, теперь можно говорить и курить, — сказал он. — Думаю, дело в шляпе. Ты уверен, что никого не пришил?

— Не думаю.

— Ну дела! — воскликнул Толстяк. — Эй, Иисус, выходит, ты надул меня! Божился, что будут хилые люди тихие и невинные» как мышки, без всяких мокрых дел... А тут, получается, вроде бы интернированные, так я понял.

— Да, интернированные. Я не хотел тебе говорить. Толстяк, иначе бы ты не согласился. А одному не справиться. Чего трухаешь? Если застукают, все беру на себя!

— Раз так, ладно, Иисус. Неохота рисковать головой за какую-то паршивую сотню, если там жмурик. Или пожизненное, ежели кто ранен.

— Толстяк, — вмешался я, — даю тысячу на двоих!

— Вот это другой разговор! Так оно по справедливости будет. Спасибо, браток, а то мы в этой деревне прямо с голоду подыхаем. Уж лучше в тюрьме сидеть, там по крайности хоть чем-чем, да набьешь пузо, ну и одежонку дают.

— Что, сильно болит, приятель? — обратился Иисус к Клозио.

— Ничего, терпимо, — ответил тот. — Но как быть дальше, Папийон, когда у меня нога сломана?

— Посмотрим. Куда сейчас, Иисус?

— Хочу спрятать вас в устье реки, километрах в тридцати от моря. Отсидитесь там с неделю, пока у охраны не спадет охотничий пыл. Их надо надуть. Пусть думают, что вы, спустившись по течению, сразу же вышли в море. У них есть особая карательная группа, что рыщет в лодках без моторов, тем и опасна — не услышать. Стоит кашлянуть или развести костер — и ты пропал. Ну а у тюремщиков большие моторные лодки, но на них не везде проберешься.

Довольно долго мы искали какое-то место, известное только Иисусу. Было уже почти четыре,

когда мы наконец нашли его и углубились в лес,

Лодка шла напролом, подминая днищем разнообразные болотные растения, которые тут же вставали за нами стеной, создавая непреодолимую для взора преграду. Надо было родиться поистине ясновидящим, чтобы догадаться, где может пройти лодка. Мы углублялись все дальше в джунгли, отталкивая ветки, преграждающие путь, примерно в течение часа. Наконец вошли в своего рода канал и вскоре остановились. Поросший травой берег, листва огромных деревьев, даже сейчас, в шесть утра, почти не пропускающая света. Под этой мощной зеленой кровлей неумолчно звенели голоса сотен неведомых нам существ. Иисус сказал:

— Здесь вам придется прокантоваться неделю. Приеду на седьмой день и привезу вам жратвы. — Откуда-то из густых зарослей он вытащил узкое каноэ длиной не более двух метров. В нем лежали два весла. Именно на этом каноэ он собирался отправиться назад в Сен-Лоран, дождавшись прилива.

Теперь надо было заняться Клозио. Он лежал на берегу в шортах, ноги босые. Срубив топором несколько сухих веток, мы расщепили их на планки. Толстяк дернул Клозио за ногу. Тот даже вспотел весь от боли и в какой-то момент воскликнул:

— Тихо ты! Хватит! Так уж меньше болит, должно быть, кость цела.

Мы приложили к ноге импровизированные шины и плотно прикрутили веревкой. Боль немного утихла.

Иисус приобрел у депортированных четыре пары брюк, четыре рубашки и четыре шерстяных свитера. Матуретт и Клозио тут же натянул все это на себя, а я остался в одежде араба. Мы выпили рому — уже вторая бутылка с момента побега. Ром согрел нас, что было как нельзя более кстати. Однако москиты не давали ни секунды покоя. Пришлось пожертвовать пачкой табака — мы замочили его в калабаше, а лотом натерли никотиновым соком лица, руки и ноги. Особенно радовали нас шерстяные свитеры. Место оказалось страшно сырое.

— Ну пока, до встречи, — сказал Иисус. — И чтоб неделю не рыпались с места. Мы придем на седьмой день. На восьмой можно будет выходить в море. А пока займитесь лодкой и парусом, приведите все в порядок. Закрепите рулевые шарниры, они разболтались. Если через десять дней не появимся, значит, нас сцапали. Раз было нападение на охрану, значит, это не просто побег. Тут такое начнется, не приведи Господь!

Клозио сказал, что ружье он перебросил через стену, не зная, что вода так близко. Оно наверняка утонуло в реке. Иисус считал, что это к лучшему — не найдя ружья, охрана будет думать, что мы вооружены, и не полезет на рожон. Мы распрощались, предварительно договорившись, что если нас обнаружат и придется бросить лодку, то мы пойдем вдоль ручья по полоске сухой земли, а потом по компасу все время на север. За два-три дня так можно добраться до лагеря смерти Шарвен. Там за деньги можно послать кого-нибудь к Иисусу и сообщить о нашем местонахождении.

Странное все же освещение в этих джунглях... Похоже, что сидишь под огромным куполом, через который на землю не просачивается ни единого прямого лучика солнца. Но при этом очень светло. Становилось жарко. Наконец мы совершенно одни! Первая реакция — смех. Мы радовались, что все удалось, прошло как по маслу. Единственная неприятность — нога Клозио. Но он уверял, что ему значительно лучше и что через неделю все пройдет. Первым делом мы решили сварить кофе. Быстренько развели огонь, и выпили каждый по целому кофейнику крепкого ароматного кофе. Это было прекрасно. Мы так перенервничали и устали, что не было

сил осматриваться, а тем более заниматься лодкой. Никуда это от нас не уйдет.

Итак, мы свободны, свободны, свободны! Сегодня ровно тридцать семь дней как я в Гвиане. Если побег удастся, значит, мое пожизненное заключение оказалось не столь уж долгим. И я воскликнул: «Господин председатель, сколько, по вашему мнению, длится пожизненное заключение во Франции?» — и рассмеялся. Матуретт тоже. А Клозио нахмурился: «Смотрите, не накаркайте. До Колумбии еще ох как не близко! Тем более на этой хилой посудине по морю не очень-то расплаваешься... »

Я промолчал. По правде говоря, до последнего времени я и сам был уверен, что для морского путешествия мы получим более надежную лодку. Но я специально ничего не сказал моим друзьям, чтобы не портить им настроение в такой момент

Весь день мы провели, болтая и знакомясь с джунглями — миром доселе совершенно нам неведомым. По ветвям, как безумные, носились обезьяны и какие-то похожие на белок зверюшки, выделявая такие кульбиты, что можно обалдеть. К реке на водопой спустилось стадо пекари — мелких диких свиней. Их было тысячи две, не меньше. Они погрузились в воду и поплыли, обрывая свисающие с берега корешки. Внезапно Бог знает откуда появился аллигатор и ухватил за ногу одного поросенка. Тот завизжал, как паровозный свисток. Остальные свиньи набросились на крокодила, норовя укусить его в уголок огромной страшной пасти. Аллигатор бешено бил хвостом, при каждом ударе в воздух налево и направо взлетало по поросенку.

Одного он, видимо, убил, и тот поплыл по реке брюхом вверх и был немедленно сожран своими же сородичами. Вода окрасилась кровью. Вся эта бойня продолжалась минут двадцать. Затем аллигатор погрузился в воду, и больше мы его не видели.

Спали мы хорошо. Наутро снова выпили кофе. Я разделся, решив помыться. В лодке мы обнаружили здоровенный кусок мыла. Матуретт побрился моим скальпелем. Потом мы с ним побрили Клозио. Мы вытащили из лодки все барахло, за исключением маленького бочонка с водой. Вода была сиреневого цвета — похоже, Иисус переложил в нее марганцовки, чтобы предохранить от порчи. Там оказались также крепко закупоренные бутылки со спичками. Компас был совершенно школьный — он показывал только север, юг, восток и запад, без всяких градусов. Парус не более двух с половиной метров в длину, поэтому пришлось сшить еще четыре мешка и сделать дополнительный парус в форме трапеции, укрепив его по краям веревкой. А сам я изготовил еще один маленький треугольный парус, чтобы лодка не зарывалась носом в волны.

При установке паруса обнаружилось, что дно лодки далеко не надежное: мачта плохо держалась в нем, древесина прогнила. Этот мерзавец Иисус посылал нас на верную смерть. Пришлось рассказать об этом товарищам. Я не имел права скрывать от них правду. Что же теперь делать? Заставить Иисуса найти более крепкую лодку, вот что! Придется его разоружить и пойти вместе с ним, прихватив нож и топор, в деревню, где можно присмотреть другую лодку. Риск, конечно, большой, но все меньше, чем выходить в этом гробу в море. С припасами все обстояло нормально: там была запечатанная бутылка с маслом, несколько жестянок с мукой маниоки. На этом можно довольно долго продержаться.

В то же утро мы стали свидетелями удивительного зрелища. Стая обезьян с серыми мордами вступила в схватку с другими обезьянами, морды у которых были черными и волосатыми. Во время потасовки Матуретту угодил сухой веткой по голове, отчего у него вскочила шишка величиной с орех.

Вот уже пять дней и четыре ночи как мы здесь. Прошлой ночью хлынул страшный ливень. Укрылись под банановыми листьями. Вода сбегала потоками по их гладкой блестящей поверхности, а мы оставались сухими, только ноги промокли. Утром за кофе я распространялся на тему, какой мерзавец Иисус. Послать нас в море на этой развалюхе. Ради какой-то тысячи он отправлял нас на верную гибель. Убить его мало, вот только пусть сперва достанет новую лодку.

Однажды мы услышали в зарослях ужасно пронзительный и неприятный крик. Я велел Матуретту взять нож и пойти посмотреть, в чем там дело. Минут через пять он появился и поманил меня рукой. Я последовал за ним, пройдя метров сто пятьдесят, увидел свисающего с дерева крупного фазана, раза в два здоровее, чем петух. Он попал ногой в петлю. Одним ударом ножа я отсек ему голову, чтоб прекратить эти вопли. Весил петух минимум килограммов пять, шпоры тоже напоминали петушиные. Мы решили его съесть, и только тут до нас дошло, что в лесу, должно быть, кто-то обитает, раз поставлена ловушка. И двинулись на разведку. Уже на обратном пути мы натолкнулись на очень странную штуку — нечто вроде изгороди или низенького, сантиметров в тридцать высотой, заборчика, сплетенного из лиан и листьев. Находилось это сооружение примерно метрах в десяти от нашей бухты и шло параллельно воде. Через равные промежутки располагались воротца, против каждого из которых была подвешена петля из медной проволоки, замаскированная листьями. Я сразу сообразил, что это ловушка. Животное будет идти вдоль изгороди и, добравшись до ворот, попробует выйти наружу — тут-то и угодит в петлю. И будет висеть в ней, пока не придет охотник.

Открытие сильно нас обеспокоило. За изгородью, похоже, следили. Она была целая. Значит, нас вполне могут обнаружить. Значит, нельзя разводить костер днем. Охотник вряд ли придет ночью. Мы решили установить дежурство. Спрятали лодку под густыми, нависшими над водой ветвями, а припасы — в джунглях.

На следующий день на дежурство заступил я. Кстати, на ужин мы все-таки съели этого фазана, или петуха, как он там назывался, не знаю. Суп получился страшно вкусный. И мясо, хоть и вареное, тоже было великолепным. Каждый слопал по две полные миски. Итак, я заступил на дежурство. Но внимание мое отвлекли огромные черные муравьи. Я смотрел, как, подхватив по кусочку листа, каждый из них тащит добычу в свой муравейник, и совершенно позабыл обо всем на свете. Они были сантиметра полтора в длину и казались очень высокими, когда вставали на задние лапки. Наблюдая за ними, я дошел до дерева, с которого они обдирали листья, и убедился, что дело у них поставлено очень здорово. Там были дровосеки, которые только тем и занимались, что отрывали кусочки листьев. Трудясь над огромным листом, иногда величиной с банановый, они быстро и ловко отрывали куски одного размера и роняли их на землю. Внизу трудились муравьи той же породы, хотя выглядели они немного иначе. У каждого сбоку от челюстей шла серая полоска, и стояли они полукругом, надзирая за носильщиками, что появлялись с правой стороны, а уходили влево, по направлению к муравейнику. Каждый, подхвативший свою ношу, выстраивался в цепочку. Лишь иногда в спешке кое-кто нарушал порядок. Тогда в дело вступали надзиратели. Они расталкивали работяг по местам. Я не понял, какое преступление совершил один муравей, но его вдруг выволокли из строя, и один из надзирателей откусил ему голову, а второй перекусил тело пополам. Затем эти палачи остановили двоих работяг. Те, оставив свою ношу, выкопали ямку, в которую и сложили все, что осталось от их сотоварища, — голову, грудь и брюшко. И закидали ямку землей.

ГОЛУБИНЫЙ ОСТРОВ

Меня так поглотило созерцание муравьев, что я вздрогнул, услышав совсем рядом голос:

— Не двигаться! Иначе ты покойник. Повернись!

Голый до пояса человек в шортах цвета хаки и высоких кожаных сапогах стоял с двустволкой в руке. Крепкий, среднего роста, загорелый и лысый. Лицо его, словно маской, было покрыто густой голубой татуировкой, с большим черным жуком в центре лба.

— Оружие есть?

— Нет.

— Один?

— Нет.

— Сколько вас?

— Трое.

— Идем к ним.

— Я бы не стал этого делать. У одного из наших есть ружье, и он может прихлопнуть тебя прежде, чем разберется, зачем ты пожаловал.

— Вот оно что... Тогда не двигайся и говори тихо. Вы те самые трое, что сбежали из госпиталя?

— Да.

— Кто из вас Папийон?

— Я.

— Вон оно как. Вся деревня взбаламучена этим вашим побегом. Половину вольных уже пересажали. — Он приблизился ко мне и, направив ствол в землю, протянул руку. — Я — Маска-Бретонец. Слышал про такого?

— Нет, Но вижу, что не ищейка.

— Вот тут ты прав. У меня здесь ловушка, на хоко [8]. Одного, должно быть, ягуар сожрал. Если только вы, ребята, не взяли.

— Мы взяли.

— Кофе будешь?

В сумке у него оказался термос. Он налил мне немного, потом выпил сам. Я сказал:

— Идем, познакомлю тебя с ребятами.

Он согласился, и мы немного посидели и поболтали. Его очень рассмешила моя байка про ружье.

— А знаешь, я на нее купился. Тем более говорят, что вы сперли ружье, и эти ищейки боятся лезть за вами в чащобу.

Он рассказал, что вот уже двадцать лет в Гвиане. Освободился пять лет назад. Ему было сорок

пять. Теперь из-за этой идиотской «маски» на лице делать ему во Франции, он считал, нечего. Тем более что он полюбил джунгли и полностью себя обеспечивал — торговал шкурами змей и ягуаров, коллекциями бабочек, кроме того, отлавливал, живьем хоко, которых продавал по двести—триста франков за штуку. Я предложил заплатить за птицу, которую мы съели, но он с негодованием отказался. И вот что поведал нам:

— Эта птица — нечто вроде дикого петуха джунглей. Не какая-нибудь там курица или петух. Как поймаю одну, несу в деревню и продаю тому, кто держит кур. Вот... Ему и крыльев подрезать не надо — ни за что не уйдет. Вообще ничего делать не надо, просто сажаешь на ночь в курятник, а утром открыл дверь — глядь, он там стоит, словно считает выходящих курочек и петушков. Потом и сам идет за ними, тоже поклевывает чего-нибудь, но все наблюдает — то в небо посмотрит, то по сторонам, то в сторону джунглей — никакой собаки не надо. А вечером, глядь, уже у двери сидит. И всегда знает, если пропала какая курочка, а то и две, как он это делает, ума не приложу. Пойдет я обязательно разыщет. Неважно, курица это или петух, но он всегда приведет обратно, а по дороге гак и клюет их, так и клюет, чтобы проучить, чтобы порядок знали. И еще убивает крыс, змей, пауков и сороконожек, а если в небе появится ястреб, то тут же дает команду всем прятаться в траве, а сам стоит, готовый к защите. И никогда, ни на минуту, не оставит курятник!

А мы-то съели такую замечательную птицу просто как обыкновенного петуха!

Еще Бретонец сообщил нам, что Иисус, Толстяк и тридцать других вольноотпущенных сидят сейчас в тюрьме в Сен-Лоране, где выясняют, не видел ли кто, как они ошивались возле здания, из которого мы бежали. Араб в карцере жандармерии. Обвиняется в том, что помогал бежать. От двух ударов, которыми мы его оглушили, осталась маленькая шишка.

— Меня-то не тронули, потому как все знают, что я никогда не участвую в подготовке побегов.

И еще он сказал, что Иисус — подонок. Я показал ему лодку, и он воскликнул:

— Вот сука, ведь на верную смерть посылал! Она и часа на воде не продержится. Одна волна — развалится пополам и затонет. Выходить в море на этой посудине — просто самоубийство!

— Тогда что же нам делать?

— Деньги есть?

— Да.

— Ладно, так уж и быть, скажу. И не только скажу, но и помогу. Вы заслужили. Возле деревни не показывайтесь ни в коем случае. Достать приличную лодку можно на Голубином острове. Там живут сотни две прокаженных. Охраны нет, ни один здоровый человек туда носа не сунет, даже врач. Каждый день в восемь утра на остров отправляется лодка с продуктами на сутки. Из больницы передают коробку с лекарствами двум санитарам, тоже из прокаженных, которые ухаживают за больными. Никто не ступает на этот остров — ни охранник, ни ищейка, ни даже священник. Прокаженные живут в маленьких соломенных хижинах, которые они сами построили. Есть у них главная хижина, возле нее они собираются. Они разводят кур и уток, тоже идущих им в пищу. Официально им не разрешается продавать что-либо с острова. Но они занимаются подпольной торговлей с Сен-Лораном, Сен-Жаном и с китайцами из Альбины, что в Голландской Гвиане [9]. Среди них есть опасные убийцы. Правда, друг друга они почти не трогают, но немало злодейств совершают во время вылазок с острова, а потом потихоньку возвращаются и скрываются на нем. С этой целью они держат несколько лодок, украденных в ближайшей деревне. Владеть лодкой считается здесь самым серьезным преступлением. Охрана

открывает огонь по любому каноэ, отправляющемуся с Голубинового острова. Поэтому прокаженные наполняют лодки камнями и затапливают их. А когда она понадобится — ныряют, выбирают камни, и лодка всплывает. Кого там только нет, на этом острове: люди всех цветов кожи и всех национальностей, из разных уголков Франции. Короче: свою лодку вы можете использовать только на реке, да и то не перегружая. Для моря надо найти другую, а найти ее можно только на Голубином острове.

— Но как это сделать?

— Сейчас скажу. Поеду с вами по реке, пока не покажется остров. Сами не найдете, тут легко заблудиться. Это примерно в ста пятидесяти километрах от устья. Так что придется подниматься вверх по течению. Я подвезу вас поближе, а потом пересяду в свое каноэ, мы его сзади привяжем. Ну а уж там, на острове, разбирайтесь сами.

— А чего ты не хочешь пойти с нами?

— Боже упаси! — воскликнул Бретонец. — Один раз я ступил на эту землю, на пристань, куда причаливают лодки. Всего раз. Это было днем, и того, что я увидел, более чем достаточно. Нет, Папи, никогда в жизни я не сунусь больше на этот остров! Не в силах скрыть отвращение при виде этих людей. Только испорчу все дело.

— Так когда мы едем?

— Ночью.

— А сколько сейчас, Бретонец?

— Три.

— Ладно, тогда я немного посплю.

— Нет, сперва надо загрузить в лодку все барахло.

— Не надо. Я поеду в пустой лодке, а потом вернусь за Клозио. Пусть сидит и сторожит вещи,

— Это невозможно. Сам ты никогда не найдешь это место, даже среди бела дня. Тем более что днем по реке плыть ни в коем случае нельзя. Вас продолжают разыскивать, так что об этом и думать нечего. На реке очень опасно.

Настал вечер. Он привел свое каноэ, и мы привязали его к нашей лодке. Клозио сел рядом с Бретонцем, занявшим место у руля. Матуретт расположился посередине, а я на носу. Мы медленно выплыли из зарослей и вошли в реку. Как раз начало темнеть. Вдали над морем, низко над горизонтом, висело огромное красно-коричневое солнце. Поразительное зрелище, настоящий фейерверк красок, более ярких, чем, казалось, могут существовать в природе, — краснее красного, желтее желтого, и все это смешалось самым фантастическим образом. Впереди, километрах в двадцати, мы различили залив — река, мерцающая то розовым, то серебром, величественно впадала в море.

Бретонец сказал:

— Отлив кончается. Через час начнется прилив. Мы используем его, чтобы подняться вверх по Марони, течение само понесет лодку, и мы скоро достигнем острова.

Внезапно тьма накрыла землю.

— Вперед! — скомандовал Бретонец. — Гребите сильнее, нам надо выплыть на середину. И не курить!

вернуться

8

Хоко — местное название птицы из семейства куриных, иначе — индейский, или американский, петух.

вернуться

9

Ныне это государство Суринам.

Весла врезались в воду, и мы довольно быстро пересекли поток. Мы с Бретонцем гребли достаточно ровно и мощно, Матуретт тоже не плошал. И чем ближе к середине реки, тем сильнее ощущалось, как подталкивает нас течение. Вот мы уже заскользили по воде легко и быстро. Течение набирало силу каждые полчаса, и нас несло все стремительней. Часов через шесть мы подошли совсем близко к острову и взяли курс прямо на него — темную сплошную полосу прямо посередине реки. Ночь была не очень темная, но увидеть нас с этого расстояния было практически невозможно, тем более что над водой поднимался туман. Мы подошли еще ближе. Когда очертания скал стали совсем отчетливы. Бретонец торопливо пересел в свое каноэ и отплыл, пробормотав:

— Удачи вам, ребята!

— Спасибо!

— Да ладно, чего там...

Нас несло прямо на остров. Я судорожно пытался выровнять лодку, но это не удавалось, течением нас несло прямо в заросли. Мы врезались в них с такой силой, что, если бы угодили в скалу, а не в листья и ветки, лодка бы непременно разбилась вдребезги и мы потеряли бы все наши припасы. Матуретт спрыгнул в воду и начал толкать лодку под сплошной навес растительности. Он толкал и толкал, и наконец мы остановились и, привязали лодку к ветке. Хлебнув немного рому, я вышел на берег один, оставив товарищей ждать.

Я шел, держа в руке компас. Обломил по дороге несколько веток и привязал к ним тряпичные полоски, специально с этой целью заготовленные из куска мешковины. Наконец впереди просветлело, и внезапно я увидел три хижины и услышал голоса. Я направился туда, не зная, как дать о себе знать. Подумав, что будет лучше, если они меня сами заметят, я решил закурить. В ту же секунду, как я чиркнул спичкой, откуда-то с лаем выскочила маленькая собачонка и запрыгала, стараясь вцепиться мне в ногу. «Не дай Бог, прокаженная, — подумал я. — Впрочем, что за глупости, у собак не бывает проказы».

— Кто там? Марсель, это ты?

— Я беглый.

— Чего ты тут потерял? Хочешь спереть что-нибудь? У нас нет ничего лишнего.

— Да нет. Мне нужна ваша помощь.

— За так или за бабки?

— Заткни пасть, Кукушка! — из хижины показались четыре тени. — Иди сюда, браток, только медленно. Держу пари, ты тот самый тип с ружьем. Если пришел с ним, клади на землю. Здесь тебе нечего бояться.

— Да, это я. Только никакого ружья у меня нет.

Я шагнул вперед и вскоре приблизился к ним. Было темно, и лиц я не различал. И, как полный дурак, протянул им руку. Но только ее никто не взял. Лишь чуть позже до меня дошло, каким неверным с моей стороны был этот жест. Они не хотели заражать меня.

— Идем в хижину, — сказал Кукушка. Хижину освещала масляная лампа, стоявшая на столе. — Садись.

Я сел на плетеный табурет. Кукушка зажег еще три лампы и одну поставил на стол прямо передо мной. Дым от фитиля тошнотворно вонял кокосовым маслом. Я сидел, остальные пятеро стояли. Я все еще толком не различал их лиц. Только мое было освещено, чего, собственно, они и добивались. Тот же голос, что приказал Кукушке заткнуться, произнес:

— Эй, Угорь, ступай в дом и спроси, вести его туда или нет. И не тани с ответом. Особенно если Туссен скажет «да». Выпивки у нас тут нет, приятель. Вот разве что сырое яйцо. — И он подтолкнул ко мне корзину, полную яиц.

— Нет, спасибо.

Тут один из них подошел совсем близко и присел по правую руку, и я впервые увидел лицо прокаженного. Оно было ужасно, и мне пришлось сделать усилие, чтобы не отвернуться и не выказать свои чувства. Плоть и даже кости носа были совершенно изъедены болезнью — вместо носа была просто дырка в центре лица. Именно дырка, а не две. Одна огромная, как двухфранковая монета, дыра. Нижняя губа с правой стороны тоже была изъедена. Из этого отверстия торчали три длинных желтых зуба, и было видно, как они входят в голую кость верхней челюсти. Только одно ухо. Он опустил перевязанную правую руку на стол. На левой осталось всего два пальца, которыми он сжимал толстую сигару. Наверняка самокрутку, изготовленную из недосушенного листа — она была зеленоватого оттенка. Веко сохранилось лишь на левом глазу, а на правом отсутствовало вовсе. Глубокий шрам тянулся от этого глаза вверх и терялся в густых седых волосах. Хриплым голосом он сказал:

— Мы поможем тебе, приятель. Не стоит долго торчать в Гвиане. Иначе с тобой случится то же, что и со мной. А мне бы этого не хотелось...

— Спасибо.

— Здесь меня зовут Жан Бесстрашный. Я из Парижа. Был здоровее, красивее и сильнее тебя, пока не попал на каторгу. Десять лет — и посмотри, что со мной стало.

— Тебя что, не лечили?

— Почему же, лечили... После того как начали делать инъекции из масла шомогра, стало лучше. Вот, взгляни! — Он повернулся ко мне левой стороной. — Здесь уже подсыхает.

Мне стало невероятно жаль этого человека. И я протянул руку, желая дружеским жестом коснуться его щеки. Он отпрянул и сказал.

— Спасибо, что не побрезговал. Но вот тебе совет: никогда не дотрагивайся до больного, не ешь и не пей из одной с ним миски.

— Где тот тип, про которого вы говорили?

В дверях возникла тень человека — крошечного, прямо карлика.

— Туссен и другие хотят его видеть. Ведите его. Жан Бесстрашный поднялся и сказал:

— Иди за мной!

И мы вышли в темноту — четыре или пять человек впереди, затем я с Жаном потом остальные. Минуты через три мы вышли на широкую открытую поляну, освещенную луной, нечто вроде площади посреди поселка, В центре поляны стоял дом. Два его окна светились. У дверей нас поджидало человек двадцать. Мы приблизились к ним. Они посторонились и дали нам пройти Огромная прямоугольная комната метров сорок квадратных, с выложенным из крупных камней камином, освещалась двумя большими керосиновыми лампами. В кресле сидел человек без возраста, с белым как мел лицом. Позади на скамье — еще человек пять-шесть, Глаза у сидевшего в кресле оказались глубокими и черными, когда он взглянул на меня и сказал:

— Я — Туссен Корсиканец, а ты, должно быть, Папийон.

— Да.

— Новости распространяются тут быстро, порой быстрее, чем бегают человек. Где вы оставили ружье?

— Бросили в реку.

— Где?

— Прямо против больничной стены, там, где спрыгнули.

— Так, выходит, его можно достать?

— Наверное, там неглубоко.

— А ты откуда знаешь?

— Нам пришлось втаскивать раненого товарища в одну.

— А что с ним?

— Сломал ногу.

— Вы ему помогли?

— Расщепили ветку и наложили нечто вроде шины.

— Болит?

— Да.

— А где он?

— В лодке.

— Ты скачал, что пришел за помощью. Что тебе надо?

— Нам нужна лодка.

— Ты хочешь, чтобы мы дали тебе лодку?

— Да. Я заплачу.

— Ладно, продам тебе свою. Отличная лодка, совершенно новая. На той неделе спер в Альбине. Это не лодка, это лайнер! Там только одной вещи недостает, кия. С самого начала не было. Но за пару часов мы тебе его поставим. Зато все остальное есть — руль, румпель, четырехметровая мачта из железного дерева и совершенно новенький полотняный парус. Сколько даешь?

— Назови сам свою цену. Я не знаю, что здесь почем.

— Три тысячи франков. Если есть деньги. Если нет — завтра принесешь мне ружье, и мы в расчете.

— Предпочитаю заплатить.

— Ладно, по рукам. Блоха, подай нам кофе!

Блоха, тот самый карлик, что заходил за мной, подошел к полке, прибитой над камином, и снял с нее сияющий чистотой котелок. Вылил в него кофе из бутылки и поставил на огонь. Затем разлил кофе по разным кружкам и плошкам, стоявшим у камина. Туссен передавал их людям, сидевшим сзади, а мне протянул котелок, заметив при этом: «Пей, не бойся, это только для гостей. Сами мы к нему не прикасаемся».

Я взял котелок, отпил и поставил на колени. И только тут заметил, что сбоку к нему прилип человеческий палец. Я никак не мог сообразить, что случилось, как вдруг Блоха икнул:

— Черт, еще один палец потерял! Но только куда он, дьявол его раздери, подевался?

— Тут он! — сказал я и показал на котелок.

Блоха отлепил палец, бросил его в огонь и вернул мне котелок:

— Пей, не сомневайся. У меня сухая форма проказы. Сам распадаюсь на куски, но не гнию. Я не заразный.

В воздухе пахло горелым мясом. Должно быть, от пальца.

Туссен сказал:

— Придется вам ждать вечернего отлива. Пойди предупреди товарищей. Потом перенесете этого, со сломанной ногой, в хижину. Выньте все из лодки и затопите ее. И все сами. Надеюсь,

понятно, почему мы вам не можем помочь.

Я поспешил к своим. Мы вытащили Клозио из лодки и отнесли в хижину. Примерно через час лодка была пуста, вещи и продукты сложены на берегу. Блоха выпросил себе в качестве подарка нашу лодку и весло. Я отдал ему все, и он отправился топить ее в каком-то только ему известном месте.

Ночь пролетела незаметно. Мы провели ее в хижине на новых одеялах, которые прислал нам Туссен. Их принесли упакованными в толстую коричневую бумагу. И, разлегшись на них, я пересказал Клозио и Матуретту все подробности происшедшего со мной на берегу и о сделке, заключенной с Туссеном. И тут, не подумав, Клозио ляпнул глупость:

— Выходит, побег обойдется нам в шесть с половиной, тысяч. Я даю тебе половину, Папийон, ну те три куска, что у меня в патроне.

— Будем мы сейчас считаться, как какие-нибудь дешевые торгаши! Пока у меня есть бабки, я плачу, а там посмотрим.

Никто из прокаженных в нашу хижину не заходил. На рассвете появился Туссен.

— Доброе утро! Выходите, не бойтесь. Никто вас тут не увидит. Вон там, на верхушке кокосовой пальмы, сидит наш парень и наблюдает, не появились ли на реке лодки с ищейками. Но пока ничего не видать. Раз там торчит белая тряпочка, стало быть, лодок нет. Как только заметит, слезет и скажет. Можете пока пособирать тут папайю, некоторым нравится.

— Туссен, а как там с килем? — спросил я.

— Сделаем его из куска двери от медпункта. Дерево твердой породы, двух досок хватит. Ночью вытащим лодку на берег. Пойдем поглядим.

Отличная лодка, метров пять в длину и совершенно новенькая, с двумя банками, в одной — отверстие для мачты. Но тяжелая, как черт, нам с Матуреттом пришлось попотеть, прежде чем мы ее перевернули. Парус и оснастка тоже были новые. В борта вделаны кольца, к которым можно привязывать разные вещи, например, бочонок с водой. Мы принялись за работу. К полудню киль, расширяющийся в сторону кормы, был надежно закреплен длинными винтами и четырьмя гвоздями, что нашлись у меня.

Собравшись в кружок, прокаженные внимательно наблюдали за работой. Туссен давал указания, и мы им следовали. Лицо Туссена выглядело вполне нормально — никаких следов болезни. Но когда он говорил, становилось заметно, что подвижна у него лишь одна сторона лица — правая. Впрочем, он сам сказал нам об этом и объяснил, что у него сухая форма. Грудь и правая рука тоже были парализованы. По его словам, вскоре должна была отказать и правая нога. Правый глаз был похож на стеклянный — он видел, но был неподвижен. Я не хочу называть здесь имена прокаженных, пусть те, кто когда-то знал или любил их, останутся в неведении, что близкие им люди практически сгнивают заживо. Работая, я переговаривался только с Туссеном. Больше никто не произносил ни слова. И только раз, когда я собрался было подобрать одну из петель, чтобы закрепить киль, кто-то из прокаженных сказал:

— Не трогай, пусть лежит где лежит. Я когда снимал, порезался, может, там кровь...

Тогда другой прокаженный полил петлю ромом и поджег. Повторил он эту операцию дважды. «Вот теперь можете работать», — сказал он. Туссен попросил одного из них:

— Ты уже сбегал много раз, научи Папийона, что надо делать. Ни один из этих троих не был еще в побеге.

И прокаженный, не откладывая дела в долгий ящик, начал:

— Сегодня отлив будет рано, в три. К вечеру, часам к шести, он станет достаточно сильным, чтобы унести вас на сто километров к устью реки часа за три. Около девяти надо сделать остановку, найти крепкое дерево и привязать к нему лодку. Выждать так часов шесть до трех утра, пока снова не начнется отлив. Впрочем, сразу не отправляйтесь, пусть поток наберет силу. Выходите на середину реки где-то в полпятого. У вас будет часа полтора, чтобы пройти пятьдесят километров до рассвета. Все зависит от этих полутора часов. К шести, когда всходит солнце, вы должны уже быть в море. И даже если охранники вас заметят, догнать все равно не смогут, потому что, когда они подойдут к устью, как раз начнется прилив. Им его не одолеть, а вы уже проскочили. Это расстояние длиной всего в километр — для вас вопрос жизни и смерти. Тут только один парус. Что у вас там еще есть, в каное?

— Большой парус и кливер.

— Лодка тяжелая, на нее лучше ставить и стаксель и кливер. Поднимешь паруса и двигай под прямым углом к волнам. В устье в это время сильное волнение. Пусть твои ребята лягут на дно, чтоб лодка была устойчивей, а сам крепче держи руль. Не привязывай шкот к ноге, лучше пропусти его через кольцо, а конец обмотай вокруг запястья. Если увидишь, что ветер и волны усилились и лодка вот-вот перевернется, отпусти конец, и лодка выровняется. Курс знаешь?

— Нет. Знаю только, что Венесуэла и Колумбия к северо-западу.

— Верно, но только следи, чтоб вас не прибило к берегу. Голландская Гвиана всегда выдает беглых, Британская тоже. Тринидад не выдает, но старается выслать под любым предлогом в течение двух недель. Венесуэла тоже высылает, но после того, как попашешь у них год-два на строительстве дорог.

Я слушал его предельно внимательно. Еще он поведал, что сам сбегал несколько раз, но его, как прокаженного, тут же высылали обратно. Дальше Джорджтауна, что в Британской Гвиане, он ни разу не добирался. То, что он прокаженный, было видно только по ногам — на ступнях у него не было пальцев. Туссен велел мне повторить вслух все его советы, что я и сделал, не допустив ни одной ошибки. И тут Бесстрашный Жан спросил:

— А как далеко ему надо забираться в открытое море? Я поспешил ответить:

— Три дня будем держать на северо-восток. С учетом течения выйдет прямо на север. На четвертый день возьму на северо-запад, вот и получится запад.

— Верно, — кивнул прокаженный. — Прошлый раз я держал этот курс всего два дня, вот и оказался в Британской Гвиане. А если держать три, то попадаешь на север, мимо Тринидада или Барбадоса, затем проскакиваешь Венесуэлу, даже ее не заметив, и оказываешься в Кюрасао или Колумбии.

— Туссен, за сколько ты продал лодку? — спросил Жан Бесстрашный.

— За три куска. А что, дорого?

— Да нет, я не поэтому спросил. Просто узнать. Ты можешь заплатить, Папийон?

— Да.

— А деньги у тебя еще останутся?

— Нет. Это все, что есть, ровно три тысячи, сколько было у моего друга Клозио.

— Туссен, — сказал Жан, — я отдам тебе свой револьвер. Охота помочь этим ребятам. Сколько дашь за него?

— Тысячу, — ответил Туссен. — Я тоже хочу им помочь.

— Спасибо вам за все, — сказал Матуретт, взглянув на Жана.

Тут мне стало стыдно за свою ложь, и я сказал:

— Нет, я не возьму. С какой стати вы должны делать нам такие подарки?

— А почему бы нет? — Он пожал плечами.

И тут произошла ужасно трогательная вещь. Кукушка положил на землю свою шляпу, и прокаженные начали бросать в нее бумажные деньги и монеты. Каждый бросил в шляпу хоть что-то, Я сгорал от стыда. И теперь совершенно невозможно было признаться, что у меня еще оставались деньги. Боже, что же делать? Вот оно, людское великодушие, а я веду себя как последнее дерьмо! Я воскликнул:

— Пожалуйста, прошу вас, не надо! Угольно-черный негр, жутко изуродованный — две культишки вместо рук, совершенно без пальцев, сказал:

— А на кой нам деньги? Они нам ни к чему. Бегите, не стесняйтесь. Мы на них только играем или платим бабам, тоже прокаженным, которые приезжают сюда из Альбины. — Тут мне немного полегчало, а то я уж было совсем собрался признаться, что у меня еще есть деньги.

Специально для нас прокаженные сварили две сотни яиц. Их принесли в деревянном ящике с красным крестом, в котором сегодня получили очередную порцию лекарств. Еще днем они притащили двух живых черепах, весивших каждая килограммов по тридцать, и осторожно положили их на землю брюхом вверх. Еще принесли табак в листьях, две бутылки, набитые спичками и кусочками картона, покрытыми фосфором, мешок с рисом килограммов на пятьдесят, две сумки древесного угля, примус из больницы и плетеную бутылку с бензином. Вся община, все эти несчастные люди прониклись к нам симпатией, и каждый хотел помочь. Словно это они бежали, а не мы. Мы перетащили лодку к месту, где причалили. Они пересчитали деньги в шляпе — их оказалось восемьсот десять франков. Теперь я был должен Туссену лишь двести. Клозио протянул мне патрон. Я развинтил его на глазах у всех. Там лежала тысячефранковая банкнота и четыре бумажки по пятьсот. Я дал Туссену полторы тысячи. Он протянул мне сдачи триста, а потом сказал:

— Ладно, чего там... Бери револьвер. Подарок... Ты все поставил на карту, глупо будет, если все сорвется в последний момент только потому, что у тебя не оказалось оружия. Будем надеяться, оно тебе не пригодится.

Я не знал, как и благодарить этих людей — сперва, конечно, Туссена, потом всех остальных. Санитар тоже внес свою лепту — протянул мне жестяную коробку с ватой, спиртом, аспирином, бинтом и йодом, ножницами и пластырем. Еще один прокаженный принес две узкие хорошо обструганные планки и кусок антисептической повязки в упаковке, совершенно

новой. Тоже в подарок, чтобы можно было переменить шины у Клозио.

Около пяти пошел дождь. Жан Бесстрашный сказал:

— Вам везет. Теперь можно не опасаться, что вас увидят. Так что отчаливайте сейчас же, это поможет выиграть минимум полчаса.

— А как узнать время? — спросил я.

— Течение подскажет.

Мы столкнули лодку на воду. Несмотря на массу вещей и нас самих, ватерлиния возвышалась над водой сантиметров на сорок» если не больше. Мачта, завернутая в парус, лежала вдоль лодки, мы не хотели ставить ее до выхода в море. На дне мы устроили из одеял уютное гнездышко для Клозио, который, кстати, отказался менять шину. Он лежал у моих ног между мной и бочонком с водой. Матуретт тоже пристроился на дне, только впереди. В этой лодке я чувствовал себя спокойно и уверенно, не то что в прежней!

Дождь не переставал. Нам надо было держаться посередине реки и чуть левее, ближе к голландскому берегу. Жан Бесстрашный крикнул:

— Прощайте! Давай отваливай, быстро!

— Счастливо! — крикнул Туссен и с силой оттолкнул лодку ногой.

— Спасибо, Туссен! Спасибо, Жан! Спасибо всем, тысячу раз спасибо! — И мы быстро отплыли, подхваченные отливом, который начался примерно два с половиной часа назад и понес нас с невиданной скоростью.

Дождь лил мерно и непрерывно, в десяти метрах ничего не было видно. Вскоре настала ночь. На секунду лодка запуталась в ветвях огромного дерева, что несло по реке вместе с нами, но, к счастью, не так быстро. Мы освободили ее и продолжали плыть со скоростью около тридцати километров в час. Курили, пили ром. Прокаженные подарили нам полдюжины оплетенных соломой бутылок из-под кьянти, наполненных тафией. Странно, но ни один из нас не упомянул об ужасных уродствах прокаженных. Единственное, о чем мы говорили, так это об их доброте, благородстве, прямоте и о том, какая это была удача — встретить Маску-Бретонца, отвезшего нас на Голубиный остров. Дождь лил все сильнее, и я вымок до нитки. Впрочем, эти шерстяные свитеры — вещь замечательная, в них тепло, даже когда они мокры насквозь. Так что мы не мерзли. Только руки, лежавшие на руле, совсем заоченели.

— Сейчас мы чешем километров сорок в час, если не больше, — заметил Матуретт. — Как вы думаете, сколько времени прошло с тех пор, как мы отчалили?

— Сейчас скажу, — отозвался Клозио, — минуточку... Три с четвертью часа.

— Ты что, рехнулся, дружище? С чего это ты взял?

— А я считал в уме с самого отплытия и через каждые триста секунд отрывал по кусочку картона. У меня тридцать девять кусков. Умножить их на пять минут — вот и будет три с четвертью часа. Если я правильно понял, минут через пятнадцать — двадцать мы остановимся, вернее, начнем возвращаться туда, откуда пришли.

Я повернул румпель вправо, пересек середину, где течение было самым сильным, и направился

к голландскому берегу. Отлив прекратился прежде, чем мы достигли земли. Мы уже не спускались по реке, но и не поднимались. Дождь продолжался. Мы больше не курили я не говорили громко, только перешептывались: «Бери весло, гребь». Я тоже греб, зажав румпель под правой ногой. Тихо и осторожно лодка вошла в заросли; хватаясь за ветки, мы подтягивали ее все дальше вглубь, под плотный занавес из листвы, где темно даже днем. Река посерела — ее полностью окутал Густой туман. Если бы не приливы и отливы, нам ни за что бы не определить, где находится море.

В МОРЕ

Прилив длится шесть часов. Потом еще часа полтора предстоит ждать отлива. Вымотался я до предела. Надо поспать — там, в море, будет не до этого. Я растянулся на дне лодки между бочонком и мачтой, Матуретт соорудил из одеяла нечто вроде навеса, и я заснул. Я спал и спал — сны, дождь, неудобная поза, ничто не могло вывести меня из этого глубокого тяжелого забытья.

Наконец Матуретт разбудил меня.

— Пора, Папи, так нам, во всяком случае, кажется. Уже вовсю идет отлив.

Лодка повернула к морю. Опустив пальцы в воду, можно было почувствовать, как сильно течение» Дождь перестал, и при свете луны, вернее ее четвертинки, мы отчетливо видели реку метров на сто вперед, несущую деревья, ветви и какие-то другие непонятные предметы. Я пытался определить, где река впадает в море. Здесь пока ветра нет. Будет ли он там, в море? Будет ли сильным? Мы вынырнули из-под зарослей. Глядя на небо» можно было только примерно понять, где находится берег, то есть где заканчивается река и начинается море. Мы заплыли гораздо дальше, чем рассчитывали, и находились теперь, по-видимому, километрах в десяти от устья. Выпили рому — крепкого, неразбавленного. Пора ли уже устанавливать мачту? Все были за. И вот мы ее установили, и она надежно держалась в днище. Я укрепил и парус, только пока не разворачивал, он плотно прилегал к мачте. Матуретт изготовился по моей команде поднять стаксель и кливер. Все, что надо сделать, чтобы парус наполнился ветром, — это отпустить веревку, привязывающую его к мачте. Я мог справиться с этим, не сходя с места. Мы с Матуреттом не выпускали из рук весел: грести надо было быстро и сильно, потому что течение прижимало нас к берегу.

— Всем приготовиться! Грести! Помоги нам Бог!

— Помоги нам Бог! — откликнулся Клозио.

— В твои руки вверяю себя, — добавил Матуретт.

И мы гребли что было сил, весла одновременно и глубоко врезались в воду.

Мы находились от берега на расстоянии не далее броска камня, когда поток подхватил лодку и снес на целые сто метров ниже. Вдруг подул бриз и начал подталкивать нас к середине реки.

— Поднять стаксель и кливер, живо!

Паруса наполнились ветром, лодка встала на дыбы, словно необъезженный конь, и понеслась как стрела. Должно быть, мы все же немного запоздали, потому что на реке внезапно стало совсем светло — взошло солнце. Справа, примерно километрах в двух, отчетливо просматривался французский берег, где-то в километре слева — голландский, а впереди — белые гребни океанских волн.

— Господи, опоздали! — воскликнул Клозио. — Как думаешь, долго еще выбираться в открытое море?

— Не знаю.

— Глянь, какие огромные волны, так и разлетаются в пену. Может, прилив уже начался?

— Да нет, быть не может... Видишь, по воде несет всякую дрянь.

— Нам не выбраться, — заметил Матуретт. — Опоздали.

— Заткни пасть и сиди, где посадили, у кливера и стакселя! И ты тоже заткнись, Клозио!

Раздались хлопки выстрелов. Это по нам начали палить из ружей. Я ясно видел, откуда прогремел второй. В нас стреляли вовсе не охранники, выстрелы были с голландского берега. Я развернул главный парус, и ветер ударил в него с такой силой, что меня едва не вышвырнуло за борт. Лодка накренилась чуть ли не на сорок пять градусов. Надо удирать, и как можно быстрее, это не так трудно — нам помогает ветер.

Еще выстрелы! Потом все стихло. Теперь мы были уже ближе к французскому берегу, потому и прекратились выстрелы. Подхваченные ветром, мы неслись со страшной скоростью. Так быстро, что проскочили середину устья, и я понял, что через несколько минут лодка врежется в песок. Я видел, как уже бегут по берегу люди. И начал как можно осторожнее менять направление, натягивая веревки паруса. Парус выпрямился, кливер повернулся сам по себе, стаксель тоже. Лодка постепенно разворачивалась. Я отпустил парус, и мы вылетели из реки, казалось, впереди ветра. Господи, пронесло! Все, конец! Через десять минут на нас уже налетела первая морская волна, пытаюсь остановить, но мы перескочили через нее легко, как по маслу, и звук «шват-шват», который издавали борта и днище на реке, сменился на «тумп-тумп». Волны были высокие, но мы перескакивали через них легко и свободно, как ребенок через скакалку. «Тумп-тумп» — лодка опускалась и поднималась ровно, без всякой дрожи.

— Ура! Ура! Вышли! — громко, что было мочи завопил Клозио.

В довершение победы Господь одарил нас поистине восхитительным зрелищем восхода солнца. Волны накатывали ритмично, правда, высота их становилась все меньше и меньше по мере удаления от берега. Вода была жутко грязная — просто сплошная грязь. К северу, она казалась черной, позже выяснилось, что там она все же синяя. Сверяться с компасом не было нужды — солнце должно находиться по правую руку. Великое морское путешествие, началось!

Клозио пытался приподняться, ему хотелось видеть, что происходит вокруг, Матуретт протянул, ему руку и усадил напротив меня, спиной к бочонку. Клозио свернул мне сигарету, прикурил, передал. Мы все закурили.

— Дай-ка мне тафии, — сказал Клозио. — Границу как-никак пересекли, это дело надо отметить.

Матуретт с некоторым даже шиком налил нам в жестяные кружки по глотку, мы чокнулись и выпили друг за друга. Лица моих друзей сияли счастьем, мое, должно быть, тоже, Клозио спросил:

— Господин капитан, можно ли узнать, куда вы намерены держать курс?

— В Колумбию, с Божьей помощью.

— Надеюсь, Господь услышит ваши молитвы! — откликнулся Клозио.

Солнце поднималось быстро, и мы вскоре обсохли. Я соорудил из больничной рубахи некое подобие арабского бурнуса. Если ткань намочить, голова будет в прохладе, и солнечный удар тогда не грозит. Море приобрело опалово-голубой оттенок, волны были редки, высотой примерно три метра, плыть по ним — одно удовольствие. Бриз не ослабевал, и мы довольно быстро удалялись от берега. Время от времени я оборачивался и видел, как тает темная полоска на горизонте. Чем дальше мы отплывали от сплошного зеленого массива, тем отчетливее представлял я себе направление. Я оборачивался назад с чувством некоторого беспокойства, которое призывало собраться, напоминая о том, что теперь жизнь моих товарищей в моих руках.

— Сварю-ка я, пожалуй, риса! — сказал Матуретт.

— Я подержу плитку, а ты котелок, — предложил Клозио.

Вареный рис пахнул очень аппетитно. Мы ели его горячим, предварительно размешав в котелке две банки сардин. Трапеза завершилась кофе. «Рому?» Я отказался — слишком жарко, да и вообще я не слишком большой любитель спиртного. Клозио свертывал и прикуривал для меня одну сигарету за другой. Итак, первый обед в море оказался на высоте. Мы находились в открытом море всего часов пять, но уже чувствовалось, что глубина здесь огромная. Волны стали еще меньше, перескакивая через них, лодка уже не стучала. Погода выдалась великолепная. Я сообразил, что днем можно почти не сверяться с компасом, просто время от времени соотносить расположение солнца со стрелкой и держать в этом направлении — очень просто. Однако яркий солнечный свет утомлял глаза, и я пожалел, что не разжился парой солнечных очков. И вдруг Клозио заметил:

— Ну и повезло же мне, что я натолкнулся на тебя в больнице!

— Не только тебе, мне тоже повезло, — ответил я и подумал о Дега и Фернандесе... Если б они тогда сказали «да», то были бы сейчас с нами.

— Ну, не уверен... — задумчиво протянул Клозио. — Впрочем, тебе было бы довольно сложно заманить араба в палату в нужный момент.

— Да, тут нам очень помог Матуретт. Я рад, что он с нами, это надежный товарищ, храбрый и умный.

— Благодарю, — улыбнулся Матуретт. — И спасибо, что поверили в меня, несмотря на то, что я молод, ну и еще... сами знаете кто... Из кожи буду лезть, но не подведу!

После паузы я сказал:

— Франсис Серра — как раз тот парень, которого нам не хватает. И Гальгани...

— Так уж вышло, такой расклад событий, Папийон. Окажись Иисус порядочным человеком и дай нам нормальную лодку, мы бы затаились и подождали их. Может, отправили бы за ними самого Иисуса. Как бы там ни было, они тебя знают. И знают, раз ты не послал за ними, значит, это было невозможно.

— Кстати, Матуретт, а как ты угодил в эту палату для особо опасных?

— Я понятия не имел, что меня собираются интернировать. Сказал, что болен, горло у меня

болело, ну и еще я не хотел выходить на прогулки. Врач, как увидел меня, сказал: «Из твоей карточки я понял, что тебя должны интернировать на острова. За что?» — «Я ничего об этом не знаю, доктор. Что это значит — интернировать?» — «Ладно, выбрось это из головы. Ляжешь в больницу». Так я там и оказался.

— Врач хотел тебе Добра, — заметил Клозио.

— Кто его знает, чего хотел этот шарлатан, отправляя меня в больницу... Теперь, должно быть, охает: «Смотри-ка, а мой ангелочек не оплошал, удрал-таки!»

Мы болтали и смеялись. Я сказал:

— Кто знает, может, встретимся еще когда-нибудь с Жуло, Человеком-Молотком. Должно быть, он сейчас далеко, а может, отлеживается где-нибудь в кустах.

— Перед уходом, — вставил Клозио, — я сунул под подушку записку: «Ушел и адреса не оставил».

Мы так и покатались со смеху.

Пять дней мы плыли безо всяких происшествий. Днем компасом служил путь солнца с востока на запад, ночью приходилось сверяться с настоящим компасом.

Наутро шестого дня солнце сияло особенно ослепительно. Море внезапно успокоилось. Из воды то и дело выпрыгивали летучие рыбы. Я изнемогал от усталости. Ночью Матуретт протирал мне лицо влажной тряпицей, чтобы я не заснул, но я все равно время от времени отключался, и тогда Клозио прижигал мне руку кончиком сигареты. Теперь стоял полный штиль, и можно было немного передохнуть. Мы спустили главный парус и кливер, оставив только стаксель, и я свалился на дно лодки, как бревно, укрывшись от солнца полотнищем паруса.

Проснулся оттого, что Матуретт тряс меня за плечо.

— Сейчас только час или два, но я бужу тебя потому, что ветер крепчает, а на горизонте, откуда он дует, черным-черно.

Пришлось заступить на вахту. Поднятый парус быстро понес нас по гладкой воде. Позади, на востоке, небо потемнело, ветер постепенно усиливался. Стакселя и кливера оказалось достаточно, чтобы лодка, неслась как стрела. Я плотней обернул главный парус вокруг мачты и как следует закрепил.

— Держись, ребята, сдается мне, приближается шторм!

На нас упали первые тяжелые капли дождя. Тьма быстро надвигалась и через четверть часа настигла нас. Поднялся невероятно сильный ветер. словно по волшебству, море преобразилось — побежали валы с пенистыми гребнями, солнце исчезло, дождь хлынул потоками. Ничего не было видно, а волны обрушивались на лодку, окатывая нас с головы до пят. Да, это был настоящий шторм, дикая стихия во всем ее великолепном и неукротимом буйстве — гром, молний, дождь, дикое завывание ветра — вся эта безумная круговерть вокруг.

Лодку несло как соломинку — она то взлетала на невероятную высоту, то обрушивалась в пропасть между валами, такую глубокую, что казалось: нам из нее сроду не выбраться. Однако она каким-то непостижимым образом все-таки выкарабкивалась из этих глубин и, взлетев на

очередную волну, скользила по гребню, и все повторялось сначала — вверх-вниз, вверх-вниз. Увидев, что надвигается еще один вал, куда выше прежних, я решил, что лучше всего встретить его носом, и вцепился в румпель обеими руками. Но я поторопился, и лодка врезалась в водяную гору, зачерпнув немало воды. Точнее сказать, она набрала воды под завязку — чуть ли не на метр. Сам того не желая, я направил лодку в лоб следующему валу — очень опасный маневр, — и она так накренилась, что едва не перевернулась, однако при этом большая часть воды выплеснулась.

— Bravo! — воскликнул Клозио, — Да ты заправский моряк! Почти вся вылилась.

— Видал, как надо делать? — ответил я,

Если бы он только знал, что именно из-за отсутствия опыта я едва не перевернул лодку в открытом море! После этого я решил не лезть на рожон, не следить за курсом, а стараться просто удерживать лодку да плаву и в равновесии насколько это возможно. Я позволил ей взбегать по волнам и опускаться как заблагорассудится. И вскоре оценил, какое гениальное сделал открытие, позволившее процентов на девяносто избежать опасности. Дождь перестал, ветер же продолжал бушевать с неукротимой силой, однако теперь было видно, что творится вокруг. Небо позади нас очистилось, просветлело, впереди же оставалось черным. Мы находились ровно посередине. Часам к пяти все стихло. Снова сияло солнце, дул обычный легкий бриз, море тоже успокоилось. Я высвободил главный парус, и мы снова заскользили по воде, донельзя довольные собой. Вычерпали котелками и сковородками воду, развернули одеяла и привязали к мачте — просушить. Рис, мука, масло, крепкий кофе, по глотку рома для успокоения. Солнце уже почти садилось, создавая небывалое по красоте зрелище — Красновато-коричневое небо, гигантские желтые лучи, расходившиеся от полупогруженного в океан диска и высветляющие небо, несколько белых облачков над головой и море, само море... Поднимающиеся навстречу валы были густо-синими у основания, кверху светлели, становились зеленоватыми, а на гребне просвечивали красным, розовым и желтым в зависимости от цвета попавших в них лучей.

Душу наполнили удивительный мир и покой. И вместе с тем я испытывал гордость и торжество оттого, что вполне, как оказалось, могу постоять за себя и в море. Да, этот шторм был как нельзя более кстати — я понял, как надо управлять лодкой в подобных обстоятельствах.

— Ну что, видел, как надо избавляться от воды, Клозио? Понял, в чем фокус?

— Ты молоток! Если б ты ее не выплеснул и нас бы ударила в борт еще одна волна, мы бы наверняка потонули,

— Ты что, выучился всем этим штукам на флоте? — спросил Матуретт.

— Ага. Все же там дают неплохую подготовку.

Должно быть, мы довольно сильно отклонились от курса. Но как определить расстояние, пройденное в дрейфе, с учетом такого волнения и ветра? Ладно, буду держать на северо-запад, вот что. Солнце погрузилось в море, играя последними отблесками — на этот раз сиреневыми, и тут же наступила ночь.

Еще шесть дней почти ничто не нарушало спокойного нашего плавания, пронеслось лишь несколько шквалов и ливней, однако дольше трех часов все это не продолжалось, никакого сравнения с тем первым штормом.

Десять утра — ни малейшего дуновения ветерка, мертвый штиль. Я проспал часа четыре.

Когда проснулся, почувствовал, как горят губы. На них практически не осталось кожи, на носу тоже. А вся правая рука походила на кусок сырого мяса. Матуретт и Клозио были примерно в том же состоянии. Дважды в день мы натирали лица и руки маслом, но это мало помогало, — тропическое солнце вскоре сжигало и масло.

Судя по солнцу, было уже часа два дня. Я подзаправился и, видя, что штиль продолжается, решил использовать парус в качестве навеса. Рыба так и кружила вокруг лодки, особенно в том месте, где Матуретт мыл посуду. Я взял нож и попросил Матуретта бросить за борт немного риса, все равно он начал портиться из-за того, что в него попала вода. Рыба столпилась в том месте, где в воду упал рис, она поднялась совсем близко к поверхности, и одна из них почти целиком высунула голову из воды. В ту же секунду я с силой ударил ее ножом, и она всплыла брюхом вверх. Весила эта добыча около десяти килограммов, мы выпотрошили ее, сварили в соленой воде и съели на ужин с мукой маниоки.

Вот уже одиннадцать дней мы в море. За все это время только один раз видели корабль, да и то далеко, на самом горизонте. Я уже начал волноваться — куда это, черт побери, нас занесло? Далеко, это ясно, но где находится Тринидад или еще какие-нибудь английские острова?

Ну вот, стоило только помянуть черта, и он тут как тут — впереди прямо по курсу мы увидели черную точку, постепенно становившуюся все крупней. Что это — корабль или рыбацкая лодка? Да нет, нам показалось, что она идет прямо на нас... Корабль, теперь мы видели его вполне отчетливо, проходил стороной. Конечно, теперь он находился ближе, но, похоже, вовсе не собирался менять курс, чтобы подобрать нас. Ветра совсем не было, паруса повисли, как жалкие тряпки, и на корабле нас, наверное, просто не заметили. Но вдруг послышался вой сирены, а затем прогремели три выстрела. Корабль начал менять курс, теперь он направлялся прямо к нашей лодке,

— Надеюсь, он не подойдет слишком близко? — спросил Клозио.

— Не волнуйся, море тихое, как болотная лужа.

Это был танкер. Он подходил все ближе, и уже можно было различить стоявших на палубе людей. Должно быть, удивлялись, что эта жалкая лодка-скорлупка делает в открытом море... Корабль был совсем рядом, мы видели столпившихся на палубе матросов и офицеров. И кока. Затем на палубу высыпали дамы в светлых платьях и мужчины в пестрых рубашках. Наверное, пассажиры, так мы, во всяком случае, поняли. Пассажиры на танкере... странновато немного. Капитан крикнул по-английски:

— Откуда вы?

— Французская Гвиана.

— Так вы говорите по-французски? — спросила одна женщина.

— Да, мадам.

— А что вы делаете так далеко в открытом море?

— Да так, плывем себе в Божьей помощью куда направит ветер.

Дама что-то сказала капитану, затем снова обратилась к нам:

— Капитан говорит: можете подниматься на борт. Потом они втащат на палубу вашу лодочку.

— Передайте, что мы страшно ему признательны, но нам и здесь вполне хорошо.

— Вы отказываетесь от помощи?

— Мы беглые, и потом нам с вами не по пути.

— А куда вам надо?

— На Мартинику, а может, и дальше. Где мы теперь?

— Далеко, в открытом океане.

— А где Вест-Индия?

— Английскую карту разберете?

— Да.

Через минуту они спустили на веревке несколько пачек сигарет, жареную баранью ногу и хлеба.

— Вот вам карта!

Я взглянул на нее и сказал:

— Так, теперь нам надо держать на запад, чтобы дойти до британской Вест-Индии, верно?

— Верно.

— Сколько это будет миль?

— Через пару дней доберетесь, — сказал капитан.

— Прощайте! Огромное вам спасибо!

— Капитан поздравляет вас и считает, что вы — превосходные мореходы!

— Спасибо еще раз! Прощайте!

Танкер медленно отошел, едва не задев нас, я начал быстро отгребать, чтобы не нарваться на винт, и в этот момент какой-то морячок кинул мне с палубы форменную фуражку. Она упала прямо в середину лодки. Прекрасная это была вещь — с золотой лентой и якорем. Именно она находилась у меня на голове через два дня, когда мы на этот раз без всяких проблем достигли Тринидада.

ТРИНИДАД

О приближении земли, задолго до того, как мы ее увидели, нам сказали птицы. Было полвосьмого утра, когда они начали кружить над лодкой. «Доплыли, ребята! Мы доплыли!» Первый этап побега — самый трудный — окончен. Отныне мы свободны, свободны навсегда! От радости мы вопили, как школьники. Лица наши были покрыты густым слоем кокосового масла — тоже подарок с танкера. Около девяти мы увидели землю. Бриз довольно быстро нес нас к ней по спокойному морю. Но только где-то часам к четырем мы в деталях смогли разглядеть длинный остров, берег, окаймленный россыпью белых домиков и увенчанный кокосовыми

пальмами. Впрочем, с уверенностью сказать, остров это или полуостров, мы не могли, так же как обитаемы ли дома. Прошел час, прежде чем мы увидели людей, бегущих по берегу к тому месту, где мы собирались причалить.

Еще минут через двадцать там собралась пестрая толпа. Казалось, все жители этой небольшой деревни высыпали на берег встречать нас. Позднее мы узнали и название деревни — Сан-Фернандо.

Я бросил якорь метрах в трехстах от берега. Отчасти, чтобы проверить реакцию жителей, и потому, что опасался за лодку — ведь дно могло оказаться коралловым. Мы свернули парус и стали ждать. С берега отвалила маленькая лодка. В ней сидели два чернокожих гребца и один белый в пробковом шлеме,

— Добро пожаловать в Тринидад! — сказал мужчина на великолепном французском. Гребцы, улыбаясь, скалили ослепительно белые зубы.

— Спасибо за добрые слова, месье. Дно коралловое или песок?

— Песок. Так что не беспокойтесь, можете смело причаливать.

Мы снялись с якоря, и волны начали подталкивать нас к берегу. Едва мы коснулись его, как в воду вбежали человек десять и одним рывком вытянули лодку на берег. Они глазели на нас и гладили нас, а какая-то негритянка, или индианка, говорила. «Добро пожаловать к нам!» Белый мужчина, говоривший по-французски, сообщил, что каждый из них зовет нас к себе в дом. Матуретт набрал в горсть песка и поцеловал его, что вызвало новый взрыв восторга. Я объяснил белому, в каком положении находится Клозио, и тот распорядился отнести его в свой дом, находившийся, как оказалось, неподалеку. И еще сказал, что мы можем спокойно оставить все наши вещи в лодке до завтра — ничего не пропадет, никто к ним не прикаснется. А люди выкрикивали: «Хороший капитан, добрый капитан, долго плыл в своей лодке!» Настала ночь. Я попросил втянуть лодку еще дальше на берег и привязал к другой, куда большей по размерам, стоявшей на песке. Затем вместе с Матуреттом последовал за англичанином. В его доме мы увидели Клозио — он явно блаженствовал, сидя в кресле с вытянутой ногой, возлежащей на придвинутом стуле, а вокруг него хлопотали какая-то дама и молоденькая девушка,

— Мои жена и дочь, — представил их джентльмен. — Есть и сын, но он сейчас в университете, в Англии,

— Добро пожаловать в дом, — сказала дама по-французски.

— Присаживайтесь, господа, — подхватила девушка, указывая на два плетеных кресла.

— Спасибо, милые дамы! Право, мы не стоим таких хлопот!

— Почему же? Мы знаем, откуда вы приплыли и какой проделали путь. Поэтому не стесняйтесь, будьте как дома.

Англичанин оказался адвокатом, звали его мистер Боуэн. Его контора находилась в столице Тринидада Порт-оф-Спейне, в сорока километрах отсюда. Нам принесли чай с молоком, тосты, масло и джем. Первый за долгое время вечер мы провели как свободные люди, и я никогда его не забуду. Ни слова о прошлом, никаких расспросов, лишь о том, сколько дней мы провели в море и как прошло это путешествие. А еще спрашивали Клозио, сильно ли болит нога и когда, по нашему мнению, следует сообщить в полицию — завтра или подождать еще день.

Интересовались, есть ли у нас родственники, жены или дети. Если есть, не хотим ли мы написать им письма, они тут же отправят. Что мог я сказать на все это? Они были так добры, так гостеприимны — люди на берегу и эта славная семья — к нам, беглым. Мистер Боуэн связался по телефону с врачом, который посоветовал привезти раненого завтра к нему в больницу, чтобы сделать рентген, а там видно будет, как поступать дальше. Мистер Боуэн позвонил также какому-то начальнику из Армии Спасения в Порт-оф-Спейне. Тот обещал подготовить нам комнату в гостинице Армии Спасения, сказав, что мы можем поселиться там, когда пожелаем. И еще посоветовал сохранить лодку, если она в хорошем состоянии она может понадобится для дальнейшего путешествия. Спросил, каторжане мы или депортированные? Мы сказали, что мы каторжники, и, похоже, он был доволен ответом.

— Не желаете ли принять ванну и побриться? — спросила девушка. — Не стесняйтесь, никакого беспокойства. Там, в ванной, я положила кое-какие вещи, надеюсь, они вам подойдут.

Я помылся, побрился и вышел из ванной посвежевший, тщательно причесанный, на мне были серые брюки, белая рубашка, теннисные туфли и белые носки.

В дверь постучал какой-то индеец Он принес для Матуретта сверток и объяснил, что врач заметил — у меня примерно тот же размер, что и у адвоката, нуждаться ни в чем я не буду. А вот маленькому, хрупкому Матуретту вещи из гардероба мистера Боуэна явно не подойдут. Затем он поклонился по-мусульмански и исчез. Чем мы могли ответить на такую доброту? Сердце переполняла благодарность, я не находил слов. Клоizio улегся в постель первым, а мы еще долго сидели и болтали. Двух наших очаровательных дам больше всего интересовало, как мы собираемся теперь строить свою жизнь. И ни единого вопроса о прошлом, только о настоящем и будущем. Мистер Боуэн сказал, что он крайне сожалеет, что Тринидад не разрешает оставаться беглым на острове. По его словам, он неоднократно пытался выбить разрешение для разных людей, но ничего из этого не выходило.

Девушка, как и ее отец, великолепно говорила по-французски, без всякого акцента. У нее были белокурые волосы, лицо покрыто веснушками. На вид ей было лет семнадцать — двадцать, я не осмелился уточнить. Она сказала:

— Вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди. Не знаю, за что вас приговорили, да и знать не хочу. Но сам факт, что вы вышли в море в маленькой лодочке и предприняли такое долгое и опасное путешествие, доказывает, что вы готовы заплатить за свободу любую цену. Это качество в людях всегда меня восхищало.

Проспали мы до восьми утра. А проснувшись, обнаружили, что стол уже накрыт. Дамы сообщили, что мистер Боуэн спозаранку отправился в Порт-оф-Спейн и вернется только к полудню, возможно, ему удастся что-то для нас сделать.

И вот я сижу в саду под кокосовыми пальмами, а напротив меня — белокурая девушка с голубыми, как море, глазами. Кругом цветут красные, желтые, лиловые бугенвиллии, что придает саду мистера Боуэна весьма романтический оттенок, очень подходящий к данному моменту.

— Месье Анри (она называла меня «месье»! Господи, сколько времени ко мне так никто уже не обращался!), вы слышали, что вчера сказал папа? Эти британские власти настолько несправедливы и лишены какой-либо человечности и понимания, что не разрешают вам остаться здесь. Дают лишь две недели на отдых, затем вы должны снова выходить в море... Сегодня рано утром я ходила взглянуть на вашу лодку. Она такая крошечная и хрупкая для столь долгого путешествия! Будем надеяться, что вам все же удастся достигнуть более

гостеприимной страны, чем наша. На всех британских островах с такими, как вы, поступают одинаково. И если в пути вам придется тяжело, прошу, не держите зла на людей, живущих на этом острове!

Они не отвечают за порядок вещей, сложившийся здесь, Этим распоряжаются английские власти. Вот вам папин адрес: 101, Квин-стрит, Порт-оф-Спейн, Тринидад. И если, с Божьей помощью, вам улыбнется удача, прошу, черкните хоть строчку о том, что с вами произошло.

Я был так тронут, что не находил слов. К нам вышла миссис Боуэн, очень красивая женщина лет сорока с каштановыми волосами и зелеными глазами. На ней было простое белое платье с широким поясом и зеленые сандалии.

— Месье, муж задерживается до пяти, он пытается выбить разрешение доставить вас в своей машине в Порт-оф-Спейн без полицейского эскорта. А потом ему не хочется, чтобы свою первую ночь в Порт-оф-Спейне вы провели в полицейском участке. Вашего раненого товарища отвезут прямо в клинику, принадлежащую нашему другу-врачу. А вас поселят в гостинице Армии Спасения.

Вскоре к нам присоединился и Матуретт. Он ходил смотреть лодку и сказал, что вокруг нее до сих пор толпятся любопытные. Но все вещи целы. Люди обнаружили застрявшую под румпелем пулю. Кто-то из них попросил разрешения забрать ее себе в качестве сувенира. На что Матуретт ответил: «Капитан, капитан!» Индейцы поняли, что надо просить разрешения капитана.

— Кстати, — заметил Матуретт, — а почему бы нам не отпустить черепаху?

— У вас есть черепаха? — воскликнула девушка. — Пойдемте посмотрим!

Мы спустились к лодке. Я вытащил черепаху на песок.

— Ну, что будем делать? Бросим обратно в море? Или выпустим к вам в сад?

— В глубине двора есть бассейн с морской водой. Давайте выпустим ее туда. Она будет напоминать мне о вас.

— Прекрасно! — Я раздал любопытным почти все вещи из лодки, за исключением компаса, табака, бочонка для воды, ножа, мачете, топора, одеял и револьвера, который незаметно сунул под одеяло.

В пять появился Боуэн.

— Все в порядке, господа. Я сам отвезу вас в город.

Мы разместили Клозио на заднем сиденье. Я как раз прощался с девушкой, когда вышла ее мать с чемоданом в руке и сказала нам:

— Вот, пожалуйста, возьмите. Здесь вещи моего мужа. Дарим вам от чистого сердца.

— Благодарю вас, тысячу раз благодарю!

Без четверти шесть мы уже были в клинике. Санитары внесли носилки с Клозио в палату. Соседом его оказался какой-то индеец. Появился врач, пожал руку Боуэну. Он не говорил по-французски, но передал через Боуэна, что за Клозио будут хорошо ухаживать и что мы можем

заходить к нему в любой момент. И мы вместе с мистером Боуэном отправились в город.

Город потряс и оглушил нас — огни, автомобили, велосипеды, черные, желтые, белые люди, индейцы — все здесь смешалось. Наконец мы добрались до здания Армии Спасения — единственного в городе, у которого фундамент был выложен из камня. Размещался он на ярко освещенной площади. Мне даже удалось прочитать ее название: «Фиш Маркет» [10].

Комендант Армии Спасения принял нас со всем своим штабом, в котором были и мужчины, и женщины. Он немного говорил по-французски, остальные же обращались к нам по-английски. Мы не понимали слов, но приветливые глаза и лица говорили о том, что они искренне рады нам. Нас проводили в комнату на втором этаже, где стояли три койки. Была в нашем распоряжении и ванная с мылом и полотенцами. Показав комнату, комендант сказал:

вернуться

10

«Рыбный Рынок».

— Если вы голодны, то ужин у нас в семь, значит, через полчаса.

— Нет, мы не голодны.

— Если хотите прогуляться по городу, то вот ваш по два вест-индских доллара, на них можно выпить по чашке чая или кофе или взять мороженое. Только смотрите, не заблудитесь. Захотите вернуться, спросите прохожих, и вам покажут.

Через десять минут мы уже шагали по улице в людской толчее, но никто не обращал на нас никакого внимания. Мы глубоко вдыхали вечерний городской воздух, воздух свободы. Эта удивительная доверчивость, решение отпустить нас в довольно большой город без всякой охраны согревала сердца и вселяла не только уверенность, но и понимание, что мы просто обязаны оправдать это доверие.

Мы зашли в бар и заказали два пива. Казалось, пустяк, войти и сказать: «Два пива, пожалуйста». Это так просто и естественно, и все же показалось абсолютно невероятным, что девушка-индианка с золотой раковиной в ноздре подала нам заказанное и улыбнулась: «Два доллара, сэр».

Ее жемчужная улыбка, огромные темно-фиолетовые глаза, слегка раскосые к вискам, черные волосы до плеч, платье с низким вырезом, обнажающее верх груди и позволяющее только догадываться, что и все остальное, скрытое под ним, столь же прекрасно, — все эти вещи, столь тривиальные и естественные, казалось, принадлежат к какому-то неведомому, волшебному миру.

Это не может быть правдой, Папийон. Не может быть, чтобы ты так быстро превратился из каторжанина, обреченного на пожизненное заключение, из живого трупа в свободного человека!

Платил Матуретт, у него всего и осталось, что полдоллара. Пиво оказалось восхитительно холодным, и Матуретт сказал:

— Как насчет повторить?

— Черт, — пробормотал я, — и часа не прошло, как освободился, а уже думаешь, как бы нажраться!

— Ты чего, Папи? Нажраться с двух кружек пива? Где это ты видывал такое?

— Может, оно и так, но, сдается мне, нам не следует сразу набрасываться на первые попавшиеся удовольствия. Мы должны попробовать всего по чуть-чуть, а не нажираться, как свиньи. К тому же, самое главное, деньги-то эти не наши.

— Что ж, пожалуй, ты прав. Учиться быть свободным надо постепенно, верно?

Мы вышли из бара и двинулись по Уотерс-стрит — главной улице города, пересекавшей его по диагонали, и были настолько околдованы трамваями, осликами с маленькими тележками, автомобилями, светящимися рекламами кинотеатров и дансинг-холлов, глазами молодых чернокожих и индейских девушек, которые улыбаясь глядели на нас, что незаметно прошли всю улицу до гавани. И вот перед нами освещенные огоньками корабли — туристские пароходы с влекущими надписями: Панама, Лос-Анджелес, Бостон, Квебек, грузовые суда из Гамбурга, Амстердама, и Лондона, И тут же, по всей длине набережной, разместились бары» пивнушки, рестораны, битком набитые мужчинами и женщинами, пьющими, поющими, окликающими друг друга. Меня охватило желание смешаться с этой пестрой толпой, возможно вполне заурядной, но столь полной жизни.

На террасе одного из баров красовались, устрицы, морские ежи, креветки, раки, мидии и прочие дары моря, все на льду, явно для того, чтобы разжечь аппетит у прохожих. Столы, накрытые скатертями в красно-белую клетку, манили присесть, впрочем, большинство из них было уже занято. И еще девушки с кофейного цвета кожей и нежно очерченным профилем, мулатки без единой негроидной черты, такие стройные и изящные в этих своих разноцветных, низко вырезанных блузах... Я подошел к одной из них и спросил:

— Французские деньги пойдут? — и показал тысячефранковую купюру.

— Да. Сейчас я вам их разменяю.

— О'кей.

Она взяла банкноту и исчезла в глубине зала, битком набитого посетителями. Вскоре появилась вновь.

— Сюда. — Провела меня в комнатку к кассе, за которой сидел китаец.

— Вы француз?

— Да.

— Менять тысяча франков?

— Да.

— Вся в вест-индский доллар?

— Да.

- Паспорт?
- Нету.
- Удостоверение моряка?
- Нету.
- Документ иммигранта?
- Не имею.
- Очень чудесно.

Он что-то сказал девушке, она оглядела зал и подошла к какому-то моряку в точно такой же фуражке, как у меня — с золотой лентой и якорем, — и подвела его к кассе. Китаец спросил:

- Есть удостоверения личность?
- Тут!

Тихо и спокойно китаец заполнил обменный бланк на тысячу франков на, имя этого незнакомца и попросил его расписаться. Затем девушка взяла его под руку и увела. Похоже, он так и не сообразил, что произошло. Я получил двести пятьдесят вест-индских долларов, пятьдесят из них — одно — и двухдолларовыми бумажками. Сунул девушке один доллар, затем мы вышли в зал и сели за стол, где устроили настоящее пиршество, запивая дары моря восхитительным сухим белым вином.

Тетрадь четвертая

ПЕРВЫЙ ПОБЕГ (продолжение)

ТРИНИДАД

До сих пор перед моим» глазами стоит эта первая ночь свободы в английском городке, я вижу ее так ярко и отчетливо, словно это было вчера. Мы бродили по улицам, опьянев от огней, в самом сердце веселой смеющейся толпы, преисполненные счастьем. Помню бар, битком набитый матросами, тут же развлекались и местные девушки, ожидающие, что их кто-то подцепит. Кстати, в этих девушках не было ничего непристойного, они разительно отличались от женщин парижских, гаврских и марсельских трущоб. Вместо размалеванных, отмеченных алчностью и похотью лиц с хитрыми подлыми глазками — совсем другие, удивительно разнообразные. Здесь были девушки всех оттенков кожи — желтые китайки и черные африканки, светло-шоколадные с гладкими волосами индуски или яванки, чьи родители, возможно, познакомились на сахарных плантациях; была здесь и удивительная красавица с золотой раковиной в ноздре, индианка с римским профилем и лицом цвета меди, освещенным двумя огромными сияющими глазами с длинными ресницами, выставившая вперед свой бюст, словно хотела этим сказать: «Вот, полюбуйте, какие у меня грудки!» У всех в волосах — яркие цветы. Девушки казались воплощением любви, разжигали желание, но без какой-либо пошлости, грязи и меркантильности, — совершенно не чувствовалось, что они здесь на работе, они действительно веселились от души, и, глядя на них, сразу становилось ясно, что деньги для них не главное. Как пара мотыльков, устремленных к свету, мы с Матуреттом переходили из бара в бар, и, только оказавшись на ярко освещенной площади, я бросил взгляд на башенные

часы. Два. Уже два часа ночи! Боже, нам же давно пора обратно, совсем загулялись! Что подумает о нас капитан Армии Спасения!.. Я поймал такси, и мы помчались. Заплатив таксисту два доллара, мы вошли в гостиницу, сгорая от стыда. В холле нас приветливо встретила молоденькая блондинка в форме солдата Армии Спасения. Похоже, ее нисколько не удивил и не рассердил наш поздний приход. Сказав что-то по-английски, что — мы не поняли, но, судя по всему, вполне доброжелательное, она протянула нам ключи от комнаты и пожелала доброй ночи. И мы отправились спать. Где-то около десяти в дверь постучали. Вошел улыбающийся мистер Боуэн.

— Доброе утро, друзья! Все еще спите? Должно быть, вчера припозднились? Хорошо провели время?

— Доброе утро. Да, мы поздно пришли. Извините...

— Ну что вы, что вы, перестаньте! Это же вполне естественно после того, что вам довелось пережить. Вы просто обязаны были взять все от первой ночи на свободе... Я приехал отвезти вас в полицейский участок. Вам следует сделать официальное заявление о нелегальном проникновении на территорию страны. Покончив с формальностями, поедem навестить вашего друга. Как раз сегодня утром ему должны были сделать рентген.

Мы быстренько привели себя в порядок и спустились вниз, где нас ждал мистер Боуэн вместе с капитаном.

— Доброе утро, мои друзья! — сказал капитан на плохом французском.

— Доброе утро всем! Женщина-офицер спросила:

— Ну, как вам понравился Порт-оф-Спейн?

— Очень, мадам. Все было чудесно!

До участка мы добрались пешком — он находился всего в двухстах метрах. Полицейские разглядывали нас, впрочем, без особого любопытства. Миновав двух стражей в хаки с лицами цвета черного дерева, мы вошли в просторный кабинет. Навстречу нам поднялся офицер лет пятидесяти, в шортах, рубашке хаки и галстуке, причем вся грудь его была увешана орденскими планками и медалями. Он обратился к нам по-французски.

— Доброе утро. Садитесь. Хотел побеседовать с вами немного, прежде чем вы сделаете официальное заявление. Сколько вам лет?

— Двадцать шесть и девятнадцать.

— За что приговорены?

— Убийство.

— Сколько дали?

— Пожизненную каторгу.

— Так, значит, умышленное убийство?

— Нет, меcье, непреднамеренное.

— Преднамеренное — это у меня, — вставил Матуретт. — Мне было семнадцать.

— В семнадцать уже пора отвечать за свои поступки, — сказал капитан. — В Англии бы тебя точно повесили... Ладно, британские власти сидят здесь не для того» чтобы критиковать французскую систему правосудия Единственное, с чем мы категорически не согласны, так это с тем, что преступников у вас высылают в Гвиану. Это совершенно бесчеловечно и недостойно цивилизованной нации. К сожалению, на Тринидаде вам оставаться нельзя. Равно как и на любом другом из британских островов. Это запрещено. Поэтому я прошу вас, играйте честно, не прибегая ни к каким уловкам — выдуманным болезням и прочее, чтобы отсрочить отъезд. Здесь, в Порт-оф-Спейне, вы можете находиться пятнадцать, от силы восемнадцать дней. Лодка у вас вполне приличная, ее уже завели в гавань. Если нужен ремонт, наши моряки помогут. Вас снабдят всеми необходимыми припасами, хорошим компасом и картой. Будем надеяться, латиноамериканские страны примут вас. Но только не Венесуэла. Там вас арестуют, заставят работать на строительстве дорог, а потом передадут французским властям. Лично мне кажется, совершенно не обязательно считать человека совсем пропавшим, если он раз в жизни оступился. Вы молоды, здоровы и, похоже, вполне приличные ребята. Раз вынесли такое, значит, вас не так просто сломать. Я был бы рад сыграть положительную роль в вашей судьбе и помочь стать здравомыслящими и ответственными за свои поступки людьми. Желаю удачи! Возникнут трудности — звоните нам вот по этому номеру. Вам ответят по-французски.

Он позвонил, и вошел человек в штатском.

Заявление мы писали в большой комнате в присутствии нескольких полицейских и сотрудников в штатском, стучавших на пишущих машинках.

— Причина прибытия в Тринидад?

— Восстановить силы.

— Откуда прибыли?

— Из Французской Гвианы.

— Совершили ли во время побега какое-либо преступление? Убили кого-нибудь, нанесли телесные повреждения?

— Серьезных — нет.

— Откуда вам это известно?

— Так нам сказали уже после побега.

— Ваш возраст, положение, по какой статье судимы во Франции?

И так далее.

Через некоторое время мистер Боуэн отвез нас в клинику. Клозио страшно обрадовался. Мы не стали рассказывать ему, как провели ночь. Просто сказали, что нам разрешили свободно ходить куда вздумается. Он очень удивился.

— И что, без всякого сопровождения?

— Да, без,

— Ну и чудилы же они, эти ростбифы [11]. Боуэн сходил к врачу и вскоре вернулся.

— А кто вправлял вам кость, прежде чем наложить шины? — спросил он.

— Я и еще один парень. Его с нами нет.

— Вы так здорово проделали эту операцию, что нет нужды снова ломать кость. Они просто забинтуют ногу и дадут палочку, чтобы можно было передвигаться. Хотите остаться здесь или быть с вашими друзьями?

— Нет, уж лучше с ними.

— Что ж, прекрасно. Завтра снова будете вместе.

Мы рассыпались в благодарностях. Мистер Боуэн ушел, и часть дня мы провели с Клозио. На следующий день мы все трое оказались в гостиничном номере с распахнутым настежь окном и включенным на полную мощность вентилятором.

— Чем быстрее мы забудем о прошлом, тем лучше, — сказал я. — Давайте-ка теперь подумаем о дне завтрашнем. Куда отправимся? В Колумбию, Панаму, Коста-Рику? Тут надо бы посоветоваться с Боуэном.

Я позвонил Боуэну в контору, но его там не оказалось. Позвонил домой, в Сан-Фернандо. Ответила дочь. После обмена любезностями она сказала:

— Господин Анри, возле рыбного рынка, что неподалеку от гостиницы, есть автобусная остановка. Может, вы приедете провести день с нами? Прошу вас, приезжайте, мы так вас ждем!

Мы отправились в Сан-Фернандо втроем. Клозио выглядел особенно импозантно в красно-коричневом полувоенном костюме.

Прием нам оказали самый любезный

На столе расстелили карту, и «военный совет» начался. Огромные расстояния: до Санта-Марты, ближайшего колумбийского порта, — тысяча двести километров, до Панамы — две тысячи сто, до Коста-Рики — две с половиной тысячи километров. Тут как раз вернулся и мистер Боуэн.

— Сегодня я проконсультировался кое с кем, и у меня есть для вас хорошие новости. Вы можете на несколько дней остановиться в Кюрасао. В Колумбии нет строго определенных законов относительно беглых. Правда, консул не знает ни одного случая, когда кто-нибудь из беглых достиг бы Колумбии морем. Панамы — тоже.

— Я знаю одно безопасное место, — вставила Маргарет, дочь мистера Боуэна. — Но это очень далеко. Около трех тысяч километров.

— О чем ты? — спросил отец.

— Британский Гондурас [12]. Там губернатором мой крестный.

— Ну что ж, поднять паруса, и вперед, в Британский Гондурас! — воскликнул я.

С помощью Маргарет и ее матери мы весь день разрабатывали маршрут. Первый этап:

Тринидад — Кюрасао, тысяча километров, второй — от Кюрасао до любого острова на нашем пути, и третий — до Британского Гондураса.

За два дня до отъезда мистер Боуэн пришел к нам с запиской от префекта полиции, в которой тот просил нас взять с собой еще троих беглых, арестованных неделю назад. Они высадились на остров и утверждали, что остальные их товарищи отправились дальше, в Венесуэлу. Я был далеко не в восторге от этой идеи. Но нам оказали столь любезный прием, что отказать в просьбе было просто невозможно. Я выразил желание повидаться с этими людьми и сказал, что только после этого смогу дать окончательный ответ.

За мной заехала полицейская машина.

Во время разговора с префектом кое-что прояснилось.

— Эти трое, — сказал префект, — сидят у нас в тюрьме. Беглые французы. Как выяснилось, находились на острове нелегально несколько дней. Утверждают, что друзья высадили их здесь, а сами уплыли. Мы думаем, все это вранье, хитрость. Они, видимо, затопили лодку, а сами выдумывают, что вообще не умеют ею управлять. Мы заинтересованы, чтобы они убрались отсюда как можно скорей, иначе я буду вынужден передать их властям на первое попавшееся французское судно, а мне бы этого не хотелось.

— Что ж, постараюсь вам помочь. Но сперва мне бы хотелось потолковать с ними. Надеюсь, вы понимаете, насколько это рискованно — брать на борт трех совершенно незнакомых людей.

— Понимаю. — И он распорядился привести арестованных французов. А затем оставил меня с ними наедине

— Вы депортированные?

— Нет, каторжные.

— Тогда почему утверждали, что депортированные?

— Да просто думали, что они скорее примут человека,

совершившего какое-то мелкое преступление, а не крупное. Выходит, ошиблись. Ну, а ты кто?

— Каторжный

— Что-то я тебя не знаю

— Прибыл последним конвоем. А вы когда?

— Конвой двадцать девятого.

— А я в двадцать седьмом, — сказал третий человек

— Ну вот что Префект попросил меня взять вас на борт. Нас в лодке и без того уже трое. Он сказал, что, если я откажу, ему придется посадить вас на первый же французский корабль, поскольку никто из вас не умеет управлять лодкой. Ну, что вы на это скажете?

— По ряду причин нам не хотелось бы снова выходить в море. Можно сделать вид, что мы отплыли, а потом вы высадите нас где-нибудь на дальнем конце острова, а сами плывите себе куда надо.

вернуться

11

Презрительное прозвище англичан.

вернуться

12

Ныне государство Белиз.

— Нет, этого я сделать не могу.

— Почему?

— Да потому, что здесь к нам прекрасно отнеслись, и я не собираюсь отвечать этим людям черной неблагодарностью.

— Послушай, браток, сдаётся мне, на первом месте у тебя должны быть интересы своего, каторжного, а не какого-то ростбифа!

— Это почему?

— Да потому, что ты сам каторжный.

— Да, но только и среди каторжан попадают разные люди. И мне какой-то там, как ты говоришь, «ростбиф», может оказаться ближе, чем вы.

— Так ты что, собираешься сдать нас французским властям?

— Нет. Но и на берег до Кюрасао высаживать не собираюсь.

— Духу не хватает начинать всю эту бодягу по новой, — сказал один из них.

— Послушайте, давайте сначала пойдем и взглянем на нашу лодку. Наверное, та, на которой вы приплыли, была совсем некудышная.

— Ладно, идем, — согласились двое.

— Ну и хорошо. Я попрошу префекта отпустить вас. И в сопровождении сержанта мы отправились в гавань.

Увидев лодку, трое парней, похоже, немного воспрянули духом.

СНОВА В МОРЕ

Два дня спустя мы вместе с тремя незнакомцами покинули Тринидад. Не знаю, откуда стало известно о нашем отплытии, но целая дюжина девиц из баров явилась провожать нас. И конечно же, семейство Боуэнов в полном составе и капитан Армии Спасения.

Одна из девиц поцеловала меня, а Маргарет рассмеялась и шутливо заметила:

— Вот это да! Не ожидала, Анри, что у вас уже завелась здесь невеста. Времени зря не теряли!

— Прощайте! Нет, до свидания! И позвольте мне сказать вот что: вы даже не представляете, какое огромное место занимаете отныне в наших сердцах! И так оно будет всегда!

В четыре пополудни мы отплыли, ведомые буксирным судном. И вскоре вышли из гавани, смахнув слезу и бросив последний взгляд на людей, которые пришли проститься с нами и теперь махали белыми платками. На буксире отцепили трос, мы тут же поставили все паруса и пустились в открытое море навстречу волнам, бесчисленное множество которых нам предстояло пересечь, прежде чем достигнуть цели. На борту было два ножа: один у меня, второй у Матуретта, Топор находился у Клозио под рукой; там же и мачете. Мы были уверены, что наши пассажиры не имеют оружия. Но организовали все так, что только один из нас спал, а двое других бодрствовали.

— Как твое имя?

— Леблон.

— Какой конвой?

— Двадцать седьмого года,

— А приговор?

— Двадцать лет.

— Ну а ты?

— Я Каргере. Конвой двадцать девятого, пятнадцать лет. Я бретонец.

— Бретонец и не умеешь управлять лодкой?

— Не умею.

— Меня зовут Дюфиль, — представился третий. — Я из Анжера. Схлопотал пожизненное, так, по глупости. Раскололся на суде. А то бы было пятнадцать. Конвой двадцать девятого.

— А как раскололся?

— Ну, в общем, так вышло. Прикончил жену утюгом. Во время суда судья спросил, почему именно утюгом. Уж не знаю, какой меня черт под руку подтолкнул, но я возьми да и брякни: гладить не умела! Ну, а потом адвокат сказал, что эта идиотская шутка вывела их из себя, вот и вклепили на полную катушку.

— Откуда вы бежали?

— С лесоповала. Из лагеря Каскад в восьмидесяти километрах от Сен-Лорана. Смыться оттуда — не проблема, там довольно свободный режим. Просто взяли да и ушли, все пятеро. Проще простого.

— Как это понять, пятеро? А где же другие двое? Настало неловкое молчание. Клозио прервал его:

— Знаете что, ребята, тут Люди собрались честные и открытые. Так что выкладывайте все как

на духу. Ну?!

— Ладно, уж так и быть... — сказал бретонец. — Бежало нас пятеро, это правда, но те двое ребят из Кана, на родине они были рыбаками. И ничего не заплатили за побег, сказав, что их умение управлять лодкой дороже любых денег. Ну, ладно. А потом выяснилось, что ни тот, ни другой понятия не имеют, как надо вести себя в море. Раз двадцать чуть не потонули. Так и болтались у берега — сперва возле Голландской Гвианы, потом Британской, а уж потом здесь, у Тринидада. А между Джорджтауном и Тринидадом я взял да и прикончил одного, который сказал, что будет нашим главарем. Этот тип сам напросился. А второй испугался, что и его прикончат, и сам сиганул за борт. Во время шторма, бросил руль и нырнул. Уж как мы справились, сам не пойму. Сколько раз лодка была полна воды, а йотом мы налетели на скалу — просто чудо, что живы остались! Даю вам честное слово: все, что я рассказал, — истинная правда.

— Да, правда, — подтвердили: двое других. — Именно так, все и было, и мы трое сговорились убить этого парни. Ну, что скажешь, Папийон?

— Тут я не судья.

— Ну а что бы ты сделал на нашем месте? — настаивал бретонец.

— Вопрос непростой, тут надо поразмыслить. Надо самому пройти через все это, чтобы решить, кто тут прав, а кто виноват.

— А я бы точно порешил этого гада, — вставил Клозио. — Из-за его вранья все могли погибнуть.

— Ладно, Оставим это. Я так понимаю, вы напуганы морем до полусмерти. И согласились плыть с нами только потому, что выбора не было. Верно?

— Сущая правда, — ответили они в один голос.

— Хорошо, тогда договоримся так: никакой паники на борту, что бы ни случилось. А если кто стухнет, пусть держит пасть на замке. Лодка у нас хорошая, мы это проверили. Правда, сейчас загружена больше, но все равно — борта на десять сантиметров от воды. Этого вполне достаточно.

Мы закурили и выпили кофе. Перед отплытием мы довольно плотно подзаправились и решили, что до утра нам хватит.

9 декабря 1933 года. Прошло сорок два дня с начала побега. Теперь мы были обладателями весьма ценных для мореплавания вещей — водонепроницаемых часов, купленных в Тринидаде, хорошего компаса с кардановым подвесом и пары пластиковых солнцезащитных очков, а на головах у Клозио и Матуретта красовались панамы.

Первые три дня прошли относительно спокойно, если не считать встречи со стаей дельфинов. Мы прямо похолодели от страха, когда целая банда их, штук восемь, затеяла игру с лодкой. Они подныривали под нее с одного конца и выныривали из-под другого, время от времени задевая борта и днище. Но еще больше испугал следующий их трюк: три дельфина, выстроившись треугольником, — один впереди и двое по бокам чуть сзади — мчались прямо нам в лоб, рассекая плавниками воду. На расстоянии буквально волоска они разом ныряли и выплывали слева и справа по борту. И, несмотря на сильный бриз и довольно большую скорость движения лодки, не отставали несколько часов.

Мы здорово струхнули. Малейшая неточность в движении, и они перевернули бы лодку. Наши новички не промолвили ни слова, но вы бы видели, какие несчастные у них были лица!

На четвертые сутки в середине ночи разразился ужасный шторм. Это было действительно нечто кошмарное. Хуже всего, что валы не следовали в одном направлении, а сшибались и разбивались друг о друга. Некоторые были длинными и высокими, другие мелкими, взвихренными ветром — никак не приспособиться. Никто не проронил ни звука, за исключением Клозио, который время от времени выкрикивал: «Эй, полный вперед! Ничего, с этой справишься не хуже, чем с остальными!» Или: «Следи! Вон там, сзади, лезет еще одна!»

Иногда они проходили три четверти пути совершенно нормально, ревя и закипая пеной на гребнях. У меня было достаточно времени, чтобы определить их скорость и угол, под которым следовало их встретить. Но вдруг, откуда ни возьмись, над форштевнем вздымался огромный вал, вода обрушивалась мне на плечи и, конечно же, в лодку. Все пятеро не выпускали из рук котелков и сковородок, и все же лодка больше, чем на четверть, заполнилась водой. Никогда еще перспектива утонуть не казалась столь реальной. Это длилось добрые семь часов. А из-за проливного дождя мы до восьми утра даже не видели солнца.

Зато какова же была наша радость, когда оно наконец засияло на небе, очистившемся от штормовых облаков! Прежде всего кофе. Мы пили его с консервированным молоком и матросскими сухарями — твердыми как камень, но, если их обмакнуть в кофе, вполне съедобными. От этого сражения со стихией я совершенно вымотался и, хотя ветер был еще сильным, а море не успокоилось, попросил Матуретта сменить меня. Мне просто необходимо было поспать. Но не прошло и десяти минут, как Матуретт облажался — неправильно встретил волну, и лодка наполнилась водой на три четверти. Все барахло плавало в воде — котелки, плитка, одеяла, все-все. По пояс в воде я пробрался к румпелю на мгновение раньше рушившегося на нас огромного вала. Он не затопил нас, напротив — вынес вперед на добрые десять метров. Все бешено вычерпывали воду. Никто не пытался спасти вещи, нами владела одна мысль — как можно быстрее освободить лодку от воды, что делала ее такой тяжелой и неповоротливой. Следует признать — наши трое новичков оказались на высоте. Когда очередной вал чуть не полностью затопил лодку, то бретонец не растерялся, отвязал бочку с водой и кинул в море. Через два часа все высохло, однако мы потеряли одеяла, примус, печку, топящуюся углем, и сам уголь, канистры с бензином и бочонок с водой, впрочем, его уже не случайно.

Днем я решил переодеть брюки и тут обнаружил еще одну пропажу — исчез мой маленький чемоданчик с вещами, вместе с ним пропали и два-три дождевика. На дне лодки нашлись две бутылки рома. Табак частично пропал, частично промок.

— Ребята, давайте-ка перво-наперво хлебнем по доброму глотку рома, — предложил я, — а уж потом подсчитаем, какие запасы у нас остались. Так, вот фруктовый сок, прекрасно... Надо установить строгий рацион на питье. Вот коробки с сухарями, давайте опорожним одну и сделаем из нее плитку, а на топливо пойдет вот этот деревянный ящик. Да, нам пришлось туго, но теперь опасность позади мы все преодолели и друг друга не подвели. Отныне, с этой минуты, пусть никто не смеет ныть «пить хочу» или «я проголодался». И никаких там «хочу курить». Договорились?

— Есть, Папи!

К счастью, ветер наконец стих, и мы смогли для начала сварить суп из мясных консервов. И вдобавок к нему съели намокшие в коробке сухари — этого должно было хватить до завтра. Каждому досталось по плошке зеленого чая. А в одной из уцелевших коробок мы обнаружили

упаковку сигарет — маленькие лачки по восемь штук в каждой. Мы насчитали двадцать четыре такие пачки. Все пятеро решили, что только я один имею право курить, чтобы не заснуть за штурвалом, и чтоб без всяких там обид.

Пошел шестой день, как мы покинули Тринидад, и за все это время я практически не сомкнул глаз. В этот день я решил наконец поспать — море было гладкое как стекло. Я спал как убитый часов пять. Было уже десять вечера, когда я проснулся. По-прежнему штиль. Мои товарищи по ужинали без меня, но я обнаружил оставленную для меня миску поленты из маисовой муки и съел ее с консервированными копчеными сосисками. Страшно вкусно! Чай уже почти совсем остыл; но неважно. Я закурил и стал ждать, когда наконец задует ветер.

Ночь выдалась необычайно звездная. Полярная звезда сияла, как бриллиант, уступая по великолепию и блеску разве что Южному Кресту. Отчетливо были видны Большая и Малая Медведицы. Ни облачка, и полная луна взошла на усыпанном звездами небе. Бретонец дрожал от холода. Он потерял куртку и остался в одной рубашке. Я дал ему дождевик.

Пошел седьмой день пути.

— Друзья, — сказал я, — у меня такое ощущение, что мы слишком отклонились к северу. Поэтому теперь я буду держать на запад, чтобы не проскочить Голландскую Вест Индию. Положение серьезное, у нас почти не осталось питьевой воды, да и с едой туговато, если не считать НЗ.

— Мы полагаемся на тебя, Папийон, — сказал бретонец.

— Да, на тебя, — подтвердили все остальные хором. — Поступай как считаешь нужным.

— Спасибо за доверие, ребята,

Похоже, я действительно принял верное решение. Всю ночь ветра так и не было, и только в четыре утра поднялся бриз и привел в движение нашу лодку. Он все усиливался и в течение тридцати шести часов дул с неослабевающей силой, гоня лодку по волнам с довольно приличной скоростью. Впрочем, волны были совсем маленькие, нас почти не качало.

КЮРАСАО

Чайки. Сперва их крик в темноте, потом Мы увидели и самих птиц, парящих над лодкой. Одна то садилась на мачту, то снова взлетала. Наступил рассвет, яркий блеск солнца залил водную гладь, но нигде, даже на горизонте, никакой земли видно не было. Откуда же тогда, черт побери, взялись чайки? Мы все глаза проглядели, но напрасно. Ни малейших признаков суши. Солнце сменилось полной луной, свет ее в тропиках столь ярок, что режет глаза. Очков у меня больше не было, их унесла та подлая волна вместе со всем прочим. Около восьми вечера в ослепительном лунном свете мы различили на горизонте темную полосу.

— Точно, земля! — Я был первым, кто нарушил молчание.

— Похоже, что так...

Короче, все согласились, что темная полоса на горизонте — земля. Всю оставшуюся часть ночи я держал направление на эту тень, которая становилась все отчетливее. Мы подплывали с приличной скоростью; на небе ни облачка, лишь сильный ветер и высокие, но равномерные валы. Темная масса земли поднималась невысоко над водой, и трудно было сказать, что там за берег — утесы, скалы или песчаный пляж. Луна заходила как раз за его край и отбрасывала

тень, не позволяющую видеть ничего, кроме линии огоньков над самой водой — сперва сплошной, потом прерывистой. Мы подходили все ближе и ближе, наконец я бросил якорь в километре от берега. Ветер был сильный, лодка кружила на месте, встречая бортами удары волн, и нас швыряло довольно сильно — ощущение малоприятное. Паруса мы, конечно, спустили.

Мы вполне могли бы дождаться рассвета, но, к несчастью, якорь внезапно сорвался. Втянув в лодку цепь, мы обнаружили, что якоря на ней больше нет. И, несмотря на все мои усилия, волны неуклонно несли нас прямо на скалы. И вот лодка оказалась зажатой между двумя скалами с разбитыми бортами. Никто и ахнуть не успел, как накатил следующая волна и всех нас вышвырнуло на берег — побитых, мокрых, но живых. Только Клозио с его ногой пришлось хуже, чем остальным. Лицо и рука были у него страшно исцарапаны. Мы же отделались синяками. Я сильно треснулся ухом о камень, и оно кровоточило.

И все же мы живы и невредимы, на твердой суше, вне досягаемости волн. Когда настал рассвет, мы собрали дождевики, и я перевернул лодку. Она уже начала разваливаться на куски. Мне удалось выдернуть компас из гнезда. Вокруг не было видно ни души. Мы смотрели на линию огней и лишь позднее узнали, что они стоят здесь, чтобы предупредить рыбаков об опасности. И мы двинулись прочь от моря. Вокруг ничего, кроме кактусов, огромных кактусов и ослов. К колодцу мы подошли совершенно вымотанные, ведь пришлось нести по очереди Клозио, сплетая из рук нечто вроде скамейки. Вокруг колодца валялись скелеты коз и ослов. Колодец оказался высохшим — колесо его вертелось вхолостую, не извлекая из-под земли ничего. А вокруг по-прежнему ни души, лишь ослы да козы. Наконец мы добрались до маленького домика. Распахнутые настежь двери словно приглашали войти. «Эй! Эй! Есть тут кто-нибудь?» Никого. Над камином висела на шнуре туго набитая сумочка. Я снял ее и уже собирался открыть, как вдруг шнур лопнул — там оказались флорины, голландские монеты. Значит, мы на голландской территории в Бонайре, Кюрасао или Аруба. Мы оставили сумочку, не прикоснувшись к ее содержимому. Нашли воду, и каждый по очереди напился из ковшика. Ни в доме, ни поблизости никого не было. Мы двинулись дальше. Из-за Клозио шли очень медленно, как вдруг дорогу нам перегородил старый «форд».

— Вы французы?

— Да.

— Забирайтесь в машину.

Трое разместились сзади, Клозио у них на коленях, мы же с Матуреттом сели впереди, рядом с водителем.

— Потерпели кораблекрушение?

— Да.

— Кто-нибудь утонул?

— Нет.

— Откуда вы?

— С Тринидада.

— А до этого?

— Из Французской Гвианы.

— Каторжные или вольнопоселенцы?

— Каторжные.

— Я доктор Нааль, владделец этой земли. Это полуостров, отходящий от Кюрасао. Его называют Ослиной землей. Здесь живут только козы да ослы. Едят кактусы, даже длинные шипы им не помеха. А знаете, как прозвали здесь эти шипы? Девушки Кюрасао.

— Не очень-то лестное прозвище для молодых дам Кюрасао, — заметил я.

Здоровяк оглушительно расхохотался. Внезапно, но захлебнувшись в астматическом кашле, «форд» вился. Я указал на стадо ослов и сказал:

— Раз машина не в состоянии двигаться дальше, можно запрячь их.

— В багажнике есть сбруя, но попробуй поймать хоть пару и запрячь! — Доктор Нааль открыл капот и быстро обнаружил, что из-за тряской езды отсоединилась клемма свечи. Он ловко устранил неисправность, при этом нервно озираясь по сторонам, и мы двинулись дальше. Потрясаясь на ухабах еще какое-то время, мы наконец доехали до шлагбаума, преграждающего дорогу. За ним виднелся небольшой белый коттедж. Хозяин заговорил по-голландски с очень светложимым и аккуратно одетым негром, который все время повторял: «Да, мастер, да, мастер!» Затем он обратился к нам:

— Я велел ему побыть с вами, пока не вернусь и не привезу чего-нибудь попить. Выходите из машины.

Мы вышли и сели в тени, на траву. Престарелый «форд», кашляя и задыхаясь, укатил.

Он не проехал и пятидесяти метров, как негр обратился к нам на папьямето, местном жаргоне, состоявшем из смеси голландских, французских, английских и испанских слов, и сообщил, что его хозяин, доктор Нааль, отправился за полицией, потому что жутко нас испугался, да и ему велел держать ухо востро, поскольку мы наверняка беглые воры. Этот несчастный мулат прямо не знал, как и чем нам еще угодить. Сварил кофе, правда, слабый, но по такой жаре сошло. Мы прождали больше часа. И вот наконец появился большой фургон с шестью полицейскими, одетыми на немецкий манер, а за ним — открытый автомобиль с шофером в штатском и еще тремя господами, одним из которых был доктор Нааль. Они вышли из машины, и самый низкорослый из них, похожий на священника, сказал:

— Я начальник отдела безопасности острова Кюрасао. Мое положение обязывает взять вас под арест. Совершили ли вы какое-либо преступление с момента прибытия на остров, и если да, то какое? И кто именно из вас?

— Господин! Мы беглые. Приплыли из Тринидада, всего несколько часов назад наша лодка разбилась здесь о скалы. Старший в этой маленькой компании я, и могу вас заверить, что ни один из нас не совершил ни малейшего проступка.

Комиссар заговорил с Наалем по-голландски. В этот момент подъехал какой-то парень на велосипеде и присоединился к разговору.

— Господин Нааль, — вмешался я, — почему вы сказали этому человеку, что мы воры?

— Да потому, что до вас я встретил вот этого парня, и он сообщил, что наблюдал за вами из-за кактуса и видел, как вы вошли в его дом, а потом вышли. Он работает у меня, присматривает за ослами.

— Разве то, что мы вошли в дом, означает, что мы воры? Вздор какой-то, всего-то и взяли, что по глотку воды. Разве это можно считать воровством?

— А как насчет сумки с флоринами?

— Да, я действительно открыл сумку, просто шнур лопнул. И всего лишь заглянул в нее. Решил посмотреть, что там за деньги, чтобы понять, в какой стране мы оказались. А потом положил все на место.

Полицейский так и буравил меня взглядом. Потом повернулся к типу на велосипеде и заговорил с ним очень жестко. Доктор Нааль пытался вмешаться, но он грубо оборвал его. Затем они посадили этого парня в машину рядом с шофером и двумя полицейскими, и они укатили. Нааль в сопровождении человека, с которым он приехал, прошел в дом вместе с нами.

— Я должен объясниться, — начал он. — Парень утверждал, что сумка пропала. Прежде чем обыскивать вас, комиссар решил допросить его. Ему кажется, что он лжет. Если вы невиновны, я прошу прощения. Но это тоже не моя вина.

Не прошло и четверти часа, как машина вернулась, и комиссар обратился ко мне:

— Ты говорил правду. Этот парень — мерзкий лжец. Его накажут.

Парня затолкали в фургон. Мои ребята залезли туда же, я собрался было последовать за ними, но комиссар отозвал меня и сказал:

— Садись в мою машину, рядом с водителем.

И вот перед нами — улицы голландского городка, уютного и чистого, и все — на велосипедах. В полицейском управлении нас сразу провели в кабинет. В кресле сидел полный блондин лет сорока.

— Это начальник полиции Кюрасао. Вот те самые французы, а он — глава группы из шести человек, которых мы задержали.

— Прекрасно, комиссар. Добро пожаловать на Кюрасао, потерпевшие кораблекрушение. Как ваше имя?

— Анри.

— Что ж, Анри, довольно неприятная история вышла с этой сумкой. Но для вас это даже к лучшему. Так как определенно доказывает, что вы — человек честный. Сейчас вас отведут в комнату, где вы сможете передохнуть. Губернатор рассмотрит ваш вопрос и примет соответствующие меры. Мы же, комиссар и я, будем на вашей стороне.

Два часа спустя мы оказались запертыми в большой комнате вроде больничной палаты с дюжиной коек, длинным столом и скамейками. Через открытое окно мы попросили полицейского купить табаку, папиросной бумаги и спичек на тринидадские доллары. Деньги он взять отказался, а что ответил — мы не поняли.

— Этот черный как сажа тип слишком предан своему долгу, — заметил Клозио. — Не видеть нам табаку как своих ушей.

Я уже хотел постучаться в дверь, но она отворилась сама. На пороге стоял маленький человечек в тюремной одежде с номером на груди.

— Деньги, сигареты? — сказал он.

— Нет. Спички, бумага, табак.

Через несколько минут он принес нам все требуемое, а вдобавок — еще котелок с какой-то дымящейся жидкостью, шоколадом или какао. Принес он и кружки, и каждый из нас выпил по полной.

После обеда за мной пришли, и я снова предстал перед шефом полиции.

— Губернатор распорядился позволить вам гулять во дворе. Только предупредите своих товарищей, чтобы они не пытались удрать. Последствия будут самые неприятные. Раз уж вы у них главный, можете каждое утро выходить в город на два часа, с десяти до двенадцати. А потом вечером, с трех до пяти Деньги у вас есть?

— Да. Английские и французские.

— Во время прогулок вас будет сопровождать полицейский в штатском

— А что с нами будет дальше?

— Думаю, вас постараются отправить отсюда по одному на танкерах разных стран. На Кюрасао один из крупнейших заводов по переработке нефти. Она поступает к нам из Венесуэлы, и каждый день в порт заходят по двадцать — двадцать пять танкеров из разных стран. Мне кажется, для вас это идеальный выход. Так вы сможете без труда попасть в любую страну.

— В какую страну, к примеру? В Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Никарагуа, Мексику, Канаду, Кубу, Штаты, какие-нибудь страны под английским флагом?

— Нет, это невозможно. Европа тоже исключается. Но не расстраивайтесь. Положитесь на нас, и мы постараемся вам помочь начать новую жизнь.

— Благодарю, господин комиссар.

Я пересказал этот разговор моим ребятам. Клозио, самый въедливый и подозрительный из нас, спросил:

— Ну и что ты про все это думаешь? А, Папийон?

— Еще не знаю. Но боюсь, что все это сказки для дураков, чтобы мы сидели тихо и не пытались бежать.

— Боюсь, ты прав, — ответил он.

Бретонец же попался на удочку. Этот уютных дел мастер был в восторге.

— Никаких больше лодок, никаких приключений! Все, точка! Высадимся в какой-нибудь стране, и привет!

Леблон был того же мнения.

— Ну а ты что скажешь, Матуретт?

И тут это девятнадцатилетнее дитя, этот щенок, случайно ставший преступником, этот мальчик с милыми девичьими чертами, открыл свой нежный ротик и сказал:

— Вы что, болваны, всерьез верите, что эти квадратно-головые фараоны собираются снабдить каждого из нас документами, может, даже поддельными? Как же, дожидайтесь! В лучшем случае закроют глаза, чтобы мы могли хилить по одному и нелегально пробираться на борт танкера, но не более того. И все только затем, чтобы избавиться от нас, как от головной боли. Вот что я думаю. Ни одному их слову не верю.

Выходил я редко, в основном по утрам, сделать покупки. Мы жили так вот уже неделю, и ничего не происходило. Мы даже уже начали волноваться. Как-то вечером мы увидели трех священников, обходивших камеры и палаты в сопровождении охранников. Они надолго застряли в соседней с нами камере, где сидел негр, обвиняемый в изнасиловании. Ожидая, что они придут и к нам, мы вошли в свою палату и расселись по койкам. И действительно, они появились в сопровождении доктора Нааля, шефа полиции и какого-то человека в белой униформе, которого я принял за офицера флота.

— Монсеньор, это и есть те французы, — сказал шеф полиции по-французски. — Поведение безупречное.

— Поздравляю вас, сыны мои. Давайте присядем к столу, так нам будет удобней беседовать, Все мы расселись.

— Обычно французы — католики, — продолжил священник. — Но, может, кто-то из вас нет? — Никто не поднял руки. — Друзья мои, я сам выходец из французской семьи. Мое имя Ирене де Брюин. Предки мои были гугенотами, протестантами, которые бежали в Голландию от преследований еще при Екатерине Медичи. Итак, я француз по крови и епископ Кюрасао, острова, где больше протестантов, чем католиков. Но где католики очень набожны и преданы своему долгу. Как у вас сейчас обстоят дела?

— Мы ждем, когда нас по очереди посадят на танкеры.

— Кто-нибудь из ваших уже уехал таким образом?

— Пока нет.

— Гм... Ну, что вы на это скажете, комиссар? И, пожалуйста, отвечайте по-французски. Ведь вы прекрасно владеете этим языком.

— Монсеньор, у губернатора действительно была такая идея. Но, скажу вам со всей откровенностью, вряд ли какой-либо капитан согласится взять хоть одного из них на борт. Ведь у них нет паспортов.

— Вот с этого и надо было начинать. А не может ли губернатор дать по этому случаю каждому из них паспорт?

— Не знаю. Он об этом со мной не говорил.

— Послезавтра я отслужу для вас мессу. Не желаете ли прийти завтра и исповедаться? Я сам исповедую вас и сделаю все от меня зависящее, чтобы Бог простил ваши грехи. Можно ли будет этим людям посетить собор завтра в три?

— Да.

— Пусть приезжают на такси или в частной машине.

— Я привезу их, монсеньор, — сказал Нааль.

— Спасибо. Сыны мои, я ничего вам не обещаю, но даю честное слово, что постараюсь помочь, чем могу.

Нааль поцеловал его кольцо, то же сделал Бретонец, и все мы по очереди подошли и прикоснулись к нему губами. А потом проводили епископа к машине, что ждала во дворе.

На следующий день все мы отправились на исповедь. Я вошел к нему последним.

— Входи, сын мой. Давай начнем с самого тяжкого греха.

Я пересказал ему мою историю во всех подробностях. Он слушал терпеливо и внимательно, не перебивая. Лишь изредка, когда я доходил до подробностей, о которых трудно было говорить, он опускал глаза, тем самым как бы облегчая мою задачу. В этих прозрачных глазах отражалась вся ясность и чистота души. И вот, все еще держа мою руку в своей, он заговорил тихо, почти шепотом:

— Порой Господь требует от детей своих терпеть людскую подлость, чтобы избранный им человек стал сильнее духом и благороднее, чем прежде. Люди, система, эта чудовищная машина, подмявшая тебя, — все обернулось в конечном счете тебе во благо. Помогло взрастить в себе нового человека, лучшего, чем прежде. Испытания эти ниспосланы, чтобы ты поборол все трудности и стал другим. В душе такого человека, как ты, не должно быть чувства мести. Ведь по натуре ты спаситель других людей. Сам Бог открывает тебе навстречу свои объятия и говорит: «Спаси себя, и Я спасу тебя». Это он дал тебе шанс спасти других и повести их к свободе.

— Благодарю, отец. Вы вселили в мою душу мир и покой. Теперь мне хватит этого на всю жизнь. Я никогда не забуду вас. — С этими словами я поцеловал ему руку.

Вскоре доктор Нааль сообщил радостную весть: ему удалось уговорить губернатора разрешить нам приобрести на распродаже одну из лодок, конфискованных у контрабандистов. Мы увидели эту лодку. Великолепное сооружение метров восемь в длину, с глубоким килем, очень высокой мачтой и большим парусом. Для контрабанды в самый раз. Она была полностью экипирована, однако на всех предметах стояли белые восковые печати. Торги на аукционе начались с шести тысяч флоринов, что составляло около тысячи долларов. Однако, пошептавшись с каким-то человеком, доктор Нааль организовал все таким образом, что мы смогли приобрести ее за шесть тысяч и один флорин. Через пять дней все было готово. Свежеокрашенная и набитая всякими снастями и припасами лодка воистину была королевским подарком. А каждого из нас ждал еще чемодан с новой одеждой, обувью и прочими необходимыми вещами.

ТЮРЬМА В РИОАЧЕ

Отплыли мы на рассвете. Лодка довольно быстро выбралась из гавани. Я держал курс на запад.

Мы решили нелегально высадить троих наших пассажиров на колумбийский берег. Они и слышать не желали о долгом морском путешествии, хотя и утверждали, что доверяют мне целиком и полностью, но только не в шторм. А тут как назло прогноз погоды в газетах, которые мы читали в тюрьме, обещал целую серию штормов и ураганов.

В конце концов я признал, что у них есть свои права, и принял решение высадить их на голом необитаемом полуострове под названием Гуахира. Нам же предстояло держать путь в Британский Гондурас.

Погода стояла великолепная. Усыпанное звездами небо со сверкающей половинкой луны облегчало высадку. Мы добрались до колумбийского берега и бросили якорь. Пожали на прощание руки, и они один за другим шагнули в воду, держа чемоданы над головой, и направились к берегу. Мы с грустью провожали их взглядом. Они оказались надежными товарищами, ни разу ни в чем не подвели. Пока они шли к берегу, ветер совершенно стих.

Черт! А что, если нас заметили из деревни, что обозначена здесь на карте? Риоача, так, кажется? Ближайший порт, где имеется полиция. Будем надеяться, не заметили. У меня было ощущение, что мы подошли ближе, чем намеревались. На это указывал и маяк на выступе скалы, мимо которого мы только что проплыли.

Ждать, ждать... Наконец трое наших товарищей исчезли из виду, помахав на прощание белым платком.

Бриз, ради всего святого! Нам нужен бриз, который бы унес нас от берегов Колумбии, поскольку вся эта страна была для нас одним большим знаком вопроса. Никто не знал, как обращались здесь с беглыми, возвращали их назад или нет. Уж лучше оказаться в Британском Гондурасе, там по крайней мере с этим определеннее. Но только в три утра наконец задул ветер, и мы тронулись. Мы плыли часа два, как вдруг появился катер береговой охраны, держа курс прямо на нас, а с палубы палили, давая знак остановиться. Я не послушался и продолжал плыть в открытое море, пытаюсь как можно быстрее выйти из территориальных вод. Но это не удалось. Скоростной катер нагнал нас меньше чем за полтора часа, и под прицелом десяти направленных на нас ружей, мы вынуждены были сдаться. Солдаты, а возможно, и полицейские, задержавшие нас, выглядели одинаково — некогда белые брюки сплошь в грязи, шерстяные, похоже, ни разу не стиранные кители, и все, за исключением капитана, были босы; тот был одет чуть почище и чуть получше. Впрочем, бедность одеяния компенсировалась экипировкой: вокруг пояса туго набитый патронташ, хорошо начищенные ружья, к тому же у каждого за поясом штык в ножнах. Метис» которого они называли капитаном, смахивал скорее на разбойника в был вооружен огромным револьвером. Говорили они по-испански, и мы плохо их понимали, но сам их вид и интонации были далеко не дружеские.

Из гавани нас препроводили прямо в тюрьму. Дорога шла через деревню, которая действительно называлась Риоача.

Тюремный двор был обнесен низкой каменной Стеной. По нему болталось человек двадцать грязных, бородатых заключенных. Они смотрели на нас недружелюбно, даже злобно: «Вамое, вамое!» Теперь мы догадались, что говорят солдаты: «Давай, давай вперед!» Исполнить эту команду было нелегко: Клозио хотя и стало получше, но все равно из-за гипса быстро идти он не мог. Когда бредущий в конце колонны капитан поравнялся с нами, я увидел у него в руках наш компас, а на плечах — дождевик. К тому же он жрал наши бисквиты и шоколад. Нетрудно было сообразить, что здесь нас оберут до нитки.

Нас заперли в грязной вонючей камере с толстыми решетками на окне. На полу стояли

деревянные топчаны с приподнятыми изголовьями — надо полагать, постели. Как только охранник покинул камеру, к окну со двора подошел заключенный и окликнул:

— Французы! Французы!

— Чего надо?

— Французы не есть хорошо, не есть хорошо!

— Что это значит — не есть хорошо?

— Полиция...

— Что полиция?

— Полиция не есть хорошо.

И он исчез. Настала ночь. Комнату освещала тусклая лампа. Москиты так и зудели над головой, забиваясь в ноздри и уши.

— Ничего себе вляпались! Дорого же нам обошлась высадка этих парней!

— Что поделаешь... Ведь никогда не знаешь наверняка. Вся эта пакость случилась оттого, что не было ветра.

— Ты слишком близко подошел, — заметил Клозио.

— Да заткнешься ты наконец или нет?! Нашли время попрекать друг друга вместо того, чтобы поддерживать!

— Извини, Папи, ты прав. Никто не виноват.

Но как же все-таки несправедливо, что побег, которому отдано столько сил, заканчивается таким плачевным образом! Впрочем, они нас не обыскали. Мой патрон находился в кармане, и я поспешил спрятать его в надлежащее место. То же сделал и Клозио. На ужин нам принесли по куску темно-коричневого сахара размером с кулак и две плоски вареного, очень соленого риса. «Буэнас ночес!»

— Должно быть, это «спокойной ночи», — заметил Матуретт.

Наутро, в семь, нам принесли очень хорошего крепкого кофе в деревянных кружках. Около восьми во дворе появился капитан. Я спросил его, можно ли пойти и забрать из лодки наши вещи. Он или не понял, или притворился, что не понимает. Чем дольше я наблюдал его, тем противнее казалась его физиономия. Слева за поясом у него висела маленькая бутылочка в кожаном футляре. Он потянулся к ней, открыл, отпил глоток, сплюнул и протянул мне. Первый дружеский жест с момента прибытия. Пришлось взять и отпить. К счастью, я сделал совсем маленький глоток — это было похоже на жидкий огонь, к тому же воняло денатуратом. Я быстро проглотил эту дрянь и закашлялся, что донельзя развеселило капитана.

В десять во дворе появилось несколько штатских господ — в белом и при галстуках. Их было шесть или семь, и они прошли в здание, где, по-видимому, располагалось нечто вроде административного корпуса. Послали за нами. Они сидели полукругом за столом, над которым нависал портрет щедро разукрашенного орденами офицера, президента Колумбии Альфонсо Лопеса. Один из господ, обратившись к Клозио по-французски, попросил его присесть, мы же

остались стоять. Тощий, крючконосый тип, сидевший в центре, начал меня допрашивать. Однако переводчик перевел мне не все его слова, а просто сказал: «Этот человек, который только что говорил с вами, — судья города Риоача, остальные — влиятельные горожане, его друзья. Надеюсь, они немного понимают по-французски, хотя и не признаются в этом, в том числе и сам судья».

Эта преамбула вывела судью из себя. Он начал вести допрос по-испански. Переводчик переводил.

— Вы французы?

— Да.

— Откуда вы?

— С Кюрасао.

— А до этого где обретались?

— В Тринидаде.

— А до этого?

— На Мартинике.

— Лжете! Больше недели назад нашего консула в Кюрасао предупредили, что за берегом надо следить особенно тщательно, так как шестеро мужчин, бежавших с французской каторги, могут попытаться высадиться в нашей стране.

— Ладно, признаю. Мы действительно бежали с каторги.

— Так вы из Гвианы?

— Да.

— Если уж такая благородная страна, как Франция, выслала вас так далеко и наказала столь сурово, значит, вы и впрямь опасные преступники.

— Возможно.

— За кражу или убийство?

— Непреднамеренное убийство.

— Все равно убийство. Ну, а что другие трое?

— Остались в Кюрасао.

— Снова лжете! Вы высадили их в шестидесяти километрах отсюда, в Кастилете. К счастью, они арестованы. Их привезут сюда через несколько часов. Где вы украли лодку?

— Мы не крали. Нам подарил ее епископ Кюрасао.

— Ладно. Посидите в тюрьме, пока губернатор не решит, что с вами делать. За высадку трех

ваших товарищей на территорию Колумбии и попытку бежать я приговариваю вас» капитан судна, к трем месяцам тюремного заключения. Остальным — по полтора месяца каждому. И сидите тихо, чтоб вас не избили, охрана у нас очень строгая. Хотите что-нибудь сказать?

— Нет. Я хотел бы только забрать свои вещи и припасы, оставшиеся в лодке.

— Все конфисковано таможей за исключением пары брюк, одной рубашки, одной куртки и пары башмаков на каждого. И нечего спорить, таков закон.

В час дня наших приятелей привезли в грузовике под охраной из семи-восьми человек.

— Ну и дурака же мы свалили и вас подвели! — сказал Бретонец. — Нет нам прощения! Хочешь убить меня — убей! Я и пальцем не шевельну. Не мужчины мы, а дерьмо вонючее, Папийон! Боялись моря! Все морские ужасы — просто цветочки по сравнению с Колумбией и колумбийцами и перспективой побывать в лапах у этого жулья. Вы не могли отплыть — ветра, что ли, не было?

— Да, Бретонец, не было. Никого я убивать не хочу, все мы хороши. Надо было просто отказаться высаживать вас, и этого бы не произошло.

— Ты слишком добр, Папи.

— Не в том дело. Я правду говорю. — И я рассказал им о допросе.

— Может, все-таки губернатор отпустит нас?

— Как же, дожидайся! И все ж не будем терять надежду.

Вот уже неделю мы здесь. Никаких изменений, за исключением разговоров, что нас якобы пошлют под сильной охраной в более крупный город под названием Санта-Марта в двухстах километрах отсюда. Мерзавцы — охранники своего отношения к нам не переменили. Вчера один чуть не огрел меня прикладом по голове только за то, что я отобрал у него назад свой же кусочек мыла в душевой. Мы жили в той же комнате, кишашей москитами, правда, сейчас она стала чуть почище, Матуретт и Бретонец скоблили и драили ее каждый день. Я уже начал отчаиваться и терять надежду. Эти колумбийцы — народ, образовавшийся от смешения индейцев и негров, индейцев и испанцев, бывших здесь некогда хозяевами, — ввергали меня в отчаяние. Один из колумбийских заключенных дал мне старую газету, выходящую в Санта-Марте. На первой странице красовались наши портреты, а под ними — фото полицейского капитана в большой фетровой шляпе с сигарой в зубах. Внизу же размещался групповой снимок десятка полицейских, вооруженных ружьями. Я сообразил, что вокруг нас заварилась целая каша, а роль этих мерзавцев во всей истории сильно преувеличена. Можно подумать, что благодаря нашему аресту Колумбии удалось избежать ужасного несчастья. И все же на лица так называемых злодеев было куда приятней смотреть, нежели на фотографии полицейских. Скорее уж мы выглядели приличными людьми. Так что же делать? Я даже начал учить испанские слова: побег — «фугарео», заключенный — «пресо», убийство — «матар», цепь — «кадена», наручники — «эспосас», мужчина — «омбре», женщина — «мухер».

ПОБЕГ ИЗ РИОАЧИ

Во дворе я подружился с парнем, который все время был в наручниках. Мы выкурили с ним одну сигарету на двоих — длинную, тонкую и страшно крепкую. Насколько я понял, он был контрабандистом, орудовавшим где-то между Венесуэлой и островом Аруба. Его обвиняли в

убийстве нескольких человек из береговой охраны, и он ожидал суда. В какие-то дни он был удивительно спокоен, в другие — на грани нервного срыва. В конце концов я заметил, что спокойные дни наступают тогда, когда он жуёт какие-то листья. А однажды он дал мне пол-листочка, и я тут же сообразил, в чем, фокус. Мой язык, небо и губы потеряли всякую чувствительность. Это были листья коки.

— Фуга, ты и я, — сказал я как-то контрабандисту. Он прекрасно меня понял и жестом показал, что не прочь бежать, но вот только как быть с наручниками? Наручники были американского производства со щелочкой для ключа, причем ключа наверняка плоского. Из куска проволоки, уплощенной на конце, Бретонец соорудил мне нечто вроде крючка. И после нескольких попыток мне удалось открыть наручники нового приятеля. Ночью он спал в «калабозо» (камере) с очень толстыми решетками. В нашей же решетки были тонкие, их наверняка нетрудно согнуть. Так что предстояло перепилить только один прут в камере Антонио (так звали колумбийца).

— А как достать сасете (пилу)?

— Плата (деньги).

— Куанто (сколько)?

— Сто песо.

— Доллары?

— Десять.

Короче говоря» за десять долларов, которые я ему дал, он раздобыл две ручные ножовки. Во дворе я показал ему, как надо смешивать металлические опилки с вареным рисом, который здесь давали каждый день, чтобы аккуратно замазывать пропиленную в металле щелочку. Перед камерой я открыл один из его наручников. В случае проверки он мог легко застегнуть их, они защелкивались автоматически.

На перепиливание прута у него ушло три ночи. Он уверял, что теперь легко сможет согнуть этот прут, а потом придет за мной.

Здесь часто идут дожди. Он сказал, что придет «в первую ночь дождя». В ту же ночь и хлынул ливень. Друзья знали о моих планах, но ни один не согласился бежать со мной, они считали, что я собрался бежать слишком уж далеко. Я намеревался добраться до оконечности полуострова Гуахира, граничащего с Венесуэлой. Колумбиец утверждал, что там земля индейцев и что полиции в тех краях нет. Иногда через них прощмыгивали контрабандисты. Это было опасно, ибо местные индейцы не позволяли чужакам вторгаться на свою территорию. И чем глубже ты проникал, тем опаснее становились индейцы. Берег же заселяли индейцы-рыбаки, торговавшие с близлежащими деревнями. Самому Антонио не очень-то хотелось туда идти. То ли он, то ли кто-то из его дружков в свое время убили нескольких индейцев во время настоящего сражения, разгоревшегося из-за того, что лодка с контрабандным товаром однажды причалила к индейскому берегу. Но мы договорились, что он проводит меня до самой Гуахиры, а уж дальше я пойду один.

Итак, ночью хлынул ливень. Я стоял у окна. Задолго до этого я запасся доской, оторванной от лежака. Мы собирались использовать ее как рычаг, чтобы раздвинуть прутья.

— Готово! — Между прутьями появилось лицо Антонио. С помощью Матуретта и Бретонца я

одним движением не только согнул прут, но и вырвал его из стенки.

Друзья подтолкнули меня, перед тем как спрыгнуть, я ощутил дружеский, но довольно увесистый шлепок по задку. Так они прощались со мной.

Я оказался во дворе. Потоки дождя гудели по обитым железом крышам. Антонио схватил меня за руку и потащил к стене. Перебраться через нее было плевым делом — всего-то два метра высоты. Тем не менее я умудрился поранить руку об осколки стекла, что были рассыпаны поверху. Ладно, ерунда, вперед. Мы прошли через деревню и свернули на дорогу между лесом и берегом моря. Под проливным дождем мы прошагали по ней до самого рассвета. Антонио дал мне лист коки, я жевал его и потому даже на рассвете не чувствовал ни малейшей усталости. Наверняка от этого самого листа. Мы продолжали наш путь и при свете дня. Время от времени Антонио останавливался и прикладывал ухо к парившей земле. Вообще у него была странная манера передвигаться. Он не бежал и не шагал, а проделывал серию маленьких прыжков равной длины с вытянутыми, словно гребущими воздух руками. Должно быть, он что-то слышал, потому что вдруг толкнул меня в кусты. Действительно, на дороге появился трактор с катком, наверное, где-то разравнивали землю.

В половине одиннадцатого утра дождь прекратился и выглянуло солнце. Мы вошли в лес и километра полтора отшагали уже по траве. Потом лежали в зарослях, под толстым ветвистым деревом. Казалось, чего тут бояться? Однако Антонио запретил мне курить и даже разговаривать шепотом. Сам он продолжал жевать свои листья, угостив и меня. В кармашке у него было штук двадцать, он мне показал. Кругом звенели москиты. Антонио взял сигару, разжевал, выплюнул в ладонь кашицу, и мы намазали ею лица и руки. После этого москиты оставили нас в покое. В семь вечера стемнело, но луна освещала дорогу. Он указал на моих часах на цифру 9 и сказал: «Дождь». И действительно, дождь полил ровно в девять, и мы снова тронулись в путь. За ночь раза три пришлось нырять в кусты, чтобы пропустить машину, грузовик и тележку, запряженную парой осликов. Под утро благодаря листьям коки я вовсе не чувствовал усталости. Дождь прекратился в восемь, и мы проделали то же, что и вчера, — километра полтора отшагали по траве и лишь после этого нырнули в заросли. От листьев коки совершенно не хотелось спать. Мы глаз не сомкнули с самого начала побега.

Девять вечера. Дождь полил как по заказу. Позднее я узнал, что в тропиках, когда приходит сезон дождей, они не прекращают лить до смены луны, начинаются в одно и то же время и так же заканчиваются.

В ту ночь, не успели мы выйти на дорогу, как услышали голоса и увидели свет. «Кастилетт», — сказал Антонио, схватил меня за руку, и мы без промедления нырнули в заросли и прошагали часа два, прежде чем вернуться на дорогу. Мы провели в пути весь остаток ночи и часть утра. Солнце взошло и высушило на вас одежду.

Вот уже три дня нас поливают дожди, ц три дня мы ничего не ели, если не считать куска коричневого сахара в первый день. Теперь дорога шла берегом. Антонио сделал себе из ветки палку, мы свернули с дороги и зашагали по сырому песку. Внезапно Антонио остановился и пристально взгляделся в широкий плоский след на песке — он был около полуметра в ширину и шел от моря к сухой земле. Мы пошли по нему и дошли до места, где этот след расширялся в круг. Антонио воткнул в песок палку. А когда выдернул, мы увидели, что кончик ее измазан чем-то желтым, вроде яичного желтка. Мы стали разгребать песок руками и действительно нашли яйца — сотни три-четыре, точно не скажу. Это были черепашьи яйца без скорлупы, в кожистой оболочке. Антонио стащил рубаху, и мы сложили в нее добрую сотню яиц. А потом пересекли дорогу и углубились в лес. И там, спрятавшись в зарослях, начали трапезу — ели только желтки, как показал Антонио. Он ловко прокусывал оболочку своими волчьими зубами,

давал белку стечь, а затем проглатывал желток. Наевшись до отвала, мы улеглись, сунув под головы куртки вместо подушек.

— Завтра пойдешь сам, — сказал Антонио. — Идти будешь два дня.

В десять вечера на дороге появился последний пограничный пост. Мы догадались об этом по лаю собак и увидели маленький ярко освещенный домик. Благодаря хитрости и изворотливости Антонио удалось миновать пост незамеченными. Затем мы продолжали идти всю ночь, уже не, предпринимая никаких мер предосторожности. Дорога была неширокой, практически тропинка, но, видно, ею пользовались часто, и трава на ней не росла. Она шла краем леса, время от времени на земле можно было разглядеть отпечатки лошадиных или ослиных копыт. Антонио присел на толстый корень и сделал мне знак тоже садиться. Солнце пекло бешено. Судя по моим часам, было не больше одиннадцати, а по солнцу — так полдень. Прутик, воткнутый в землю, совсем не отбрасывал тени. Стало быть, полдень, и я аккуратно перевел часы. Антонио вытряхнул на колени листья коки. Их было семь. Он дал мне четыре, оставил себе три. Я зашел в кусты, затем вышел оттуда и протянул ему сто пятьдесят тринидадских долларов и шестьдесят флоринов. Он уставился на меня в изумлении, потом потрогал банкноты. Похоже, он никак не мог сообразить, почему они такие новенькие и совсем не промокли, ведь он ни разу не видел, чтобы я сушил их. Он поблагодарил меня, держа деньги в руке, затем после некоторого раздумья отделил шесть купюр по пять флоринов, а остальные деньги протянул мне. Я настаивал, но он не соглашался взять. По его жестам я понял, что он решил сопровождать меня еще день. Ну и прекрасно, мы еще поели черепаших яиц, закурили и снова тронулись в путь.

Часа через три мы достигли прямого как стрела участка дороги и увидели, что навстречу нам движется всадник. На нем были огромная соломенная шляпа, высокие сапоги, кожаные штаны, зеленая рубашка и линялая армейская куртка, тоже зеленая. Вооружен он был изящным карабином и огромным револьвером.

— Карамба! Антонио, сын мой!

Антонио узнал всадника еще издали. И вот огромный, меднолицый мужчина спешил, и они принялись хлопать друг друга по спине и плечам. Позднее я понял, что здесь это заменяет объятия.

— Кто это?

— Мой компаньеро по побегу, француз.

— Куда направляется?

— Поближе к рыбакам-индейцам. Хочет пробраться через страну индейцев до Венесуэлы. А уж там найдет, как попасть на Кюрасао или Аруба.

— Индейцы гуахира — плохо, — сказал человек. — Ты не вооружен. Тома (возьми)! — И он протянул мне кинжал в кожаных ножнах с отполированной рукояткой из рога. Мы присели на краю тропы. Я снял ботинки — ступни были стерты в кровь. Антонио и всадник о чем-то быстро говорили. Затем Антонио сделал мне знак сесть на лошадь. Вскочил на лошадь и меднолицый. И, прежде чем я успел сообразить, что происходит, я уже скакал верхом, ухватившись за пояс приятеля Антонио. Мы проскакали так весь день и всю ночь. Время от времени он останавливал коня и протягивал мне бутылку с анисовой, я отпивал по глотку. На рассвете он остановился.

Всходило солнце. Он протянул мне твердый как камень кусок сыра и два сухаря, шесть листьев коки и специальную непромокаемую сумочку, в которой их можно было носить, привязав к поясу. Потом похлопал меня по плечу и умчался галопом.

ИНДЕЙЦЫ

Я шел до часу дня. Лес кончился, на горизонте не было видно ни деревца. Поверхность моря ослепительно сверкала под лучами солнца. Я шел босиком, перебросив ботинки через левое плечо. И только собрался прилечь передохнуть, как вдруг различил вдалеке пять или шесть деревьев, а может, скал. Попытался на глаз прикинуть расстояние — километров примерно десять. Сунув в рот крупный лист коки и, жуя его, продолжил свой путь. Где-то через час я отчетливо видел эти предметы — хижины, крытые соломой или светло-коричневыми листьями. Над одной подымался дымок. Потом я увидел людей. Они тоже увидели меня: махали руками и кричали что-то в направлении моря. И тут я увидел, что к берегу быстро подошли три лодки и из них вышло человек десять. Они присоединились к тем, что стояли у хижин и смотрели на меня. Там были и мужчины, и женщины, все только в набедренных повязках. Ни движения, ни жеста — ни дружеского, ни враждебного. Навстречу мне с яростным лаем кинулась собака и укусила за лодыжку, унося в зубах клочок ткани от брюк. Она уже собиралась атаковать меня снова, как вдруг ей в бок вонзилась маленькая стрела, взявшаяся неведомо откуда (позднее я узнал, что такие стрелы выдувают из тонкой трубки). Собака с воем унеслась прочь и скрылась, как мне показалось, в одной из хижин. Я подошел поближе, прихрамывая, так как укус оказался болезненным. Ни один из людей не шевельнулся и не произнес ни слова, только ребятишки попрятались за спины мам. У мужчин были великолепные мускулистые тела цвета меди, а у женщин — высокие твердые груди с крупными сосками.

Осанка одного из мужчин была столь благородна, а черты лица столь четки и выразительны, что я догадался: он принадлежит к более высокому роду, нежели остальные, и направился прямо к нему. Он не был вооружен ни луком, ни стрелами. Ростом примерно с меня. Серостальные глаза, сильное мускулистое тело. Я остановился в трех метрах от него. Он сделал два шага вперед и заглянул мне в глаза. Так он смотрел, не мигая, примерно минуты две — словно медная статуя с миндалевидными глазами. Потом вдруг улыбнулся и дотронулся до моего плеча. И тут все остальные люди начали подходить и трогать меня, а какая-то молоденькая индианка взяла меня за руку и повела в тень хижины. Там она задрала мне штанину. Рана уже не кровоточила, хотя собака вырвала из ноги кусок мяса величиной с половинку пятифранковой монеты. Девушка промыла рану морской водой, за которой сбегала какая-то совсем маленькая девочка. Затем немного надавила на нее, и из раны снова пошла кровь. Похоже, это не понравилось моей врачевательнице, и она, взяв кусок заостренной железки, принялась ковыряться в ране, расширяя ее. Я изо всех сил старался не дергаться. Еще одна индианка вызвалась помочь, но девушка резко ее оттолкнула. Все рассмеялись. Я понял, она хочет показать своим сородичам, что я являюсь исключительно ее собственностью, что и развеселило всех. Затем она отрезала штанину выше колена. Кто-то принес водоросли. Она приложила их к ране и обвязала нитками, выдернутыми из ткани. Похоже, теперь наконец она осталась довольна своей работой и сделала мне знак подняться.

Я встал и снял куртку. И тут она увидела в вырезе рубашки бабочку, вытатуированную на моей груди [13].

Девушка присмотрелась и, обнаружив еще татуировки, сама сняла с меня рубашку, чтобы получше рассмотреть. Все мужчины и женщины тоже заинтересовались изображением на моей груди: справа солдат из штрафного батальона, слева женское личико, на животе голова тигра, вдоль позвоночника распятый матрос, а по ширине всей спины — целая сцена охоты на тигров, где были и охотники, и слоны, и сами тигры. Увидев все эти картины, мужчины

оттеснили женщин и, осторожно и медленно поглаживая, начали изучать каждый рисунок в отдельности. Именно с этого момента, по-видимому, они начали считать меня своим.

Мы зашли в самую большую из хижин. Я был совершенно потрясен. Хижина из кирпично-красной глины имела восемь дверей. Помещение было круглой формы, на канатах подвешены яркие полосатые гамаки из чистой шерсти. Посередине лежал круглый плоский отполированный камень, вокруг него располагались другие, поменьше. Наверное, стулья. К стене было прислонено несколько винтовок, сабля, а также луки всех размеров. И еще я заметил огромный панцирь черепахи — в него свободно мог улечься человек. На столе стояла половинка калабаша [14], в ней — две-три горсти жемчуга.

Индейцы угостили меня напитком из деревянной чаши. Это оказался перебродивший фруктовый сок, горьковато-сладкий, очень вкусный. На банановом листе мне подали большую рыбу. Тянула она, должно быть, килограмма на два и была испечена на углях. После того как я съел эту изумительную вкусную рыбку, та же самая девушка отвела меня на пляж, где я вымыл руки морской водой. Потом мы снова вернулись в хижину и сели в круг. Девушка разместилась рядом и положила мне руку на бедро. И мы начали обмениваться словами и жестами.

Вождь встал, достал кусок белого камня и начал им рисовать на столе. Сперва голых индейцев и деревню, потом море справа от деревни, дома с окнами и мужчин и женщин, но уже одетых. У всех мужчин были в руках палки или ружья. Слева была нарисована еще одна деревня, какие-то уродцы с ружьями и в шляпах и женщины в платьях.

Потом, вспомнив что-то, он пририсовал дорогу, ведущую и в ту и в другую деревню. А чтобы дать понять о географии, пририсовал наверху солнце. Молодой вождь явно гордился своей работой. Увидев, что я понял значение его рисунка, он снова взял мел и перечеркнул крестами две деревни, оставив лишь свою. Я понял, этим он хочет сказать, что люди этих двух деревень плохие и он не хотел бы иметь с ними дела, и только его деревня хорошая. Стоило ли объяснять это мне?!

Затем он вытер стол мокрой тряпкой и протянул мел, мне. Настала моя очередь рассказать свою историю в картинках. Она была куда сложнее, чем его. Я нарисовал человека со связанными руками и рядом двух вооруженных людей, затем того же человека, уже бегущего, а тех двоих, преследующих его и прицеливающихся. Эту сцену я повторил три раза, причем всякий раз оказывался все дальше от своих преследователей, а на последнем рисунке изобразил себя уже бегущим по направлению к их деревне, где стояли индейцы и собака, а впереди красовался сам вождь с протянутыми ко мне руками.

Видимо, мой рисунок оказался неплох: все индейцы зашумели, заговорили, а вождь встал и протянул ко мне руки точь-в-точь, как на рисунке. Значит, он понял его значение.

В ту же ночь девушка увела меня в хижину, где жили четверо мужчин и шестеро женщин. Она растянула великолепный полосатый гамак, такой широкий, что в него и поперек могли улечься двое. Я забрался в него и вытянулся в длину, но, увидев, что она улеглась в соседний гамак поперек, лег так же, и она пришла ко мне и примостилась рядом. Девушка прикасалась к моему телу, ушам, глазам, рту длинными тонкими пальцами сплошь в шрамах — словно покрытыми сетью мелких морщин. Это были порезы от кораллов, ведь она занималась добычей жемчуга.

Девушка-индианка была среднего роста, с серыми, как у вождя, глазами, четко очерченным профилем. Разделенные на пробор и заплетенные в косы волосы ниспадали почти до колен. У нее были очень красивые грушеобразной формы груди с длинными сосками темно-медного

оттенка. Целуясь, она покусывала меня, она не умела целоваться по-европейски, но вскоре я научил ее этому. Гуляя, она отказывалась идти рядом со мной, и уж тут я ничего не мог поделать — она всегда шла сзади. Одна из хижин поселка оказалась пустующей и в довольно плачевном состоянии. С помощью других женщин она починила крышу, крытую пальмовыми листьями, а щели в стенах замазала липкой красной глиной. Вообще этому племени были известны все инструменты и металлические орудия: ножи, кинжалы, мачете, топоры, тяпки и вилы. У них имелись медные и алюминиевые сковороды, кастрюльки, горшки, металлические и деревянные бочки. Вскоре дом был готов, и она начала таскать в него вещи, подаренные другими индейцами, в том числе железную треногу для огня, гамак, в котором свободно могли разместиться четверо взрослых, стаканы, горшки, сковородки и даже ослиную сбрую.

вернуться

13

Прозвище «Папийон» означает по-французски «бабочка», «мотылек».

вернуться

14

Сосуд из тыквы.

Мы занимались самыми изысканными ласками вот уже две недели, но она напрочь отказывалась пойти до конца. Я никак не мог понять почему — ведь она всегда возбуждала меня первой. А потом, когда дело доходило до развязки, отвергала. Она не носила никакой одежды, кроме набедренной повязки, что крепилась на крепкой бечевке, обвитой вокруг ее стройной талии и оставляющей ягодицы голыми. Без долгих церемоний мы переехали в хижину.

Там было три двери, одна главная, в центре, и две боковые. Поскольку дом был круглым по форме, эти двери образовывали нечто вроде равнобедренного треугольника. Каждая имела свое назначение: так, я всегда должен был входить и выходить через одну — северную. А она — через южную. Друзья входили и выходили через главную дверь, мы же могли пользоваться ею, только когда находились вместе с ними.

Только переселившись в этот дом, она отдалась мне. Я не хочу вдаваться в подробности, но по природе своей она оказалась невероятно темпераментной и искусной любовницей. В порыве страсти она обвивалась вокруг меня, словно тропическая лиана. Оставшись с ней наедине, я часто расчесывал и заплетал ее волосы. Ей страшно это нравилось. Лицо в тот момент отражало и неизбывный восторг, и одновременно страх, что кто-то войдет и застанет нас за этим занятием. Насколько я понял, здешние мужчины не имели привычки расчесывать женщинам волосы, а также потирать огрубевшую кожу на руках, целоваться в губы и прочее.

Я часто наблюдал, как открывают раковины в поисках жемчужин. Занимались этим обычно старые женщины. У каждой из девушек-ныряльщиц, добывавших раковины, была своя сумка. Добытые жемчужины делились на четыре части следующим образом: одна часть вождю, одна гребцу лодки, полдоли доставалось открывальщицам и полторы — самим ныряльщицам. Если девушка жила в семье, она отдавала все жемчужины дяде по отцовской линии. Я так и не понял, почему именно дядя обладал правом первым войти в хижину, где поселились молодые.

Итак, я видел, как открывают раковины. Но в море за ними ни разу не выходил, поскольку меня никогда не приглашали в лодку. Добыча велась довольно далеко от берега, примерно в полукилометре. Порой Лали (так звали мою жену) возвращалась домой вся исцарапанная, эти ранки от кораллов довольно сильно кровоточили. Тогда она готовила кашу из водорослей, которой смазывают порезы.

Вчера я познакомился с индейцем, который был как бы связным между нашей деревней и ближайшим колумбийским поселением Ла-Вела, что в двух километрах от границы. У индейца было два осла и винчестер. По-испански он не знал ни слова. Как он занимался торговлей — непонятно. Собранные индейцами жемчужины он складывал в коробку от сигар, поделенную на ячейки, в которых жемчужины размещались по размерам.

С помощью словаря я написал ему на клочке бумаги записку — заказ, привезти мне иглы, красную и синюю тушь и нитки. Вождь просил сделать ему татуировку.

Когда он собрался уходить, вождь разрешил мне немного проводить его и по своему простосердечию снабдил меня двустолковой и шестью патронами к ней. Как он полагал, это заставит меня вернуться. Ведь он и представить себе не мог, что человек может унести вещи, ему не принадлежащие. Индеец взгромоздился на одного осла, я на второго. Весь день мы ехали по той же тропе, по которой я пришел сюда. Километрах в трех от пограничного поста он свернул и стал удаляться от берега моря.

Часам к пяти мы добрались до ручья, вдоль которого расположилось несколько хижин. Из них высыпали индейцы и стали с любопытством глазеть на меня. Торговец болтал и болтал без умолку, пока наконец не появился весьма странный тип, по всем признакам индеец, если не считать цвета кожи. Она была у него мертвенно-белого оттенка, а глаза красные, как у альбиноса. Тут я сообразил, что индейцы из моего поселка никогда не заходили дальше этого места. Белый индеец обратился ко мне по-испански:

— Добрый день. Вы тот убийца, что бежал с Антонио? Антонио — мой кровный брат.

Чтобы стать кровными братьями, двое мужчин сплетали руки, затем каждый делал другому надрез на коже. Кровь смешивалась, они слизывали ее и объявляли друг друга кровными братьями.

— Что тебе требуется?

— Иголка, нитки, красная и синяя тушь. Больше ничего.

— Будешь иметь все это через четверть луны.

Говорил он по-испански гораздо хуже меня, но вообще-то создавалось впечатление, что он умеет входить в контакт с цивилизованными людьми и проворачивать сделки, не забывая при этом об интересах своего племени. Перед уходом он протянул мне ожерелье из колумбийских монет белого серебра и объяснил, что это — для Лали.

Я возвращался в свою деревню уже один и на полпути вдруг увидел Лали в сопровождении младшей сестры, той было всего лет двенадцать-тринадцать. Самой Лали было где-то между шестнадцатью и восемнадцатью. Она пылко бросилась ко мне, царапаясь и злясь, правда, добралась только до груди и, поскольку я успел спрятать лицо, больно укусила в шею. Я с трудом удержал ее от дальнейших проявлений страсти. Столь же внезапно она успокоилась. Я усадил младшую сестренку на осла и пошел следом, обнимая за плечи Лали. До дома мы добрались на рассвете. Я так устал, что единственное, чего мне хотелось, так это помыться.

Лали вымыла меня, а потом прямо у меня на глазах сняла со своей сестры набедренную повязку и принялась мыть ее тоже, а в заключение вымылась сама.

Когда они появились в хижине, я сидел, ожидая, когда закипит вода, чтобы приготовить себе горячий напиток с лимоном и сахаром. И тут произошло нечто невообразимое. Лали втокнула сестру меж моих ног и положила мои руки на ее талию. Я заметил, что на девочке ничего нет, кроме ожерелья, подаренного Лали. Не зная, как разрешить эту деликатную ситуацию, я осторожно приподнял девочку и уложил в гамак, потом снял с нее ожерелье и надел на шею Лали. Лали улеглась рядом с сестрой, а я рядом с ней. Позднее я узнал: Лали вдруг взбрело в голову, что я собираюсь уйти от нее, и с помощью сестры она надеялась удержать меня. Я проснулся оттого, что почувствовал ладони Лали на глазах, сестры рядом уже не было. Лали с любовью смотрела на меня огромными серыми глазами, нежно покусывая в уголок рта. Так она давала понять, что убедилась в моей любви и в том, что я вовсе не собираюсь бросать ее.

Индеец, управлявший лодкой, сидел возле хижины. Он ждал Лали. Я присел рядом с ним, и он говорил мне что-то, хотя я не понимал ни слова. Это был атлетически сложенный молодой человек. Он долго и внимательно рассматривал мои татуировки, затем знаками дал понять, что мечтает иметь такие же. Я кивнул в знак согласия. Тут на пороге и появилась Лали, вся с головы до ног натертая маслом. Она знала, что я терпеть этого не мог, но в такую облачную погоду вода обычно бывала холодная. Полушутя-полусерьезно объясняя все это жестами, она была столь очаровательна, что я делал вид, что не понимаю, чтобы заставить ее повторять объяснение опять и опять. И когда в очередной раз знаком попросил начать все сначала, она состроила гримаску, обозначающую, видимо, следующее: «Ты что, такой глупый или я так глупа и плохо объясняю, почему намазалась маслом?»

Мимо прошел вождь в сопровождении двух женщин. Они тащили огромную зеленую ящерицу, весившую никак не меньше пяти килограммов. Вождь был вооружен луком и стрелами. Он только что убил эту ящерицу и пригласил меня зайти отведать это блюдо. Лали заговорила с ним, но он прикоснулся к ее плечу и указал на море. И мы втроем вышли в море: Лали, ее обычный напарник и я. Лодочка была легонькая и крошечная, сделанная из пробкового дерева. Управлять такой нетрудно. Волны становились все выше и выше по мере того, как мы удалялись от берега. Остановились мы метрах в пятистах — шестистах, где уже стояли две лодки. Лали плотно обвязала косы вокруг головы, закрепила красными кожаными ремешками. А потом, зажав в ладони широкий нож, нырнула, пользуясь своеобразным грузилом — толстым металлическим брусом весом не меньше пятнадцати килограммов, который помог сбросить с лодки ее помощник. Лодка оказалась как бы на якоре, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами.

В течение трех часов Лали то погружалась в воду, то выныривала. Дна не было видно, но, судя по времени пребывания под водой, глубина составляла метров пятнадцать — восемнадцать. Всякий раз она поднимала на поверхность сумку, полную раковин, и помощник опустошал ее в каноэ. За все три часа Лали ни разу не забралась в лодку, просто временами отдыхала минут по пять — десять, ухватившись за борт. За это время мы дважды переменили место лова. На последнем участке попадались более крупные раковины.

Наконец Лали забралась в лодку, и волны понесли нас к берегу. Там уже поджидала пожилая индианка. Вместе с помощником она перенесла раковины на сухой песок. Однако Лали не позволила открывать их, решив взяться за дело сама. Кончиком ножа она невероятно быстро вскрыла около тридцати раковин, прежде чем попалась наконец жемчужина. Медленно и осторожно она извлекла ее — жемчужина оказалась размером с ноготь мизинца, по здешним понятиям чуть больше среднего размера. И как же она сияла! Природа одарила ее удивительным разнообразием оттенков, ни один из которых нельзя было определить с

точностью. Лали покатила ее в пальцах, затем положила в рот, подержала немного, а вынув, положила в рот мне. И мимикой показала, чтобы я раздавил ее зубами и проглотил. Сперва я отказался, но она просила так нежно и настойчиво, что пришлось повиноваться: я раздробил жемчужину и проглотил мелкие осколки. Она открыла еще четыре или пять раковин и снова потребовала, чтобы я съел жемчужины. Потом, шутливо толкнув меня на песок, заставила открыть рот, чтобы проверить, не остались ли между зубами крошки. Вскоре мы ушли, оставив индейцев доделывать их работу.

Вот уже месяц как я здесь. Я получил заказанные иглы, а также синюю, красную и фиолетовую тушь. В хижине вождя отыскивались три золингенские бритвы, ими ни разу не брились, ведь у индейцев бороды не растут. Татуируя Зато, вождя, я изобразил у него на предплечье индейца с разноцветными перьями в волосах. Он был в восторге и знаками дал мне понять, что не позволит татуировать никого другого, прежде чем я не изобразю на его груди целую картину. Он хотел, чтобы там красовалась голова тигра с длинными клыками, в точности как у меня. Я рассмеялся. Я не был для этого достаточно хорошим художником.

Индейцы этого племени назывались гуахира. Селились они на побережье и далее в глубину полуострова до подножия гор. В горах же обитали другие племена — матилоны. Гуахира общались с цивилизованным миром лишь посредством торговли. Жившие на побережье сдавали белому индейцу жемчуг и черепах. Черепахи поставлялись живыми, вес их порой достигал ста пятидесяти килограммов. Опрокинутые на спину, они уже не могли перевернуться. Я видел, как их волокли по песку еще живыми, хотя они перед этим пролежали на спине три недели без питья и еды. Что же касается длинных зеленых ящериц, то это был настоящий деликатес. Белое нежное мясо прекрасно на вкус, а яйца, испеченные прямо на солнце в раскаленном песке, — настоящее лакомство. Только на вид немного противные. Всякий раз, вернувшись после ловли, Лали отдавала мне свою долю. Я складывал жемчужины в деревянную миску не сортируя, все вместе: большие, средние и маленькие. А в пустой спичечный коробок я отложил только пару розовых красавиц, три черных и одну совершенно изумительного металлически-серого оттенка. Отложил я также и очень крупную, неровную, в форме боба жемчужину, размером с красную фасолину, какие растут у нас дома. Благодаря жемчугу и черепахам племя ни в чем не нуждалось. Правда, иногда им недоставало самых простых вещей. Так, например, я ни у одного индейца не видел зеркала. Я отыскал пластину какого-то светлого никелированного металла, видимо, выброшенную на берег после кораблекрушения, и пользовался ею вместо зеркала для бритья. Отношения с новыми друзьями строились у меня довольно просто: я не делал ничего такого, что могло бы поставить под сомнение мудрость или власть вождя и еще одного очень старого индейца, жившего отдельно от остальных в четырех километрах от деревни в окружении змей, двух ослов и дюжины овец. Он считался здесь колдуном. Еще он занимался разведением кур. Заметив, что в двух поселениях ни у кого не было ни кур, ни коз, ни овец, я понял, что разведение домашних животных — привилегия колдуна. Каждое утро одна из женщин по очереди отправлялась к нему с плетеной корзиной на голове, наполненной рыбой и другими дарами моря. Носили ему также и маисовые лепешки, испеченные на камнях. Иногда, но далеко не всегда, женщины возвращались с яйцами или кислым молоком. Как-то раз колдун решил пригласить меня к себе и в знак этого прислал мне три яйца и хорошо отполированный деревянный нож. Лали прошла со мной часть пути, а потом укрылась в тени огромного кактуса. Протянула мне нож и жестом показала дорогу.

Старый индеец жил в палатке из коровьих шкур шерстью внутрь, в ужасной грязи. Спал он не в гамаке, а на некоем подобии постели, сложенной из ветвей и возвышавшейся над землей примерно на метр. Войдя, я сразу увидел двух змей: одну метра три длиной и толщиной с руку, другую около метра, с желтой буквой «V» на голове, и подумал про себя: «Сколько кур и яиц,

должно быть, слопали эти твари!» Я никак не мог понять, как козы, куы, овцы и даже осел могут уживаться с ними вместе под одной крышей. Старый индеец оглядел меня со всех сторон. Он даже заставил меня снять штаны, которые Лали превратила в шорты, и, когда я остался в чем мать родила, усадил меня на камень у огня. В огонь он кинул несколько зеленых листьев, тут же начавших, страшно, дымить, и в воздухе запахло мятой. Дым совершенно задушил меня, но я старался не кашлять и просидел, так минут десять, пока листья не сгорели. После этого старик сжег мои шорты и дал мне вместо них две индейские набедренные повязки, одну из овечьей шкуры, другую из змеиной кожи, мягкую, как перчатка. А на руку надел браслет, сплетенный из полосок козьей, овечьей и змеиной кожи. Он был сантиметров десять шириной и застегивался с помощью змеиного зуба.

На левой лодыжке у колдуна была язва размером с двухфранковую монету, сплошь покрытая мухами. Время от времени он сдувал их, а когда они уж слишком донимали, присыпал язву пеплом. На прощание он подарил мне маленький деревянный нож; чуть позже Лали объяснила значение этого подарка. Когда я захочу увидеть его, надо послать ему этот нож, и если он согласен на встречу, то пошлет в ответ нож более длинный.

Итак, я покинул его, чувствуя себя весьма неловко с голой задницей. Но чего не сделаешь ради свободы! Лали увидела мою набедренную повязку и расхохоталась, показывая зубы, прекрасные, словно, жемчужины, что она поднимала со дна моря. Потом оглядела браслет и вторую набедренную повязку — змеиную, а чтобы убедиться, что я прошел через испытание дымом, даже обнюхала меня. У индейцев вообще очень сильно развито чувство обоняния.

Постепенно я привыкал к этому образу жизни, одно временно понимая, как важно вовремя остановиться, иначе вообще расхочется бежать. Лали следила за мной денно и нощно. Ей хотелось как можно теснее связать меня с жизнью своего племени. Так однажды она заметила, как я вышел на рыбалку, и поняла, что я прекрасно умею грести и управлять лодкой. Она тут же решила сделать меня своим напарником в добыче жемчуга. Однако эта идея ничуть меня не вдохновляла. Лали слыла лучшей ныряльщицей в деревне. Именно ее лодка всегда возвращалась нагруженной самыми крупными раковинами, что водятся на большой глубине. Я также знал, что ее помощник-гребец — брат вождя. И понимал, что, если я выйду с Лали в море, его интересы будут ущемлены, а делать этого ни в коем случае не следует. Когда же я впадал в задумчивость, она кидалась на поиски сестры; та прибегала, веселая, жизнерадостная, и, входя в хижину, пользовалась моей дверью. Должно быть, это имело какое-то особое значение. Они подходили к главной двери, а затем разделялись — Лали входила через свою, а Зарема, младшая, — через мою. Грудки у Заремы были величиной с два небольших мандарина, а волосы совсем коротенькие. На уровне подбородка они были обрезаны под прямым углом, а челка доходила до самых глаз. Всякий раз, когда Лали приводила ее таким образом, они сперва купались, потом входили в хижину и развешивали свои набедренные повязки на гамаке. Младшая всегда покидала хижину в грустном настроении, поскольку я не предпринимал никаких попыток овладеть ею. Однажды мы все трое лежали в гамаке, Лали посередине. Вдруг она встала и уступила сестре свое место, заставив меня плотно прижаться к маленькому обнаженному телу Заремы.

А потом помощник Лали поранил колено. Его унесли к колдуну, и он вернулся с нашлапкой из белой глины на ране. Поэтому в то утро на промысел с Лали отправился я. Все шло нормально, лов был удачный. Заплыли мы даже дальше обычного. Лали была счастлива, что я в каноэ, рядом с ней. Перед тем как нырнуть, она с головы до ног натерлась маслом. Я понял там, на глубине, должно быть, очень холодно. Неподалеку на поверхности возникли три акульих плавника. Я указал на них Лали, но она, похоже, не придавала этому особого значения. Было десять утра, и солнце палило уже вовсю. С сумкой, привязанной к левой руке, сна нырнула так ловко, что лодка даже не качнулась, и стремительно ушла к темному дну. Это первое

погружение, должно быть, имело разведывательный характер, поскольку вынырнула она лишь с несколькими раковинами в сумке. Тут мне пришла в голову идея. Я заметил в лодке моток кожаных бечевок. На одной из них я завязал двойной узел и показал его Лали. Она, вероятно, поняла и после продолжительного погружения появилась на поверхности уже без сумки, передохнула, уцепившись за борт, и сделала мне знак тянуть. И я вытащил сумку. В то утро, погрузившись всего восемь раз на пятнадцатиметровую глубину, ей удалось почти до краев заполнить каноэ раковинами.

На берегу нас уже ожидали старуха и помощник Лали. Они были поражены нашим уловом. Наверное, Лали объяснила им, что именно я научил ее оставлять сумку на дне, что значительно облегчало подъем и позволяло набрать больше раковин. Индеец внимательно осмотрел двойной морской узел и с первой же попытки завязал точно такой же. И гордо взглянул на меня.

Вскрыв первые раковины, старуха обнаружила сразу тринадцать жемчужин подряд. Обычно Лали никогда не оставалась до конца этой операции, но сегодня нарушила этот обычай. Я съел минимум дюжину, а Лали — пять-шесть штук. Затем старуха начала делить добычу. Все жемчужины были примерно одинакового размера — с добрую горошину. Три она отложила вождю, три мне, две себе и пять Лали. Лали тут же отдала свою долю мне. Я взял жемчужины и протянул раненому индейцу. Он не хотел брать, но я силой разжал ему ладонь и вложил в нее жемчужины. Его жена и дочь, стоя чуть поодаль, наблюдали за этой сценой. Увидев мой жест, они подбежали к нам, радостно смеясь. Я помог им отнести индейца в дом.

Все это повторялось каждое утро на протяжении двух недель. Всякий раз я отдавал свою долю индейцу.

Время от времени я ходил повидаться с индейцем-альбиносом. Он велел называть себя Сорильо, что по-испански означает «маленькая лисица». От него я узнал, что вождю не дает покоя мой отказ вытатуировать у него на груди голову тигра; я объяснил, что недостаточно хорошо рисую для этого. С помощью словаря я попросил его раздобыть большое зеркало, прозрачной бумаги, тонкую кис точку, пузырек чернил, копировальной бумаги, а если ее не окажется, толстый и мягкий карандаш. Я также попросил раздобыть одежду моего размера и держать пока у себя. Оказалось, что полиция расспрашивала его об Антонио и обо мне. Он сказал им, что я, перебравшись через горы, ушел в Венесуэлу, а Антонио умер от змеиного укуса. Он также узнал, что французы до сих пор сидят в тюрьме Санта-Марта. На самом деле он ничего не слышал об Антонио, однако знал, что в происшедшей недавно стычке между береговой охраной и контрабандистами погибли пятеро охранников и один контрабандист, а лодку захватить не удалось. В хижине Сорильо я заметил бутылку анисовой. В индейской деревне не водилось ни капли спиртного, если не считать перебродившего фруктового сока. Заметив бутылочку, я стал выпрашивать ее у Сорильо. Он мне ее отдал с условием, что я выпью все здесь, а не потащу с собой в деревню. Мудрый все же человек этот альбинос.

Я уехал от Сорильо на осле, которого он одолжил мне зная, что к утру тот сам вернется домой. Единственное, что я прихватил с собой, — пакетик конфет в разноцветных тонких обертках и шестьдесят пачек сигарет. Лали с сестрой ждали меня в двух милях от деревни, и мы пошли рядом, рука об руку. Время от времени она останавливалась и целовала меня в губы. В деревне я зашел к вождю и отдал ему конфеты и сигареты. Мы сидели у хижины глядя на море, и пили из глиняных плошек холодный перебродивший сок. Лали сидела справа, положив мне руку на колено, слева в той же позе сидела ее сестра. Они грызли конфеты, раскрытый пакетик стоял у ее ног, и все женщины и дети подходили и угощались. Вождь наклонил голову Заремы к моей — так он давал понять, что хотел бы, чтобы она тоже стала моей женой. Лали погладила свои груди, затем указала на маленькие груди Заремы, показывая, что, видимо, поэтому я не хочу ее

сестру. Я пожал плечами, и все расхохотались. Зарема, напротив, скроила самую разнесчастную гримаску. Тогда я притянул ее к себе, погладил грудки, и лицо ее расцвело в улыбке.

Вскоре я получил зеркало, прозрачную и копирующую бумагу, тюбик клея, который не просил, но он мог пригодиться, несколько карандашей, пузырек чернил и кисточку. Я подвесил зеркало так, что оно находилось на уровне груди и в нем во всех деталях отражалась голова тигра. Лали и Зарема, сгорая от любопытства, наблюдали за моими действиями. Затем я начал обводить рисунок кистью, но чернила текли, и пришлось их смешать с клеем. Тут все пошло прекрасно. За три сеанса, по часу каждый, я изготовил точную копию тигра на зеркале

Лали побежала за вождем. Зарема взяла меня за руки и приложила их к груди. Она смотрела на меня так жалобно, а глаза ее выражали такую любовь и желание, что я, совсем потеряв голову, овладел ею прямо на полу, посреди хижины. Она застонала, но тело, сведенное судорогой страсти, долго не отпускало меня. Наконец я нежно и осторожно высвободился и пошел купаться в море, поскольку весь извалялся в земле. Она побежала за мной, мы купались вместе и вместе вернулись в хижину. Лали сидела на полу, там, где мы совсем недавно занимались любовью, и по нашим лицам сразу догадалась, что произошло. Она поднялась, нежно обняла меня за шею и поцеловала, а потом взяла сестру за руку и вывела ее через мою дверь. Затем вышла сама, через свою. Вскоре я услышал за стеной какую-то возню и, выйдя, обнаружил, что Лали, Зарема и еще две женщины пытаются железным прутком проковырять в стене хижины еще одно отверстие. Я понял, что они хотят сделать еще одну дверь, и пришел на помощь. Вскоре дверь была готова. Зарема могла входить и выходить через нее, не пользуясь моей. Пришел вождь в сопровождении трех индейцев и своего брата. Взглянул на рисунок на зеркале, затем перевел взгляд на свое собственное отражение и был изумлен при виде всего этого, особенно тем, как искусно перерисована голова тигра. И терялся в догадках, что же я собираюсь делать дальше. Когда изображение на стекле высохло, я покрыл его прозрачной бумагой и начал делать копию. Это было легко, и работа продвигалась быстро — карандаш так и летал по линиям. И вот на глазах у изумленной публики в течение получаса я изготовил рисунок, ничем не отличавшийся от оригинала

На следующий же день мы приступили к татуировке. Зато лежал на столе, даже не моргая, так боялся, что я могу испортить картину, виденную им на зеркале. Я процарапывал рисунок бритвой, крови было мало, и если она проступала, я тут же вытирал ее. Наконец все линии рисунка сменились тонкими красными линиями на коже, и я намазал всю грудь синей тушью. А через неделю на ней красовалась голова тигра с разинутой пастью, розовым языком, белыми клыками и черными глазами, носом и усами. Я и сам остался страшно доволен своей работой, татуировка получилась даже лучше моей, да и цвета были поярче. Зато был в восторге и попросил Сорильо раздобыть шесть зеркал — два для себя и по одному на все остальные хижины.

Шли дни, недели, месяцы. Настал апрель. Я жил с индейцами вот уже четыре месяца. Чувствовал себя прекрасно: окреп, привык ходить босиком, и при охоте на больших зеленых ящериц проходил долгие километры, ни капельки не уставая. Да, еще вот что: после первого посещения знахаря я попросил Сорильо раздобыть мне йоду, перекиси водорода, ваты, бинтов, хинина и стоварзола [15]. Я вспомнил, что в больнице видел заключенного с огромной открытой язвой. Тогда Шата растер таблетку стоварзола и присыпал рану. Послав знахарю маленький деревянный ножик, я вскоре получил приглашение. Мне стоило немало труда убедить его лечиться понастоящему. Впрочем, после нескольких моих визитов язва уменьшилась наполовину, и он продолжал лечение уже сам. А в один прекрасный день прислал мне большой нож, давая понять, что хочет меня видеть и полностью здоров. Никто в деревне так и не узнал, что вылечил его я.

Медицинский препарат, изготовленный на основе мышьяка.

Жены мои не расставались со мной ни на миг. Когда Лали выходила в море со мной оставалась Зарема. Когда Зарема отправлялась на добычу, компанию составляла Лали.

Однажды утром в деревню въехали пятнадцать всадников. Это были индейцы с ожерельями на шеях, в широкополых соломенных шляпах, набедренных повязках и безрукавках из овечьих шкур шерстью внутрь. При всем этом великолепии руки и зады оставались голыми. За поясами торчали огромные ножи, а двое были вооружены двустволками. У их вождя был карабин, великолепная куртка с черными кожаными рукавами и патронташ с патронами. Лошади были тоже превосходные невысокие, очень крепкие, гнемые в яблоках, и, помимо всадников, несли на крупах еще и тюки с сеном. Пришельцы объявили о своем приближении еще издали, паля из ружей, и через несколько минут ворвались в деревню на полном скаку. Их вождь оказался точной копией Зато, разве что постарше. Он соскочил с коня, подошел к Зато, и они стали хлопать друг друга по плечам. Затем гость проследовал в хижину и вскоре вышел с младенцем на руках — недавно родившимся сыном Зато. По этому случаю и прибыли в деревню гости. Вождь показал младенца всем присутствующим, поднял навстречу встающему на востоке солнцу, а затем передал отцу, который и унес его в хижину. Тут все всадники спешили, привязали лошадей в сторонке, предварительно сняв с них тюки. К полудню прибыли остальные гости в огромной телеге, запряженной четверкой лошадей. Возницей оказался Сорильо. С Телети прыгнуло не меньше двадцати молоденьких девушек к семь-восемь ребятишек, все мальчики.

По жестам я догадался, что прибывший во главе отряда вождь — брат Зато. Все они дружно восхищались его татуировкой, в особенности головой тигра. Женщины тоже явились в гости «принаряженными» — их лица и тела были разрисованы яркими красками. Среди них я заметил одну изумительно красивую девушку: она была выше всех остальных, профиль совершенно итальянский — настоящая камея. Иссиня-черные волосы, огромные зеленые глаза с длинными ресницами. Волосы были убраны на индейский манер — с пробором посередине, челкой и срезаны под прямым углом, закрывая виски до середины уха.

Лали, представив меня, увели ее в дом вместе с Заремой и еще одной девушкой, несшей какой-то горшочек и подобие кисточки. Она собиралась разрисовать наших женщин. Мне разрешено было присутствовать на церемонии превращения Лали и Заремы в настоящие произведения изобразительного искусства. Затем за кисточку взялся я и, начав с живота Лали, изобразил растение с двумя поднимающимися к грудям ветвями, затем пририсовал к ним розовые лепестки, а соски раскрасил желтым. Получилось нечто вроде полураспустившегося цветка с пестиком. Тут все остальные девушки бросились ко мне, умоляя изобразить на них ту же картину. Я решил прежде посоветоваться с Сорильо. Он пришел и сказал, что я могу рисовать все, что мне заблагорассудится, лишь бы они остались довольны. Чем я и занимался в течение двух часов, размалевывая груди и прочие места деревенских красавиц. Зарема настояла, чтобы я сделал ей точно такой же цветок, как у Лали. Тем временем мужчины жарили баранов на вертелах, а на углях пеклись две огромные черепахи. Мясо у них было ярко-красное, точь-точь говядина.

Во время пира я сидел рядом с Зато и его отцом. Мужчины разместились по одну сторону, а

женщины, за исключением подававших еду, по другую. Поздней ночью пир закончился своеобразным танцем. Происходил он под пронзительные монотонные звуки деревянной флейты и рокот двух барабанов, обтянутых овечьей кожей. Многие мужчины и женщины были пьяны, но никаких безобразий и неприятностей не произошло.

Верхом на осле явился знахарь. Все глядели на розовый шрам, оставшийся на месте язвы, и очень удивлялись, как ему удалось вылечиться. Но эту тайну знали только я и Сорильо. Сорильо сказал, что вождя дружественного племени зовут Хусто, что означает «Справедливый». Именно он разрешал все споры, возникавшие между людьми своего племени и соседних племен.

Через Сорильо Хусто передал мне приглашение посетить его деревню. Большую, состоявшую из ста хижин.

Он пригласил меня вместе с Лали и Заремой и обещал предоставить отдельный дом. И советовал ничего не брать с собой, ибо всем необходимым мы будем обеспечены. Он только просил захватить принадлежности для татуировки. Ему тоже хотелось тигриную голову. Затем он снял с руки кожаный браслет и протянул мне. По словам Сорильо это была большая честь — все равно что сказать, что я его друг, и он не в силах отказать мне ни в чем. Он также спросил, не хочу ли я иметь лошадь. Я сказал, что хочу, но содержать ее здесь трудно, ведь в окрестностях почти нет травы. Но он ответил, что Лали и Зарема могут привезти — до травяных мест всего полдня пути верхом. Он объяснил, где находится это место, и добавил, что трава там длинная и сочная. Я согласился на лошадь, и он обещал вскоре прислать ее мне.

Воспользовавшись случаем, я признался Сорильо, что хочу перебраться в Колумбию или Венесуэлу и целиком надеюсь на его помощь. Он объяснил, что по обе стороны границы километров на тридцать тянется очень опасная зона. По его словам, в Венесуэле куда опаснее, чем в Колумбии. Он пообещал пройти вместе со мной часть пути до Санта-Марты, добавив, что мне уже знакома эта дорога, и, по его мнению, именно на Колумбии следует остановить выбор. И еще посоветовал купить словарь или учебник испанского, чтобы знать хотя бы набор самых расхожих фраз. Было решено, что он доставит мне книги и точную, насколько это возможно, карту, а также попытается продать мой жемчуг за колумбийские деньги. По его словам, все индейцы, конечно, будут сожалеть, что я их покидаю. Однако они должны понимать, насколько естественно мое желание вернуться к своему народу. Проблема только с женами и в особенности с Лали, вполне способной пристрелить меня. И тут я узнал новость — все от того же Сорильо — оказывается, Зарема беременна. Надо же, а я и не заметил. И был страшно удивлен.

Пир закончился, все разошлись по хижинам. Большой навес сняли, и началась обычная рутинная жизнь, по крайней мере, на первый взгляд. Мне доставили лошадь — великолепного гнедого в яблоках скакуна с достающим почти до земли хвостом и серебристо-серой гривой. Правда, Лали и Зарема вовсе не были от него в восторге; знахарь донес мне, что они приходили и советовались, нельзя ли известить коня, давая ему толченное стекло. Он отсоветовал им делать это, объяснив, что меня защищает какой-то индейский бог и что стекло это неминуемо попадет им в желудки. Мне же он советовал не бояться, однако и бдительности не терять. Вот если они увидят, что я всерьез готовлюсь к отъезду, тогда скорее всего пристрелят. Может, мне попробовать уговорить их отпустить меня по-хорошему, пообещав, что я вскоре вернусь? Ни в коем случае. Надо скрывать все приготовления. Прошло уже полгода, и я сгорал от нетерпения — так хотелось уйти. Как-то вернувшись домой, я застал Лали и Зарему за изучением карты. Они пытались понять, что означают все эти линии и пятна. Но больше всего занимала их роза ветров с четырьмя стрелками, торчащими в разные стороны. Они нервничали, чуя нутром, что эта бумага может повлиять на всю их дальнейшую жизнь.

Беременность Заремы стала уже заметной. Лали ревновала и заставляла меня заниматься любовью ночи и дни напролет в первом попавшемся месте. Зарема тоже не прочь была заняться любовью, но, к счастью, только ночью. Мы нанесли «семейный» визит Хусто. Как удачно, что я сохранил рисунок — он пригодился мне, чтобы изобразить на его груди голову тигра. Через шесть дней работа была закончена, первые стружья сошли довольно быстро. Хусто был счастлив и по несколько раз на дню любовался на себя в зеркало. Туда же вскоре приехал и Сорильо. С моего разрешения он рассказал Хусто о моих планах. Мне хотелось сменить лошадей, поскольку лошадей в яблоках в Колумбии не водилось. У Хусто имелись три красно-коричневые, колумбийские. Выслушав Сорильо, он тут же отправился за этими лошадьми. Я выбрал самую спокойную на вид. На нее надели седло, стремяна и металлическую уздечку. Снарядив меня по колумбийскому образцу, Хусто вложил мне в руку кожаные поводья, а затем на глазах у всех отсчитал три тысячи девятьсот песо золотыми монетами. Я передал их Сорильо, у которого они должны были храниться до моего отъезда. Хусто хотел подарить мне и свое ружье, но я отказался. Правда, в Колумбию не следовало отправляться невооруженным, и Хусто подарил мне две стрелы длиной с палец, завернутые в шерсть и уложенные в футляр из кожи. По словам Сорильо, наконечники их были пропитаны каким-то сильным и чрезвычайно редким ядом.

У самого Сорильо никогда не было таких стрел. Их он тоже взял на хранение. Я не знал, как и благодарить Хусто за его поистине царскую щедрость. Но через Сорильо он просил передать, что знает кое-что о моей жизни, а то, чего не знает, должно быть, столь же богато событиями, поскольку я настоящий мужчина. И еще добавил, что впервые в жизни познакомился с белым человеком. До этого он считал белых врагами, но отныне изменил свое мнение и мечтает найти друга, похожего на меня.

— Прежде чем уйти туда, где много врагов, — сказал он, — запомни, что здесь тебя ждут настоящие друзья.

Он обещал вместе с Зато присмотреть за Лали и Заремой и говорил, что если родится мальчик, то непременно займет почетное место в племени.

— Я не хочу, чтобы ты уходил. Останься, и я отдам тебе красавицу, которую ты видел на празднике. Она девственница. Ты ей нравишься. Можете жить у меня.

Я дам тебе большую хижину, а уж быков и коров — сколько захочешь.

Я распрощался с этим щедрым и благородным человеком и отправился в свою деревню. За всю дорогу Лали не промолвила ни слова. Она сидела у меня за спиной на коричневой лошадке; седло, должно быть, сильно натирало ей ноги, но она не жаловалась. Сорильо отправился другой дорогой. Ночь была прохладная, и я протянул Лали безрукавку из овчины, подаренную Хусто. Она молча позволила надеть ее на себя. По приезде я пошел поприветствовать Зато, а она взяла лошадь, отвела к нашей хижине и бросила перед ней охапку сена, не сняв ни седла, ни уздечки. Посидев часок с Зато, я отправился домой.

Когда индейцы грустят, мужчины и даже женщины внешне никак этого не выражают, лица их остаются совершенно неподвижными, ни один мускул не дрогнет, а из глаз, полных печали, не прольется ни слезинки. Они могут стонать, но никогда не плачут. Повернувшись во сне, я задел живот Заремы, и она вскрикнула от боли. Чтобы этого не повторилось, я встал и перебрался в соседний гамак. Висел он довольно низко, и вдруг я почувствовал, что кто-то коснулся его. Я притворился, что сплю. Лали неподвижно сидела на камне, глядя на меня. Через секунду я понял, что рядом и Зарема, это подсказал запах — она втирала в кожу лепестки апельсиновых цветов. Проснувшись, я обнаружил своих жен, совершенно неподвижно

сидящих на том же месте. Солнце взошло, было около восьми. Я повел их к морю и улегся на песке. Лали присела рядом, Зарема тоже. Я гладил груди и живот Заремы, но она оставалась неподвижной. Тогда я повалил Лали на песок и поцеловал в губы. Она стиснула зубы. Пришел напарник Лали, но с первого взгляда на нее понял, что происходит, и удалился. Я и сам был очень опечален, но не знал другого способа утешить их, кроме как гладить и целовать, выказывая тем свои чувства. Они не промолвили ни слова. Лали заставила себя заняться любовью и отдалась мне со всей страстью отчаяния. Я догадался — она тоже хочет ребенка. В то утро я впервые понял, как ревнует она меня к Зареме. Мы лежали в углублении в мелком песке, я ласкал Зарему, а она нежно покусывала мочку моего уха, как вдруг появилась Лали, схватила сестру за руку, другой провела по ее округлившемуся животу, а потом по своему — плоскому и гладкому. Зарема поднялась, всем видом давая понять: «Да, ты права», — и позволила Лали занять свое место. Женщины кормили меня каждый день, но сами ничего не ели. За три дня — ни крошки. Я взял лошадь и отправился к знахарю за советом. Он дал мне какой-то орешек, который дома следовало опустить в питьевую воду. Так я и поступил. Они пили несколько раз на дню, но есть так и не начали. За жемчугом Лали не ходила. Сегодня, после четырех дней полного поста, она отплыла метров на двести без лодки, вернулась с тридцатью раковинами и жестом приказала мне: «Ешь!» Их страдания так действовали на меня, что я и сам перестал есть.

Это продолжалось уже дней шесть. Лали лежала в лихорадке. За шесть дней она высосала лишь несколько лимонов. Зарема ела один раз — в полдень. Я был в отчаянии и не знал, что делать. Я сидел рядом с Лали, лежавшей на сложенном в несколько раз и постеленном вместо матраса гамаке, уставившись в потолок и не двигаясь. Я взглянул на нее, потом на Зарему с ее остро выпирающим вперед животиком и, сам не знаю почему, вдруг зарыдал. Может, я плакал о себе? Может, оплакивал их? Бог знает... Но я рыдал, и крупные слезы катились у меня по щекам. Зарема застонала. Тут и Лали повернула голову и тоже увидела мои слезы. Вскочив, она уселась между моих ног и застонала тихо и жалобно. Зарема обняла меня за плечи, а Лали начала говорить — она говорила и говорила, перемежая слова стонами, а Зарема отвечала ей. Похоже, она винила во всем Лали. Тогда Лали взяла кусок сахара величиной с кулак, опустила в воду, где он растаял, и демонстративно выпила в два приема, а затем вышла из хижины вместе с Заремой. Я слышал, что они возьмется с лошадью, и, выйдя, увидел, что лошадь оседлана. Я прихватил овчинную безрукавку для Заремы, Лали подстелила себе сложенный гамак. Зарема первая вскарабкалась на лошадь, усевшись ей почти на самую шею, я разместился посередине, а Лали — позади. Я полагал, что мы едем к знахарю, и тронул лошадь в этом направлении, но Лали потянула поводья в другую сторону и сказала: «Сорильо». Оказывается, мы едем навестить Сорильо. В дороге, крепко держась за мой пояс, она целовала меня в шею. Въехав в деревню, мы узнали, что Сорильо только что вернулся из Колумбии. Мы вошли к нему в хижину. Первой заговорила Лали, затем Зарема. Вот что потом сказал мне Сорильо: оказывается, вплоть до того момента, пока я не зарыдал, Лали считала меня просто белым мужчиной, которому нет до нее дела. Она прекрасно знала, что я собираюсь уехать и веду я себя подло, как змея, ничего не говоря ей и даже не пытаюсь объясниться. Она сказала, что страшно разочарована, поскольку всегда считала, что может сделать мужчину счастливым, а счастливый и довольный мужчина не уходит. И теперь, после такого несчастья, жить ей не имеет никакого смысла. Зарема твердила примерно то же самое, добавив, что боится, что ее сын будет похож на отца — станет таким же обманщиком, на слово которого нельзя положиться. Почему я должен убегать от них, как от собаки, что укусила меня в день появления в деревне? — Лали, а что ты будешь делать, если твой отец заболеет? — спросил я.

— По шипам пойду к нему и буду ухаживать.

— А что ты будешь делать с тем человеком, который гнал и преследовал тебя, как дикого

зверя, и старался убить?

— Буду искать своего врага повсюду, а найдя, похороню так глубоко, что ему не выбраться.

— Ну а потом, сделав все эти дела, как бы ты поступила, если бы тебя ждали две замечательные жены?

— Вернулась бы к ним верхом на коне.

— Бот именно это я и собираюсь сделать. Даю слово.

— А что, если ты приедешь, когда я уже буду старая и страшная?

— Я приеду до того, как ты станешь старой и страшной.

— Да, у тебя вода из глаз текла... Так нарочно, ни за что не сделать. Можешь ехать, когда хочешь. Но только днем, на глазах у людей, а не тайком, как вор. Можешь ехать, когда пришел — в полдень. И прилично одетый, как белый человек. И скажи, кто будет приглядывать за нами днем и ночью. Конечно, Зато, вождь, но должен быть еще какой-то мужчина, который станет о нас заботиться. Ты скажешь: твой дом — это твой дом, и ни единый мужчина, кроме твоего сына, которого Зарема носит у себя в животе, не смеет переступить его порога. Пусть Сорильо придет в тот день, когда уедешь ты. И скажет, что ты должен сказать.

Ночевали мы у Сорильо. И обратно отправились втроем, потихоньку, из-за Заремы. Я решил ехать через неделю, после новой луны — Лали хотела убедиться, действительно ли она беременна, и хотела, чтобы я тоже это знал. Сорильо должен принести мне одежду, поскольку здесь я ходил практически голым.

Наконец мы достигли деревни. Первое, что надо сделать, — это повидать Зато и объявить ему о своем решении уйти. Зато повел себя не менее благородно, чем его отец. Не успел я заговорить, как он прикрыл мне рот ладонью и сказал:

— Уилу (молчи)! Новая луна будет через двенадцать дней. Добавь еще восемь — будет двадцать. У тебя еще двадцать дней, прежде чем уйдешь.

Я рассматривал карту, соображая, каким путем лучше обходить деревни. И размышлял над тем, что сказал мне Хусто. А не буду ли я куда счастливее здесь, где меня все любят? Может, я сам накликаю на себя несчастья, возвращаясь в цивилизованный мир? Что ж, будущее покажет.

Три недели пролетели как сон. Теперь Лали твердо знала, что беременна и что моего возвращения будут ждать двое, а то и трое ребятишек. Почему трое? Она объяснила — мать ее дважды рожала двойню.

Приехал Сорильо. Мы провели всю ночь за разговорами у костра, разведенного возле хижины. Через Сорильо я сказал каждому обитателю деревни что-то приятное, и они отвечали мне тем же. На рассвете я вошел в хижину вместе с Лали и Заремой, и мы все утро занимались любовью. — Днем я отправился в путь. Через Сорильо я сказал Зато следующее:

— Зато, великий вождь племени, что приютило меня и дало мне все! Я должен просить твоего разрешения покинуть тебя на много лун!

— Зачем надо покидать своих друзей?

— Затем, что я должен наказать тех, кто гнал и преследовал меня, как дикого зверя. Благодаря тебе я получил убежище в деревне, жил счастливо, вкусно ел, обзавелся добрыми друзьями и женами, при виде которых у меня всякий раз солнце сияет в груди. Но я не хочу превращаться из человека в животное, что, отыскав теплое, сухое убежище, раз и навсегда успокаивается, потому что боится сражений и страданий. Я хочу встретиться со своими врагами лицом к лицу, я должен повидать отца, он ждет меня. Здесь я оставляю свое сердце — в моих женах, Лали и Зареме, в их детях, плодах нашего брака. Моя хижина принадлежит им и моим детям. И если кто об этом забудет, надеюсь, ты, Зато, напомнишь ему. Я прошу также человека по имени Узли присмотреть за моей семьей. Я очень люблю вас всех и буду любить вечно. И сделаю все, чтобы вернуться как можно скорей. А если умру, исполняя свой долг, то мысли и душа мои полетят к вам, Лали и Зарема, к вам, мои дети, к вам, индейцы племени гуахира, потому что все вы — моя семья!

Затем я зашел в хижину и переоделся в брюки и рубашку, надел носки, ботинки, соломенную шляпу. Сорильо вскочил в седло, и мы направились в сторону Колумбии. Я вел свою лошадь под уздцы. Все индейцы племени как один левой рукой прикрыли лицо, а правую протянули ко мне. Прикрывая лицо, они хотели сказать, что не в силах вынести зрелища моего отъезда, им больно это видеть, а вытянутая правая рука говорила: вернись! Лали и Зарема прошли со мной метров сто. Я думал, что они поцелуют меня на прощание, но они резко развернулись и бросились бегом к дому, тихонько вскрикивая, и ни разу не оглянулись. А я, шагая по дороге, еще долго оборачивался, чтобы в последний раз увидеть эту чудесную деревню, где прожил почти полгода. Племя гуахира, которого так страшились другие индейцы и белые, стало отныне для меня священным, а их селение — местом, где я мог перевести дух, найти прибежище, надежно ограждающее от всех бед и человеческих подлостей. Здесь я обрел любовь, умиротворение и спокойствие духа. Прощайте, гуахира, дикие индейцы! Ваша земля огромна и прекрасна и, к счастью, пока ограждена от прелестей цивилизации. Ваш простой «дикарский» образ жизни позволил мне понять одну очень важную вещь — лучше быть дикарем-индейцем, чем бездушным чиновником с дипломом. Прощайте, Лали и Зарема, несравненные, замечательные женщины! Такие непредсказуемые, близкие к природе, такие щедрые — в момент расставания они просто-напросто смели весь оставшийся в хижине жемчуг в маленький полотняный мешочек для меня. Я вернусь к вам обязательно! Когда? Как? Не знаю. Но обещаю, что вернусь.

Тетрадь пятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

ТЮРЬМА В САНТА-МАРТЕ

Мы миновали пограничные посты Ла Велы без происшествий. Долгий путь, пройденный с Антонио пешком, занял теперь не более двух дней. Впрочем, опасность подстерегала не только у пограничных постов — до самой Риоачи, откуда я бежал, тянулась стодвадцатикилометровая зона, полная всяких неприятных неожиданностей.

В каком-то заведении вроде харчевни, где можно выпить и перекусить, я впервые рискнул вступить в беседу с колумбийцем; правда, рядом сидел Сорильо. По его словам, я справился с этим вполне успешно, запинание помогло скрыть сильный акцент и нехватку слов.

Мы снова двинулись в путь в направлении Санта-Марты. Сорильо должен был с полдороги вернуться обратно в деревню.

При прощании мы решили, что лошадь он возьмет с собой. Ведь если ты владеешь лошастью, у тебя должен быть хоть какой-то адрес, принадлежность к той или иной деревне, и я не хотел рисковать, вступая, например, в такую беседу: «А вы знаете такого-то и такого-то? А как зовут мэра? Как поживает мадам такая-то?.. »

Нет, уж лучше пойду пешком и, если повезет, воспользуюсь попутным грузовиком или автобусом, а от Санта-Марты — поездом. Я должен выглядеть странником в поисках работы, неважно какой.

Сорильо разменял для меня три золотые монеты по сто песо каждая. И дал мне тысячу песо. Добросовестно работающий человек получает здесь восемь — десять песо в день, так что мне хватит надолго.

Я проголосовал и влез в кузов грузовика. До Санта-Марты было километров сто двадцать. Грузовик ехал не то за козами, не то за ягнятами, я так и не понял.

Через каждые шесть — десять километров, попадалась таверна. Водитель вышел у первой же и пригласил меня выпить чего-нибудь. Пригласил он, а платил я. И всякий раз он выпивал рюмок по пять-шесть крепкого напитка, а я — не больше одной.

Вскоре он был в стельку пьян. Он так накачался, что поехал не в том направлении, и грузовик, выехав на какую-то жутко грязную дорогу, застрял. Впрочем, колумбийца это ничуть не смутило. Он улегся в кузове, а мне предложил поспать в кабине. Я не знал, что и делать. До Санта-Марты еще километров сорок. Но с ним безопаснее, люди не будут приставать с расспросами. К тому же, несмотря на все остановки, на грузовике я доберусь быстрее, чем пешком.

Уже к утру я решил наконец поспать. Светало, было, должно быть, около семи. По дороге ползла телега, влекомая парой лошадей. Грузовик не давал ей проехать. Поскольку я спал в кабине, они приняли меня за водителя и разбудили. Я бормотал что-то невнятное с видом человека, только восставшего от глубокого сна и плохо соображающего, что происходит.

Тут проснулся водитель и стал переругиваться с возницей. Мы предприняли несколько попыток вытащить грузовик из грязи, но он завяз по самую ось, тут уж ничего нельзя было поделать. В телеге сидели две монахини в черном, рядом с ними — три маленькие девочки. После долгих переговоров решено было вырубить несколько кустов на обочине, чтобы телега могла проехать по ней, минуя это гиблое место.

У водителя и возницы нашлись мачете — этот инструмент для рубки сахарного тростника имеет здесь каждый путешествующий, — и они вырубили все, что оказалось рядом. Я же укладывал ветки в грязь на дороге, выстилая самые глубокие места, чтобы телега не утонула. Одна из монахинь поблагодарила меня и спросила, куда я направляюсь.

— В Санта-Марту.

— Но это же совсем в другую сторону! Вам надо ехать назад, вместе с нами. Мы ведь почти до самой Санта-Марты, не доезжаем лишь километров восемь.

Отказаться было невозможно, это выглядело бы подозрительно. Я хотел сказать, что должен остаться и помочь водителю, но побоялся, что не справлюсь с таким сложным предложением, и поэтому ограничился только:

— Грасиас, грасиас!..

И вот я сижу в телеге на одном сиденье с тремя маленькими девочками, а две монахини — рядом с возницей. Мы довольно быстро одолели те километров шесть, что завели грузовик в болото, выехали на хорошую дорогу, и лошади затрусили быстрее. Около полудня остановились возле харчевни перекусить. Девочки и возница уселись за один стол, я с монахинями — за соседний. Монахини оказались молодыми женщинами лет под тридцать, очень белокожими. Одна была испанкой, другая ирландкой. Очень мягко и осторожно ирландка начала расспрашивать меня.

— Вы ведь нездешний, верно?

— Да. Я из Барранкильи.

— Нет, вы не колумбиец. Волосы слишком светлые, а смуглости — от загара. Откуда едете?

— Из Риоачи.

— А чем там занимались?

— Я электрик.

— Вот как? О, у меня есть друг, он работает в одной электрической компании. Его зовут Перес, он испанец. Вы его знаете?

— Да.

— Как приятно...

В конце трапезы они поднялись и отправились мыть руки. Потом ирландка, вернулась уже одна. Взглянула на меня и заговорила вдруг по-французски:

— Я вас не выдам. Дело в том, что моя спутница уверяет, что видела ваше фото в газетах. Вы француз, бежавший из тюрьмы в Риоаче, верно?

Отрицать было бессмысленно, и я сказал:

— Да, сестра. Но только умоляю не выдавайте! Я вовсе не такой подлец и негодяй, как они там расписывают. Я верю в Бога и чту его законы.

Тут появилась монахиня-испанка. Ирландка заговорила с ней, и я уловил только слово «да». Последовал быстрый ответ, которого я тоже не понял. Они пребывали в некотором замешательстве, потом снова вместе направились в туалет. В их отсутствие я перебрал в уме тысячу вариантов. Может, бежать, пока их нет? Или остаться?.. Нет, результат будет тем же, как если бы они меня выдали. Все равно скоро поймают. В этих краях нет джунглей, а наблюдение за дорогами, ведущими в город, установить нетрудно. И я решил довериться судьбе, которая до сих пор была ко мне благосклонна.

Они вернулись, сияя улыбками, и ирландка спросила, как меня зовут.

— Энрике.

— Очень приятно, Энрике. Вы должны ехать с нами до монастыря. Он в восьми километрах от Санта-Марты. Бояться нечего: пока вы с нами в телеге, вы в безопасности. Только не произносите ни слова. Все будут думать, что вы наш работник из монастыря.

Сестры расплатились за еду. Я купил себе кремниевую зажигалку и двадцать пачек сигарет. И мы двинулись в путь.

За всю дорогу сестры ни разу не обратились ко мне, за что я им был крайне признателен. Возница не должен слышать, как плохо я говорю по-испански. К концу дня мы остановились возле большой харчевни. Там стоял автобус, и я прочитал название маршрута: «Риоача — Санта-Марта». Меня так и подмывало влезть в этот автобус. Я подошел к ирландке и сказал, что собираюсь сесть в автобус.

— Но это очень опасно! — воскликнула она. — Ведь на подъезде к Санта-Марте минимум два полицейских поста, где пассажиров просят предъявить удостоверения личности. А в телеге, в компании с нами, этого можно не опасаться.

Я поблагодарил ее от всего сердца, и чувство тревоги, грызшее меня с самого начала нашего знакомства, улетучилось. Напротив, я начал считать эту встречу с монахинями удивительным везением.

Действительно, когда к ночи Мы добрались до полицейского поста, тот самый автобус как раз досматривали. Я лежал в телеге, прикрыв лицо соломенной шляпой, и притворялся, что сплю. Рядом, положив мне голову на плечо, примостилась маленькая девочка, она действительно спала. Возница остановил телегу между автобусом и постом.

— Как поживаете? — спросила монахиня-испанка полицейского.

— Полный порядок, сестра.

— Рада слышать. Ну, едем, дети мои. — И мы медленно тронулись с места.

В десять вечера — второй пост, ярко освещенный. Подле него в два ряда выстроились разномастные машины.

Полицейские открывали багажники и заглядывали внутрь. Я видел, как одну женщину заставили выйти. Она нервно рылась в сумочке. Ее увели в помещение. Наверное, у нее не было удостоверения личности. Машины по очереди трогались с места. Стояли они очень плотно, проехать не было возможности, и приходилось ждать. Все, я пропал! Перед нами стоял большой автобус, битком набитый людьми. На крыше у него громоздились свертки, сумки и ящики — целая куча багажа, стянутого сеткой. Четверо полицейских заставили всех пассажиров выйти. У автобуса была только одна дверь — спереди. Через нее потянулась цепочка людей. У некоторых женщин на руках были младенцы. Слышались крики: «Седула, седула! (Удостоверение!)». И каждый показывал какую-то картонку с фотографией.

Но Сорильо не предупредил меня об этом! Если бы я знал, то постарался бы раздобыть липовое удостоверение. И я дал себе обещание: если благополучно миную этот пост, то за любые деньги постараюсь раздобыть себе «седулу», прежде чем пробираться из Сайта-Марты в Барранкилью — большой город на Атлантическом побережье, где, если верить справочнику, проживало двести пятьдесят тысяч жителей.

— Господи, ну и копаются же они с этим автобусом! Ирландка обернулась:

— Спокойно, Энрике.

Я вдруг страшно на нее разозлился: а что, если услышит возница?

Наконец настал наш черед, и телега выехала на ярко освещенный пяточок перед зданием поста. Я решил сесть. Не дай Бог, еще подумают, что я притворяюсь спящим. И вот, привалившись спиной к заднему бортику, я сидел и смотрел монахиням в спины. Увидеть меня можно было только сбоку. К тому же шляпа надвинута достаточно низко. Но не слишком, чтоб не вызвать подозрений.

— Ну, как вы тут поживаете? — снова спросила испанка.

— Прекрасно, сестра. Что так поздно едете?

— Торопимся, так что уж не задерживайте нас!

— Езжайте с Богом, сестра!

— Спасибо вам, дети мои! Да хранит вас Бог!

— Аминь! — ответил полицейский.

И мы спокойно двинулись вперед без всякого досмотра. Метров через сто монахини остановили телегу и скрылись в кустах на обочине. Я был так растроган, что, когда ирландка вернулась, сказал ей тихонько:

— Спасибо, сестра!

— Что вы, какие пустяки! Мы и сами струхнули, даже желудок расстроился.

Где-то к полуночи мы добрались до монастыря. Высокие стены, огромные ворота. Возница повел лошадей с телегой в сарай, девочек провели в дом. На ступеньках крыльца между моими монахинями и дежурной сестрой разгорелся какой-то жаркий спор. Ирландка объясняла, что не стоит будить мать-настоятельницу, чтобы просить ее позволить мне ночевать в монастыре. И тут я совершил ужасную ошибку, не сообразив, что надо тут же уходить в Санта-Марту, ведь до города каких-то километров восемь.

Эта ошибка стоила мне семи лет каторги.

В конце концов, мать-настоятельницу все же разбудили, и она распорядилась предоставить мне келью на втором этаже. Из окна были видны огни города. Можно было различить и маяк, и цепочку огней, очерчивающую пристань, Огромное судно как раз входило в гавань.

Я заснул. Мне приснился жуткий сон. Лали у меня на глазах вспорола себе живот, и из него по кусочкам вышло наше дитя.

Солнце стояло уже высоко, когда меня разбудил стук в дверь.

Наскоро умывшись и побрившись, я спустился вниз. Ирландка приветствовала меня слабой улыбкой. — Доброе утро, Энрике. Как спалось, хорошо?

— Да, сестра.

— Прошу вас, пройдите в приемную матери-настоятельницы, она хочет вас видеть.

Мы вошли. За письменным столом сидела женщина лет пятидесяти, может, и старше, с очень строгим лицом. Черные глазки так и впились в меня.

- Говорите по-испански?
- Очень плохо.
- Что ж, тогда сестра переведет. Мне сказали, вы француз?
- Да, мать.
- Вы бежали из тюрьмы в Риоаче?
- Да, мать.
- Когда?
- Месяцев семь назад.
- Где вы были все это время?
- С индейцами.
- Что?! С индейцами? Как это понимать? Ведь эти дикари никого не допускают на свою территорию. Ни один миссионер не сумел еще проникнуть к ним. Где вы были? Говорите правду!
- Я был у индейцев. И могу это доказать.
- Каким образом?
- А вот этими жемчужинами... — Полотняный мешочек был приколот изнутри к моей куртке. Я отцепил его и протянул ей. Она развязала бечевку, и из мешочка высыпалась целая пригоршня жемчуга.
- Сколько их здесь всего?
- Не знаю. Пятьсот, может, шестьсот. Около того.
- Это не доказательство. Может, вы где-то его украли. — Чтобы рассеять ваши подозрения, я готов сидеть здесь до тех пор, пока вы не выясните, был ли где украден жемчуг или нет. Если вам того хочется, конечно. Деньги у меня есть, я в состоянии оплатить свое пребывание. И обещаю, что не буду покидать свою комнату без вашего разрешения.
- Она смотрела на меня пристально и жестко. Наверное, думала про себя: «А что, если ты сбежишь? Уж если из тюрьмы сбежал, отсюда-то не в пример легче».
- Я могу оставить мешочек у вас. Тут все мое состояние. Пусть оно будет в надежных руках.
- Что ж, хорошо. Но вам вовсе не обязательно все время сидеть в комнате. Можете выходить в сад, утром и днем, когда воспитанницы в церкви. Есть будете в кухне, вместе с прислугой.
- Беседа несколько успокоила меня. Я уже поднимался к себе, когда ирландка позвала меня на кухню. Большая чашка кофе с молоком, очень свежий черный хлеб и масло. Монахиня наблюдала, как я завтракаю. Выглядела она обеспокоенной. Я сказал:
- Спасибо, сестра, за все, что вы для меня сделали.

— Я хотела бы сделать больше, но не могу. Ничего не могу, мой друг Анри. — И она торопливо вышла из кухни.

Я сидел у окна и смотрел на город, порт и море. Никак не удавалось избавиться от ощущения опасности. Я решил бежать в эту же ночь.

Днем надо спуститься во двор и посмотреть, можно ли перебраться через стену.

В час дня в дверь раздался стук.

— Пожалуйста кушать, Энрике.

— Спасибо, иду.

Я сидел за столом на кухне и уже готовился приступить к блюду из мяса и вареного картофеля, как вдруг распахнулась дверь и вошли четверо полицейских с ружьями и офицер с револьвером.

— Не двигаться, иначе стреляю! — Он надел на меня наручники.

Ирландка вскрикнула и упала в обморок. Две монахини, работавшие на кухне, еле успели подхватить ее.

— Идем! — скомандовал офицер.

Они отвели меня в мою комнату. Там перетрясли мой узелок и тут же обнаружили три тысячи шестьсот песо золотом. Странно, но футляр со стрелами они при этом отложили в сторону, даже не поинтересовавшись, что в нем, наверное, приняв за пенал для карандашей.

Не скрывая торжествующей улыбки, офицер сунул монеты в карман. Мы вышли. Во дворе ждал старенький автомобиль.

Полицейские и я погрузились в эту развалюху, и она тронулась с места, управляемая шофером-негром» тоже в полицейской форме, с угольно-черным лицом. Я был совершенно подавлен и не пытался протестовать.

Приехали. Выбравшись из автомобиля, они провели меня прямо в кабинет. Начался допрос.

— Говорите по-испански?

— Нет.

— Позвать сапожника!

Через несколько минут появился маленький человечек в синем фартуке, с молотком в руках.

— Вы тот француз, что бежал из Риоачи год назад?

— Нет.

— Лжете!

— Не лгу. Я не тот француз, что бежал из Риоачи год назад.

— Снять с него наручники! Куртку и рубашку тоже! — Он взял со стола какую-то бумагу и заглянул в нее. Там были описаны все татуировки. — У вас не хватает мизинца на левой руке. Да, значит, это вы.

— Нет, не я, потому что я бежал не год, а всего семь месяцев назад.

— Это не имеет значения.

— Для вас, может, и не имеет, а для меня — очень даже имеет.

— С тобой все ясно. Ты — типичный убийца. Француз или колумбиец — неважно. Все вы убийцы одинаковы, все неисправимы. Я заместитель начальника тюрьмы и не вправе решать, как поступить с тобой. Пока посидишь со своими приятелями.

— Какими приятелями?

— Французами, которых ты приволок в Колумбию.

Меня привели в камеру с зарешеченными окнами, выходящими во двор. Там уже сидели мои друзья, все пятеро. Мы обнялись.

— А я думал, ты давно на» свободе, дружище! — воскликнул Клозио.

Матуретт рыдал, как дитя, кем он, собственно, и являлся. Трое других тоже были взволнованы. Их вид придал мне силы.

— Ну, давай, рассказывай, — сказали они.

— Позже. Как вы?

— Мы тут уже три месяца торчим.

— Как обращаются, хорошо?

— Ни хорошо, ни плохо. Ждем отправки в Барран-килью, где нас должны передать французским властям.

— Вот свиньи! Ну, а как насчет того, чтобы бежать?

— Не успел и порога переступить, а уже думает о побеге.

— А что тут странного? Думаете, я так просто сдамся? Как тут с охраной?

— Днем не строго. А ночью к нам приставляют специальную охрану.

— Сколько их?

— Трое.

— Как твоя нога?

— Нормально, даже не хромает.

— Вы всегда под замком?

— Нет, выходим во двор, на солнышко. На два часа утром и три — днем.

— Ну, а что колумбийские заключенные?

— Очень опасны. Есть воры еще похлеще наших убийц.

Днем после обеда меня снова вызвали на допрос. На этот раз уже присутствовал сам начальник тюрьмы. Сапожник тоже был на месте.

— Француз, ты бежал семь месяцев назад. Где ты был все это время?

— С индейцами племени гуахира.

— Будешь издеваться надо мной, накажу!

— Но это правда.

— Ни один белый еще не жил с индейцами. Только в этом году они убили двадцать пять человек из береговой охраны.

— Не из береговой охраны. Это были контрабандисты. — Откуда ты знаешь?

— Я прожил с ними семь месяцев. Гуахира никогда не выходят за пределы своей территории.

— Ладно, может, оно и так... Но где ты спер эти три тысячи шестьсот песо?

— Они мои. Мне подарил их вождь горного племени по имени Хусто.

— Да как это может быть, чтобы индеец владел целым состоянием и вдруг отдал все тебе?

— Скажите, начальник, а вы слышали, чтоб у кого-нибудь украли золотые монеты по сто песо?

— Не слышал. В сводках не было. Но мы еще проверим.

— Валяйте, проверяйте.

— Француз, ты совершил серьезное преступление, бежав из тюрьмы, и еще более серьезное, помогая бежать Антонию. Этого преступника следовало расстрелять за убийство нескольких солдат береговой охраны. Мы знаем, что тебя ищут французские власти, знаем и приговор — пожизненное заключение. Ты опасный убийца, и я не собираюсь держать тебя с остальными французами. Будешь сидеть в карцере до отправки в Барранкилью. А деньги, возможно, тебе отдадут, если выяснится, что грабежа не было.

Меня вывели из кабинета и повели по ступенькам вниз. Наконец мы достигли тускло освещенного коридора, в который слева и справа выходили клетки. Одну из них отворили и втолкнули меня внутрь. От скользкого земляного пола исходил запах гнили.

Тут же со всех сторон слышались оклики. В каждой из этих решетчатых камер сидело по двое-трое заключенных.

— Эй, француз! Тебя за что? Чего сделал? Ты знаешь, что это камеры смертников?

— Да заткнитесь вы! Дайте ему сказать!

— Да, я француз. Я здесь, потому что бежал из тюрьмы в Риоаче. — Они прекрасно понимали мой ломаный испанский.

— Слышь, француз! Там, сзади, в камере у тебя есть доска. Это чтоб лежать. Справа найдешь жестянку с водой. Смотри, береги воду. Здесь дают ее мало и только утром, больше не допросишься. Слева ведро, параша. Накрой его курткой. Одеяло все равно не понадобится, тут жарко. Так что накрой, чтобы не воняло. Мы все закрываем параша своими тряпками.

Подойдя к решетке, я попытался разглядеть лица. И увидел только двоих, что напротив. Ноги один из них просунул сквозь решетку в коридор. Это был очень светлокожий негр, красивый молодой парень. Сосед его был ярко выраженного испано-индейского типа. Негр предупредил, что во время прилива камеры заливают. Но бояться не надо. Вода никогда не поднимается выше пояса. Крыс, которые на меня при этом полезут, хватать руками не стоит — могут укусить. Я спросил:

— А сколько вы сами торчите в этой дыре? — Два месяца.

— А остальные?

— Больше трех месяцев — никто. Если через три месяца не выпустят, тут точно подохнешь.

— Ну, а есть кто-нибудь, кто продержался дольше?

— Есть. Восемь месяцев. Но долго уже не протянет. Последний месяц только на колени может встать. Один хороший прилив — и ему каюк.

— Да это просто страна дикарей и вырождков!

— А я разве сказал, что не вырождков? Правда, ваши цивилизованные не лучше, раз ты схлопотал пожизненное. Здесь, в Колумбии, у нас максимум двадцатка или казнь. Но чтоб пожизненное — никогда!

— А, везде хреново, один черт.

— И много ты народу ухлопал?

— Нет. Одного.

— Да быть не может! И чтоб за это влепили пожизненное!

— Честно тебе говорю.

— Да... Выходит, и у вас страна точно такая же, дикарская.

— Ладно, чего там спорить о странах. Полиция везде дерьмо, тут ты прав. Ну а сам-то за что попал?

— Убил одного. Потом его сына и жену.

— За что?

— Они отдали моего младшего братишку свинье, и та его сожрала.

— Боже милостивый! Быть не может!

— Братишка, ему было пять, бросал каждый день камин в ихнего мальчишку, ну и попал раз по голове.

— Все равно это не причина.

— Вот и я так сказал, когда узнал, что они с ним сотворили.

— А как ты узнал?

— Ну, исчез братишка... Не было три дня, а потом я нашел его сандалию в куче навоза. Покопался там и нашел еще белый носочек, весь в крови. Ну и сообразил. А баба созналась прежде, чем я ее прихлопнул. Я даже позволил им прочитать молитву перед смертью. Первым выстрелом перебил папаше ноги...

— И правильно сделал, что убил! Сколько тебе светит?

— Не больше двадцатки.

— А чего в карцере?

— Да врезал полицейскому здесь, он из их семьи. Потом его убрали. Нет его, слава Богу, больше тут, так что душа моя спокойна.

Дверь в коридор отворилась. Вошел охранник в сопровождении двух заключенных, которые несли на шестах деревянное корыто. За их спинами вырисовывались еще два охранника с оружием. Они обходили камеры и опорожняли параша в корыто. Нестерпимая вонь наполнила помещение. Я кашлял и задыхался. Когда подошла моя очередь, парень, взявший парашу, уронил на пол маленький пакетик. Я быстро оттолкнул его ногой в темный угол. После их ухода я обнаружил в нем две пачки сигарет, зажигалку и записку на французском. Прикурив сразу две сигареты, я швырнул одну ребятам, что сидели напротив. Затем окликнул соседа и сунул ему в протянутую руку несколько сигарет, которые он тут же начал передавать остальным. В тусклом свете я попытался разобрать, что же написано в записке. Но света не хватало. Тогда я свернул в комок кусочек оберточной бумаги, поджег и успел прочитать следующее; «Не падай духом, Папийон. Положись на нас. Береги себя. Завтра пришем бумагу и карандаш, чтобы ты мог писать. Мы с тобой до гроба». Как утешило и согрело меня это маленькое послание! Я больше не чувствовал себя одиноким. Мои друзья помнят обо мне, и я могу на них рассчитывать. Все молчали и курили. При раздаче сигарет выяснилось, что здесь нас ровно девятнадцать человек. Итак, я снова на пути в преисподнюю. И теперь, похоже, увяз по горло. Ничего себе монахини-сестрички! Сестры дьявола, сучьи дочери! И все же вряд ли они выдали меня... А может, мать-настоятельница или возница? Да, один черт, какая разница... Факт тот, что я сижу сейчас здесь.

Я видел, покуривая, как вдруг начала подниматься, вода. Она доходила уже почти до щиколоток. Я крикнул:

— Эй, черный! И долго эта вода будет стоять в камере?

— Зависит от прилива. Час, от силы — два.

Я слышал, как другие заключенные кричали: «Вода, вода!»

Она поднималась медленно-медленно. Полукровка и негр полезли на решетку. Руками они обхватили прутья, ноги болтались в проходе. В воде послышался писк — там бултыхалась

крыса, огромная, как кошка. Она тоже пыталась забраться на решетку. Я снял ботинок и, когда она подобралась поближе, изо всей силы запустил ей в голову. Крыса с писком бросилась в коридор.

— Что, начал охотиться, француз? — спросил негр. — Особо не надрывайся, всех не перебеешь. Лучше лезь на решетку, виси и не бери в голову.

Я последовал его совету. Но прутья больно впивались в ноги, и я понял, что долго так не продержаться. Тогда я скинул с параша куртку, положил ее на прутья, и уселся. Так стало немного удобнее.

Самым отвратительным в этом наводнении были крысы, пиявки и крохотные крабы. Мерзость! Прошло не меньше часа, прежде чем вода ушла, оставив на полу сантиметра на два скользкой грязи. Я надел ботинки, чтобы не запачкаться. Негр протянул мне тонкое полешко и посоветовал выталкивать им грязь в коридор, начиная от задней стенки. Ведь в камере спать. Я занимался этим добрые полчаса, позабыв обо всем и целиком сосредоточившись на борьбе с грязью. Воды не будет до следующего прилива, так что часов одиннадцать у меня есть. И тут в голове возникла одна довольно абсурдная мысль: «Видно, судьба тебе, Папийон, вечно зависит от приливов! А ими правит луна, неважно, нравится тебе это или нет. Именно приливы и отливы помогли тебе тогда бежать по Марони. Именно благодаря приливу ты сумел покинуть Тринидад и Кюрасао. А тогда, в Риоаче, именно недостаточно сильный прилив не позволил быстро убраться от берега... И вот судьба твоя снова вверена приливу... »

Я растянулся на доске в глубине камеры и выкурил сразу две или три сигареты так, чтобы никто не видел. Отдавая полено, я снова поделился с негром куревом, и он тоже потихоньку покурил в темноте. Казалось, какое значение имеют все эти мелочи? Но для меня это не мелочи. Это доказывает, что даже мы, отбросы общества, сохранили еще остатки совести и деликатности и старались понапрасну не раздражать других.

Да, это совсем не Консьержери. Здесь можно вволю мечтать, не защищая глаза платком от ослепительно яркого света.

«Кто же все-таки, черт возьми, выдал меня? Что ж, когда-нибудь я узнаю. И это дорого обойдется мерзавцу». Но тут я сказал себе: «Что городишь ерунду, Папийон! Жизнь сама накажет доносчиков. И если ты когда-нибудь вернешься сюда, то не для мести, а чтобы повидать Лали и Зарему и своих детей. Обрадовать их и порадоваться самому. Если и стоит возвращаться в это Богом забытое место, то только ради них и ради индейцев племени гуахира, которые оказали тебе честь, признав своим. Да, я все еще на пути в преисподнюю, но даже здесь, в этой черной дыре, я на пути к свободе! И этого у меня никак не отнять!»

Мне передали бумагу, карандаш и две пачки сигарет. Торчу в яме уже три дня, вернее, три ночи, потому что день здесь как ночь. Затягиваясь сигаретой, я восхищался солидарностью заключенных. Ведь колумбиец, передавший мне эту пачку, страшно рисковал. Застукай его кто, и он оказался бы тут же, в карцере. Он наверняка знал об этом, но все равно согласился помочь, что говорит не только о его храбрости, но и благородстве духа. Я поджег клочок бумаги и прочитал: «Папийон, мы знаем, ты держишься молодцом! Bravo! Черкни пару строк. Мы тоже ничего. Тебя приходила повидать какая-то монахиня. Говорила по-французски. Ее к нам не пустили. Но колумбиец успел шепнуть ей пару слов о том, что ты в карцере и все такое. И она сказала: „Я приду еще“. Вот и все. С любовью, твои друзья». Написать ответ было не просто. Однако я все же умудрился. «Спасибо за все. Я в порядке. Пишите французскому консулу. Может, что и выйдет, как знать. Пусть передачи и записки носит один и тот же. Если поймают, накажут только одного. Не прикасайтесь К кончикам стрел! Да здравствует побег!»

ПОБЕГ ИЗ САНТА-МАРТЫ

Лишь через двадцать восемь дней вышел я из этой омерзительной дыры исключительно благодаря визиту в Санта-Марту бельгийского консула господина Клаузена. Негр по имени Паласио, вышедший из карцера через три недели после того, как я сел, передал через навещающую его мать, что здесь томится бельгиец. Эта идея пришла ему в голову в воскресенье, когда он увидел, что бельгийский консул навестил одного бельгийского заключенного.

Начальник тюрьмы спросил:

— Что заставило вас, француза, обратиться к бельгийскому консулу?

Рядом с ним, с портфелем на коленях, сидел господин в белом, лет пятидесяти, со светлыми, почти белыми волосами и круглым розовым лицом. Я тут же сориентировался.

— Это вы говорите, что я француз. Да, я бежал из французской тюрьмы, но тем не менее я бельгиец!

— Ну вот, видите! — воскликнул розоволицый господин.

— Почему же вы сразу не сказали?

— А какое это имеет значение, если я не совершил на вашей территории ни одного серьезного преступления? Если не считать побега, что вполне естественно для каждого заключенного.

— Ладно! Будете сидеть со своими друзьями. Но, сеньор консул, предупреждаю, малейшая попытка к побегу, — и он отправится туда, откуда сегодня пришел. Отведите его к парикмахеру! А потом в камеру, к его приятелям!

— Благодарю вас, господин консул, — сказал я по-французски. — И простите за беспокойство, которое я вам причинил.

— Господи, как вы, должно быть, пострадали в этом ужасном карцере! Идите скорей, пока этот мерзавец не передумал! Я приду навестить вас еще раз. До свиданья.

Парикмахера на месте не оказалось, и меня отвели к моим друзьям. Должно быть, я действительно выглядел ужасно, поскольку они не переставали расспрашивать меня:

— Ты ли это, Папийон? Это невозможно! Что эти свиньи с тобой сделали? Ты что, ослеп? Что у тебя с глазами? Почему все время моргаешь?

— Отвык от света. Здесь он слишком яркий. А глаза привыкли к темноте.

Я сел и уставился в темный угол.

— Ну и воняет же от тебя, просто невыносимо! Несет какой-то гнилью.

Я разделся, и они сложили мои вещи у двери. Руки, ноги, все тело было покрыто красными пятнами, словно от укусов клопов. Это меня изгрызли те маленькие крабы, что появлялись в карцере вместе с приливом. Я знал, что выгляжу мерзко и страшно, даже в зеркало смотреться не надо, чтоб убедиться в этом.

Клозио притащил мне чистую одежду. С помощью Матуретта я помылся, причем чем дольше

терся черным мылом, тем больше грязи сходило. Наконец, намылившись и ополоснувшись раз семь, я почувствовал себя чистым. Минут за пять высох на солнце и оделся. Явился парикмахер. И тут же вознамерился обрить мне голову. Я воспротивился.

— Нет. Волосы просто подкоротить и побрить. Я заплачу.

— Сколько? — Песо.

— Если постараетесь, дам два, — вставил Клозио.

Помытый, побритый, постриженный и одетый во все чистое, я чувствовал, что снова возвращаюсь к жизни. Камера, где сидели мои приятели, казалась после карцера настоящим дворцом. А Клозио тут же уступил мне гамак, купленный на собственные деньги. Дни и частично даже ночи были заполнены жратвой, питьем, игрой в карты и бесконечной болтовней по-испански между собой и о колумбийскими охранниками и заключенными, чтобы лишний раз попрактиковаться в языке.

В воскресенье я снова говорил с бельгийским консулом и одним из бельгийских заключенных. Тот сидел за какие-то махинации с американской фирмой по экспорту бананов. Консул обещал сделать все возможное, чтобы помочь нам. Он даже заполнил какой-то бланк, где говорилось, что я родился в Брюсселе от бельгийских родителей. Я рассказал ему о монахинях и жемчуге. Но он оказался протестантом и мало общался с монахами, правда, немного знал епископа. Он отсоветовал мне настаивать на возвращении монет, слишком опасно. За сутки до нашей отправки в Барранкилью его должны были уведомить об этом.

— Вот тогда и будете в моем присутствии требовать их. Ведь там были свидетели, насколько я понял?

— Да.

— А сейчас не надо. Иначе снова засунут в карцер, а то еще и убьют. Это ведь целое состояние... Золотые стопесовые монеты стоят не триста, а пятьсот пятьдесят каждая. Так что не стоит искушать дьявола. Что же касается жемчуга, то не знаю, надо подумать.

Я спросил негра, не хочет ли он бежать со мной и как, по его мнению, это лучше организовать. Лицо его посерело от страха.

— Что вы, что вы, господин! Об этом даже нечего и думать! Тут только одну промашку дашь, и сразу крышка! Тебя ждет самая ужасная в мире смерть. Вы уже отведали, чем она пахнет. Погодите, пока не окажетесь в Барранкилье, например. Но здесь это самоубийство. Так что уж сидите тихо. К чему рисковать?

— Да, но зато здесь это несложно. Стена низенькая. — Полегче, парень, полегче! И на меня не рассчитывайте. Ни бежать, ни помогать не буду. Даже говорить об этом не хочу. — И он, весь дрожа от страха, повторял: — Все вы, французы, ненормальные! Психи прямо, думают, что могут бежать из Санта-Марты!

Днем я часто наблюдал за колумбийскими заключенными, попавшими сюда явно не зазря. Почти у всех были физиономии убийц. Правда, чувствовалось, что их здесь здорово укротили. Страх еще раз оказаться в карцере совершенно парализовал их. Дней пять назад из карцера вышел один парень, очень здоровый, высокий, на голову выше меня, по прозвищу Кайман (Крокодил). Говорили, что он очень опасен. Прогулявшись с ним по двору раза два-три, я спросил:

— Кайман, хочешь бежать со мной?

Он взглянул на меня, словно на самого дьявола, и ответил:

— Чтобы попасть туда, откуда мы с тобой только что выбрались? Нет уж, спасибо. Скорее родную маму придушу, чем снова туда.

Это была моя последняя попытка. Больше о побеге я решил не говорить ни с кем.

Сегодня встретил начальника тюрьмы. Он приостановился и спросил:

— Как поживаете?

— Неплохо. Но было б еще лучше, если б удалось вернуть золотые монеты.

— К чему они вам?

— Я мог бы нанять адвоката.

— Идемте. — И он отвел меня в свой кабинет. Мы были одни. Он угостил меня сигарой.

— Сознайтесь, вы хотите продать свои монеты? Все двадцать шесть?

— Не двадцать шесть, а тридцать шесть.

— Ах, ну да, да... И нанять адвоката? Но ведь об этих монетах знаем только мы двое...

— Нет. Еще сержант и те пятеро, что присутствовали при моем аресте. И ваш заместитель, который принял их у меня и передал вам. Ну, еще консул...

— Да... Хорошо. Может, это и к лучшему, что знает так много людей. Тогда можно действовать открыто. А знаете, что я оказал вам огромную услугу? Держал рот на замке и не передал запрос в полицию, выяснить, не пропали ли у кого золотые монеты...

— Но вы же обязаны были это сделать!

— Да, обязан. Но это не в ваших интересах.

— Спасибо, начальник.

— Хотите, я продам их для вас?

— За сколько?

— За триста штуку. Ты ведь продавал по такой цене раньше? А мне отстегнешь за услугу по сотне за каждую. Идет?

— Нет. Отдадите мне все. И я заплачу не по сто, а по двести.

— Француз, а я смотрю, ты парень не промах. А что я? Всего лишь простой и бедный колумбийский офицер. Доверчивый человек, не хитрый... А ты умен, даже слишком умен, как я посмотрю...

— Ладно. Так как, договорились?

— Пошлю завтра за покупателем. Он придет ко мне в контору, глянет на монеты, тогда и поделим фифти-фифти. Только так, иначе отправлю тебя в Барранкилью вместе с монетами, а то и попридержу их и заведу дело.

— Нет. Вот мое последнее слово: пусть этот человек приходит сюда глянуть на монеты, а все, что сверх трехсот, — твое.

— Ладно, договорились. Но на кой тебе такая куча денег?

— Во время сделки будет присутствовать бельгийский консул. Передам ему деньги, пусть наймет адвоката.

— Не пойдет, мне свидетели ни к чему.

— А чего тут бояться? Я подпишу бумагу, где будет сказано, что вы возвращаете мне тридцать шесть монет. Соглашайся. Если все пройдет нормально, устрою тебе еще одну выгодную сделку.

— Какую?

— Увидишь. Не хуже этой. И вот тогда мы уже сыграем фифти-фифти.

— Нет, ну правда, какую?

— Ладно, ближе к делу. Расскажу завтра в пять, когда мои деньги будут у консула.

На следующий день с самого утра все завертелось. В девять за мной прислали. В кабинете начальника уже ждал какой-то господин лет под шестьдесят, в легком светло-сером костюме и сером же галстук. Галстук был заколот булавкой, в которой переливалась огромная серебристо-голубая жемчужина. Сразу видно, что этот худенький, сухопарый господин обладает отменным вкусом.

— Доброе утро, месье.

— Вы говорите по-французски?

— Да, месье. Я из Ливана. Мне сказали, у вас имеются золотые монеты по сто песо каждая. Это меня интересует. По пятьсот за штуку пойдет?

— Нет. Шестьсот пятьдесят.

— Вас, видно, дезинформировали, месье. Потолочная цена — пятьсот пятьдесят.

— Слушайте, слишком много разговоров! Давайте по шестьсот.

— Нет, пятьсот пятьдесят.

Короче, мы сошлись на пятистах восьмидесяти. Сделка состоялась.

— Так. Ну и на чем вы там сговорились?

— Сделка сделана, начальник. По пятьсот восемьдесят за штуку. Деньги будут после обеда.

Делец ушел. Начальник встал и обратился ко мне:

— Что ж, замечательно. И сколько мне светит?

— По двести пятьдесят за каждую. Вы же хотели сотню. А я даю в два с половиной раза больше,

Он улыбнулся и спросил:

— Ну а вторая сделка?..

— Прежде устройте так, чтобы к обеду здесь был консул. Когда он получит деньги и уйдет, я расскажу о второй сделке.

— Так, значит, это не вранье?

— Конечно, нет. Даю слово.

— Ладно, поверим.

В два ливанец и консул были в тюрьме. Делец передал мне двадцать тысяч восемьсот восемьдесят песо. Я отдал двенадцать тысяч шестьсот консулу и восемь тысяч двести восемьдесят — начальнику. Затем подписал документ, где говорилось, что начальник вернул мне все мои золотые монеты. Оставшись с ним наедине, я рассказал о матери-настоятельнице.

— И сколько там было жемчужин?

— Штук пятьсот — шестьсот.

— Ну и бандитка же эта мать-настоятельница! Она должна была или вернуть их тебе, или передать в полицию. Придется на нее донести.

— Нет уж. Ступайте лучше к ней и передайте письмо. На французском. Но перед тем как передать, попросите, чтоб пришла монахиня-ирландка.

— Понял. Только ирландка может прочитать письмо и перевести ей. Прекрасно. Я еду.

— Подождите! Надо еще написать письмо.

— Ах, ну да! Хосе! — крикнул он в полуоткрытую дверь. — Приготовь машину с двумя охранниками.

Я сел за стол и на тюремном бланке написал: «Госпожа настоятельница, а также милая монахиня ирландка, которая возьмет на себя любезность перевести вам это письмо!

Когда Господь привел меня в вал дом, где я рассчитывал получить убежище, оказываемое в традициях христианства каждому гонимому, я вручил вам мешочек жемчужин, принадлежащих мне. Это был жест, могущий убедить вас, что я не способен воровать под крышей дома, являющегося приютом Господним. Некое низкое и подлое существо решилось донести на меня в полицию, которая не замедлила явиться и арестовать меня под крышей вашего дома. Я убежден, что эта низкая душонка не может принадлежать ни одному из обитателей вашего монастыря. Не могу сказать вам, что прощаю это подлое создание, мужчину или женщину, это было бы ложью. Напротив, верю, что Бог или один из его святых безжалостно накажет его за столь отвратительный поступок. Умоляю вас, госпожа настоятельница, передать мой жемчуг начальнику тюрьмы Цезарию, уверен, он с той же честностью передаст его мне. Данное письмо тому порукой. Ваш» и т. д.

Монастырь находился в восьми километрах от Санта-Марты, поэтому уже через полтора часа начальник вернулся и тут же послал за мной.

— Ну, вот и мы! Прошу, пересчитайте!

Я пересчитал. Я мог, конечно, и не заметить пропажи, поскольку не знал, сколько их было с самого начала. Впрочем, все равно надо было знать, сколько их теперь, чтоб не прилипло к лапам этого разбойника. Пятьсот семьдесят две.

— Все правильно?

— Да.

— Ни одной не пропало?

— Нет. Расскажите, как все было.

— Когда я приехал в монастырь, настоятельница как раз была во дворе. Я посередине, по бокам двое полицейских, подхожу и говорю: «Госпожа, я должен переговорить с ирландкой-монахиней! В вашем присутствии, а о чем, я думаю, вы догадываетесь».

— Ну и?..

— Монахиня прямо аж задрожала как лист, когда читала письмо настоятельнице, а та ничего не сказала, только опустила голову, открыла ящик и говорит мне: «Вот тот мешочек и жемчужины, все в целости. Пусть Бог простит того человека, который донес на него. Передайте, пусть молится за него». Вот как оно было, — закончил начальник, ухмыляясь.

— Так когда будем продавать жемчуг?

— Завтра. Я не спрашиваю, откуда он у тебя. Я знаю, что ты — опасный убийца, но знаю и то, что ты человек

слова и не способен хитрить. Вот тут ветчина, вино, французский батон. Возьми и выпей со своими друзьями за этот памятный день!

— Доброй ночи!

Я вернулся в камеру с двумя литровыми бутылками кьянти, трехкилограммовым куском ветчины и четырьмя длинными французскими батонами. Настоящее пиршество! Ветчина, вино и хлеб исчезли удивительно быстро.

На следующий день явился ливанец.

— Все очень сложно, — сказал он. — Прежде всего надо рассортировать жемчужины по размеру, затем по цвету и уже потом по форме — на круглые и неровные.

Помимо этого он сообщил, что должен привезти одного потенциального покупателя, который лучше разбирается в жемчуге, чем он. Через четыре дня сделка состоялась. Он уплатил мне тридцать тысяч песо. В последний момент я вынул из кучки одну розовую и две черные жемчужины, в подарок жене консула. Дельцы сразу же заявили, что только эти три жемчужины стоят пять тысяч, но я тем не менее не отдал их.

С большим трудом удалось уговорить бельгийского консула принять подарок. Впрочем, он с

удовольствием согласился сохранить для меня пятнадцать тысяч песо. Итак, я стал обладателем двадцати семи тысяч. Теперь предстояла третья сделка.

Но как и с чего начать? В Колумбии хороший рабочий получает где-то восемь — десять песо в день. Двадцать семь тысяч — сумма немалая. Надо ковать железо, пока горячо. Начальник тюрьмы уже получил двадцать три, добавить к ним еще и эту сумму — это будет целых пятьдесят тысяч.

— Господин начальник, сколько вам надо вложить денег в дело, чтобы жить лучше, чем сейчас?

— Ну, зависит от дела... Тысяч сорок пять — шестьдесят наличными.

— Так, допустим, вы вложили эту сумму. И сколько получите? В три раза больше, в четыре?

— Больше. В пять-шесть раз больше, чем вложил.

— Тогда почему бы вам не стать бизнесменом?

— Капитала не хватает. Надо раза в два больше.

— Знаете, начальник, я могу предложить третью сделку.

— Ладно, не валяй дурака.

— Я не валяю. Я серьезно. Хотите двадцать семь тысяч? Они ваши, если вы согласны, конечно.

— А что надо, чтоб их получить?

— Отпустить меня.

— Послушай, француз, я знаю, ты мне не доверяешь. Но вот что я тебе скажу. Нищета мне теперь не грозит, я могу купить дом, отправить своих детишек в платную школу, и все это благодаря тебе. Так что я — твой друг. И не хочу тебя грабить. Здесь я ничего не могу для тебя сделать, даже за целое состояние. Я не могу организовать твой побег даже с минимальным шансом на успех.

— А что, если я докажу, что ты не прав?

— Что ж, посмотрим. Но только сперва надо все хорошенько обдумать.

— Начальник, у тебя есть какой-нибудь знакомый рыбак?

— Есть.

— Смог бы он вывезти меня в море и продать лодку?

— Не знаю.

— А сколько приблизительно стоит лодка?

— Две тысячи.

— Ну, допустим, я дам ему семь, а тебе двадцать? Пойдет?

— Француз, мне к Десяти хватит. Себе ты тоже должен что-нибудь оставить.

— Тогда иди и договаривайся.

— Отправишься один?

— Нет.

— Сколько вас будет? — Трое.

— Ладно, поговорю сперва с рыбаком.

Во дворе я рассказал все Клозио и Матуретту. Они согласились бежать, добавив, что во всем целиком полагаются на меня. Но были у меня здесь и другие товарищи.

Девять вечера. Мы только что закончили партию в домино, Я попросил принести шесть горячих кофе.

— Друзья, хочу вам сказать кое-что. Я снова собираюсь бежать. К несчастью, могу взять с собой только троих. Естественно, это будут Клозио и Матуретт, с которыми я бежал с каторги. Если кто из вас против, пусть скажет.

— Нет! — ответил Бретонец. — Все честно, с какой стороны ни глянь. Во-первых, бежали с каторги вместе. И ни за что бы не оказались в этой дыре, если б нам не взбрело высадиться в Колумбии. Но все равно, спасибо за то, что спросил, Папийон. Надеюсь, тебе удастся твоя попытка. Потому что если нет — то это верная смерть, причем из числа самых скверных.

— Мы это знаем! — хором подтвердили Клозио и Матуретт.

Днем я встречался с начальником. С рыбаком все оказалось в порядке. Он только спрашивал, что нам нужно взять с собой.

— Пятидесятилитровый бочонок с питьевой водой, двадцать пять килограммов маисовой муки и литров шесть масла, вот и все.

— Ничего себе! — воскликнул начальник. — И с этим вы собираетесь выходить в открытое море?

— Да.

— Смелые вы ребята, очень смелые... Ну, так какой у вас план?

— Уйду я ночью и не в твое дежурство. С завтрашнего дня вы должны снять одного ночного часового. Через три дня — еще одного. Когда останется только один, надо установить напротив двери в камеру сторожевую будку. В первую же дождливую ночь охранник укроется в ней, а я уйду через окно. Что же касается фонарей, освещающих стену, то тут придется устроить короткое замыкание. Вот и все, что от тебя требуется. Ну, а рыбаку передай — лодка должна быть на цепи с замком, который бы открылся при первом моем прикосновении, чтоб не пришлось с ним возиться и терять время. Паруса должны быть подняты и весла наготове.

— Но там же есть мотор, — сказал начальник.

— Вот как! Тем лучше. Пусть потихоньку работает, разогревается. А сам рыбак зайдет в ближайшее кафе выпить чего-нибудь. Увидит нас, пусть идет к лодке и стоит возле нее в

черном дождевике.

— Ну а как насчет денег?

— Я разрежу купюры, двадцать тысяч, пополам. Аванс в семь тысяч рыбаку заплачу. Тебе даю половинки купюр вперед, а один француз, что останется здесь, я позднее скажу кто, потом передаст вторую половину купюр.

— Выходит, ты мне не доверяешь? Прискорбно!

— Нет, не то чтобы не доверяю. Но может не получится с коротким замыканием, и тогда я платить не буду. Потому что под током выбраться нельзя.

— Ладно, договорились.

Все было готово. Через начальника я передал рыбаку деньги. Последние пять дней на ночном дежурстве не было ни одного охранника. Будка стояла на месте, и мы ждали только дождя, а он все не шел. Прут на оконной решетке был перепилен пилками, которые дал начальник, а распилил хорошо замаскирован, мало того — его полностью прикрывала клетка с попугаем, который уже научился говорить по-французски слово «дерьмо». Мы были словно на иголках. Начальник уже получил половинки банкнот. А дождь все не шел. Ни единой капли: в это время года они бывают здесь чрезвычайно редко. Малейшее облачко, замеченное сквозь решетку окна, вселяло надежду. Но ничего не происходило. Одно только это могло уже свести с ума.

Вот уже шестнадцать дней, как все готово к побегу. Шестнадцать дней и ночей ожидания с бьющимся сердцем. Как-то в воскресенье утром начальник сам явился во двор за мной. Провел в кабинет и там протянул пачку разрезанных банкнот и три тысячи песо целыми купюрами.

— В чем дело?

— Француз, друг мой, у тебя последняя ночь, только эта. Завтра в шесть утра вас отправляют в Барранкилью. Эти три тысячи — остаток того, что ты дал рыбаку, остальное он потратил. Если Господь пошлет дождь сегодня ночью — он будет ждать, где договорились. Тогда отдашь ему деньги. Я тебе верю. Верю, что не подведешь.

Дождя так и не было.

В БАРРАНКИЛЬЕ

В шесть утра явились восемь солдат и два капрала под командованием лейтенанта. Они надели на нас наручники и погрузили в армейский грузовик. За три часа мы проехали сто восемьдесят километров и уже к десяти прибыли тюрьму в Барранкилье, которую здесь называли «восьмидесяткой». Как ни старались мы избежать этой Барранкильи, а не удалось. Большой город, главный атлантический порт Колумбии. Тюрьма тоже большая — четыреста заключенных и около сотни охранников. Построена по европейскому образцу. Две внешние стены высотой восемь с лишним метров.

В тюрьме нас встретило начальство во главе с доном Грегорио. Здесь было четыре двора — два по одну, два по другую сторону длинного здания собора, где проходили службы и которое служило также местом для свиданий. Нас поместили во двор для особо опасных. При обыске у меня нашли двадцать три тысячи и маленькие стрелы. Я счел своим долгом предупредить начальника, что они отравлены, что, разумеется, не красило нас в его глазах.

— Да, далеко зашли эти французы. Носят с собой отравленные стрелы!

Пребывание в Барранкилье всерьез ставило под угрозу все мечты о свободе. Отсюда нас должны были передать французским властям. И все же Барранкилья должна стать поворотным пунктом в нашей судьбе! Бежать, во что бы то ни стало! Поставить на карту все!

Камера наша располагалась в середине двора. Скорее не камера, а клетка — цементная крыша на толстых железных столбах с туалетом и умывальником в углу. В этом дворе находилось около сотни заключенных — они сидели по клеткам, встроенным в стены, окружавшие площадь примерно двадцать на сорок метров, и выглядывали через прутья во двор. Над прутьями нависало нечто вроде козырька, чтобы дождь не заливал камеры. Нас поместили в центральную клетку, день и ночь открытую обозрению всех заключенных и, конечно, охранников. С шести утра до шести вечера мы находились во дворе, могли входить и выходить, когда захочется. Могли говорить и даже есть во дворе.

Два дня спустя нас отвели в собор, где находились начальник, несколько полицейских и семь-восемь газетчиков и фотографов.

— Итак, вы бежали с французской каторги в Гвиане?

— Не отрицаем.

— Какое же преступление совершил каждый из вас, получивший столь жестокое наказание?

— Неважно. Важно то, что мы не совершали никакого преступления на территории Колумбии и что ваша страна не только отказывает нам в возможности исправить свою судьбу, но и охотится на людей, выслуживаясь перед французским правительством.

— Вы нежелательный элемент на территории Колумбии.

— Ни я, ни двое моих друзей совершенно, не, желаем оставаться на этой территории. Нас задержали в открытом море, мы вовсе не пытались высадиться. Напротив, „всеми силами стремились отойти от берега.

— Французы, — сказал какой-то журналист из католической газеты, — почти все католики, как и мы, колумбийцы.

— Возможно, вы и считаете себя католиками, однако действуете вовсе не в правилах христианской морали.

— Чем же это мы вам не угодили?

— Вы сотрудничаете с теми, кто держит людей на каторге, ведет на нас охоту. Хуже того, вы делаете их работу за них! Вы отобрали у нас лодку и все, что в ней было, а между прочим, это подарок католиков с острова Кюрасао.

— И все это вы ставите в вину колумбийцам? — Не самим колумбийцам, а их полиции и, закону.

— Как это понимать?

— А вот как. Любую ошибку можно исправить. При наличии доброй воли, конечно. Разрешите нам отплыть морем в другую страну.

— Что ж, постараемся выхлопотать вам разрешение.

В четверг меня вызвали в комнату свиданий. Там сидел хорошо одетый господин лет сорока пяти. Он удивительно походил на Луи Дега.

— Вы Папийон?

— Да.

— Я Жозеф, брат Луи Дега. Прочитал о вас в газетах и вот пришел навестить.

— Спасибо.

— Вы видели моего брата в Гвиане? Что вы о нем знаете?

Я рассказал ему, что произошло с Дега до того самого момента, когда мы расстались с ним в больнице. Он сказал, что сейчас его брат на островах Спасения, это ему сообщили из Марселя. Еще он рассказал, что здесь, в Барранкилье, проживает человек двенадцать французов, приехавших попытать счастья вместе со своими женами. Есть тут и особый район, где человек восемнадцать проституток в лучших французских традициях утонченно и умело занимаются своим ремеслом. Эти встречаются среди мужчин и женщин повсюду — от Каира до Ливана, от Англии до Австралии, от Буэнос-Айреса до Каракаса, от Сайгона — до Браззавиля — люди, неустанно и истово занимающиеся этим самым древним в мире ремеслом. И тут Жозеф сообщил мне нечто совершенно неожиданное. Эти самые французские проститутки Барранкильи страшно обеспокоены. Они боятся, что наше пребывание в местной тюрьме осложнит их жизнь и отрицательно повлияет на столь доходный бизнес. А если один или несколько человек из нас сбежит, то полиция прежде всего будет искать в их кварталах, у французских девочек, пусть даже беглый и не воспользуется их помощью. А это позволит полиции выявить многое — фальшивые документы, просроченные аренды и виды на жительство и так далее. Ведь, занимаясь поисками, они наверняка будут, прежде всего проверять документы.

Со своей стороны, он обещал помочь чем только может и навещать по четвергам и воскресеньям. Он также сообщил, что, если верить газетам, нас по требованию Франции собираются вернуть на каторгу.

В нашем дворе, как я уже говорил, содержалось где-то около сотни заключенных. Тут сидели далеко не простаки. Было несколько ловких воров, элегантных мошенников, толковых специалистов-медвежатников, торговцев наркотиками и несколько очень опытных, профессиональных убийц — этим словом любят пользоваться в Америке, но поверьте, здесь сидели действительно профессионалы. Их нанимали местные богачи и удачливые авантюристы — свести с кем надо счеты. Тут были люди всех цветов кожи. От совершенно черных африканцев из Сенегала до чайного цвета креолов с Мартиники, от краснокожих, с иссиня-черными волосами индейцев до чисто белых людей. Я активно общался с ними, задавшись целью подобрать для побега храбрых и ловких помощников. У большинства взгляды совпадали с моими — они страшились долгого срока или уже получили его и жили в постоянной готовности к побегу.

По всей длине стены, окружавшей прямоугольный двор, тянулась дорожка для часовых, а по углам были установлены небольшие сторожевые башенки. Там днем и ночью дежурило четверо охранников, еще один — во дворе, у входа в собор. У этого оружия не было.

Кормежка была вполне приличной, к тому же многие заключенные приторговывали едой и напитками — кофе, разными соками — апельсиновым, ананасовым, папайевым и другими, доставляемыми с воли. Время от времени кто-нибудь из торговцев становился жертвой стремительного и всегда неожиданного нападения. Он и сообразить не успевал, что происходит, как на голову ему накидывали полотенце, крепко завязывали сзади, так, что он и пикнуть не мог, а у горла оказывался нож, готовый вонзиться при малейшей попытке к сопротивлению. Голос жертвы прервался бы прежде, чем он успел произнести слово «нож», И после торговец, как правило, не говорил никому о случившемся ни слова. Правда, иногда он закрывал свою лавочку или пытался все же выяснить, кто нападал. Если это удавалось, дело всегда кончалось дракой и всегда — поножовщиной.

Я был не одинок в своем стремлении к побегу. Мои друзья мечтали о том же. Но существовала разница. После нескольких дней довольно кислого настроения они вдруг объявляли, что корабль, который прибудет за нами, должен застать нас здесь. Это было равносильно признанию собственного поражения. Они уже обсуждали, что им светит за побег в Гвиане и как там с нами будут обращаться.

— Меня просто тошнит слушать всю эту муть, — сказал я. — Если хотите рассуждать о перспективах такого рода, делайте это без меня. Только евнух мирится с тем, что вы называете «нашей судьбой». Вы что, евнухи? Может, у кого-то из вас отрезали яйца? Если да, то так и скажите. Потому что, когда я думаю о побеге, я имею в виду, что бежим мы все вместе. У меня прямо мозги лопаются, чтобы сообразить, как все это лучше сделать. А бежать вшестером — это не шутка. И вот еще что — мне одному это куда проще. Если увижу, что время поджигает, возьму да и придушу колумбийского фараона. Тогда уж во Францию не отправят, раз убил ихнего фараона. Можно выиграть время. Так что одному — куда легче.

Знакомые колумбийцы разработали один план — в целом неплохой. Во время мессы в воскресенье утром собор всегда полон народа — приходят посетители и заключенные. Сначала все вместе слушают проповедь, затем остаются те заключенные, к которым пришли. Колумбийцы попросили меня специально сходить на службу в воскресенье, посмотреть, как все там происходит. План должен был осуществиться ровно через две недели. Они просили меня возглавить бунт. Но я отказался от этой чести: не слишком хорошо знал людей, которые должны принимать в нем участие.

Я сказал, что из шестерых французов отказались бежать двое. Все, что от них требуется, — это не ходить в воскресенье в собор. Мы же, четверо, отправимся на мессу. Собор был прямоугольной формы: в дальнем конце хоры, две двери, выходящие во дворы по обе стороны. Главный вход имел нечто вроде ниши, там были решетки, а за решетками сидело с десятков охранников. И наконец, за ними — ворота на улицу. Когда собор бывал переполнен, охранники оставляли решетчатую дверь незапертой. Вместе с остальными посетителями должны были прийти двое мужчин, которые передадут оружие. Само оружие пронесут женщины, спрятав его между ног, и уже в соборе передадут мужчинам. Два револьвера тридцать восьмого или сорок пятого калибра. Одна женщина передаст револьвер главарю бунта и тут же выйдет. В тот момент, когда мальчик из хора прозвонит в колокольчик второй раз, все мы кидаемся в атаку. Я должен был приставить нож к горлу начальника и сказать: «Дон Грегорио, распорядитесь пропустить нас, иначе с вами все кончено!» Еще один человек должен сделать то же самое со священником. Трое остальных собирались направить оружие в охрану, стоявшую у зарешеченной двери, с трех разных точек. Приказано было также застрелить первого же охранника, который откажется сложить оружие. Невооруженные должны выходить первыми. Священник и начальник послужат прикрытием для последних. Если все пройдет как задумано, ружья охрана сложит на полу. Часовых надо под угрозой смерти заставить войти в собор. А

потом выйдем мы и закроем за собой сперва зарешеченную дверь, а потом и деревянные ворота. Ниша для охраны окажется свободной. В пяти-десяти метрах от входа нас будет ждать грузовик. Он тронется с места, только когда в него сядет главарь. Он должен идти последним. Побывав на богослужении и посмотрев, как все там происходит, я согласился с этим планом.

Жозеф Дега не должен был навещать меня в воскресенье. Он знал, почему. Он должен был подготовить для нас машину, замаскированную под такси, так что грузовик нам не понадобится. И еще подыскать убежище на первое время. Всю неделю я был взвинчен до крайности.

Фернандо, человеку Дега, удалось пронести револьвер сорок пятого калибра — весьма грозное оружие. В четверг ко мне на свидание явилась одна из женщин Жозефа. Милейшая особа — она предупредила, что такси будет желтого цвета, перепутать невозможно.

— Хорошо, спасибо.

— Желаю удачи! — Она расцеловала меня в обе щеки и, казалось, была растрогана до глубины души.

— Входите, входите в храм, — сказал священник, — послушать слово Божье...

Клозио с трудом удавалось держать себя в руках. Глаза Матуретта сверкали. Третий участник нападения держался вплотную ко мне. Пробираясь на свое место, я сохранял абсолютное спокойствие. Дон Грегорио уже был там — сидел рядом с какой-то очень толстой женщиной. Я стал у стены, Клозио — справа от меня, двое других — слева. Одеты мы были так, чтобы не бросаться в глаза на улице. Нож наготове — раскрыт и спрятан в правом рукаве рубахи цвета хаки с застегнутой манжетой. Внутри он удерживался на упругой резиновой ленте. В момент выноса святых даров все опустили головы; мальчик должен был прозвонить в колокольчик один раз, затем три раза подряд. Второй звонок служил нам сигналом. Первый звонок, второй... Я метнулся к дону Грегорио, приставил нож к его длинной морщинистой шее и услышал, как священник взвизгнул: «Не убивайте, ради Бога!» А потом еще трое наших приказали охране сложить оружие. Все шло как по маслу. Я взял дону Грегорио за воротник и сказал:

— Ступайте за мной и не бойтесь! Я не причиню вам вреда.

К горлу священника тоже был приставлен нож. Фернандо крикнул: — Вперед, французы! На выход!

Окрыленный удачей, я уже подталкивал своих людей к воротам, как вдруг, одновременно грохнули два выстрела. Фернандо упал, то же произошло еще с одним из вооруженных людей. Я продвинулся вперед еще на метр, но тут стража опомнилась и преградила нам путь ружьями. К счастью, среди нас находилось несколько женщин, иначе бы они стреляли. Прогревели еще два выстрела из ружья, затем из револьвера. Наш третий вооруженный был убит, успев выстрелить лишь раз, да и то наугад, и ранив при этом девушку. Бледный как смерть дон Грегорио прошипел мне:

— Отдайте нож.

Я протянул ему нож. Сопротивляться не было смысла. Лишь неделю спустя я узнал, что операция провалилась из-за одного заключенного с другого двора, который наблюдал за мессой в окно, и как только началась заварушка, тут же дал знать охране на сторожевой башне. Они попрыгали во двор с шестиметровой высоты, окружили собор и через решетки в боковых дверях застрелили двоих наших, державших под прицелом внутреннюю охрану. Через

несколько секунд они застрелили и третьего. И вот шестнадцать человек, и среди них мы, четверо французов, оказались в карцере, в кандалах, на хлебе и воде, где и просидели десять дней. В ожидании парохода я ломал голову, что же еще такое придумать.

Как-то я начал наблюдать за стражей, разгуливающей по стене. Ночью через десять минут каждый из них по очереди выкрикивал: «Стража, слушай!» Таким образом их командир всегда мог проверить, не заснул ли кто из его подчиненных. Если кто-либо не отвечал, напарник продолжал окликать, пока не услышит отзыв.

Мне показалось, что я нашел изъян в этой столь совершенной системе. С каждой из башенок, что стояли по углам, свисало на бечевке по жестянке. Когда караульному хотелось кофе, он призывал повара и тот наливал ему в жестянку по две-три чашки. Оставалось только втянуть ее наверх. Будка в правом дальнем углу имела нечто вроде козырька. Именно в этом месте я смог бы перебраться через стену на улицу. Одна проблема — как нейтрализовать часового? Я видел: вот он поднялся и сделал несколько шагов по стене. Похоже, его донимала жара. Он чуть ли не спал на ходу! Господи! Дошло! Его надо усыпить. Просто нужна приманка.

За два дня я изготовил семиметровую веревку из прочных льняных рубашек. Крючок сам попался под руку. Это был металлический упор, на котором крепился навес, защищающий камеру от дождя. Жозеф Дега принес мне пузырек какого-то очень сильного снотворного. Нормальная доза составляла десять капель да ночь. А в пузырьке было шесть столовых ложек жидкости. Я приучил охранника, что именно я постоянно подаю ему кофе. Он спускал свою жестянку, куда я наливал сразу чашки три.

Поскольку все колумбийцы любят спиртное, а капли по вкусу напоминали анис, я попросил раздобыть мне бутылку анисовой.

— Хотите кофе по-французски? — спросил я часового.

— А чем отличается?

— Он с анисовой.

— Что ж, попробуем.

Еще несколько сменных часовых попробовали кофе с анисовой и теперь всякий раз, когда я предлагал им чашку, кричали:

— Кофе по-французски! — Сделаем!

И я щедро подливал анисовой.

Настал решающий момент. Суббота, полдень. Стояла чудовищная жара. Друзья мои твердили, что Двоим перебраться через стену невозможно. Но колумбиец с арабским именем Али вызвался идти со мной. Я согласился. По моим расчетам, часовой должен был вырубиться через пять минут. Я окликнул его:

— Ну, как ты там, нормально?

— Ага.

— Кофе будешь?

— Да. Лучше по-французски.

— Минутку, сейчас принесу. — Я направился к кофейне. — Два кофе. — В банку уже был предварительно вылит целый пузырек снотворного. Это вырубит его надолго. Я подошел к стене. Он видел, как я подливаю в банку анисовой. — Покрепче?

— Да.

Я добавил еще, и он тут же втянул жестянку наверх.

Прошло пять минут, десять, пятнадцать, двадцать... А он все не спал! Хуже того, даже не присел, а начал расхаживать взад-вперед с ружьем наперевес. Но он же столько выпил! А в час его сменят.

Я следил за каждым его движением. Никаких признаков усыпления. Ага, вот он споткнулся. Сел перед вышкой, поставил ружье между ног. Голова склонилась к плечу. Мои друзья и два-три колумбийца, посвященные в тайну, внимательно наблюдали за ним вместе со мной.

— Валяй! — скомандовал я колумбийцу. — Веревку! Он уже приготовился забросить ее, как вдруг часовой встал, уронил ружье и стал притопывать, словно отсчитывал время. Колумбиец еле успел остановиться. До смены караула оставалось восемнадцать минут. Про себя я молил Бога о помощи: «Молю тебя, о Боже, помоги мне еще раз! Всего раз! Не оставь меня!» Но напрасно.

— Невероятно! — прошептал Клозио, подойдя поближе. — Этот болван все еще не спит!

Часовой потянулся за ружьем и в ту же секунду растянулся на стене во весь рост, словно его оглушили сзади. Колумбиец забросил крючок, но он сорвался. Забросил второй раз. Зацепил! Он подергал веревку, пробуя, прочно ли держится крючок. Я ухватился за нее и уже начал было карабкаться, как вдруг Клозио крикнул:

— Стой! Смена!

Я еле успел отойти. Повинуясь защитному инстинкту и чувству солидарности, развитому среди заключенных, с десятков колумбийцев быстро окружили меня, и я смешался с толпой. Мы двинулись вдоль стены, оставив болтавшуюся на ней веревку. Новый часовой тут же заметил крючок и своего напарника, неподвижно лежащего на ружье. Он подбежал к будке и дал сигнал тревоги, убежденный, что случился побег.

За спящим часовым пришли с носилками. Набежала целая туча тюремщиков. Был среди них и дон Грегорио. Через несколько минут двор был окружен охраной. Общая тревога. Началась перекличка, во время которой каждый, откликнувшийся на свое имя, отправлялся в камеру. И — о удивление! Все на месте! Все заперты и сидят по своим клеткам.

Вторая проверка — теперь уже по камерам. Нет, никто не исчез. В три нас снова вывели во двор. Мы слышали, что часовой все еще храпит, и сколько его ни пытались разбудить — безрезультатно. Мой колумбийский напарник был в отчаянии. Он так верил, что все получится. В особенную ярость отныне его приводило все американское, поскольку снотворное было изготовлено в Штатах.

— Что же теперь делать?

— Как что? Пытаться снова. — Это все, что я мог ему сказать. — Надо искать другой способ.

Прошло, несколько дней, и Жозеф Дега предложил устроить побег извне. Я предупредил его, что ночью бежать невозможно — стены ярко освещены. Поэтому надо искать способ вырубить ток. И он нашел электрика, задача которого состояла в том, чтобы отключить трансформатор, находящийся вне тюрьмы. Мне же предстояло лишь подкупить охранника со стороны и еще одного, во дворе, у входа в собор. Сложная задача. Ведь прежде всего надо было уговорить дона Грегорио отдать мне десять тысяч песо. Предлог нашелся — я якобы хочу переслать эти деньги моей семьей через Жозефа. И конечно же, надо заставить его «принять» две тысячи на подарок жене. Затем следовало нащупать ход к человеку, назначавшему часовых и время их дежурства, его тоже надо было подкупить. Ему полагалось три тысячи, но в переговорах с другими охранниками он участия принимать не должен. Договариваться с ними предстояло мне самому. После чего я должен буду сообщить ему их имена, а он — поставить их на дежурство в нужное время.

Приготовления к этому побегу заняли больше месяца. Наконец все было устроено. Поскольку дворового часового опасаться было нечего, мы собирались перепилить решетки в камерах. У меня было три пилки. Я поделился планами с колумбийцем — моим напарником по предыдущей попытке. Он намеревался перерезать свою решетку в несколько приемов. Колумбиец знал, что охранник получает деньги за побег только двоих французов, и обещал стрелять, если кто-то третий приблизится к стене. Тем не менее он тоже вознамерился бежать, уверяя, что если дело будет происходить в темноте и побежим мы все вместе, охранник вряд ли разберет, сколько нас. Клозио и Матуретт разыграли, кому из них бежать со мной. Выиграл Клозио. Настали безлунные ночи. Сержант и два охранника получили каждый по половине своей доли. Банкноты были разрезаны уже заранее. Вторые половинки ждали их в доме, где проживала приятельница Дега.

Свет вырубился. Мы взялись за прутья. Они поддались минут через десять. Из камеры мы вышли в темных брюках и рубашках. Тут же к нам присоединился колумбиец. Он вообще был голый, если не считать черных плавок. Добравшись до стены, я по прутьям вскарабкался на ворота, влез на козырек и забросил на стену крючок с трехметровой веревкой. Через три минуты я оказался уже наверху, причем без малейшего шума. Растянувшись на животе, я ждал Клозио. Ночь была темная — хоть глаз выколи. Внезапно я увидел, вернее, почувствовал, что снизу появилась рука. Я ухватил ее и стал тянуть. И вдруг раздался страшный треск — это Клозио, пролезая между козырьком и стеной, зацепился брюками за какую-то железяку. Я затих как мышка. Шум прекратился, и я снова попытался помочь Клозио, надеясь, что он высвободился, и наконец, просто на руках втянул его на стену. Раздались выстрелы — но не нашего охранника, конечно. Сбитые с толку, мы в спешке соскочили на улицу не в том месте. В результате Клозио сломал ту же самую ногу. Я тоже не мог подняться — обе ноги оказались сломаны в ступнях. Что касается колумбийца, то он выбил себе коленную чашечку.

Стрельба выгнала охрану на улицу. Нас окружили часовые, направив на нас ружья, а я сидел в круге света от мощного ручного фонаря и плакал от бессильной ярости. К тому же охранники никак не верили, что я не могу подняться. И так, подгоняемый ударами прикладов, я на коленях вполз в тюрьму. Клозио прыгал на одной ноге, так же передвигался и колумбиец. От удара прикладом — из раны на голове у меня сочилась кровь.

Стрельба разбудила дона Грегорио, к счастью для нас, спавшего в эту ночь у себя в кабинете, на дежурстве. Если бы не он, то мерзавцы наверняка прикончили бы нас прикладами. Причем колотил злее всех тот самый охранник, которого я подкупил. Дон Грегорио положил конец избиению и даже пригрозил отдать под суд того, кто нанес нам серьезные увечья. Эти магические слова словно лишили негодяев силы.

На следующий день ногу Клозио загипсовали в больнице, костоправ вправил колумбийцу

колени и перевязал. За ночь лодыжки мои распухли и стали размером с голову, к тому же они были черно-красного цвета от кровоизлияния, и врач по три раза на дню прикладывал к ним пиявок. Насосавшись крови, эти твари отпадали сами, и их помещали в уксус, который, оказывается, производил на них животворное воздействие. На голову было наложено шесть швов. Меня пришел навестить Жозеф вместе со своей женой Ани. Оказывается, сержант и три охранника являлись каждый в отдельности за своей долей из половинок банкнот. Ани спросила, что ей делать. Я посоветовал заплатить, так как они сдержали слово, и провал побега — не их вина.

Недели через две опухоль на ногах спала наполовину и меня направили на рентген. Сломанными оказались две пяточные кости. Я был обречен на плоскостопие до конца жизни.

В газете за 12 октября я прочитал, что пароход придет за нами в конце месяца. Назывался он «Мана». Итак, у нас оставалось всего восемнадцать дней, и надо было разыграть последнюю карту. Но какую тут, к дьяволу, карту разыграешь со сломанными ногами?

Жозеф был в отчаянии. Вся французская колония скорбела о моей судьбе.

Наутро 13 октября, снедаемый страхом, я сидел и смотрел на пузырек с кристаллами пикриновой кислоты, после принятия которой появляются все симптомы желтухи. Если я приму ее и меня положат в больницу, выбраться оттуда будет куда легче с помощью Жозефа. На следующий день, четырнадцатого, я стал желтее, чем лимон. Дон Грегорио явился во двор взглянуть на меня. Я, лежа в тени и выставив ноги на солнышко, сразу взял быка за рога:

— Отправьте меня в больницу и сразу получите девять тысяч!

— Француз, я постараюсь. И не из-за десяти тысяч, нет! Мне больно видеть, как ты отчаянно борешься за свою свободу и все напрасно. Но вряд ли они согласятся держать тебя там после этой статьи в газете. Вот чего я опасюсь...

Через час врач направил меня в больницу. Из «скорой помощи» меня вынесли на носилках и после тщательного обследования и анализа мочи ровно через два часа снова отослали в тюрьму, даже не сняв с этих, самых носилок.

19, четверг. Меня пришла навестить жена Жозефа Ани. Она принесла сигареты, пирожные, конфеты, но что гораздо важнее — подсказала мне идею.

— Папийон, дорогой! Ты сделал все возможное и невозможное, чтобы выйти на свободу. Но судьба обошлась с тобой так жестоко! Единственное, что тебе остается, — это взорвать эту тюрьму к чертовой матери!

— А почему бы и нет?! Почему бы действительно не взорвать эту старую тюрьму? Вот будет радость колумбийцам! Ведь им придется строить новую, где, надеюсь, будут соблюдены все санитарные нормы.

На прощание я сказал Ани:

— Пусть Жозеф зайдет ко мне в воскресенье. В воскресенье, 22-го, Жозеф был у меня.

— Послушай, переверни все вверх дном, но вынь да положи мне динамитную шашку, детонатор и бикфордов шнур. К четвергу! А я к этому времени раздобуду дрель и сверла.

— Зачем это все?

— Собираюсь подорвать тюремную стену средь бела дня. Помнишь, ты говорил мне о поддельном такси за пять тысяч песо? Так вот, пусть оно ждет меня каждый день с восьми утра до шести вечера. Будешь выдавать ему по пять сотен в день, если ничего не произойдет, а если все получится, дашь сразу пять тысяч. Через пролом в стене меня пронесет на спине колумбиец, он сильный. Дотащит до такси, а там его дело.

— Можешь на меня рассчитывать, — кивнул Жозеф.

Потом я отозвал в укромный уголок все того же колумбийца, рассказал ему о своем плане и спросил, хватит ли у него сил пронести меня на спине метров двадцать — тридцать до такси. Он согласился тотчас же. Так что с этим все было в порядке. Затем Матуретт сходил за сержантом, который получил в свое время три тысячи и так зверски отдубасил меня во время последнего побега.

— Сержант Лопес, надо бы поговорить.

— Чего еще?

— Я дам две тысячи, а ты раздобудешь мне мощную трехскоростную дрель и шесть сверл разного диаметра.

— Денег нету.

— Вот тебе пятьсот.

— Получите завтра, во вторник, при смене караула в час дня. И смотрите, чтоб две тысячи были готовы!

Во вторник ровно в час я получил все заказанное в жестяной банке.

В четверг, 26-го, Жозеф не пришел. Время свидания истекало, как вдруг меня вызвали. Это пришел посыльный от Жозефа, какой-то старый морщинистый француз.

— То, о чем вы просили, в батоне хлеба.

— Вот две тысячи для таксиста, по пятьсот за каждый день.

— Водитель — старик перуанец. Но парень боевой, как петух. О нем не беспокойтесь. Чао!

— Чао!

Чтобы батон не привлекал внимания, они уложили вместе с ним в большой бумажный пакет сигареты и спички, копченые сосиски, салями, масло. Когда меня обыскивали, я подарил охраннику пачку сигарет, спички и две маленькие сосиски. Он сказал:

— Эй, хлеба-то дай кусочек! Только этого не хватало!

— Нет уж. Хлеб тебе придется купить. Вот тебе пять песо. А то на нас всех не хватит.

Господи! Чуть не пропал. Ну и дурак же я, что предложил ему сосиски!

— Фейерверк назначен на завтра! Вот, здесь все необходимое, Пабло. Дыру надо сверлить под

маленькой башенкой. Она нависает над стеной, стража тебя не увидит.

— Но услышит...

— Я и об этом подумал. Завтра в десять утра эта сторона двора будет в тени. И один работяга будет выправлять кусок кровельного железа, плющить его молотком во дворе, в нескольких метрах от нас. А если их будет двое — еще лучше. Найди мне двоих парней для этой работы.

Он нашел.

— Двое моих ребят будут колотить по железкам без остановки. Стража дрели не услышит. Но ты должен быть там, под навесом, и болтать с другими французами. Это отвлечет внимание охранников от меня.

Через час отверстие было готово. Благодаря грохоту молотков и маслу, которым помощник поливал дрель, охрана ничего не заметила. В отверстие запихнули динамитную шашку вместе с детонатором и бикфордовым шнуром сантиметров в двадцать. Потом дыру замазали глиной. Мы отошли. Если все сработает как надо, то в стене выбьет приличную брешь. И мы с Пабло, вернее, я у него на спине, проскочим в эту брешь и побежим к машине. Другие пусть сами о себе заботятся. Наверняка Клозио и Матуретт поспеют к такси первыми, хотя пойдут в пролом после нас.

Перед тем как запалить шнур, Пабло сказал группе.

— Эй, если хотите бежать, то в стене сейчас будет дырка!

— Ага, нашел дураков! Полиция тут и подстрелит в задницу тех, кто будет в хвосте!

Подожгли шнур. Жуткий взрыв потряс всю округу. Сторожевая башенка обвалилась вместе с часовым. По всей стене разбежались трещины, такие широкие, что было видно улицу. Но недостаточно широкие, чтоб хоть сквозь одну мог пролезть человек. Ничего не получилось, никакого пролома — только тут я признал свое полное поражение. Видно, уж такая мне выпала судьба — возвратиться в Гвиану.

НАЗАД В ГВИАНУ

Три дня спустя, 30 октября, в одиннадцать утра за нами явились двенадцать французских охранников в белых мундирах. Перед передачей каждого из нас надлежало проверить и идентифицировать. Они захватили с собой все измерения, описания внешности, отпечатки пальцев, фотографии и прочее. После идентификации французский консул подписал документ для местного судьи — именно он должен был передать нас Франции. Все вокруг удивлялись, как дружелюбно обращались с нами охранники. Ни грубых слов, ни резкостей. Майор Бурай, возглавлявший эскорт, лично осведомился о моем здоровье, взглянул на мои ноги и сказал, что на корабле обо мне позаботятся, там есть хороший врач.

Нас отвели вниз, в порт, и началось малоприятное путешествие на старой посудине, в удушающей жаре. Дни и ночи напролет я был прикован за ногу к напарнику, что напомнило мне о днях тулонского заключения. За время пути произошел лишь один эпизод, заслуживающий упоминания. Мы должны были заправиться углем в Тринидаде, и когда оказались в гавани, английский офицер настоял, чтобы с нас сняли наручники — видимо, здесь запрещалось держать людей на борту корабля закованными в кандалы. Я воспользовался этой оказией, чтобы вlepить пощечину английскому инспектору в надежде, что меня арестуют и снимут с корабля. Но офицер сказал:

— Я не стану арестовывать вас и снимать на берег за весьма серьезное преступление, которое вы сейчас совершили. Вы наказаны гораздо сильнее уже тем, что вас возвращают в Гвиану.

И вот наконец мутные воды Марони. Мы находились на палубе. Тропическое солнце уже начинало палить землю, было девять утра. Мы медленно продвигались вверх по реке, где когда-то я несся вниз по течению, подгоняемый отливом. Охранники явно радовались возвращению. Во время плавания море было беспокойно, и они были счастливы, что путешествие наконец окончено.

16 НОЯБРЯ 1934 ГОДА

На пристани — невероятное скопление народа. Чувствовалось, что люди сгорают от любопытства взглянуть на тех, кто не побоялся предпринять столь долгий и опасный путь. Я слышал обрывки разговоров

— Вот этот, раненый, Папийон. А вот Клозио. А там, позади него, Матуретт.

И так далее.

В тюремном дворе возле бараков выстроились группами шестьсот заключенных. Около каждой группы — охранник. Первым я узнал Франсиса Серра. Он плакал и не скрывал слез. Стоял он на подоконнике больницы и смотрел на меня. Чувствовалось, сострадание его искренне. В центре двора мы остановились. Комендант взял мегафон:

— Этапники! Теперь вы поняли, что бежать бессмысленно! В любой стране вас арестуют и передадут французским властям. Никому вы не нужны! А что ждет этих пятерых? Суровый приговор — тюрьма-одиночка на острове Сен-Жозеф, а затем, на весь оставшийся срок — пожизненные каторжные работы. Вот и весь выигрыш от побега. Надеюсь, вы поняли, что к чему? Стража, отвести их в карцер!

Несколько минут спустя мы оказались в особой камере, в отделении для особо опасных. Я сразу же попросил заняться моими ногами — ступни распухли и были сплошь в синяках. Клозио сказал, что у него под гипсом жжет ногу. Мы снова пытались... А вдруг отправят в больницу? Тут вместе с охранником появился Серра.

— Вот вам и санитар! — сказал охранник.

— Ну как ты, Папи?

— Болею. Надо бы в больницу.

— Постараюсь устроить. Но после того, что вы здесь натворили, это будет почти невозможно. То же относится и к Клозио. — Он помассировал мне ноги и смазал чем-то, затем проверил гипс у Клозио и ушел.

— Нет, ничего не вышло, — сказал он мне назавтра, когда пришел делать массаж. — Может, хочешь попасть в большую камеру? Наручники там не снимают, но ты по крайней мере будешь не один. А быть одному, особенно в таком положении, паршиво.

— Верно.

Три дня спустя меня перенесли в большую камеру. Там сидело человек сорок, все они ждали военного трибунала. Одни обвинялись в краже, другие в грабеже, третьи — в поджоге,

убийстве, попытке к побегу и даже канибализме Мы спали на огромной деревянной платформе по двадцать человек в ряд В шесть вечера всех приковывали к металлическому брусу длиной метров пятнадцать за левую ногу при помощи железного кольца, а в шесть утра кольца снимали, и весь день мы могли сидеть, играть в шашки, разговаривать и бродить по проходу, который называли аллеей Так что скучать не приходилось. Ко мне подходили и поодиночке, и группами послушать историю нашего побега. И единогласно сходились на том, что надо быть психом, чтобы вот так, по своей доброй воле, бросить племя гуахира и таких замечательных жен, как Лали и Зарема.

— Ты только скажи, приятель, ну чего тебе там не хватало? — спросил один парижанин, выслушав мою историю. — Трамваев? Лифтов? Кино? Электричества? А может, тока высокого напряжения, который подводят к электрическому стулу? Может, ты хотел искупаться в фонтане на Пляс Пигаль? Ты имел двух баб, одна лучше другой! Жил себе в чем мать родила на берегу океана среди таких же голых людей, жрать и пить — пожалуйста, охотиться тоже можно. Море, солнце, теплый песок, даже жемчужины в раковинах — все твое, только заикнись. И ты не придумал ничего лучшего, как бросить все это, — ради чего?! Чтобы перебежать улицу и смотреть, как бы тебя не задавила машина, платить ренту, платить портному, за электричество, телефон... И работать как Карла на какого-нибудь босса, чтоб не сдохнуть с голоду? Нет, парень, я тебя не понимаю! Ты ж был в раю! А вернулся в ад, причем добровольно. Ну, ладно, как бы там ни было, а я тебе рад, поскольку ты наверняка попробуешь свалить еще раз. Можешь на нас рассчитывать, мы тебе поможем. Верно, ребята? Все согласны?

Все были согласны, и я их поблагодарил.

Тут были удивительно неординарные характеры, лихие парни, сразу видно. Поскольку наша жизнь протекала на глазах друг у друга, то скрыть, что имеешь патрон, было практически невозможно. А ночью, когда все прикованы к одной железяке, можно запросто убить кого угодно. Для этого всего лишь надо подкупить надзирателя-араба, чтобы он не замыкал на ключ твое кольцо, а ночью в темноте встать, спокойненько сделать свое черное дело, снова улечься и запереть кольцо. Араб становился сообщником и потому всегда держал пасть на замке. Вот уже три недели, как мы вернулись. Я начал понемногу ходить, ухватившись за железяку в аллее, которая разделяла спящих. На прошлой неделе, на допросе, встретился с тремя больничными охранниками, которых мы оглушили и разоружили во время побега. Они страшно злорадствовали, предвкушая тот прекрасный день, когда снова окажутся на дежурстве, и мы попадем в их лапы. Ведь за наш побег их тоже здорово наказали — лишили полугодового отпуска в Европу и добавили еще год к сроку службы. Поэтому встреча наша оказалась далеко не дружественной. Пришлось на допросе рассказать об их угрозах, чтобы они были зафиксированы письменно. Араб оказался более великодушным, он просто пересказал все, как было, без преувеличений, не упомянув лишь о роли Матуретта. Кстати, следователь давил на нас со страшной силой, пытаясь выяснить, кто раздобыл нам лодку. Мы на этот счет бесконечно вешали ему лапшу на уши. Ну, вроде того, что сами изготовили плот и тому подобное.

Он предупредил, что поскольку имело место нападение на охрану, он сделает все от него зависящее, чтобы мне и Клозио вклеили по пять лет, а Матуретту — три.

— А тебе, Папийон, — добавил он, — я уж подрежу крылышки, можешь не сомневаться! В следующий раз не улетишь!

Похоже, он был прав, к моему огорчению.

До суда оставалось два месяца. Я страшно терзался из-за того, что не догадался сунуть отравленные стрелы в патрон. Будь они сейчас у меня, можно было бы предпринять еще одну, решающую попытку.

С каждым днем я ходил все лучше и лучше. Каждый день меня навещал Франсис Серра, делал массаж и смазывал ступни касторовым маслом. Хорошо все же иметь надежного товарища!

АРАБ, СЪЕДЕННЫЙ МУРАВЬЯМИ

В этой большой камере было два человека, которые никогда ни с кем не разговаривали. Они держались рядом, переговаривались только друг с другом, да и то шепотом. Как-то раз я угостил одного из них американской сигаретой из пачки, принесенной Серра. Он поблагодарил и после паузы сказал:

— Что, Франсис Серра ваш друг?

— Да. Лучший друг из всех.

— Может, если дела станут совсем плохи, можно будет передать вам через него одну вещь?

— Какую вещь?

— Ну, мы, я и мой друг, решили, что, если нас приговорят к гильотине, отдать вам наш патрон. Может, вам пригодится для побега. Лучше отдать Серра, а он передаст вам.

— Вы уверены, что получите смертный приговор?

— Да, наверняка. Шанс отвертеться равен почти нулю.

— Но если вас наверняка приговорят к казни, почему вы в общей камере?

— Видать, боятся, что мы покончим с собой в одиночке.

— Возможно. Что ж такое вы натворили?

— Отдали араба на съедение муравьям. Это я говорю только потому, что у них, к несчастью, есть неопровержимые доказательства. Нас застукали.

— А где это произошло?

— На 42-м километре, в «Лагере смерти».

Тут к нам подошел его товарищ, оказавшийся родом из Тулузы. Я и его угостил сигаретой. Он сел рядом.

— Мы ни с кем по этому поводу не советовались, — сказал тулузец. — Хотелось бы знать ваше мнение.

— Но я же ничего о вас не знаю. Откуда мне знать, правильно ли вы поступили, отдав живого человека, пусть даже араба, на съедение муравьям? Я должен знать все, от А до Я.

— Ладно, расскажу, — ответил тулузец. — 42-й километр — это лесоповал. В сорока двух километрах от Сен-Лорана, в джунглях. Заключение должен вырабатывать в день один кубометр древесины. Вечером каждый должен стоять возле аккуратно уложенных в штабель

поленьев. Приходят охранники, среди них есть и арабы, и проверяют, кто сколько сделал. Если работа принята, каждый кубометр метят красной, зеленой или желтой краской, в зависимости от дня недели. Короче, чтоб управиться, мы работали вместе. Но часто кубометра на человека не выходило. И тогда вечером нас сажали в карцер и не давали есть, а назавтра ты снова отправлялся в джунгли на пустой желудок. И надо было выполнить дневную норму да еще недостающее за вчерашний день. От такой работы и подохнуть недолго. Обращались с нами хуже, чем с собаками.

И чем дальше, тем слабей мы становились и меньше вырабатывали. К тому же к нам приставили отдельного охранника, араба. Он приходил на вырубку, садился на бревно, свесив свой бычий член между ног, и всю дорогу нас оскорблял. Жрал и чавкал, нарочно облизываясь при этом, а ведь мы голодные... Короче, ад да и только. У нас было два патрона с четырьмя тысячами на каждого, приберегли на случай побега. И вот как-то мы решили подкупить этого араба. Но только хуже сделали. К счастью, он поверил, что у нас лишь один патрон. Тут была вот такая система: за пятьдесят франков он разрешил нам красть поленья из чужих штабелей, уже принятых накануне. Мы отбирали поленья, не меченные краской, и таким образом справлялись с нормой. Так ему удалось выкачать из нас две тысячи. Но тут, раз мы начали справляться с нормой, араба от нас убрали. Мы, были уверены — не донесет, ведь он выцганил у нас столько денег, и пошли в лес искать принятые поленицы, ну, чтоб проделать тот же трюк. А он, оказывается, следил за нами и, прячась за деревьями, видел, как мы крадем поленья. И как выскочит!

— Ага! Воруете и не платите! А ну, гоните полтинник, не то донесу!

Но мы думали, он только пугает, и не дали. На следующий день та же история:

— Гоните деньги, не то в карцере сгною!

Короче, он явился с охраной. Это было ужасно, Папийон! Они нас раздели, отвели к поленицам, из которых мы таскали, а потом заставили разобрать свои и гоняли так без перерыва два дня. Мы работали без еды и питья. И когда валились с ног, араб хлестал нас бичом или бил ногами под ребра. Наконец, мы уже просто в лежку лежали на земле, и ни битье, ни крики не могли заставить нас подняться. И знаете, что он тогда сделал? Принес осиное гнездо, в таких живут красные осы. И вытряс его на нас. Боль была такая, что мы не только вскочили, но и забегали по лесу как безумные. Словами не передать, что это было! Имеешь представление, как жалит красная оса? А тут их было штук пятьдесят — шестьдесят, если не больше.

Потом десять дней мы сидели в карцере на хлебе и воде, нас оставили в покое. Мы втирали в ужаленные места мочу, три дня они страшно горели и чесались — просто сил никаких не было! Я потерял левый глаз, куда меня ужалила, наверное, целая дюжина ос. Когда нас снова отправили на лесоповал, другие заключенные, жалея нас, решили помочь — стали делиться с нами поленьями. И мы начали вырабатывать норму. Мы много ели, понемногу поправлялись, и тут нам в голову пришла идея отомстить арабу с помощью огненных мух. Просто как-то в лесу мы увидели их гнездо, огромное. Эти твари похожи на муравьев, только с крыльями, настоящие людоеды, способны сожрать целого оленя! А араб так и шнырял вокруг, проверял работу. И вот однажды мы огрели его топором по голове и потащили к тому гнезду. Там раздели, привязали к пригнутому к земле дереву толстыми веревками, какими увязывают поленицы. Потом нанесли ему несколько ран топором, набили рот травой, чтоб не орал, и стали ждать. Правда, мухи на него сразу не полезли, пришлось поворошить гнездо палкой. Ну, в общем, много времени не понадобилось... Через полчаса тысячи и тысячи этих тварей уже делали свое дело. Ты когда-нибудь видел мух-людоедов, Папийон? Так вот, эти были крошечные и красные как

кровь. Они отрывают от тела микроскопические кусочки мяса и тащат в гнездо. Да, мы здорово пострадали от этих ос, но только представь, через какие муки прошел он, когда его съедали заживо тысячи и тысячи этих насекомых! Он умирал двое суток и еще полдня. Через сутки они выели ему глаза... Признаю, мы отомстили жестоко. Но как он обошелся с нами! Это чудо, что мы вообще выжили!.. Араба, ясное дело, везде искали. Ну и охрана сообразила, что без нас тут не обошлось. Неподалеку в чаще мы вырыли яму — захоронить что от него осталось. Рыли несколько дней, понемногу. А его все искали. И вот однажды один охранник увидел, как мы копаем яму. И нам настал конец.

Утром, придя на место, мы увидели араба, он все еще был покрыт мухами, хотя превратился почти в скелет. И потащили его к яме (а мухи так и кусались, аж до крови)! Тут и явились трое арабов и еще два охранника. Они сидели в засаде, дожидаясь, когда мы начнем его хоронить.

Ну вот, собственно, и все. На суде мы твердили, что сначала убили его, а уж потом бросили мухам. Но медэкспертиза не обнаружила смертельной раны — сказали, что его просто съели заживо. Так что надежды у нас нет. Мы выбираем тебя своим наследником.

— Будем надеяться, что я так и не стану им, искренне вам говорю.

Мы закурили, и тут я прочитал в их глазах: вопрос: «Ну и что ты на все это скажешь?»

— Вот что, братья, я вижу, вы хотите знать, что я думаю о вашем деле, просто, по-человечески. Один последний вопрос, который на мое мнение не повлияет: что думают об этом люди здесь, в камере, и почему вы с ними не разговариваете?

— Большинство думает: правильно сделали, что убили, но вот мухам отдавать не надо было. А говорить мы ни с кем не хотим, потому что однажды был шанс устроить бунт и побег, но они нас не поддержали.

— Ладно, ребята, я вам вот что скажу: вы правильно сделали, что отплатили ему за ваши мучения. Этих ос, или как их там, прощать было нельзя. И если вас все-таки приговорят к гильотине, то в последнюю минуту думайте вот о чем, думайте из последних сил: «Мне отрубают голову, но с того момента, как меня привязали к этой штуке, и до падения ножа пройдет тридцать секунд. А его агония длилась шестьдесят часов. Так что, выходит, победа за мной!»

А что касается других ребят в камере, то не знаю, правы вы или нет. Вы могли считать, что именно этот день подходит для массового побега и бунта, другие — иначе. Кроме того, в такой заварухе, как правило, кого-то убивают. Лично я считаю, что лишь четверым здесь грозит казнь — вам двоим и братьям Гравиль. Так что, друзья, все относительно.

Бедняги остались страшно довольны нашей беседой и вновь вернулись к своей замкнутой жизни.

ПОБЕГ КАННИБАЛОВ

«Где моя деревянная нога? Они ее сожрали! Порцию студня из деревянной ноги, будьте любезны!» Или голос, имитирующий женский, нежный и просительный: «Пожалуйста, порцию хорошо пропеченного мужчины, шеф, только без перца, если можно!»

Ночью в темноте и тишине часто раздавались подобные крики. Мы с Клозио не могли понять, кому они адресованы.

Сегодня я получил ключ к разгадке этой тайны. И дал мне его один из главных участников этого представления, Мариус де ля Сет, специалист по взлому сейфов. Когда он услышал, что я знаю его отца, Титина, то решился заговорить со мной. Я рассказал ему о своем побеге, а потом спросил: — Ну а как у тебя все складывалось?

— О, у меня... В такую вляпался историю. Светит пять лет за побег. Я ведь участвовал, как здесь говорят, в побеге каннибалов. Слыхал, наверное: «Где моя деревянная нога, одну порцию студня» — и прочее? Так вот, это они дразнят братьев Гравили. Нас было шестеро. Бежали с 42-го километра. В побеге участвовали Деде и Жан Гравили, братья тридцати и тридцати пяти лет из Лиона, один неаполитанец из Марсея и я. И еще с нами был один тип на деревянной ноге из Анжера, а с ним паренек лет двадцати трех, вроде как его жена. Мы вышли по Марони к морю, но не справились с волнами, и нас прибило к берегам Голландской Гвианы.

Во время кораблекрушения мы лишились всего — еды, припасов. И снова оказались в джунглях, хорошо, хоть одежда на нас уцелела. Да, забыл сказать, там берега как такового нет, море заходит прямо в джунгли, продраться через которые почти невозможно.

Мы шли весь день и наконец добрались до более сухого места. Там разделились на три группы: Гравили, неаполитанец Джузеппе и я, и одноногий со своей «приятельницей». И направились в разные стороны. Короче, через двенадцать дней Гравили и мы с Джузеппе встретились почти на том же самом месте, откуда ушли. Вокруг простирались болота, дороги через них найти не удалось. Мы страшно отощали — за тринадцать дней ни крошки еды, если не считать корешков каких-то растений. Просто с голоду подыхали, дошли до ручки. Было решено, что самые крепкие, Джузеппе и я, будут снова пробиваться к морю. Там мы должны как можно выше забраться на дерево и привязать к нему рубашку, чтобы нас заметили, а после сдать береговой охране с голландской стороны. Передохнув немного, братья Гравили должны были попробовать разыскать остальных. Перед тем как разойтись, мы договорились, что каждый будет отмечать свой путь сломанными ветками. Однако через несколько часов Гравили повстречали лишь одноногого, без спутника.

— А где парнишка?

— Оставил там, сзади. Идти больше не может.

— Ну и сука же ты! Разве можно оставлять товарища!

— Сам виноват. Все тянул меня обратно, откуда пришли.

В этот момент Деде заметил на единственной его ноге ботинок парнишки.

— И ты бросил его одного, босого, в такой чащобе, чтобы забрать его ботинок? Поздравляю! К тому же и выглядишь ты вовсе неплохо... Не как мы, доходяги. Сразу видно, раздобыл пожрать.

— Ага. Нашел большую обезьяну, она ранена была.

— Повезло тебе. — С этими словами Деде встал, сжимая в ладони нож. Он успел заметить, что рюкзак одноногого чем-то плотно набит, и сообразил, что произошло. — А ну, открой мешок! Что у тебя там?

Тот развязал рюкзак, и мы увидели мясо.

— Что это?

— Кусок той обезьяны.

— Врешь, сука! Ты убил паренька, чтобы его сожрать! — Да нет, Деде, нет, клянусь! Он был так измучен, что умер сам. И я отъел от него всего один кусочек... Вы уж меня простите...

Не успел он договорить, как в живот ему вонзился нож. Потом они обыскали его шмотки и нашли кожаную сумочку со спичками и огнивом. И разозлились еще больше, получалось, что одноногий не поделился спичками перед уходом, как все остальные. Короче, злые и голодные, они развели костер и стали жарить этого типа.

Джузеппе поспел к разгару трапезы. Его тоже пригласили отведать мяса, но он отказался. На берегу он наелся крабов и сырой рыбы. Поэтому он просто сидел и смотрел, как Гравили жарят кусок мяса на углях, приспособив деревянную ногу вместо вертела. И в этот день, и на следующий он сидел и смотрел, как Гравили поедают человека, и замечал даже, какие куски: бедро, половинка задницы.

— А я, — продолжал Мариус, — я в это время был у моря. Наконец за мной пришел Джузеппе. Мы наловили полную шляпу крабов и мелкой рыбешки, пришли и стали жарить на костре, разведенном Гравилями, и видели на углях куски человеческого мяса.

Три дня спустя нас арестовала береговая охрана и передала тюремным властям в Сен-Лоране. Джузеппе не мог молчать, и вскоре все в камере знали о происшедшем, даже охрана знала. Вот... Эти Гравили — мерзкие типы, их все здесь ненавидят, поэтому и дразнят по ночам.

Нас обвинили в побеге, отягощенном каннибализмом. Хуже всего, что я могу защититься, только обвиняя других, а это невозможно. Потому что все, в том числе и Джузеппе, на допросах все отрицают. Твердят, что эти двое просто потерялись в джунглях. Вот такие дела, Папийон.

— Мне жаль тебя, брат. Жаль, что ты не можешь отмазаться.

Месяц спустя Джузеппе убили. Ночью, ударом ножа, прямо в сердце. Чьих это рук было дело, думаю, ясно.

Вот вам правдивая история о каннибалах, которые съели, зажарив на его собственной деревянной ноге, человека, съевшего перед этим парнишку, своего напарника и возлюбленного.

ПРИГОВОР

В то утро, свежевыбритые и тщательно подстриженные, одетые в новую форму с красными полосками и туфли, мы ждали во дворе вызова в суд. Клозио сняли гипс недели две назад. Он ходил совершенно нормально, даже не хромал.

Заседание суда началось в понедельник. Сегодня суббота, утро — за пять дней они рассмотрели несколько дел. Так, например, разбирательство дела парней с огненными мухами заняло целый день. Обоих приговорили к гильотине. Я их больше никогда не видел. А братья Гравиль получили всего по четыре года — не было доказательств акта каннибализма. Их разбирательство заняло полдня. Другие убийцы получили по четыре-пять лет. Если смотреть в целом, то приговоры были суровыми, но справедливыми. Наше разбирательство началось в половине восьмого. Мы уже были в зале, когда появился майор в военно-полевой форме в сопровождении пожилого капитана сухопутных войск и лейтенанта.

— Дело Шарьера, Клозио и Матуретта!

Мы находились метрах в четырех от судей. У меня было время хорошенько разглядеть этого майора: лет сорока — сорока пяти, пустыня иссушила его лицо, волосы на висках серебрились, красивые черные глаза под густыми бровями открыто и прямо смотрели на всех. Настоящий солдат. Мы встретились с ним взглядом, и я отвел глаза первым.

Капитан, представитель местной администрации, навалился на нас изо всех сил. Он квалифицировал нападение на охрану как попытку преднамеренного убийства. Он назвал чудом тот факт, что араб не умер от тяжелейших побоев. И сделал еще одну ошибку, заявив, что такие заключенные, как мы, выносят сор из избы и бесчестят свою страну больше, чем кто-либо. Короче, он потребовал сплусовать два срока: по пять лет за покушение на убийство и три за побег — итого восемь. Это для меня и Клозио. Для Матуретта он попросил всего три года за побег, поскольку выяснилось, что он не принимал участия в покушении.

Я коротко поведал присутствующим о своей одиссее, после чего объявили первый перерыв на пятнадцать минут. Перед этим судья спросил.

— Я что-то не вижу ваших защитников. Где они?

— У нас их нет. Прошу вашего разрешения дать мне возможность самому защищать себя и своих товарищей.

— Разрешаю. Законом это не возбраняется.

— Благодарю вас.

Через четверть часа заседание возобновилось. Председательствующий сказал:

— Шарьер, суд разрешает вам вести свою защиту и защиту ваших друзей. Однако предупреждаю: в случае, если вы будете неуважительно выражаться в адрес администрации, мы лишим вас слова. Вы имеете право защищаться, но должны при этом выбирать выражения. Можете начинать

— Я прошу суд сразу же отвести обвинение в покушении на убийство. Оно абсолютно безосновательно, и я объясню почему. В прошлом году мне исполнилось двадцать семь. Клозио — тридцать. Мы только что прибыли сюда из Франции и были крепкими и сильными. Мой рост метр семьдесят четыре, у Клозио — метр семьдесят пять. Мы нанесли удары арабу и охранникам железными ножками от кроватей. Ни один из них не был ранен сколь-нибудь серьезно. Мы не собирались причинять им вреда, действовали осторожно, чтобы просто оглушить их. Именно это и произошло. Обвинитель забыл упомянуть, а возможно, просто не знал, что железные ножки были обернуты тряпками, чтобы не нанести тяжелых повреждений. Думаю, суд, состоящий из истинных солдат регулярной армии, вполне отдаст себе отчет в том, что может натворить молодой крепкий человек, когда наносит удар по голове другому плашмя штыком. А представьте, что можно натворить железной ножкой от кровати. Я хотел бы также обратить внимание суда на то, что ни один из четверых атакованных не был отправлен в больницу.

Учитывая, что мы приговорены к пожизненному заключению, побег считается преступлением менее серьезным, чем если бы его совершили люди с более короткими сроками заключения. В нашем возрасте крайне трудно переносить самую мысль о том, что нам никогда не вернуться к нормальной жизни. Я прошу снисхождения суда для всех троих.

Майор пошептался с двумя своими помощниками, затем стукнул молотком по столу.

— Подсудимые, встать! Мы встали и замерли.

Председательствующий сказал:

— Трибунал отводит обвинение в покушении на убийство. Вы признаетесь виновными в побеге второй степени тяжести. За это преступление трибунал приговаривает вас к двум годам тюремного заключения.

И тут мы все вместе хором сказали:

— Спасибо вам, господин майор! А я добавил:

— Спасибо трибуналу.

Охранников, присутствовавших на процессе, словно громом поразило. Мы вернулись в камеру.

Все радовались и поздравляли нас. Искренне, без всякой злобы или зависти. Даже те, кто получил на полную катушку. Пришел Серра и обнял меня. Он тоже был страшно рад.

Тетрадь шестая

ОСТРОВА СПАСЕНИЯ

ПРИБЫТИЕ НА ОСТРОВА

На следующий же день нас должны были отправить морем на острова Спасения. На одном из них, Сен-Жозефе, мне предстояло отбыть два года в камере-одиночке. Заключение называли эту тюрьму людоедской. Я надеялся доказать, что название это ошибочно.

Я слышал, что бежали с островов крайне редко, побег можно было пересчитать по пальцам. И все же бежали. И я тоже убегу, это уж точно. Через два года я сбегу с этих островов. Я твердил это Клозио, который сидел рядом со мной.

— Да, трудно тебя укротить, Папийон, старый ты мой дружище! Хотел бы и я так верить, что однажды обрету свободу. Смотри, ведь у тебя за год — побег за побегом. И ты ни разу не сдался. Я даже удивляюсь, как это ты здесь не пытался.

— Здесь был возможен только один путь — устроить бунт. А для этого надо объединить всех этих, таких разных людей, и времени на это у меня не было.

— Но ведь на островах будут точно такие же люди!

— Да, но я убегу оттуда без чьей-либо помощи. Один. Ну, в крайнем случае с напарником. Ты чего улыбаешься, Клозио?

— Улыбаюсь тому, что ты никак не сдаешься.

Наутро мы отплыли на острова на борту посудины водоизмещением четыреста тонн под названием «Танон», курсировавшей между Кайенной, островами и Сен-Лораном. Мы были скованы по двое и в наручниках. Две группы по восемь человек, каждая охраняемая четырьмя охранниками, расположились на носу, еще десять заключенных — на корме, с шестью

охранниками и двумя начальниками этапа. Даже сидя на палубе этой посудины, было ясно, что она настолько стара, что развалится и пойдет на дно при первом же намеке на шторм.

Чтобы хоть как-то развлечься, я начал комментировать состояние «Танона».

— Эта посудина того и гляди на куски распадется! Да на ней просто опасно плыть! — Наступило общее молчание, и охранники, и заключенные наостригла уши. — Мало того, мы закованы в цепи, к если что стрясется... Если б не цепи, у нас был бы шанс. Да и охрана тоже — в этой форме, тяжелых ботинках и с ружьями... Тоже почти нет шансов.

— В случае кораблекрушения ружье можно и выкинуть, — вставил один охранник.

Видя, что они клюнули на эту удочку, я продолжил:

— Ну а где спасательные лодки? Лично я вижу только одну, да и то маленькую, человек на восемь. Как раз для капитана и команды, а все остальные, выходит, тютю?..

Один из начальников конвоя посмотрел на меня и спросил:

— Это ты тот самый Папийон, которого привезли из Колумбии?

— Да.

— Неудивительно, что так далеко забрался. Похоже, в морском деле разбираешься.

— Еще бы! — хвастливо воскликнул я, но в этот момент на палубе появился капитан. Небольшого роста, толстенький, угольно-черный негр с удивительно юным лицом. И спросил, где тут те самые ребята, что доплыли до Колумбии на бревне.

— Вот этот, вон тот и тот еще, — показал начальник конвоя.

— А капитан кто? — осведомился капитан.

— Я, месье.

— Что ж, поздравляю вас, коллега. Сразу видно, вы человек незаурядный. — Он сунул руку в карман. — Вот, возьмите табак и папиросную бумагу. Курите и желайте мне удачи.

— Спасибо, капитан. Я тоже поздравляю вас. Плавать на такой посудине не шутка. Тем более, мне сказали, вы проделываете этот путь дважды в неделю.

Он так и покатился со смеху.

— О, вы правы! — воскликнул он. — Эту калошу давно следовало отправить на слом. Но компания все надеется, что она того и гляди потонет сама, и тогда они получают страховку.

К десяти утра волнение на море не усилилось, но ветер был неблагоприятным. Мы плыли на северо-восток, то есть против волн и против бриза, поэтому качало больше обычного. Многих охранников и заключенных тошнило. К счастью, скованного со мной напарника не укачало — нет ничего хуже, когда рядом с тобой кто-то блюет. Это был типичный парижанин — лихой парень и проныра. В Гвиану попал в 1927 году и был сравнительно молод — лет тридцати восьми.

— Меня прозвали Тити Белот. Надо признаться, я замечательно играю в белот. Во всяком

случае, на жизнь на островах хватает. Белот всю ночь напролет по два франка за очко. При удачном раскладе можно заработать до четырехсот франков.

— Ты что, хочешь сказать, что на островах водятся деньги?

— А как же, Папийон! Остров набит патронами, а патроны — наличными! Некоторые привозят с собой, другие добывают через охранников за пятьдесят процентов. А ты, похоже, совсем еще зеленый, приятель. Будто в первый раз слышишь о таких вещах.

— Я и правда ничего не знаю об островах. Кроме, того, что с них трудно бежать.

— Бежать! — воскликнул Тити. — Об этом даже и думать нечего! Я семь лет торчу здесь, и за все это время было только два побега. А результат? Три трупа и двоих вернули обратно. Вот чем это кончается, браток. Никому еще не удавалось.

— А зачем тебя возили на материк?

— На рентген. Узнать, есть язва или нет.

— А почему ты не попробовал из больницы бежать?

— Верно, не пробовал. После того, что вы там натворили, Папийон, и думать об этом нечего. К тому же меня засунули в ту самую палату, откуда вы свалили. Так что можешь представить, какая там была охрана. Даже к окну было не подойти, чтобы глотнуть свежего воздуха. Сразу же отгоняли...

Морское путешествие подходило к концу. Вот они, острова! Они образовывали как бы треугольник с островами Руаяль и Сен-Жозеф в основании и островом Дьявола у вершины. Солнце стояло уже довольно низко и освещало их с той необыкновенной отчетливостью и блеском, когда видны все подробности, как бывает только в тропиках. Руаяль представлял собой плоскую возвышенность с примерно двухсотметровым холмом в центре. Вершина его тоже была плоской. Остров напоминал мексиканскую шляпу с частично оторванной тульей на поверхности моря. И повсюду высокие кокосовые пальмы. Особую привлекательность придавали острову маленькие домики с красными крышами — путешественник, не знающий, что там находится, обязательно возмечтал бы провести на этом райском берегу всю оставшуюся жизнь. На плато был маяк.

Когда мы подошли совсем близко, я различил пять длинных строений. Тити объяснил, что первые два — бараки, где размещалось до четырехсот заключенных в каждом. Затем шел дисциплинарный блок с карцерами, окруженный белой стеной. Четвертое здание — больница, в пятом размещалась охрана.

Остров Сен-Жозеф, отделенный нешироким проливом, располагался чуть поодаль. Меньше пальм, меньше домов, а в самом центре — некое громоздкое сооружение, отчетливо видимое издалека. И тут я сообразил, что это такое. Тюрьма одиночного заключения, Тити Белот подтвердил мою догадку. Он указал также на бараки, где жили обычные заключенные, они располагались чуть ниже, поближе к морю. Видны были сторожевые вышки. Ну а все остальные строения представляли собой точно такие же хорошенькие домики с белыми стенами и красными крышами.

Так как посудина наша подходила к Руаялю с юга, остров Дьявола мы не видели. Чуть раньше я лишь мельком заметил его. Похоже, это была огромная, сплошь заросшая пальмами скала с несколькими желтыми домиками у самого моря. Позже выяснилось, что в этих домах жили

политические.

Три гудка сирены, и «Танон» бросил якорь в четверти мили от пристани, длинного сооружения из скрепленных цементом круглых камней, поднимавшегося над уровнем моря на десять метров. Чуть подальше, параллельно пристани, тянулась цепочка белых зданий. Я прочитал названия вывесок: «Пункт охраны», «Пароходное управление», «Пекарня», «Портовое управление».

С пристани на нашу посудину глазели заключенные. На них не было обычных полосатых костюмов, все в брюках и белых куртках. Тити объяснил, что на островах люди с деньгами устраивались вполне прилично и даже могли шить у портных на заказ, причем материалом служила мешковина, с которой предварительно выводились буквы.

К «Танону» подошла лодка. Один охранник у румпеля, два с ружьями по бокам, а позади на корме — шестеро заключенных. Обнаженные до пояса, в белых брюках, они стоя гребли огромными веслами. Пришвартовались. Сперва к ним спустился начальник конвоя. У нас сняли цепи с ног, но наручники оставили. И мы попарно начали спускаться в лодку. Добравшись до пристани, выстроились в ряд перед Портовым управлением и стали ждать. На набережной появился Шапар, которого я знал еще по Парижу, он попался на каких-то биржевых махинациях. Не обращая ни малейшего внимания на охрану, он закричал:

— Не дрейфь, Папийон! Можешь рассчитывать на друзей! В одиночке у тебя будет все! Сколько тебе закатали?

— Два года.

— Прекрасно. Тем скорее выйдешь. А потом придешь к нам и увидишь, что жизнь здесь не так уж плоха!

— Спасибо, Шапар. Как Дега?

— Работает здесь бухгалтером.. Странно, что он не пришел. Расстроится, что не повидались.

А потом появился Гальгани. Охранник пытался остановить его, но он протолкался к нам, крича:

— Должен же я обнять своего брата или нет? Какого черта... — И, обнимая меня, шепнул: — Можешь на меня положиться.

— А ты что здесь делаешь? — спросил я.

— Почтальон. Письмами занимаюсь.

— Ну и как? В порядке?

— Живу спокойно.

С нас сняли наручники. Тити Белота и еще нескольких человек, которых я не знал, отвели в сторону. Охранник скомандовал: «В лагерь!» — и они вышли на дорогу, идущую в гору.

Тут появился комендант островов в сопровождении шести охранников. Началась перекличка. Все оказались на месте. Эскорт удалился.

— Где бухгалтер? — спросил комендант.

— Идет, господин начальник.

И тут я увидел Дега в хорошем белом костюме, застегнутом на все пуговицы. Рядом с ним шагала охранник. У каждого под мышкой — книга регистрации. Они начали выкликать нас по одному и объявлять номер.

Когда очередь дошла до меня, мы с Дега обнялись. Подошел комендант.

— Это и есть Папийон?

— Да, господин комендант, — ответил Дега.

— Смотрите, берегите себя в одиночке. Два года пролетят незаметно.

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лодка ждала. Из девятнадцати человек, приговоренных к одиночному заключению, десять должны были отправиться тотчас же. Выкликнули и мое имя. Но Дега спокойно сказал:

— Нет. Этот человек поедет с последней партией. Наконец прозвучала команда:

— Папийон, в лодку!

— Ну пока! Прощайте все! Даст Бог, увидимся! И спасибо за все!

И я шагнул в лодку. Двадцать минут спустя мы пристали к берегам Сен-Жозефа. Я мгновенно отметил, что на шесть заключенных-ребцов и десять приговоренных к одиночке приходилось всего трое вооруженных охранников. На берегу нас ждал почти официальный прием. Два коменданта — один, ведающий системой одиночек на острове, и второй — комендант самой тюрьмы. В сопровождении охранников мы двинулись к тюрьме. На воротах надпись: «Дисциплинарная тюрьма одиночного заключения». Я тут же оценил всю внушительность и мрачность этого заведения. За железными воротами и четырьмя высокими стенами открылось небольшое здание с вывеской «Административный блок» и три других, поменьше, помеченные буквами «А», «В» и «С». Сперва нас ввели в блок. Большая холодная комната. Заключенных выстроили в два ряда, и к нам обратился комендант тюрьмы:

— Заключенные, как вы знаете, это учреждение создано для наказания тех, кто уже был осужден на тот или иной срок. Администрация не ставит себе целью исправление или переделку таких, как вы. Мы понимаем — это бесполезно. Но мы приложим все усилия, чтобы привести вас в чувство. Здесь одно-единственное правило, если угодно, закон: держать рот на замке. Абсолютное молчание и тишина. Перестукиваться не советую — того, кого поймают за этим занятием, ждет суровое наказание. Объявлять себя больным, кроме крайне тяжелых случаев, тоже не советую. Если установят, что вы симулянт, тоже накажут. Вот и все, что я хотел сказать. Ах да, вот еще что: курение категорически запрещено. Охрана справа! Обыскать их самым тщательным образом! И развести по камерам! Шарьер, Клозио и Матуретт должны быть в разных блоках. Прошу проследить за этим, месье Сантори!

Десять минут спустя я был заперт в камере № 234 блока «А». Клозио попал в «В», а Матуретт — в «С». Попрощались мы молча, одними только взглядами. Когда я переступил порог камеры, стало ясно — придется беспрекословно подчиниться всем тем бесчеловечным правилам, о которых толковал комендант.

Никогда не предполагал, что подобное возможно во Франции, которая считается матерью

свободы и равноправия для всего мира. Ну, пусть даже не во Франции, а во Французской Гвиане, пусть даже на таком крошечном, с носовой платок, затерянном в океане островке, но ведь он все равно часть Франции. Вообразите себе сто пятьдесят вытянувшихся в ряд клеток, причем в каждой — нет даже намека на нормальный вход и выход — всего лишь маленькая железная дверь с небольшим отверстием-кормушкой. На каждой двери надпись: «Открывать без разрешения администрации воспрещается». Слева топчан для спанья с приподнятым изголовьем. Топчан на день подвешивается к стене. Одно одеяло. В дальнем углу — цементный блок вместо стула, метла, армейская миска, деревянная ложка, прикованный к стене цепью железный бачок — его надлежало выдвигать в коридор, где он опорожнялся, а затем снова вдвигать в камеру. Сам потолок состоял из толстенных — с рельс — металлических прутьев, уложенных крест-накрест так, что ни одно живое существо не могло проскользнуть между ними. И только гораздо выше — настоящая крыша. На решетке же между клетками находилась дорожка для часовых шириной примерно в метр, с железными перилами. По ней непрерывно вышагивали двое часовых, в середине встречались, разворачивались и шли обратно. Чудовищно!.. К тому же не было слышно ни малейшего звука — и заключенные, и охранники обуты в мягкие тапочки.

Один, два, три, четыре, пять, поворот!.. Один, два, три, четыре, пять, поворот! Только что над моей головой прошагал охранник. Я его не слышал, просто увидел. Щелк! Включился свет, но лампа висела очень высоко — где-то под самой крышей. Это осветили дорожку для часовых, но камеры все равно остались погружены в полумрак. Я продолжал рассказывать взад-вперед по своей клетке.

Свисток. Я услышал чей-то громкий голос:

— Новички, это сигнал, что вы можете опустить койку и лечь, если желаете!

Желаете! Как вам это нравится? И я продолжал рассказывать по клетке, спать еще не хотелось. Один, два, три, четыре, пять... Я уже выработал этот маятниковый ритм и ходил, ходил. Голова опущена, руки за спиной, шаги абсолютно равной длины — взад-вперед, как маятник, словно во сне.

Да, Папи, эта тюрьма-людоед не шутка, совсем не шутка... А эта тень часового сверху, на стене. Всякий раз, подняв голову, ты чувствуешь себя только что пойманным зверем, которого разглядывает охотник. Ужасное ощущение! Прошли долгие месяцы, пока мне удалось кое-как привыкнуть к этому.

Год — это триста шестьдесят пять дней, два года — семьсот тридцать. Итак, уважаемый господин Папийон, вам предстоит убить в этой клетке семьсот тридцать дней... Или семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов — в клетке с гладкими стенами, предназначенной для диких зверей. А сколько же будет минут?.. Нет, лучше не надо, часы — это еще куда ни шло, но минуты — нет... Не станем мелочиться. Или преувеличивать.

Позади, у меня за спиной, что-то шлепнулось на пол. Что такое? Может, мой сосед как-то изловчился перебросить! что-то через прутья в потолке? В полумраке я различал на полу нечто тонкое и длинное. Не различил, скорее чувствовал. И уже собрался поднять, как вдруг это нечто зашевелилось и начало перемещаться к стенке. Добравшись до нее, стало карабкаться вверх, но сорвалось и упало. Я наступил на загадочный предмет ногой и раздавил. Мягкое, скользкое... Что же все-таки это такое? Опустившись на колени, я всмотрелся и наконец понял — огромная сороконожка, в два пальца толщиной и добрых двадцать сантиметров в длину. Меня прямо затопило от омерзения. Я не мог заставить себя поднять эту тварь и бросить в мусорный бак. И просто затолкал ногой под кровать. Утром при свете

разглядим. Впоследствии у меня было достаточно времени, чтобы налюбоваться на сороконожек: они частенько падали в камеру с верхней крыши и ползали по обнаженному телу, а я старался лежать буквально не дыша, иначе эти твари могли причинить жуткую боль, в чем мне пришлось убедиться на собственном опыте. Укус вызывал лихорадку на добрые полдня, а место укуса жгло и чесалось невыносимо еще дней шесть.

С другой стороны, какое-никакое развлечение, помогает отвлечься от мрачных мыслей. Иногда, когда очередная сороконожка падала в камеру, я долго мучил ее и гонял взад-вперед метлой, а иногда даже играл, позволяя ей спрятаться, а потом принимаясь за поиски.

Один, два, три, четыре, пять... Мертвая, могильная тишина. Неужели здесь даже никто не храпит? Не кашляет? Какой тут может быть кашель, если стоит удушающая жара. И это ночью, а что же будет днем?

Я бродил так уже довольно долго. В темноте слышался отдаленный рокот голосов. Смена караула. Первый часовой был высоким тощим парнем. Следующий оказался его противоположностью — маленький, толстый. И так громко шаркал шлепанцами, этажа на два слышно, не меньше. Да, этот не молчун. Я продолжал ходить. Уже, наверное, поздно. Интересно, сколько же прошло времени? Завтра придумаю, чем можно его отмерять. Кормушка в двери отворяется четырежды в день — уже по этому можно приблизительно определить, который час. А ночью... Ночью просто надо знать время смены караула и сколько он стоит на посту.

Свет выключился, и я увидел, что в камере чуть посветлело, утро начало разгонять сумерки. Свисток. Я слышал стук привешиваемых к стенам топчанов, даже различил металлическое лязганье — эта мой сосед справа прикреплял свою койку к вмонтированному в стену железному кольцу. Потом он закашлялся, и я услышал плеск воды. Интересно, как же они тут умываются?..

— Господин надзиратель, а как здесь умываются?

— Осужденный, на первый раз я прощаю вас только потому, что вы новичок и не знаете. Вас предупреждали, что разговаривать с дежурным охранником запрещено, за это полагается суровое наказание. Чтобы умыться, вы должны стать над ведром и лить воду из кувшина, придерживая его одной рукой, второй можете умываться. Вы что, не разворачивали своего одеяла?

— Нет.

— Там внутри должно быть полотенце.

Можете вообразить себе такое? Оказывается, здесь нельзя разговаривать даже с дежурным надзирателем. Но почему, по какой причине? А если вы заболели? Что, если вы умираете? От сердечного приступа, аппендицита, астмы? Выходит, тут нельзя даже позвать на помощь? Это же полный финиш! Нет, не так. Это вполне естественно. Естественно, что человек, дошедший до точки, когда нервы на пределе, начинает орать и скандалить. Хотя бы проста для того, чтобы услышать голоса, поговорить хоть с кем-то, пусть даже услышать в ответ: «Сдохни, но только заткнись!»

Щелк, щелк, щелк... Это открываются кормушки. Я подошел к своей и рискнул высунуться — сначала немного, потом полностью высунул голову в коридор и осмотрелся — направо, налево. И сразу же увидел воспользовавшись моментом, другие тоже высовывали головы. Человек справа глянул на меня абсолютно без всякого выражения. Наверное, от онанизма отупел, не

иначе. Круглое, бледное, в потеках грязи лицо, лицо идиота. Заключенный слева торопливо спросил:

— Сколько?

— Два года.

— У меня четыре. Один отсидел. Как тебя зовут?

— Папион.

— А я — Жорж. Жорж из Оверни. А ты откуда?

— Из Парижа. А ты...

Я не успел задать вопрос. Кофе с куском хлеба уже получали за две камеры от нас. Сосед втянул голову в свою клетку, я сделал то же самое. Взял кружку с кофе, затем кусок хлеба. С последним немного замешкался, дверца опустилась, и хлеб упал на пол. Меньше чем через четверть часа снова установилась абсолютная тишина.

В полдень — новое оживление. Принесли суп с кусочком вареного мяса. Вечером — чечевица. В течение двух лет это меню не менялось. Разве что на ужин некоторое разнообразие — иногда чечевица, иногда красная фасоль, дробленые бобы или отварной рис. А утром и днем — одно и то же.

И раз в две недели ты просовывал голову в окошко, и парикмахер из заключенных подстригал тебе бороду маленькими ножницами.

Вот уже три дня, как я здесь. Одна мысль не выходила у меня из головы: друзья с острова Руаяль обещали прислать мне еды и сигарет, но я до сих пор ничего не получал и, честно говоря, не слишком хорошо понимал, как они собираются совершить это чудо. Так что удивляться было нечему. К тому же курить здесь опасно — запрещено под страхом сурового наказания. Еда гораздо важнее, ведь здешний суп — просто плошка горячей воды, в которой плавают два-три листика зелени и крошечный кусочек мяса.

Мели коридор. Казалось, что швабра или метла как-то слишком долго шаркает у моей стены. Вот, опять скребется. Я присмотрелся и заметил внизу, под дверью, уголок белой бумажки. И тут же сообразил, что мне пытаются передать записку, но протолкнуть ее в камеру не удастся. Вот он и топчется у двери. Я вытащил бумажку, развернул. Написано было светящимися чернилами. Подождав, пока пройдет часовой, я быстро пробежал ее глазами: «Папи, с завтрашнего дня будешь получать в миске пять сигарет и кокосовый орех. Жуй кокос хорошенько, это тебе полезно, особенно здесь. Разжеванную мякоть можно глотать. Кури утром, когда опорожняют бачки. Но никогда после кофе! Лучше сразу после обеда и потом вечером, после ужина. Здесь кусок карандашного стержня. Если чего понадобится, черкни на клочке бумажки. Когда услышишь, что подметальщик метет под дверью, тихонько поскреби в нее пальцами. Если ответит, сунь бумажку под дверь. Без ответа не суй ни в коем случае. Сверни бумажку в комочек и вложи в ухо, чтобы не вынимать патрон, а стержень держи где-нибудь у стены. Выше нос! С любовью, Игнасио, Луи».

Итак, я получил послание от Гальгани и Дега. На душе потеплело: какое все-таки счастье иметь таких верных друзей! И я принялся шагать по камере, но уже более веселой и живой походкой. Вера в то, что я рано или поздно выйду из этой могилы живым и на своих ногах, укрепилась. Один, два, три, четыре, пять, поворот...

Вчера случилась очень странная вещь. Не знаю, правильно ли я поступил. Часовой наверху вдруг наклонился над рельсами и заглянул ко мне в камеру. Затем прикурил сигарету, несколько раз затянулся и бросил ее в мою клетку. И тут же отошел. Я подождал, пока он снова окажется надо мной, и демонстративно раздавил сигарету подошвой. Он лишь слегка приостановился, увидев, что я сделал, и тут же двинулся дальше. А может, он меня пожалел? Может, он стыдился своей службы? Или это была ловушка? Не знаю, но этот случай совершенно выбил меня из колеи. Когда, человеку скверно, он становится сверхмнительным. Ладно... Если у этого парня действительно были добрые намерения, то будем надеяться, я не слишком оскорбил его этим жестом.

Вот уже два месяца как я здесь. Это единственная в своем роде тюрьма, где абсолютно нечему учиться. Ни с какого боку ни к чему не подъедешь. Правда, я научился все-таки одной очень важной вещи — целиком и полностью отключаться, переноситься мысленно на любые расстояния, даже к звездам, или без всякого усилия возвращаться в прошлое и блуждать в нем, пребывая в разных стадиях и ипостасях жизни — ребенком, взрослым мужчиной, беглецом, строителем каких-то фантастических замков в Испании и так далее. Но сперва надо было как следует устать. Я бродил часами, не присаживаясь и не останавливаясь ни на секунду и размышляя о самых обычных предметах. Затем, порядком утомившись, лег на топчан, подстелив под голову часть одеяла и прикрыв лицо другой. Затхлый воздух камеры медленно просачивался сквозь ткань, в горле першило, голову охватывал легкий жар. И вот от духоты и отсутствия кислорода я в какой-то момент отключался. О, какие невероятные, неопишуемые путешествия совершал в это время мой дух, какие видения посещали меня, какие ощущения я испытывал! Ночи любви, куда более острые и реальные по полноте чувств, нежели в жизни. Да... И еще свободное перемещение в пространстве и времени позволило мне встретиться и посидеть с мамой, которая умерла семнадцать лет назад. Я играл складками ее платья, а она гладила мои длинные кудрявые волосы: «Ри-ри, дорогой, старайся быть хорошим, очень хорошим и не огорчать мамочку, чтобы она любила тебя еще больше...»

Я был не прав, подсчитывая время, которое предстоит здесь провести. Ведь я оценивал его в часах. Ошибка. Были моменты, которые измерялись какими-то минутами или даже секундами, но имели огромное значение. Так, например, опораживание бачка происходило где-то через полчаса после раздачи кофе и хлеба. Именно тогда ко мне возвращался котелок, я находил в нем кокос, пять сигарет, а иногда — записку. В эти моменты я считал каждую минуту, даже секунду. Не всегда, но очень часто...

Медленно, Господи, как медленно шли эти часы, недели и месяцы. Вот уже почти год, как я здесь. Ровно одиннадцать месяцев и двадцать дней я не перемолвился ни с кем ни единым словом, если не считать редких и торопливых утренних вылазок, да и то это было скорее какое-то торопливое невнятное бормотание, нежели разговор. Правда, один раз мне все же удалось поговорить по-настоящему громко. Я простудился и довольно сильно кашлял. И решил, что это достаточно уважительная причина, чтобы обратиться к врачу.

Врач явился. К моему великому изумлению, открылась лишь кормушка, в отверстии появилась голова.

— Что с вами? На что жалуетесь? Легкие? Повернитесь спиной! Покашляйте!

Боже милостивый! Что это, шутка? Увы, нет... Всего лишь суровая, и горькая правда. Ко мне действительно пришел врач, осмотрел меня через кормушку и через кормушку же прослушал. Совершив все эти манипуляции, он сказал:

— Протяните сюда руку!

Я уже готов был повиноваться чисто автоматически, но тут меня остановило чувство самоуважения, и я сказал этому странному врачу:

— Спасибо, доктор, не стоит беспокоиться. Не стоит, право. — По крайней мере, у меня хватило ума и гордости показать, что я не принимаю его услуги всерьез.

На что он, однако, вполне невозмутимо ответил:

— Что ж, как хотите.

И ушел как раз в тот момент, когда я был готов взорваться от возмущения.

Один, два, три, четыре, пять, поворот... Один, два, три, четыре, пять, поворот. В тот день я шагал с особой злой целеустремленностью, пока не заныли ноги.

Один, два, три, четыре, пять... И прошлое помогало утихомирить гнев и ненависть. Еще десять дней и ровно половина срока одиночного заключения прошла. Да, это событие стоит отметить, тем более, если не считать простуды, здоровье у меня отменное. Я не сошел и не собираюсь сходить с ума. Уверен, что выйду отсюда в конце следующего года живым и в здравом уме.

Меня разбудили приглушенные голоса. Кто-то сказал:

— Да он уже совершенно окоченел, месье Дюран. Как это вы раньше не заметили?

— Не знаю. Он повесился в углу, вот я и прошел над ним много раз, не заметив.

— Ладно, это неважно. Но признайтесь, все же несколько странно, что вы его не заметили...

Я догадался: мой сосед слева покончил жизнь самоубийством! Тело унесли. Двери захлопнулись. Правила соблюдались неукоснительно: дверь можно открывать только в присутствии администрации, в данном случае — начальника тюрьмы. Я узнал его по голосу.

Это был пятый, покончивший с собой за десять недель.

Настала юбилейная дата. В миске я обнаружил банку стуженного молока. Должно быть, друзья мои просто рехнулись! Ведь она стояла здесь целое состояние. К тому же риск...

На следующий день начался новый этап отсчета. Еще триста шестьдесят пять дней, и я выхожу. Все шло как обычно, своим ходом, час за часом, день за днем, неделя за неделей. Но на девятом месяце случилось несчастье. Утром, когда опустошали бачки, моего посыльного застигли на месте преступления с личным — то есть с кокосовым орехом и пятью сигаретами, которые он, положив в миску, уже передавал мне.

Это оказалось столь серьезным происшествием, что на несколько минут правило молчания было забыто. Отчетливо были слышны удары — это избивали несчастного. Затем захлебывающийся, отчаянный крик, крик человека, получившего смертельную рану. Моя кормушка отворилась, и в нее всунулась разъяренная физиономия надзирателя:

— Ничего, ты у меня допрыгаешься!

— А я плевал, жирная сволочь! — крикнул я в ответ. Случилось это в семь утра. Только в одиннадцать за мной явилась целая процессия, возглавляемая начальником тюрьмы. Они открыли дверь, не отворявшуюся ни разу за двадцать месяцев. Я забился в дальний угол

клетки, вцепившись в миску и приготовившись сражаться до последнего. Однако ничего подобного не произошло.

— Заключенный, выходите!

— Если я выйду и меня станут бить, не думайте, Я буду обороняться! И вообще выходить не собираюсь! Попробуйте взять меня, убью первого, кто только тронет!

— Вас не будут бить, Шарьер.

— Кто это гарантирует?

— Я. Начальник тюрьмы. — И вам можно верить?

— Не грубите, ни к чему хорошему это не приведет. Даю слово — бить вас не будут. Выходите.

— Ладно, — Я переступил порог и пошел по коридору, сопровождаемый начальником и шестью охранниками. Мы пересекли двор и вошли в небольшое административное здание. На полу лежал человек весь в крови и стонал. Часы на стене показывали одиннадцать. «Они мучили этого беднягу целых четыре часа!» — подумал я.

Начальник сел за стол, рядом разместился комендант.

— Шарьер, как долго вы получали еду и сигареты?

— А разве он вам не сказал?

— Я спрашиваю вас.

— А у меня амнезия. Ничего не помню, даже что вчера было.

— Вы что, издеваетесь?

— Нет. Странно, что в моем деле это не указано. Как-то раз треснули по башке, и с тех пор с памятью плохо.

— Запросите Руаяль, нет ли этого у них в деле, — распорядился начальник. Один из надзирателей начал тут же звонить, а он продолжил: — Но что вас зовут Шарьер, вы помните?

— О да, конечно! — и я механическим голосом Затараторил — Меня зовут Шарьер. Год рождения 1906-й. Место рождения Ардеш. Приговорен к пожизненному заключению в Париже.

Его глаза округлились, как блюдца.

— Сегодня утром вы хлеб и кофе получали?

— Да.

— А что было вечером на ужин, какие овощи?

— Не знаю.

— Выходит, если верить вашим словам, вы действительно ничего не помните?

— Ничегошеньки! Вот лица помню, да... Вроде бы вы меня сюда принимали. А вот когда? Не скажу.

— Значит, вы не знаете, сколько вам здесь еще сидеть?

— Ну, пока не сдохну, наверное.

— Да нет, я не про пожизненное. Сколько сидеть здесь, в одиночке?

— А разве мне дали одиночное? За что?!

— Хватит! Всему есть предел в конце концов! Не смейте выводить меня из терпения! Вы что, не помните, что вам дали два года за побег?

И тут я добил его окончательно.

— Чтоб я бежал! Да вы что, начальник?! Я человек ответственный, привык отвечать за свои поступки. Идемте со мной в камеру и вместе посмотрим, бежал я оттуда или нет.

В этот момент помощник сказал:

— Руаяль на проводе, месье. Он взял трубку.

— Ничего? Странно... Он утверждает, что у него амнезия... Кто ударил?.. По голове... Так, понимаю. Он валяет дурака. Выясним... Извините за беспокойство. Проверим. Всего доброго!.. Ну-с, Чарли Чаплин, давайте-ка посмотрим на вашу голову... Да, длинный шрам... Как же это вы помните, что потеряли память с того момента, как вас ударили по голове? А? Отвечайте и быстро!

— Не знаю, этого я не могу объяснить. Просто помню, что ударили, что имя мое Шарьер и еще несколько вещей. И когда Вы спросили, как долго я получал еду и курево, то я не знаю, в первый ли это раз случилось, или в тысячный. Не знаю, не помню, и все тут. Ясно вам?

— Мне все ясно. Вы слишком долго переедали, теперь придется попоститься. Без ужина, до конца срока!

Итак, я лишился кокосов и сигарет. И был отрезан теперь от товарищей. Меня действительно прекратили кормить по вечерам. И я начал голодать. К тому же из головы не выходил этот бедолага, которого они так зверски избили. Оставалось лишь надеяться, что дальнейшее его наказание не было столь суровым.

Один, два, три, четыре, пять, поворот... Один, два, три, четыре, пять, поворот... Да, на такой диете долго не продержаться. Но раз так мало еды, надо, пожалуй, сменить к режим. Лежать подольше, чтоб не тратить сил. Чем меньше двигаешься, тем меньше калорий сжигаешь. Ведь еще оставалось продержаться целых четыре месяца, или сто двадцать дней,

Вот уже десять дней, как я на новом режиме. Голод донимал постоянно, круглосуточно. К тому же я испытывал сильную слабость. Ужасно не хватало кокосов, сигарет, конечно же, тоже. Я рано ложился в постель и старался как можно быстрее отключиться. Вчера был в Париже, пил шампанское с друзьями, танцевал под аккордеон на улице. Картины этой нереальной жизни все чаще уводили меня из камеры, так что теперь я, можно сказать, проводил гораздо больше часов на свободе, чем в этой страшной одиночке.

Я сильно исхудал и только теперь понял, каким существенным подспорьем были кокосовые орехи, которые я получал целых двадцать месяцев, — они позволяли сохранить силы и здоровье.

Сегодня утром дошел до точки. Выпил кофе и позволил себе съесть половину дневной порции хлеба, чего прежде не делал. Обычно я делил хлеб на четыре более или менее равных куска и съедал утром в шесть, затем в полдень, снова в шесть, ну и еще крошку уже ночью. «Ты что это делаешь, парень, а? — спросил я себя сердито. — Конец уже виден, а ты собираешься рассыпаться на куски? — Я голоден и у меня не осталось сил. — Глупости говоришь! Как это при такой еде могут остаться силы? Да, ты слаб, спору нет, но не болен, и это главное! Это значит, что ты победишь. Если хоть чуточку повезет и ты будешь вести себя правильно, то оставишь эту тюрьму-людоедку с носом!»

Оставалось всего двадцать дней. Я ослабел уже всерьез. И еще заметил, что мой кусочек хлеба становится изо дня в день все меньше. Кто мог пасть так низко, чтобы выбирать специально для меня кусок поменьше? А суп в течение нескольких дней представлял собой просто горячую воду с кусочком даже не мяса, но почти голой кости или огрызком кожицы. Я был так слаб, что впадал в забытие и отправлялся в свои «путешествия» уже без всяких усилий.

Глубокая усталость и депрессия, навалившиеся на меня, внушали тревогу.

У двери слышалось царапанье. Я извлек из-под нее записку от Дега и Гальгани. «Черкни хоть строчку. Страшно беспокоимся о твоём здоровье. Осталось всего девятнадцать дней. Держись, не падай духом. Луи, Игнасио».

Там же лежали полоска чистой бумаги и кусочек грифеля. Я написал: «Держусь, но очень слаб. Спасибо. Папи». И когда за дверью снова заскребла швабра, сунул под нее записку. Ни сигарет, ни кокосов. Но это послание значило для меня невероятно много. Оно служило свидетельством крепкой верной дружбы и вселяло бодрость духа. Мои друзья правы — осталось всего девятнадцать дней. Я подошел к финишу этого изнурительного соревнования со смертью и безумием. Я не умер, не заболел. Я не имею права заболеть. Надо двигаться как можно меньше, чтобы не тратить калорий. Одна прогулка утром, одна днем — по часу. Это единственный способ продержаться. Всю ночь, двенадцать часов подряд, я лежал, а днем сидел на своей скамеечке не шевелясь, лишь время от времени вставая и делая несколько наклонов и махов руками, затем снова садился. Оставалось всего десять дней.

Десять дней — это двести сорок часов, которые надо продержаться. Они прошли легче, чем предыдущие, — то ли экономия движений приносила свои плоды, то ли записка от друзей вселила новые силы. Да, срок одиночки подходил к концу, и теперь я был уверен, что сохранил все необходимое для нового решающего побега — здоровье, бодрость духа и энергию.

Настала последняя ночь. Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят часов прошло с тех пор, когда за мной затворилась дверь камеры № 234. С тех пор она открывалась только дважды. Я заснул спокойно с одной-единственной мыслью — завтра она откроется и случится что-то очень хорошее. Завтра я увижу солнце, вдохну свежий морской воздух. Завтра я буду свободен. Я рассмеялся. Свободен? Что это ты городишь, Папийон? Завтра продолжится отсчет срока каторжных работ. Пожизненного срока. Разве это можно назвать свободой? Я знаю, я это знаю, и все равно — никакого сравнения с той жизнью, которую я влачил здесь. Интересно, как там Клозио и Матуретт?..

В шесть принесли кофе и хлеб. Меня так и подмывало воскликнуть: «Зачем это? Вы ошиблись!

Ведь сегодня я выхожу». Но тут я быстро вспомнил, что «потерял память». Молчи, не то начальник прознает и засадит в карцер еще дней на тридцать.

Восемь утра. Я съел весь хлеб. Потом в лагере чего-нибудь раздобуду. Дверь открылась. Появился комендант и с ним два охранника,

— Шарьер, ваш срок окончен. Сегодня 26 июля 1936 года. Следуйте за нами.

Я вышел. Во дворе меня совершенно ослепило солнце. И вдруг навалилась страшная слабость. Ноги стали ватны-ми, а перед глазами затанцевали черные мухи. А прошел-то всего метров пятьдесят, правда, тридцать из них — по солнцепеку.

У административного блока я увидел Клозио и Матуретта. Матуретт — кожа да кости, впалые щеки, провалившиеся глаза, Клозио лежал на носилках. Лицо было серым, казалось, от него исходит запах смерти. «Братцы, да вы совсем плохи! — подумал я. — Неужели и я выгляжу так же?» Но вслух сказал.

— Ну как, все о'кей, ребята? Они не ответили. Я повторил.

— Вы как, о'кей?

— Да, — тихо сказал Матуретт.

Мне захотелось крикнуть им все, заключение окончено, мы снова можем говорить! Подошел и поцеловал Клозио в щеку. Он взглянул на меня странно блестящими глазами и улыбнулся.

— Прощай, Папийон...

— Нет! Не смей так говорить!

— Со мной все кончено...

Он умер несколько дней спустя в больнице, на острове Ройял. Ему было тридцать два, и он был осужден на двадцать лет за кражу велосипеда, которой не совершал.

Подошел комендант.

— Пусть войдут. Матуретт и Клозио, вы вели себя хорошо. Поэтому я записываю вам в дело: «Поведение хорошее». Что же касается вас, Шарьер, то вы и здесь умудрились совершить серьезное преступление. И заслужили «Плохое поведение».

— Извините, комендант, но никакого преступления я не совершал.

— Вы что, не помните, как брали сигареты и орехи?

— Нет. Честное слово, не помню.

— Ладно, хватит! На чем вы продержались последние четыре месяца?

— Вы что имеете в виду? Еду? Что я ел? Да все одно и то же, с того дня, как пришел.

— Нет, это невозможно! Что вы ели вчера вечером?

— Как всегда. Чего давали. Не помню. Может, фасоль или вареный рис. Может, какие другие

овощи.

— Выходит, вы ужинали?

— А то нет! Неужели думаете, выплескивал еду из миски?

— Да, это бесполезно... Я сдаюсь. Хорошо. Я не стану писать «плохое поведение». Напишем: «Поведение хорошее». Теперь вы довольны?

— А разве это неправда? Я ничего плохого не делал. И с этими словами мы покинули его кабинет.

ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ РУАЯЛЬ

Во дворе нас в ту же секунду окружили заключенные, всячески выражая свое расположение и сочувствие. Нас одарили сигаретами и табаком, угощали горячим кофе и самым лучшим шоколадом. Санитар сделал Клозио укол камфоры и еще дал адреналин для сердца. Какой-то жутко тощий негр сказал

— Санитар, отдайте ему мои витаминные таблетки, они ему больше нужны.

Нас хорошо накормили и напоили. Вскоре предстояла отправка на остров Руаяль. Клозио не открывал глаз, за исключением тех моментов, когда подходил я и клал ему руку на лоб. Тогда он приподнимал веки, взгляд был затуманенный, и тихо говорил.

— Дружище Папи... Мы с тобой настоящие друзья, верно?

— Мы больше, чем друзья. Мы братья, — отвечал я. В сопровождении всего одного охранника мы спустились к берегу — носилки с Клозио посередине, мы с Матуреттом по бокам. У ворот лагеря все заключенные Желали нам удачи. Придурок Пьеро повесил мне на спину рюкзак — он был полон табака, сигарет, шоколада и банок со сгущенкой Матуретт тоже получил рюкзак, только неизвестно от кого.

Одним из гребцов оказался Шатай. Весла врезались в воду, и мы поплыли. Продолжая грести, Шатай спросил:

— Ну как, все нормально, Папи? Получал орехи?

— Да. Только последние четыре месяца не было.

— Знаю. Это случайность. Но парень держался хорошо. И хоть знал только меня, не раскололся.

— А что с ним было дальше?

— Умер.

— Быть не может! Отчего?

— Санитар говорил, его так били, что разорвалась почка.

Наконец мы! у причала. Полуденное солнце жгло и слепило меня. Охранник приказал принести носилки. Двое дюжих парней-заключенных в белом подхватили Клозио, словно он весил не больше пушинки, и понесли. Мы с Матуреттом следовали за ним.

Каменистая дорога метра четыре шириной, крутой подъем. Наконец мы добрались до плато, где в тени квадратного белого здания нас уже поджидало самое высокое начальство острова в лице майора Барро по прозвищу Тощий. Не вставая и без всяких церемоний он спросил:

— Видать, одиночка — это еще не так страшно? Кто это там, на носилках?

— Клозио.

— В больницу его. И их тоже. Когда выйдут, дадите мне знать. Хочу потолковать перед тем, как их отправят в лагерь.

Жизнь заключенных на островах Спасения была особенная, ведь большую часть обитателей составляли настоящие преступники, весьма опасные, причем по разным причинам. Начнем с того, что питались они здесь прекрасно, поскольку буквально все было предметом торга — напитки, сигареты, шоколад, мясо, сахар, рыба, свежие овощи, кокосовые орехи, крабы и так далее. Поэтому здоровье у всех было отменным, чему способствовал и на редкость благодатный климат. Особенно опасны были приговоренные к пожизненному заключению. У них уже не оставалось надежды когда-либо выбраться отсюда. И заключенные, и охрана активно и круглосуточно занимались куплей-продажей. Жены охранников выбирали парней помоложе и посмазливей для работ по дому и часто превращали в своих любовников. Их называли «домашними» мальчиками. Одни работали садовниками, другие — поварами. Этот разряд служил как бы связующим звеном между лагерем и охраной. К мальчикам относились снисходительно — ведь без их участия торговля была бы невозможна, но, с другой стороны, слегка презирали. Ни один настоящий преступник не мог позволить себе пасть так низко, чтобы делать какую-то там домашнюю работу. Зато они с готовностью становились мусорщиками, подметальщиками, санитарями, тюремными садовниками, мясниками, пекарями, лодочниками, почтальонами. Главари же никогда не утруждали себя тяжелой работой под палящими лучами солнца и присмотром охраны — будь то строительство дорог или лестниц или посадка пальмовых плантаций, где рабочий день длился с семи утра до полудня, а затем — с двух до шести. Здесь был своеобразный мир со своими правилами и законами, где все про всех знали, где обсуждался каждый поступок и жест.

В воскресенье ко мне в больницу пожаловали в гости Дега и Гальгани, Мы ели рыбу с толченым чесноком, рыбный суп, картофель, сыр; кофе, пили белое вино. Все — Шатай, Гальгани, Дега, Матуретт, Гранде и я — собрались в комнате Шатая. Я в мельчайших подробностях рассказал им о побеге. Дега сказал, что в побегах больше не участвует. Он ожидал из Франции помилования — сокращения срока на пять лет. Что касается Гальгани, то его делом занялся какой-то корсиканский сенатор.

Я спросил, откуда здесь, по их мнению, лучше всего бежать. Раздался всеобщий вопль. Дега, оказывается, даже ни разу не помыслил о побеге, то же заявил и Гальгани. Шатай считал, что сад — самое удобное место для изготовления плота. Гранде сообщил, что работает в лагере кузнецом и что здесь есть мастерская, где можно подобрать все необходимое и где работают люди самых разных профессий — маляры, плотники, кузнецы, каменщики — всего около ста двадцати человек, занятых на строительстве тюремных зданий и сооружений. Дега тут же пообещал подобрать мне там работу, любую, какую захочу. Гранде предложил разделить с ним место банкомета за игорным столом, утверждая, что я смогу жить вполне безбедно на то, что перепадает за игру, конечно, если я буду ему подыгрывать, не прикасаясь к содержимому патрона. Позднее выяснилось, что занятие это действительно доходное, но чрезвычайно опасное.

Воскресенье пролетело незаметно.

— Уже пять, — сказал Дега, на руке которого красовались дорогие часы. — Пора обратно в лагерь.

На прощанье он подарил мне пятьсот франков на игру в покер, а Гранде отдал свой нож, совершенно великолепный, изготовленный в мастерской им самим. Грозное оружие.

— Не расставайся с ним ни днем, ни ночью.

— А как же обыски?

— Этим здесь в основном занимаются арабы. И если человек в списке особо-опасных, оружия никогда не находят.

— До встречи в лагере! — сказал Дега.

Все трое суток, что мы находились в больнице, я каждую ночь проводил рядом с Клозио. Внезапно ему стало хуже, и его перевели в двухместную камеру-палату, где лежал еще один, какой-то очень больной человек. Шатай бесконечно накачивал Клозио морфием.

Клозио умер сегодня утром. Придя в сознание накануне вечером, он попросил Шатая, не колоть его больше.

— Хочу умереть в трезвом уме и твердой памяти. И чтоб рядом с кроватью сидели мои друзья, — сказал он.

Клозио, наш друг, умер у нас на руках. Я закрыл ему глаза. Матуретт был убит горем. Клозио умер! Друг, с которым мы бежали. Его, завернутого в мешковину, бросят теперь акулам.

Я услышал эти слова «бросят акулам», и кровь застыла в жилах. На островах не копали могил для умерших заключенных. В шесть вечера на закате солнца труп вывозили в море и бросали в кишащую акулами воду» где-то между островами Сен-Жозеф и Руаяль.

Смерть друга сделала мое пребывание в больнице невыносимым. Я сообщил Дега, что собираюсь выйти дня через два. Он ответил запиской: «Попроси Шатая, чтобы он добился для тебя двухнедельного отпуска в лагере. За это время я смогу подобрать тебе работу». Матуретт собирался побыть в больнице еще немного. Шатай обещал устроить его помощником санитаря.

Выйдя из больницы, я предстал перед майором Барро по прозвищу Тощий.

— Папийон, — сказал он, — хотел повидать тебя перед отправкой в лагерь. Там у тебя есть один очень ценный друг, наш главный бухгалтер Луи Дега. Он утверждает, что ты не заслуживаешь тех отрицательных отзывов, что пришли из Франции, и, поскольку считаешь себя невинно осужденным, то естественно, должен пребывать в состоянии постоянного протеста. Должен сказать, я не разделяю эту точку зрения. Не желаешь ли ты заключить со мной одно соглашение?

— Почему бы и нет! Впрочем, все зависит от сути соглашения.

— Нет сомнения, ты человек, который сделает все возможное, чтобы сбежать с островов. Ты можешь даже преуспеть в своей попытке. Что касается меня, то мне осталось всего пять месяцев службы. А ты знаешь, чем оборачивается побег для коменданта? Вычитают зарплату сразу за год, отпуск сокращают на три месяца и дают его не раньше чем через полгода. А если расследование покажет, что это произошло по недосмотру коменданта, то можно и нашивку

потерять. Видишь, как все серьезно?.. Поэтому прошу: дай мне слово не бежать с островов до конца моей службы, потерпи пять месяцев.

— Начальник, даю слово чести! Я не уйду отсюда раньше чем через полгода,

— И пяти месяцев хватит.

— Ладно. Можете спросить Дега, он подтвердит, что я умею держать слово.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Но взамен я хочу попросить вас кон о чем.

— О чем?

— На эти пять месяцев я хотел бы получить работу, которая потом могла бы мне пригодиться. И еще — возможность перебраться на другой остров.

— Хорошо, договорились. Но это должно оставаться строго между нами.

— Конечно, начальник,

И вот с целым багажом из пары совершенно новых белых брюк, трех курток я соломенной шляпы я отправился в центральный лагерь в сопровождении охранника. Огромные деревянные ворота высотой метра четыре были нараспашку. У входа две комнаты для охранников, в каждой — по четверо дежурных. Никаких ружей, у всех только револьверы. Еще я увидел пять или шесть арабов.

Не успел я появиться у входа, как все они высыпали на улицу. Главный из них, корсиканец, сказал:

— Ну вот вам и новичок. Сразу видно, стреляный воробей.

Арабы уже приготовились было обыскать меня, но он остановил их.

— Нечего шарить по чужим сумкам и заставлять человека показывать все свое барахло! Входи, Папийон. Тут тебя ждет уже целая куча приятелей, уверен. Я — Соффрани. Желаю удачи на островах. Добро пожаловать!

— Спасибо, начальник.

Я вошел в просторный двор с тремя большими зданиями. В сопровождении охранника подошел к одному из них с табличкой на двери «Особая категория». Охранник крикнул:

— Староста!

Появился пожилой заключенный.

— Здесь новичок! Охранник развернулся и ушел.

Я вошел в огромную прямоугольную комнату, где размещалось сто двадцать человек. По обеим сторонам прохода тянулись решетчатые перегородки с одной лишь дверью из сварного железа. Они запирались только на ночь. Между стеной и перегородкой подвешены куски грубого полотна, которые здесь назывались гамаками — в них спали. Кстати, очень удобная и

гигиеничная штука, эти гамаки. У изголовья каждого — две полочки, куда можно сложить вещи; одна для одежды, другая для еды, посуды и прочего. Между перегородками тянулась «аллея» — проход метра три шириной. Здесь жили маленькими группами, гурби. В некоторых насчитывалось всего двое, в других — до десяти человек.

Не успел я войти, как меня со всех сторон окружили заключенные.

— Папи, давай сюда! Нет, к нам! Гранде взял мою сумку и сказал:

— Он будет жить с нами. — Я последовал за ним. Гаг мак для меня уже натянули. — Лови, браток! Вот тебе подушка, легкая, мягкая, чистое перо! — крикнул Гранде.

Я увидел массу знакомых лиц — корсиканцев и марсельцев, нескольких типов, которых знал еще по Парижу, встречался в Санте, Консьержери или в конвое. И спросил:

— Как это вы не работает в это время дня? Все дружно расхохотались.

— Слушай, золотыми бы буквами выбить эти слова! В нашем блоке пашут от силы по часу в день, да и то не все! А потом кучкуемся тут!

Да, прием был самый сердечный, оставалось надеяться, что и дальше все пойдет так же.

В этот момент случилась весьма необычная для меня вещь. Вошел какой-то тип, тоже в белом, он нес поднос, покрытый безукоризненно чистой салфеткой, и выкрикивал:

— Бифштексы, бифштексы! Кто желает бифштексы? Он приблизился к нашему углу, приподнял салфетку, и я увидел изумительные куски мяса, уложенные ровными рядами. Не хуже, чем в Париже в мясной лавке. Очевидно, Гранде был постоянным покупателем, поскольку тот не спросил его, хочет ли он бифштексов, а спросил сколько.

— Пять!

— Крестец или лопатку?

— Лопатку. Сколько с меня? Запиши в счет, тут у нас добавился еще один человек.

Продавец вынул блокнот и начал делать какие-то подсчеты. Затем сказал:

— Итого, сто тридцать пять франков.

— Ладно. Возьми и начинай счет по новой. Когда он ушел, Гранде заметил:

— Тут сдохнешь как собака без наличмана. Но есть и преимущество — торгуют буквально всем.

Действительно, здесь все торговали всем. Лагерный повар продавал мясо, предназначенное для заключенных. Часть мяса прямо с кухни шла охранникам, а большую раскупали за свои деньги заключенные. Ну и, конечно же, повар делился с кухонным надзирателем. И первыми его клиентами были ребята из блока «А» — особая категория, то есть из нашего блока.

Пекарь торговал выпечкой и тонкими длинными батонами, которые полагались здесь только охране, мясник продавал мясо, санитар — лекарства и наркотики, чиновник, от которого зависело распределение работ, — самые лакомые и доходные места или освобождения от работы, садовник — свежие овощи и фрукты, лаборант из больницы — результаты анализов и даже заходил столь далеко, что продавал медицинские заключения, плода симулянтов —

прокаженных, дизентерийных и так далее. Были здесь и мелкие воришки, специализирующиеся на кражах со дворов и домов охранников. Они тащили все подряд — яйца, цыплят, мыло. «Домашние» мальчишки торговали женщинами, на которых работали, и по просьбе приносили в лагерь масло, сгущенку, порошковое молоко, банки сардин, сыр и, конечно же, вино и более крепкие напитки. Были тут и такие, кому разрешалось ходить на рыбалку, и они, естественно, торговали своим уловом.

Но лучшим и выгоднейшим, хотя и небезопасным занятием считалась здесь карточная игра. Особенно доходно было содержать игорный стол. Согласно правилам, за ним никогда не должно быть больше трех-четырех человек на каждый блок из ста двадцати заключенных. Человек, который хотел вести стол, появлялся обычно ночью, когда игра была уже в разгаре, и заявлял:

— Я хочу место банкомета.

— Нет! — отвечали ему.

— Все говорят «нет»?

— Все!

— Тогда (он называл кого-то из присутствующих) я занимаю твое место!

Человек, которого он назвал, вставая, выходил на середину комнаты, и они дрались на ножах. Победитель становился хозяином стола и пяти процентов от любого выигрыша.

Здесь была масса умельцев, производящих разные занятные вещицы — ими тоже, конечно, торговали. Так, из панциря черепахи делали браслеты, серьги, ожерелья, портсигары, расчески и ручки для щеток. Однажды я даже видел целую шкатулочку из белой черепахи — настоящее произведение искусства. Другие занимались резьбой по скорлупе кокосовых орехов, коровьему рогу, делали змеек из дерева твердой породы. Самые мастеровитые работали с бронзой. И, конечно же, тут была целая армия художников.

Иногда они объединяли свои усилия. Так, например, рыбак ловил акулу. Особым образом он обрабатывал ее челюсти, оставляя их широко разверстыми, полировал и начищал каждый зуб. Затем какой-нибудь мастер изготавливал небольшой якорь из дерева. Якорь вставлялся в акулю пасть. Потом художник рисовал на нем картину. Чаще всего это был вид островов Спасения с морем. Наиболее популярный сюжет — очертания Руаяля и Сен-Жозефа на дальнем плане, над горизонтом заходит солнце, лучи освещают поверхность синего моря, а на море — лодка. В ней шестеро обнаженных по пояс заключенных стоят, подняв весла в воздух, на корме трое охранников с ружьями. А двое спускают в море гроб с покойником, из воды уже высунули свои разверстые пасти акулы и ждут труп. Внизу в правом углу подпись «Похороны на Руаяле» и дата.

Все эти изделия широко сбывались охранникам и их семьям.

Этот непрекращающийся круглосуточный бизнес свидетельствовал, что на острова шел большой приток денег, что не противоречило интересам администрации и охранников. Ведь люди, поглощенные разного рода комбинациями, куда легче управляемы и легче приспособляются к новому образу жизни.

Гомосексуализм здесь был признан почти официально. Все, начиная от коменданта, знали, что такой-то или такой-то является «женой» такого-то. И если его ссылали на другой остров, то

вскоре за ним следовала и его «подружка». Конечно, если их сразу не посылали вместе.

На сотню заключенных едва приходилось трое, решившихся бежать отсюда, даже среди приговоренных к пожизненному заключению. Но для побега надо прежде всего всеми силами и средствами стремиться попасть на материк — в Сен-Лоран, Куру или Кайенну. Впрочем, ссылали туда людей с ограниченным сроком, с пожизненным же могли попасть на материк лишь в том случае, если совершали убийство. Тогда их отправляли на суд в Сен-Лоран. Однако для этого надо было сознаться в содеянном, а это риск, грозящий пятью годами одиночки.

Можно было добиться перевода по состоянию здоровья. Если обнаруживали туберкулез, то отправляли в специальный «Новый лагерь» за восемьдесят километров от Сен-Лорана.

Проказа тоже срабатывала. И, конечно же, дизентерия. Получить нужную справку было несложно. Но и тут существовал огромный риск — почти два года жить в специзоляторе бок о бок с настоящими больными, страдающими от избранного вами заболевания. Легче всего было подцедить дизентерию.

Каждый день я узнавал о жизни на островах что-то новое. Обитатели нашего барака представляли собой удивительное смешение характеров и типов. Удивительное во всех отношениях — и в плане их прошлого, и в плане того, как они вели себя здесь. Я все еще не работал — ждал места ассенизатора, которое позволило бы свободно перемещаться по острову, не проработав и часа. К тому же тогда я мог бы ловить рыбу.

Утром на переключке перед отправкой на плантации носовых орехов выкликнули имя Жана Каетелли. Он шагнул из рядов и сказал:

— Это как понять? Выходит, меня посылают на работу? Меня?

— Да, тебя, — подтвердил охранник-надсмотрщик. — На, держи лопату!

Каstellи метнул в его сторону ледяной взгляд.

— Послушай, парень, оставь ее себе. Надо родиться в какой-нибудь гнилой дыре, чтобы уметь обращаться с этой штукой. Быть из провинции, как ты. Я же — корсиканец из Марселя. На Корсике настоящие мужчины никогда к ней не прикасаются. А в Марселе даже не знают о ее существовании! Так что забери свою лопату и оставь меня в покое.

Молодой охранник, как позднее выяснилось, еще плохо знакомый со здешними нравами, пригрозил Каstellи лопатой. И тут же все сто двадцать человек в один «голос взревели:

— Только тронь его, ублюдок, и ты мертв!

— Расходись! — заорал Гранде, и, не обращая внимания на охранников, толпа повалила в барак.

Блок «В» отправился на работу в полном составе. Блок «С» тоже. С десятков охранников вернулись и заперли решетчатую дверь. Такое случалось редко. Через час к нашему барaku их набегало человек сорок. Все с автоматами. Помощник коменданта, главный надзиратель, начальник охраны — все были здесь, за исключением самого коменданта, до начала инцидента отбывшего инспектировать остров Дьявола. Помощник коменданта сказал:

— Дачелли! Выкликайте поименно, по одному!

— Гранде!

— Здесь!

— Выходи!

Он вышел и оказался в окружении охранников. Дачелли скомандовал:

— На работу!

— Не могу.

— Отказываешься?!

— Нет, не отказываюсь. Болен.

— С каких это пор? Тебя нет в списке больных.

— А утром я не был болен. Сейчас заболел. Первые шестьдесят человек, вызванные таким образом, заявили точь-в-точь то же самое. Только один открыто отказался подчиниться. Наверняка он сделал это, чтобы его отправили в Сен-Лоран и отдали под суд, И когда его спросили: «Отказываешься?» — он ответил:

— Да, отказываюсь! Трижды отказываюсь!

— Трижды? Почему?

— Да потому, что меня от вас тошнит. Категорически отказываюсь работать на таких ублюдков, как вы!

Обстановка накалилась до предела. Охранники, в особенности помоложе, никак не могли смириться с тем, что заключенные так их унижают. Они ждали лишь угрожающего жеста или движения со стороны заключенных, который позволил бы им применить оружие.

— Всем вызванным раздеться! И марш в барак, быстро! Одежду начали снимать, время от времени слышался лязг упавшего на камни ножа. В этот момент появился врач.

— Смирно! Вот и врач! Доктор, будьте любезны осмотреть этих людей! Если они окажутся здоровы, немедленно в карцер! Все остальные — в барак!

— Это что же, все шестьдесят человек сказались больными?

— Да, доктор, за исключением вот этого, он просто отказывается работать.

— Так. Кто первый? — спросил врач. — Гранде, что с вами?

— Отравление, доктор. Охранниками. Все мы приговорены к длительным срокам, некоторые пожизненно. Надежды уйти с островов никакой. И вынести это можно только в том случае, если будет какое-то понимание и уважение к нашим законам. Но сегодня утром один охранник зашел слишком далеко — он пытался на, глазах у всех ударить ручкой лопаты нашего товарища, которого все здесь уважают. Причем не в целях самообороны, наш человек никому не угрожал. Он просто сказал, что не хочет иметь дела с лопатой. Вот источник нашей эпидемии, доктор, а там решайте сами.

Склонив голову, врач с минуту думал, а затем сказал:

— Санитар, запишите следующее: «По случаю массового пищевого отравления медицинский работник такой-то должен предпринять все необходимые меры для лечения заключенных, которые внесли себя в список больных. Каждому по двадцать граммов сульфата натрия. Что же касается заключенного такого-то, то его следует поместить в больницу на обследование и выяснить, был ли он в здравом уме, когда отказался работать».

Он повернулся и ушел.

— Все в барак! — заорал помощник коменданта. — Собрать барахло. И ножички, пожалуйста, не забудьте!

Весь день мы просидели в бараке. Никого не выпускали, даже человека, чьей обязанностью было ходить за хлебом. Около полудня, санитар в сопровождении двоих заключенных внес вместо супа деревянную лохань с сульфатом натрия. Но только трое из наших успели отведать слабительного. Четвертый забился в притворном припадке эпилепсии и опрокинул лохань, а заодно и ведро, а все ложки раскидал по сторонам. На том инцидент был исчерпан, разве что староста после долго мыл и убирал в бараке.

Сегодня весь день проговорил с Жаном Кастелли по прозвищу Старина. Он был профессиональным взломщиком, человеком необычайной силы воли и высокого интеллекта. Он ненавидел насилие. У него было много разных странностей, например, он мылся только самым простым мылом. Стоило ему унюхать, что я мылся «Палмолив», как он морщил нос и восклицал:

— Господи, ну и воняет! Как от педрилы! Намылся шлюхиным мылом!

Было ему пятьдесят два, но, несмотря на это, энергия так и была из него ключом.

— Папийон! Ты мне прямо как сын. Жизнь здесь тебя не интересует. Ты хорошо ешь, потому что хочешь сохранить форму. Но ты никогда не сможешь осесть здесь, за островах. Я поздравляю тебя. Тут едва наберется полдюжины ребят, что придерживаются того же образа мыслей. Особенно в плане побега. Здесь немало людей, готовых заплатить целое состояние, чтобы попасть на материк, откуда бежать легче, но в побег с островов никто не верит.

Старина Кастелли посоветовал мне учить английский и при любой возможности говорить с испанцами по-испански. Он одолжил мне учебник испанского в двадцать четыре урока и франко-английский словарь. Он очень дружил с марсельцем по имени Гарде, большим спецом по побегам. Сам марселец бежал уже два раза — первый раз с португальской каторги, второй — с материка. У него были свои идеи относительно побега с островов, у Кастелли — свои. Тулузец Гравон имел свое мнение. И все они не совпадали. Поэтому я решил мыслить и действовать самостоятельно, ни с кем больше не советуясь.

Вчера вечером мне представилась возможность дать понять в бараке, что почем и кто я такой. Некий громила из Нима по прозвищу Баран пытался спровоцировать на драку на ножах одного паренька из Тулузы по прозвищу Сардинка. Баран, голый по пояс, перегородил проход и, играя ножом, сказал:

— Или гонишь мне двадцать пять франков за каждую игру, или играть не будешь!

— Да здесь сроду никто никому ничего не платил за игру в покер! — воскликнул Сардинка. —

Чего прицепился? Чего б тебе не пойти туда, где играют марсельцы?

— А это не твоего ума дело! Или платишь, или не играешь! А не то давай драться.

— Нет, драться я не буду.

— Тогда, значит, сваливаешь?

— Да. Не хочу получить перо в брюхо от гориллы, которая даже ни разу не попробовала бежать! Я лично собираюсь бежать и не хочу убивать или быть убитым.

Все напряглись: что будет дальше?

— Этот малыш наверняка хороший парень, — шепнул мне Гранде. — Жаль, что мы ничем не можем ему помочь.

Я раскрыл нож и сунул его под бедро. Сидел я в гамаке у Гранде.

— Эй ты, вошь! Так будешь платить или нет? — И Баран шагнул к Сардинке.

И тут я крикнул:

— А ну, заткни свою вонючую пасть, Баран! И оставь парня в покое!

— Ты что, взбесился, Папийон? — прошептал Гранде. Сидя все так же неподвижно с припрятанным под ногой ножом и держа руку на рукоятке, я сказал:

— Нет, не взбесился. Вот что я хочу сказать при всех, прежде чем начну с тобой драться, Баран. Если ты, конечно, не раздумаешь после того, что услышишь. За все время, что я сижу в этом бараке, где нас больше сотни, и все ребята будь здоров, мне стыдно и больно видеть, что одна-единственная стоящая чего-нибудь вещь здесь презирается. Лично я, считаю, что, если человек бежал или доказал, что может бежать и готов рискнуть жизнью ради свободы, он заслуживает уважения всех и каждого, невзирая на все остальные качества. Может, кто не согласен? — Молчание. — Да, здесь свои законы, но нет самого главного: каждый должен не только уважать беглеца, но всячески помогать и поддерживать. Не обязательно должен бежать каждый. Но если у вас не хватает духу рискнуть и попробовать начать жизнь сначала, то по крайней мере отдавайте должное тем, кто на это решается. И если кто забудет этот простой мужской закон, то он свое получит, обещаю. Ну а теперь, Баран, если не раздумал, я к твоим услугам! — И одним прыжком я оказался на, середине комнаты с ножом в руке. Баран швырнул свой нож на пол и сказал:

— Ты прав, Папийон. Поэтому на ножах я драться с тобой не буду. Давай на кулаках, чтобы не думали, что я трусливая вошь!

Я передал нож Гранде. И мы сцепились, как две дикие кошки. Продолжалось все это минут двадцать. В конце концов после ловкого удара головой я вышел победителем.

Мы отправились вместе в сортир смывать кровь с физиономий.

— Ты прав! — сказал Баран, — Все мы стали тупым и послушным стадом на этих островах. Я торчу здесь вот уже пятнадцать лет, но так и не собрал несчастные тысячу франков, чтобы перебраться на материк. Позор!

Я вернулся к своим, и тут же на меня набросились Гранде и Гальтани.

— Рехнулся ты, что ли! Так. всех оскорблять! Просто чудо» что никто не выпрыгнул в проход с ножом и не прикончил тебя.

— Нет, ребята! Ничего удивительного. В уголовном мире принято: если человек неправ, он открыто признается в этом.

— Что ж, может, и так, — сказал Гальгани. — Однако не стоит шутить с огнем.

Прошлой ночью убили итальянца по имени Карлино Он жил с «женой» — молоденьким мальчиком. Оба работали садовниками. Должно быть, он знал, что его жизнь в опасности, потому что ночью, когда он спал, его сторожил мальчик, и наоборот. А под гамак они накидали пустых жестянок, чтоб слышать, если кто попробует подобраться. И все равно его убили. И именно снизу, через гамак: Вслед за его пронзительным воплем раздался грохот жестянок, на которые наткнулся убийца.

Гранде в это время сидел за игрой с марсельцами. Их там собралось человек тридцать. Я стоял рядом. Крик и грохот банок остановили игру. Все вскочили. Приятель Карлино ничего не видел, а сам Карлино уже не дышал. Староста спросил, стоит ли вызывать начальство. Нет, успеется завтра утром, на перекличке. Раз человек умер, ему ничем не поможешь.

— Никто ничего не слышал! — Сказал Гранде. — В том числе и ты, малыш, — обратился он к приятелю Карлино — Скажешь, что проснулся утром, а он уже мертвый.

И игра возобновилась.

Я с нетерпением ждал, что же произойдет, когда надзиратели обнаружат убийство. В полшестого первый гонг. В шесть — второй и кофе. В половине седьмого после третьего гонга все выходили на перекличку.

Однако на этот раз установленный порядок был нарушен. После второго гонга староста обратился к охраннику, сопровождавшему разносчика кофе:

— Начальник, тут человека убили!

— Кого?

— Карлино.

— Хорошо.

Десять минут спустя явилось шестеро охранников.

— Где труп?

— Там.

Они увидели нож, воткнутый в спину Карлино через полотно гамака. И вытащили его.

— Носилки и забрать его!

Двое унесли труп. Взошло солнце Третий гонг. Держа окровавленный нож двумя пальцами, надзиратель отдал команду:

— Все во двор, на перекличку! В том числе и больные!

Все вышли. Комендант и начальник охраны всегда присутствовали на утренней перекличке. Когда дошли до Карчино, староста ответил:

— Умер сегодня ночью, забрали в морг.

— Хорошо, — сказал охранник, ведущий перекличку. Выяснилось, что все остальные на месте, и начальник лагеря подняв нож, спросил:

— Кто-нибудь узнает этот кож? — Нет ответа. — Кто-нибудь видел убийцу? — Мертвая тишина — Значит, как всегда, никто ничего не знает?.. Шагом марш мимо меня, руки вытянуть вперед! А потом все по своим рабочим местам! Вот так, господин комендант, никогда нельзя выяснить, кто виноват.

— Расследование закончено! — резюмировал комендант. — Заберите нож и прикрепите к нему бирку с надписью: «Им убит Карчино».

И все. Для здешнего начальства жизнь заключенного значила не больше, чем жизнь бродячей собаки.

С понедельника я начал работать ассенизатором. В половине пятого вышел из барака и еще с одним, человеком начал опорожнять параша блока «А» — нашего блока. Их надо было свозить к морю и выливать. Но возница, если ему заплатить, соглашался ждать на плато в том месте, где к морю вел узкий зацементированный желоб. Тогда быстро, минут за двадцать, мы выливали все содержимое бочек в него, а потом — тонны три морской воды, которая все смывала. Морскую воду заранее привозил в огромной бочке один очень славный негр с Мартиники, которому мы платили по двадцать франков в день.

Итак, я ассенизатор. Каждый день, закончив работу, я хорошенько мылся, переодевался в шорты и отправлялся на рыбалку. От меня требовалось только одно — быть в лагере в полдень. Через Шатая удалось раздобыть удочки и крючки. И когда я шел по дороге, неся на проволоке целую связку прекрасной крупной султанки, меня часто окликали с порога жены охранников:

— Эй, Папийон! Продай пару килограммов султанки! Уловы были большие, но я отдавал всю рыбу ребятам в лагере. Или менял на тонкие длинные батоны, овощи или фрукты. Как-то я шел к лагерю с доброй дюжиной крупных крабов и несколькими килограммами султанки, и меня окликнула какая-то толстая женщина:

— Смотрю, у тебя хороший улов, Папийон! А море такое беспокойное, никто ничего не ловит. Уже недели две рыбы не ела. Жаль, что ты не продаешь никому. Жены охранников жалуются.

— Это верно, мадам. Но для вас я могу сделать исключение.

— Это почему?

— Вы несколько полноваты, рыба вам полезна.

— О Да! Врач рекомендовал мне есть только овощи и отварную рыбу. Но где ее взять?

— Здесь, мадам. Вот, возьмите крабов и султанки. — И, я отдал ей килограмма два рыбы.

С того дня всякий раз, когда улов бывал приличный, я отдавал ей часть рыбы. Она прекрасно знала, что на островах все продается и покупается, но никогда ничем меня не благодарила, кроме «спасибо», и была, конечно, права, потому что понимала — я оскорблюсь, если она

предложит мне деньги. Зато она часто приглашала меня в дом, где сама наливала стаканчик ананасового ликера или белого вина. А если ей присылали с Корсики кенкину, она всегда угощала меня. Мадам ни разу не задала мне ни единого вопроса о прошлом. Именно от нее узнал я происхождение названия островов. Когда однажды в Кайенне разразилась эпидемия желтой лихорадки, монахи и монахини одного монастыря нашли здесь убежище и все до единого спаслись. С тех пор они и стали зваться островами Спасения.

Под предлогом рыбалки я мог ходить всюду, где заблагорассудится. За три месяца, что я работал ассенизатором, мне удалось изучить остров вдоль и поперек. А под предлогом обмена рыбы на овощи и фрукты я заглядывал и в сады. Садовником в одном из них, что возле кладбища для охранников, был Матье Карбоньери из моего гурби. Он работал совершенно один, и я подумал: вот удобное место, где можно изготовить и спрятать плот, ведь уже через два месяца комендант уезжает, и руки у меня будут развязаны.

Все складывалось довольно удачно. Официально я числился ассенизатором, но на деле почти всю работу выполнял за меня негр с Мартиники. Ему, конечно, платили за хлопоты. Я подружился с двумя свояками, приговоренными к пожизненному, Нариком и Кенье по прозвищу Тачечники. Говорили, что они убили и зацементировали в бетонную плиту сборщика налогов. Нашлись и свидетели, которые видели, как они катили эту плиту в тачке и по всем предположениям столкнули ее затем в Марну или Сену. Следствие установило, что сборщик налогов заходил к ним в дом, и с тех пор его больше никто не видел. Свояки все отрицали напрочь и, даже сидя на каторге, продолжали твердить, что невиновны. И хотя тела полиция так и не нашла, она обнаружила голову, завернутую в платок. А дома у Тачечников нашлись платки, которые, согласно заключению экспертизы, точь-в-точь соответствовали по строению и составу нити тому, в который была завернута голова. Однако адвокаты и сами подсудимые доказали, что тысячи и тысячи метров такой же ткани производится на фабрике. У всех такие платки. В конце концов родственников приговорили к пожизненному заключению, а жена одного из них и сестра другого получили по двадцать лет каторги.

Я сблизился с ними. Они работали строителями и могли свободно входить и выходить из лагеря. Возможно, понемногу им удастся раздобыть все необходимое для, постройки плота. Надо лишь их уговорить.

Вчера встретил врача. Я тащил рыбину килограммов на двадцать под названием меру — настоящий деликатес. Нам оказалось по дороге. На полпути мы присели отдохнуть на низкую изгородь. Он сказал, что умеет готовить великолепный суп из головы этой рыбы. И я отдал ему голову и вдобавок — большой кусок мяса. Он удивился и после паузы сказал:

— Не держи на меня зла, Папийон.

— Что вы, доктор, напротив. Я так признателен вам за то, что вы сделали для моего друга Клозио.

Мы поболтали еще немного, а потом он спросил;

— Ты действительно хочешь бежать, Папийон? Я же знаю, ты человек неординарный и совсем не похож на остальных заключенных.

— Верно, доктор. Тюрьма не для меня. Я здесь только временный жилец.

Он собрался были рассмеяться, но я его остановил:

— Вы не верите, что человек может начать новую

жизнь?

— Ну почему же нет, конечно, верю!

— Как вам кажется, могу ли я жить в обществе, быть уважаемым его членом и не представлять для него опасности?

— Искренне верю в это.

— Тогда почему бы вам не помочь мне осуществить эту мечту?

— Каким образом?

— Отправьте меня на материк как больного туберкулезом.

И тут он подтвердил мои худшие опасения.

— Это невозможно. И потом, не советую. Это просто опасно. По болезни могут отправить лишь после того, как человек провел год в специзольаторе для больных той же болезнью.

— Почему?

— В этом довольно стыдно признаваться, но мне кажется, здесь расчет на то, что симулянт знает, что может заразиться, находясь рядом с настоящими больными, на деле так и происходит. Нет, я ничем не могу тебе помочь. С тех пор мы с врачом подружились и дружили вплоть до того момента, когда он чуть не убил моего друга Карбоньери. Матье Карбоньери тем временем поступил по моему совету помощником повара на кухню одного из лагерных начальников. И все для того, чтобы узнать: есть ли шанс украсть там три бочки из-под вина, масла или уксуса, которые могли бы пригодиться для строительства плота. Но осуществить это было довольно сложно — в течение одной ночи мы должны были украсть эти бочки, тихо и незаметно доставить их к морю, а там связать проводом. Единственный шанс появлялся в штормовую погоду с дождем и ветром. Но в шторм трудно спустить плот на воду.

Итак, Карбоньери работает на кухне. Шеф-повар дал ему трех кроликов, которых следовало приготовить к воскресному обеду. К счастью, Карбоньери успел освежать их прежде, чем отправить одного своему брату и двух нам. Затем он убил трех жирных котов и приготовил роскошное жаркое. Но, к несчастью для Карбоньери, на обед был приглашен врач, который, отведав «кроликов», заметил:

— Месье Филидори, поздравляю вас, у вас прекрасный повар. Эти кошки просто восхитительны!

— Вы что, шутите, доктор? Это блюдо из замечательных упитанных кроликов.

— Нет, — сказал доктор с упрямством мула. — Это кошка. Вот, видите ребрышки? Они плоские. А у кроликов округлые. Это кошка, вне всякого сомнения — кошка!

— Господи Боже, мой! — воскликнул корсиканец. — Так у меня в желудке кот?! — И он бросился на кухню и сунул револьвер к носу Матье:

— Может, ты тоже бонапартист, как и я, но это не помешает мне прихлопнуть тебя за то, что ты заставил меня съесть кота!

Карбоньери никак не мог смекнуть, откуда он знает, и сказал:

— Если уж вам так хочется называть тех зверюшек, которых вы мне дали, кошками, — это ваши проблемы, а не мои.

— Я дал тебе кроликов!

— Ну их я и сготовил! Вон там головы и шкурки! Корсиканец увидел кроличьи головы и шкурки и окончательно запутался.

— Получается, этот врач сам не знает, что болтает.

— А, так это врач сказал! — воскликнул Карбоньери, еле переведя дух. — Так это же он над вами издевается! Вы ему скажите, что так шутить нехорошо.

Совершенно счастливый Филидори отправился в столовую и заявил врачу:

— Болтаете Бог знает что, доктор! Это вино вам в голову ударило. Круглые там ребрышки или плоские, я все равно знаю, что это кролики! Там их шкурки и головы.

Матье тогда едва уцелел. И несколько дней спустя решил оставить столь опасную должность.

Время решительных действий приближалось. Барро должен уехать через несколько дней. Вчера я ходил повидаться с его женой-толстушкой, которая, кстати, сильно похудела, сидя на диете из рыбы и овощей. Эта добрая женщина пригласила меня в дом и дала бутылку кенкины. Они готовились к отъезду. Вся комната была забита полуупакованными ящиками и сундуками.

— Папийон, — сказала мадам Барро, — я не знаю, чем отблагодарить тебя за твою доброту. Ведь когда улов у тебя был небогатым, ты отдавал мне всю рыбу. И теперь благодаря тебе я чувствую себя куда лучше, похудела на четырнадцать килограммов. Чем тебя отблагодарить?

— Мне очень нужен хороший компас, мадам. Маленький, но точный. Это сложно?

— Не так уж и сложно, Папийон, но для этого нужно время. А у нас всего три недели осталось.

За неделю до отъезда эта великодушная женщина, не сумев достать компас на острове, специально отправилась в Кайенну. И через четыре дня вернулась с великолепным антимагнитным компасом.

Тетрадь седьмая

ОСТРОВА СПАСЕНИЯ

ПЛОТ В МОГИЛЕ

К концу пятого месяца я знал на острове каждый угол и закоулок. Наилучшим местом для постройки плота был, по моему мнению, сад возле кладбища, где когда-то работал мой друг Карбоньери. Я попросил его снова занять эту должность и постараться обходиться без чьей-либо помощи. Он согласился и благодаря Дега получил это место.

Однажды утром, проходя мимо дома нового коменданта с прекрасным уловом, я услышал, как заключенный из «домашних» мальчиков говорит какой-то молодой женщине-

— Мадам, вот тот человек, который носил рыбу мадам Барро.

Хорошенькая темноволосая и загорелая женщина немного восточного типа воскликнула:

— Так это Папийон? — и обратилась ко мне: — Как-то мадам Барро угостила меня изумительным блюдом из крабов вашего улова. Зайдите! Надеюсь, не откажетесь от стаканчика вина и козьего сыра, который мне только что прислали из Франции?

— Нет, благодарю, мадам.

— Но почему нет? Вы же заходили к мадам Барро, почему бы и ко мне не зайти?

— Я заходил с разрешения ее мужа.

— Послушайте, Папийон, мой муж командует в лагере, а командир в доме я. Заходите, не стесняйтесь!

Я почувствовал, что эта хорошенькая волевая женщина может быть или очень полезной, или крайне опасной для меня, я зашел.

В стойловой она угостила меня ветчиной и сыром, а потом без всяких церемоний присела напротив и налила мне вина, а затем кофе с отличным ямайским ромом.

— Папийон, — сказала она, — несмотря на всю предотъездную суету, мадам Барро сумела рассказать мне о вас. Я знаю, она была единственной на острове женщиной, которая получала от вас рыбу. Надеюсь, и мне вы не откажете?

— Я давал ей рыбу, потому что она болела. А вы, насколько можно судить по вашему виду, вполне здоровы.

— Я никогда не вру, Папийон. Да, я действительно здорова, но я родилась у моря и обожаю рыбу. Я из Орана. Меня смущает только то, что вы не берете за рыбу денег. Это ставит в неловкое положение.

Короче, она уговорила меня, и я согласился поставлять ей рыбу. Отдал ей килограмма три султанки, шесть лангустов и только закурил, как в комнату вошел комендант. Увидев меня, он сказал:

— Жюльетт, я же предупреждал за исключением помощника по дому ни один заключенный не должен переступать нашего порога!

Я вскочил, но она сказала:

— Это заключенный, о котором говорила мадам Барро. Кроме него, никто заходить не будет. Мы договорились, что он станет приносить мне рыбу.

— Хорошо, — сказал комендант. — Ваше имя?

Я уже было снова привстал, но Жюльетт, положив мне руку на плечо, заставила сесть.

— Это мой дом, — сказала она, — и комендант здесь не комендант. Он просто мой муж — господин Пруйе.

— Благодарю, мадам. Мое имя Папийон.

— А-а, так я о вас слышал! И о вашем побеге из больницы в Сен-Лоране, и о прочих подвигах

тоже. Кстати, один из охранников, которого вы тогда оглушили, мой племянник.

Жюльетт весело расхохоталась.

— А, так это вы вырубили беднягу Гастона? Впрочем, это не повлияет на наши отношения.

— Скажите, — обратился ко мне комендант, — а вы давно рыбачите? И какая у вас работа, что вы можете себе это позволить?

— Я ассенизатор. Заканчиваю работу в шесть утра и тут же беру удочку.

— А потом сидите с ней целый день, — добавила Жюльетт.

— Нет, к полудню я должен быть в лагере. С трех до шести снова можно выходить. Неудобно, конечно. Из-за всех этих приливов и отливов я упускаю самое лучшее время для рыбалки.

— Выпиши ему специальный пропуск, дорогой! — обратилась Жюльетт к мужу. — С шести утра до шести вечера. И пусть себе ловит, когда ему хочется.

— Хорошо, — ответил комендант.

Случайно я познакомился с одним человеком из Валанса. Он был почти мой земляк. Сидел за убийство лесника. Отчаянный игрок по натуре, вечно в долгах. Днем он трудился как проклятый над разными поделками из дерева, а за ночь спускал за игорным столом все заработанное. Он часто работал просто за долги, и этим бессовестно пользовались кредиторы. Иногда шкатулку из красного дерева стоимостью в триста франков он отдавал за сто пятьдесят — двести. Я решил прощупать его.

Как-то в умывалке я сказал ему:

— Надо бы вечером потолковать. Буду ждать в сортире. Дам знать когда.

И вот ночью мы оказались одни и могли спокойно говорить. Я сказал:

— А ты знаешь, что мы из одних краев, Бурсе?

— Нет. Как это?

— Ведь ты из Валанса?

— Да.

— Ну вот. А я из Ардеша. Так что мы земляки.

— Ну и что с того?

— А вот что. Видеть не могу, как тебя обдирают твои кредиторы. Прямо как липку. Лучше уж приноси мне свои вещи и получишь полную стоимость, вот и все.

— Спасибо, — сказал Бурсе.

И я начал помогать ему. Он совершенно запутался в долгах. Все бы ничего, но однажды он задолжал Вичиоли, корсиканскому бандиту и доброму моему приятелю. Об этом поведал мне сам Бурсе и добавил, что Вичиоли угрожает ему, требуя немедленно отдать долг — семьсот

франков. Маленький письменный стол, который он для него мастерил, был почти готов. Но он не знал, когда сможет закончить работу, потому что делал ее тайно. В лагере запрещалось изготавливать мебель — на островах не хватало дерева. Я обещал помочь, чем могу, и договорился разыграть с Вичиоли маленький спектакль.

Вичиоли должен был сделать вид, что давит на Бурсе со страшной силой и угрожает самым серьезным образом. В критический момент появляюсь я и спасаю ситуацию. Именно это и произошло. Теперь Бурсе был, что называется, у меня в кармане и доверял мне слепо. И я решил рискнуть.

Однажды вечером я сказал ему:

— Дам две тысячи, если изготовишь мне одну вещь. Плот на двоих из двух секций, которые можно собрать.

— Знаешь, Папийон, ни для кого бы не стал, но для тебя готов рискнуть даже двумя годами одиночки, если застукают. Тут только одна загвоздка. Со двора нельзя выносить ни единого кусочка дерева.

— Есть люди, которые это устроят.

— Кто?

— Тачечники. Нарик и Кенье. Как лучше это организовать?

— Ну, сначала надо сделать чертеж, потом подбирать куски дерева, по одному, чтобы все в точности можно было подогнать. Трудно найти плавучее дерево, на этих островах все деревяшки, как назло, тяжелые, тут же тонут,

— Бежишь со мной?

— Нет.

— Почему нет?

— Боюсь акул и утонуть тоже.

— Тогда обещаешь помогать мне до конца?

— Клянусь жизнью детей. Только много времени все это займет.

— Знаешь, чтобы тебя обезопасить, я придумал одну штуку. Чертеж плота я скопирую в своей тетрадке. А внизу напишу: «Бурсе, если не хочешь, чтоб тебя убили, делай плот, как тут нарисовано». Плот по частям будешь приносить в условленное место. Так что, если тебя застукают, схлопочешь максимум полгода, не больше.

Итак, с этим тоже все было в порядке. Оставалось лишь переговорить с Матье Карбоньери, он был именно тот человек, с которым я хотел бежать. Матье с радостью согласился.

— Матье, я нашел человека, который сделает плот. Нашел и того, кто будет выносить готовые секции со двора. Теперь дело за тобой — ты должен найти место в саду, где можно его спрятать.

— Нет, в огороде опасно. По ночам в него часто лазят охранники воровать овощи. Лучше я

подберу местечко у кладбищенской ограды. Выну там большой камень, подкопаю немного, и получится вроде небольшой пещерки. А придет срок — стоит только отвалить камень и прятать там все, что хочешь.

— Так что, все эти секции доставлять тебе прямо в сад?

— Нет, слишком рискованно. Что скажут Тачечники, если их застукают в саду? Нет, лучше скажи им, пусть прячут каждый кусок в разных местах, недалеко от сада

— Ладно.

Все вроде бы складывалось благополучно. Оставалось лишь решить проблему с кокосовыми орехами. Я должен был раздобыть их в количестве, достаточном для того, чтобы забить ими все внутреннее пространство между доска-пи, чтобы они поддерживали плот на плаву. Причем сделать это надо было, не привлекая ничьего внимания.

Прошло чуть больше месяца, как я начал готовиться к побегу. Были готовы уже семь секций плота, причем две из них довольно большие. Теперь предстояло ознакомиться с местом, где Матье собирался устроить тайник. Но пещерка показалась мне слишком маленькой, чтобы там можно было запрятать все. Впрочем, на данный момент достаточно.

Подготовка к побегу словно возродила меня к жизни. Я окреп морально и физически, хорошо и много ел, чему в немалой степени способствовала и рыбная ловля. Кроме того, каждое утро я посвящал два часа специальным упражнениям на скалах, уделяя особое внимание ногам — руки и так окрепли благодаря рыбалке. Для ног я придумал особое упражнение. Заходил в море и стоял там, а волны разбивались о мои бедра. Чтобы устоять на месте, приходилось сильно напрягать мышцы — результат превосходил все ожидания.

Тайник был почти полон. Оставалось получить лишь две секции, самые длинные одну двухметровую, другую — около полутора метров. Они бы в тайник не влезли.

На кладбище я заметил свежую могилу. Там неделю назад похоронили жену одного из охранников. Холмик венчала жалкая кучка полусохших цветов. Кладбищенским сторожем служил бывший заключенный по прозвищу Папа — престарелый и полуслепой. Целый день напролет он просиживал в тени кокосовой пальмы в дальнем конце кладбища, откуда никак не мог видеть эту могилу и что происходит вокруг нее. И я решил использовать это укромное место для сборки плота и наполнения его кокосовыми орехами. Их вмещалось штук тридцать — тридцать пять, гораздо меньше, чем я рассчитывал. К тому времени я накопил их по разным местам около пятидесяти. Только во дворе у Жюльетт хранилось штук двадцать. «Домашний» мальчик полагал, что из них собираются гнать масло.

Услышав, что муж умершей женщины уехал на материк, я решил вытащить из могилы часть земли — до крышки гроба.

Матье сторожил, сидя на изгороди. На голове у него красовался белый платок, завязанный узелками по углам.

Рядом лежал еще один тоже завязанный узелками, только красный. Когда опасности не предвиделось, Матье оставался в белом платке, но если кто-то появится, он должен тут же сорвать его и натянуть красный.

Это многотрудное предприятие заняло у меня весь день и ночь. Яму следовало увеличить до ширины плота — метр девяносто плюс небольшой зазор. Время тянулось бесконечно, и

красный платок появлялся несколько раз. Наконец к утру все было готово. Яму накрыли пальмовыми листьями, получился довольно надежный настил. Сверху в целях маскировки накидали земли.

Из тайника мы вытащили все части плота, заранее пронумерованные и собранные. Теперь они покоились на крышке гроба почтенной матроны, скрытые листьями и землей. В тайнике возле изгороди мы спрятали три мешка от муки, двухметровую веревку для паруса, бутылку со спичками и дюжину банок сгущенки — вот и все наши припасы.

Настал сезон дождей. Ливни шли практически каждый день. Это было как нельзя на руку: я часто посещал тайник и почти закончил сборку плота. Оставалось закрепить лишь две боковые доски в раме. Кокосы я постепенно подтаскивал все ближе и ближе к саду. Теперь они хранились под навесом старого, стойла для быков, откуда их можно было забрать в любой момент и без всякого риска. Мои друзья не задавали лишних вопросов. Лишь время от времени интересовались:

— Ну как, все нормально?

— Да, прекрасно.

— Что-то дело затянулось...

— Иначе нельзя, рискованно! — Вот и все.

Когда я в очередной раз выносил со двора Жюльетт орехи, она заметила меня и страшно напугала.

— Эй, Папийон, а я-то думала, ты собираешься гнать масло... Почему не здесь, во дворе? Я дам тебе нож открывать орехи и большую сковородку.

— Да ладно, в лагере сделаю...

— Странно, ведь там неудобно. — И после некоторой паузы она добавила: — А знаешь, я ни на грош не верю, что ты собираешься делать, масло. — Я похолодел. — Ну, во-первых, зачем оно тебе, если я и так даю тебе масло, оливковое? Нет, эти орехи предназначены для чего-то другого, ведь так? Сознайся

По спине у меня побежали струйки пота. Каждую секунду я ожидал услышать слово «побег». С замиранием сердца я пробормотал:

— Мадам, это тайна. Вы так любопытны и обязательно хотите знать, но это испортит сюрприз. Единственное, что я могу сказать, — я специально отбирал самые большие орехи, из которых можно сделать для вас одну очень славную вещь. Честное слово!

Она, видимо, поверила.

— Ах, Папийон, мне, право, неудобно. К тому же я категорически запрещаю тебе тратить на подарки! Я, конечно, очень тронута и благодарна, но прошу — не делай этого!

— Ладно, там видно будет... — Боже, какое облегчение! И я неожиданно даже для себя вдруг попросил у нее стаканчик анисовой, чего прежде никогда не делал. К счастью, она не заметила, как я распахивался. Бог миловал.

Дождь шел каждый день. Как правило — днем и ночью. Я опасался, что вода смывает земляное покрытие и обнажится настил из пальмовых листьев. Матье каждый день накидывал на него свежую землю. Должно быть, там, внизу, все промокло. С помощью Матье я сдвинул настил — вода уже почти дошла до крышки гроба. Критическое положение. Невдалеке находилась маленькая часовня над склепом двоих давно умерших детей. Как-то раз мы сдвинули каменную плиту, загораживающую вход. Я вошел внутрь и начал проделывать в цементе отверстие на том уровне, где находилась могила с плотом. Пробив его, я едва успел вытащить свой инструмент, как в часовню хлынула вода. Это была вода, скопившаяся в могиле. С помощью этой операции нам удалось осушить тайник примерно наполовину. В тот вечер Карбоньери сказал:

— Ну и тягомотина с этим побегом!

— Ладно, еще чуть-чуть, и все, Матье!

— Чуть-чуть... Будем надеяться. И так все время на иголках.

Наутро я отправился в гавань. Накануне пришлось попросить Шатая купить два килограмма рыбы, пообещав, что я приду и заберу ее. Проходя мимо сада Карбоньери, я заметил там три белых шлема. Что делают охранники в саду? Что они ищут?.. Странно... Никогда прежде не видел здесь охранников. Я затаился и выжидал более часа. Наконец решил пойти и посмотреть, в чем дело. И совершенно открыто, ни от кого не прячась, зашагал по дорожке, ведущей в сад. Охранники наблюдали за моим приближением. Когда до них оставалось метров двадцать, я вдруг увидел, что Матье натягивает на голову белый платок. Я с облегчением вздохнул и взял себя в руки.

— Доброе утро, господа охранники! Доброе утро, Матье! Вот, пришел за папайей, которую ты мне обещал.

— Прости, Папийон, но какая-то сволочь сперла ее сегодня рано утром, пока я ходил за подпорками для фасоли. Но не расстраивайся, дня через четыре — пять еще, созреют. Уже начали желтеть. Кстати, господа, вам для ваших жен не нужны помидоры, салат, редиска?

— Ты здорово ухаживаешь за своим садом и огородом, Карбоньери, поздравляю! — сказал один из охранников.

Они набрали помидоров, салата и редиски и удалились донельзя довольные. Я нарочно ушел незадолго до них с двумя пучками салата и как бы невзначай прошел мимо могилы. Дождь смыл землю, и уже метров за десять был виден настил из пальмовых листьев. Да, если уж они и этого не заметили, то Бог действительно крайне милостив к нам.

Каждую ночь дул сильный ветер, яростно завывая над долиной. Он часто приносил с собой дождь. Будем надеяться, ненастье продлится. Идеальная погода для побега, но не для могилы, где хранится плот»

Наконец благополучно была доставлена последняя планка» ее следовало прикрепить к плоту, что я и сделал.

Бурсе обрадовался, узнав, что все сошло благополучно. Я спросил его:

— А ты что, сомневался или подозревал кого? Может, кому-то проболтался?

— Упаси Бог, абсолютно никому!

— Но я же вижу — ты на взводе и дергаешься. Говори!

— Знаешь, тут на меня так подозрительно пялился один парень, Бебер Селье. Кажется, он заметил, как Нарик вытягивал эту планку из-под стола, а потом сунул ее в бочку с известью и укатил со двора. Он следил за Нариком до самых ворот. А братья собирались белить стену одного барака. Вот потому и дергаюсь.

Я обратился к Гранде:

— Слушай, этот Бебер Селье из нашего блока... Тебе не кажется, что он стукач?

— Он бывший вояка, прошел штрафной батальон. Помотался по всем военным тюрьмам от Алжира до Марокко. Драчлив, любит баловаться с ножом, равнодушен к мальчикам, к тому же заядлый картежник. Одним словом, ничего хорошего о нем сказать не могу. Крайне опасен. Тюрьма — его жизнь. И если ты его в чем-то заподозрил — сам делай первый шаг. Прикончи его сегодня же ночью, чтоб не успел заложить.

— Однако все это еще не доказывает, что он стукач.

— Верно, — сказал Гальгани. — Но, с другой стороны, нет доказательств, что он порядочный человек. Ты ведь знаешь, заключенные этого типа терпеть не могут побегов. Побег нарушает их покой, хорошо налаженную жизнь. Просто так они никогда никого не выдадут, но что касается побегал. Как знать.

Я посоветовался с Матье Карбоньери. Он тоже считал, что надо убить Бебера сегодня же ночью, и даже вызвался сделать это. А я, дурак, остановил его. Мне была ненавистна сама идея убийства просто по подозрению. Что, если Бурсе просто показалось? У страха глаза велики. Я спросил Нарика:

— Слушай, дорогуша, а ты случайно ничего не заметил? Насчет Бебера Селье?

— Нет, ничего. Я нес бочку на плече, чтоб охранники у ворот не могли заглянуть в нее. Как мы с братом договорились, я стоял у ворот, не опуская бочку на землю, и ждал его, а охранник, видя, что я не спешу, даже не потрудился заглянуть в бочку. Но после брат говорил, что вроде бы этот Бебер Селье глаз с него не спускал.

— Ну и что ты об этом думаешь?

— Думаю, что мой брат просто распахивался, потому что эта штука была очень большая, с первого взгляда ясно, что предназначена для плота. Вот он и перетрусил, а может, ему показалось.

— Я тоже так думаю. Ладно, оставим это. Что касается последней секции, то, прежде чем вытащить ее, хорошенько посмотрите, не отирается ли где-нибудь поблизости Бебер Селье.

Всю ночь напролет я играл в карты. Выиграл семь тысяч, и чем больше рисковал, тем больше выигрывал. В полпятого, сославшись на усталость, я встал из-за стола. Дождь прекратился, но поскольку было еще темно, я отправился напрямик на кладбище. Лопаты я не нашел и накидал земли на могилу просто ногами. В семь, когда я направлялся на рыбалку, солнце сияло уже вовсю. Я двинулся к южному мысу, откуда собирался опустить плот на воду. Волнение было довольно сильное, и я понял, что спустить плот и отойти от берега так, чтобы тебя при этом не подхватила волна и не разбила о камни, будет не просто. Я принялся за ужение и вскоре наловил довольно много султанки. На обратном пути заглянул к Жюльетт и отдал ей половину

улова. Она сказала:

— Папийон, мне приснился очень скверный сон. Ты весь в крови и скован цепями. Смотри, не натвори глупостей. Если с тобой что случится, я буду страшно страдать. Этот сон так огорчил меня, что я взяла бинокль и пыталась рассмотреть, где ты там удишь. Но не увидела. Где ты наловил этой рыбы?

— На другой стороне острова. Отсюда не видно,

— Значит, ты ходишь удить так далеко, что тебя даже в бинокль не видно? А что если тебя смоеет волной? Тогда даже помощи ждать неоткуда. Акулы сожрут.

— Да ладно, мадам, не стоит преувеличивать.

— Я нисколько не преувеличиваю. И запрещаю тебе удить на том дальнем конце острова. А если не слушаешься, то у тебя отберут пропуск...

В лагере Бурсе пожаловался мне, что у него все время ощущение, что за ним кто-то следит. Нарик и Кенье твердили, что ничего подозрительного не замечают. Бурсе все еще возился с последней деталью. Если бы не необходимость делать пазы с точностью до миллиметра, мы с Матье давно бы уж собрали все у него в саду. Нарик и Кенье приводили в порядок часовню, чтобы там можно было сложить материалы, хранившиеся пока во дворе.

Поторапливаемый нами Бурсе почти закончил работу, но упомянул, что, когда он однажды отошел от верстака, а потом вернулся, у него возникло ощущение, что кто-то сдвигал деталь с места, а потом положил обратно. Оставалось высверлить одно крайнее отверстие. Мы посоветовали ему положить на доску волосок, чтобы потом посмотреть, трогал ее кто или нет. Он сделал отверстие и ровно в шесть вышел из мастерской последним, предварительно убедившись, что там никого не осталось, кроме охраны. Деталь была на месте, волосок не тронут.

В полдень я был в лагере. Люди начали возвращаться с работы. Нарик и Кенье пришли, а Бурсе все не было. Ко мне подошел какой-то немец и сунул в руку записку, тщательно заклеенную по уголкам. Было видно, что ее не вскрывали. Я прочитал: «Волоска нет, так что ее трогали. Попросил охранника разрешить мне остаться в мастерской на обед, чтобы закончить маленький сундучок из красного дерева. Потом заберу деталь и суну ее в инструменты Нарика, предупреди ребят. Ровно в три они должны вынести ее со двора. Может, тогда успеем опередить эту сволочь, которая за нами шпионит».

Пришлось срочно придумывать, как выкрутиться. Было решено, что Нарик и Кенье пойдут после обеда в мастерскую в первых рядах. Перед тем, как колонна рабочих войдет на территорию, двое ребят должны разыграть драку у ворот. Мы обратились с этой просьбой к землякам Карбоньери — двум корсиканцам с Монмартра, Массани и Сантини. Они не стали задавать лишних вопросов. Нарик и Кенье, воспользовавшись свалкой, должны были быстро вынести инструменты, делая вид, что очень спешат с работой и драка их не интересует. Это был наш последний шанс. Если все обойдется, затихну на месяц-другой, потому что наверняка теперь один человек, если не больше, знает, что в лагере строится плот. И обязательно будут искать его хозяина и, конечно, тайник.

В половине третьего люди стали собираться на работу. Колонна вышла из лагеря. Бебер Селье находился где-то в середине, Нарик и Кенье в первом ряду, Массани и Сангини — примерно в двенадцатом. Вроде бы все нормально. Я был уверен, что Нарик успеет забрать свое барахло вместе с деталью до того, как большая часть колонны войдет на территорию мастерских. Бебер

к тому времени будет почти у ворот. И когда корсиканцы затеют драку и начнут вопить, наверняка обернется посмотреть, в чем там дело.

Четыре часа. Все сошло как нельзя лучше. Деталь лежала в куче строительного материала в церкви. Дальше ее пронести не удалось.

Я пошел повидать Жюльетт. Дома ее не оказалось. На обратном пути прошел мимо административного здания. Возле него в тени стояли Массани и Сантини и ждали, когда их отведут в карцер. Я прошел рядом и спросил-

— На сколько?

— Восемь дней, — ответил Сантини.

— Какой позор! — заметил стоявший рядом охранник. — Два человека из одной страны и передрались, как дикие собаки!

Я пришел в Лагерь. В шесть появился Бурсе, радостный и возбужденный, и сказал:

— Знаешь, такое ощущение, словно у меня рак был, а потом пришел врач и сказал, что все в порядке.

Карбоньеры и другие ребята радовались и поздравляли меня с тем, как я организовал все это дело. Итак, все прекрасно. Я лег спать и пролежал в гамаке всю ночь, хотя вечером приходили ребята и приглашали на игру. Я отказался, сославшись на головную боль. В действительности я просто валился с ног от усталости. Но настроение было отличное. Еще одно маленькое усилие — и победа! Самое сложное позади.

Вчера я общался с Кастелли и рассказал ему, как обстоят дела. Он порадовался за меня и заметил:

— Луна сейчас в первой четверти.

— Знаю, и ночью она нам не помешает. В десять начинается отлив, так что самый удобный момент для спуска на воду — два часа ночи.

Карбоньеры и я решили поторопить события. Наутро к плоту мы должны прикрепить последнюю деталь, и в ту же ночь — побег.

Утром я отправился из сада на кладбище с лопатой, и пока скидывал землю с пальмового настила, Матье отвалил камень, и принес мне последнюю деталь. Мы вместе подняли пальмовые листья и отложили их в сторону. Плот был целехонек. Мы немного выдвинули его из ямы, чтобы закрепить последнюю деталь. Планку прибавляли камнем. И только закончили и собирались задвинуть плот обратно, как я с ужасом увидел, что на нас смотрит охранник с ружьем.

— Не двигаться или стреляю!

Мы уронили плот и подняли руки. Я узнал охранника. Это был старший надзиратель из мастерских.

— Советую не сопротивляться! Вас застукали на месте! преступления. Сдавайтесь, тогда по крайней мере шкура будет цела! Хотя так и подмывает вклепить вам хороший заряд свинца. А

теперь — марш вперед! Руки вверх и не опускать!

Проходя мимо кладбищенских ворот, мы увидели надзирателя-араба.

— Спасибо, Мохаммед, что помог, — сказал ему наш охранник. — Зайдешь завтра утром, получишь обещанное.

— Спасибо, — ответил араб. — Ясное дело, зайду. Но как вы считаете, начальник, Бебер Селье тоже должен мне заплатить?

— Это уж ты сам с ним разбирайся, — ответил охранник.

— Выходит, это Бебер Селье заложил нас, шеф? — спросил я.

— Я этого не говорил.

— Неважно, кто говорил. Важно, кто продал.

Все еще держа нас под прицелом, охранник скомандовал:

— Мохаммед! Обыскать их!

Араб вынул у меня из-за пояса нож. Отобрал нож и у Матье.

— А ты, смотрю, шустрый парень, Мохаммед, — заметил я — Как это тебе удалось нас выследить?

— Каждый день лазил на кокосовую пальму и видел, где вы прятали плот.

— И кто ж подвигнул тебя на это дело?

— Сначала Бебер Селье, потом господин охранник Бруйе.

— Слишком много болтаешь, — заметил надзиратель. — Пошли! Можете немного опустить руки и живо вперед!

Те четыреста метров, что отделяли нас от административного здания, показались мне самой длинной дорогой в жизни. Я был совершенно убит случившимся. Попасться, как пара полных идиотов, после всех хлопот и усилий! Господи, ты слишком жесток ко мне!

Наше появление у комендатуры произвело настоящую сенсацию. По дороге к нам присоединялись все новые и новые охранники с ружьями, и образовалась целая процессия.

Забегавший вперед араб успел доложить обо всем коменданту, и тот встречал нас на пороге вместе с Дега и пятью надзирателями

— Что произошло, господин Бруйе? — спросил он.

— Произошло то, что я поймал этих двоих с поличным. Они строили плот. Для рыбной ловли, полагаю.

— Ну, что ты на, это скажешь, Папийон?

— Ничего. Говорить буду на следствии.

— В карцер их! Меня заперли в карцере, забытые окна которого выходили во двор точно напротив комендатуры. Тьма там царила крошечная, но было слышно, как переговариваются люди во дворе. В три нас вывели и надели наручники.

В большой комнате собрался суд: комендант, его заместитель, главный надзиратель и Дега с карандашом наготове сидели в один ряд за небольшим столом.

— Шарьер и Карбоньери, прошу выслушать доклад господина Бруйе, касающийся вас: «Я, Бруйе Огюст, старший надзиратель мастерских на островах Спасения, обвиняю двух заключенных, Шарьера и Карбоньери, в краже государственного имущества. Обвиняю также их сообщника Бурсе в пособничестве, то же самое касается Нарика и Кенье. Заявляю далее, что я застиг Шарьера и Карбоньери в момент совершения акта вандализма — вскрытия могилы мадам Прива, которую они использовали для хранения плота».

— Что вы можете сказать по этому поводу? — спросил комендант.

— Во-первых, Карбоньери здесь ни при чем. Плот готовился для одного человека, для меня. Я силой вынудил его помочь мне снять настил с могилы, одному мне было не справиться. Поэтому Карбоньери не виноват ни в хищении государственного имущества, ни в пособничестве побегу. Тем более что побег не состоялся. Бурсе же попал в сложное положение, поскольку я угрожал ему смертью в случае, если он откажется мне помогать. Что же касается Нарика и Кенье, то я их вообще едва знаю. Они здесь ни при чем.

— Но это расходится с показаниями моего информатора, — сказал надзиратель.

— Этот ваш информатор, Бебер Селье, наверняка кому-то мстил, поэтому впутал невинных людей. Разве можно верить показаниям доносчика?

— Короче, — перебил меня комендант, — вы обвиняетесь в хищении государственного имущества, надругательстве над могилой и попытке к бегству. Будьте любезны подписать этот документ!

— Я ничего не подпишу, пока в него не внесут мои показания о Карбоньери, Бурсе и Нарике с Кенье, — ответил я.

— Согласен. Подготовьте документ!

Я подписал. Не могу передать, что творилось со мной в это время. В карцере в какой-то момент мне даже показалось, что я схожу с ума. Я почти не ел и не двигался, лишь курил одну сигарету за другой. К счастью, ими бесперебойно снабжал меня Дега. Лишь по утрам я выходил на часовую прогулку по двору возле карцера.

Однажды утром ко мне подошел комендант. Странная вещь — ведь если бы побег удался, он пострадал бы больше остальных. Но злобы ко мне в нем было куда меньше, чем у других.

Улыбаясь, он сказал, что его жена считает вполне естественным стремление человека к свободе, мало того, свидетельством, что этот человек не деморализован окончательно. Затем он очень ловко и хитро пытался расколоть меня насчет Карбоньери, но мне показалось, я сумел убедить его в обратном, объясняя, что Карбоньери просто не мог отказать мне в помощи, когда я вытаскивал плот. Бурсе предъявил следствию план и записку с угрозой в его адрес. Что касается его, то тут комендант практически не сомневался, что именно так и обстояло дело. Я спросил, сколько мне светит за кражу государственного имущества. Он ответил:

— Не больше полутора лет.

Получил записку от Шатая — санитара. В ней говорилось, что Бебер Селье сидит в больнице в отдельной палате и ждет отправки на острова в связи с внезапно обнаруженным у него довольно редким и опасным заболеванием — абсцессом печени. Должно быть, ему удалось каким-то образом сговориться с комендантом и врачом, чтобы избежать мести.

В карцере меня не обыскивали. Воспользовавшись этим, я попросил прислать мне нож. Я также посоветовал Нарик и Кенье добиться у коменданта очной ставки между мной, начальником мастерских, Бебером Селье и Бурсе для выяснения всех обстоятельств дела и принятия окончательного решения.

На утренней прогулке Нарик сообщил мне:

— Комендант согласен. Очная ставка завтра в десять утра. Там будет и начальник охраны, специально проинструктированный.

Всю ночь я убеждал себя, что не имею права убивать Бебера Селье. Не получалось. Слишком уж будет несправедливо, что эту сволочь сошлют на материк, откуда он потом сможет преспокойно бежать. И это вместо расплаты за содеянное! Да, но за это тебя могут приговорить к смерти... Ну и плевать! Вот к какому выводу я пришел, потому что окончательно потерял надежду обрести свободу.

Единственный способ избежать смертного приговора — это заставить его выхватить нож первым. Для этого я должен ясно показать ему что мой — наготове. Тогда он точно выхватит свой. Это можно сделать или до, или сразу же после очной ставки. Во время нее убивать нельзя, иначе охранники могут начать стрелять.

Всю ночь я боролся с собой... И в конце концов пришел к выводу, что если он не выхватит нож первым, убивать я его не буду.

Я не спал всю ночь и выкурил целую пачку сигарет. Осталось только две, когда в шесть утра принесли кофе. Я был настолько взвинчен, что, хотя это строжайше запрещалось, попросил разносчика кофе, рядом с которым стоял охранник:

— Вы не раздобудете мне несколько сигарет или Табаку? С разрешения начальника, конечно. У меня все вышли, господин Антарталия.

— Ладно, дайте ему, если есть. Сам я не курю. Я действительно сочувствую вам, Папийон. Я корсиканец и уважаю тех мужчин, которые ведут себя как мужчины, а не как вонючее Дерьмо.

Вез четверти десять я был уже во дворе, ожидай вызова в суд. Нарик, Кенье, Бурсе и Карбоньерн тоже ждали. Из охраны на очной ставке должен был присутствовать тот самый Антарталия, который приходил утром. Он говорил с Карбоньери по-корсикански.

Распахнулись ворота, и во дворе появились араб, что лазил на дерево, еще один араб-охранник из мастерских и Бебер Селье. Увидев меня, последний приостановился, но сопровождавший его охранник сказал:

— Иди, но только держись от всех остальных в сторонке. Стань вон там, справа. А ты, Антарталия, проследи, чтобы между ними не было контактов.

Нас разделяло метра два. Антарталия заметил:

— Никаких разговоров между заключенными.

Карбоньери продолжал говорить по-корсикански со своим земляком, а тот не спускал с нас глаз. Внезапно охранник наклонился, чтобы завязать шнурок, и в это время я сделал знак Матье подойти поближе. Тот тут же смекнул, в чем дело, покосился на Бебера и плюнул в его сторону. Когда охранник выпрямился, Карбоньери продолжал говорить, словно ничего не произошло, и настолько отвлек его внимание, что я успел сделать шаг вперед и никто ничего не заметил. Рукоятка ножа уже лежала в ладони. Только Бебер Селье заметил это. И с невероятной быстротой — а нож у него оказался уже открытым в кармане брюк — ударил меня им в бицепс правой руки. Сам я левша, и тут же одним коротким движением вонзил нож ему в грудь по самую рукоятку. Звериный вой «а-а-а!» и он повалился на землю. Выхватив револьвер, Антарталия крикнул:

— Назад, парень! Лежачего не бьют! Иначе пристрелю тебя на месте, а мне этого не хочется.

Карбоньери подошел к Селье, пнул его ногой по голове и что-то сказал по-корсикански. Я понял, он мертв.

Охранник сказал:

— Дай-ка мне твой нож!

Я отдал ему нож. Он сунул револьвер в кобуру, подошел к обитой железом двери, постучал и сказал открывшему ее охраннику:

— Готовьте носилки забрать труп!

— А кто умер? — спросил охранник,

— Бебер Селье.

— О, а я думал, Папийон.

Нас снова отвели в карцер. Очная ставка откладывалась. В коридоре Карбоньери успел шепнуть мне:

— Бедняга Папийон! На этот раз ты влип, и серьезно.

— Да, но я жив, а он сдох!

Охранник вернулся один, тихо открыл дверь и сказал мне:

— Стучи и кричи, что ранен. Он ударил первым, я видел! — и так же тихо притворил за собой дверь.

Все же эти охранники-корсиканцы потрясающие существа — или отпетые мерзавцы, или действительно прекрасные люди, среднего не бывает. Я застучал кулаками в дверь и завопил:

— Я ранен! Хочу в больницу на перевязку! Охранник вернулся с главным надзирателем лагеря.

— Что с тобой? Чего орешь?

— Я ранен, начальник!

— А-а... так ты ранен... А мне показалось, он тебя не задел.

— Да вы что! Правая рука насквозь пробита!

— Отворяй! — скомандовал надзиратель.

Дверь отворилась я вышел. На руке зияла глубокая рана.

— Наручники на него и в больницу! Там глаз не спускать и не оставлять ни под каким предлогом. Только пере-вязать и сразу обратно!

Мы вышли. Во дворе собралась уже целая толпа охранников во главе с комендантом. Надзиратель из мастерских крикнул:

— Убийца!

Не успел я раскрыть рта, как комендант ответил: — Помолчите, Бруйе. Селье напал первым.

— Что-то не верится, — проворчал Бруйе. — Я сам видел, я свидетель, — вставил Антарталия. — И помните, господин Бруйе, корсиканцы никогда не лгут. В больнице Шатай тут же послал за доктором. Меня зашили без всякого наркоза. Я ни разу не застонал. Закончив свою работу, врач заметил:

— Я не дал вам обезболивающего просто потому, что у меня; все вышло. — И после паузы добавил: — Зря вы это затеяли.

— Но он все равно бы умер, раньше или позже. Абцесс печени не шутка!

Врач так и остался стоять с раскрытым ртом.

Расследование возобновилось. Бурсе вышел из игры, поскольку было установлено, что ему угрожали. Я изо всех сил поддерживал эту версию. Нарика и Кенье тоже оставили в покое — за отсутствием улик. Так что ответственности подлежали я и Карбоньери. Обвинение в хищении с него сняли, оставив только сообщничество в подготовке побега. За это полагалось максимум полгода. Со мной же все обстояло куда серьезнее. Несмотря на свидетельские показания в мою пользу, следователь никак не хотел признать, что я действовал в целях самообороны. Дега видел дело и сказал, что несмотря на все старания следователя, меня вряд ли приговорят к смертной казни, так как я все же был ранен. Оправданию мешали лишь показания двух арабов, утверждавших, что я ударил ножом первым.

Наконец расследование было закончено. Я ждал отправки в Сен-Лоран, чтобы предстать перед трибуналом. Целыми днями я ничего не делал, только курил. Да еще немного гулял по утрам. И ни разу, ни комендант, ни охранники не выказывали по отношению ко мне ни малейшей враждебности. Они охотно болтали со мной и снабжали куревом.

Был четверг, отправляли меня в пятницу. В десять утра; когда я, как обычно, вышел на прогулку, за мной пришел комендант.

— Идем со мной, Папийон.

Я отправился за ним без всякого сопровождения. Мы направлялись к его дому. По дороге он сказал:

— Моя жена захотела с тобой попрощаться. Не хочется огорчать ее зрелищем вооруженного

охранника рядом. Обещаешь вести себя пристойно?

— Конечно, господин комендант.

Мы дошли до дома.

— Жюльетт, я исполнил свое обещание и привел твоего протеже. К двенадцати он должен быть на месте. Так что у вас есть целый час для разговоров. — И с этими словами он повернулся и вышел.

Жюльетт подошла ко мне и положила руки на плечи. Ее черные глаза были затуманены слезами.

— Ты сошел с ума, мой друг Папийон! Если б ты раньше сказал мне, что хочешь бежать, я смогла бы тебе помочь. Я просила мужа помочь тебе сейчас, но он говорит, что теперь к сожалению, это от него уже не зависит. А выглядишь, ты куда лучше, чем я ожидала... И вот еще что: я хочу заплатить тебе за рыбу, которой ты так исправно снабжал меня все эти месяцы. Вот, тут тысяча франков, больше у меня к сожалению нет.

— Послушайте, мадам, мне не нужны деньги! Поймите, я просто не могу их взять! Это испортит наши дружеские отношения. — И я отстранил две банкноты по пятьсот франков. — Не ставьте меня в неловкое положение, пожалуйста...

— Как хотите, — сказала она. — Тогда, может, выпьете рюмочку? — И в течение часа эта добрая и очаровательная женщина беседовала со мной. Она была уверена, что меня оправдают и что я получу полтора — максимум два года.

На прощанье она взяла меня за руки и крепко их сжала.

— Прощай и удачи тебе! — и громко разрыдалась. Комендант сам отвел меня в карцер. По пути я сказал

ему:

— Господин комендант, ваша жена — самая благородная женщина на свете!

— Я знаю это, Папийон. И она не приспособлена к жизни здесь. Но что я могу поделать... Ладно, еще четыре года, и я увольняюсь.

— Госнодин комендант, я хочу воспользоваться возможностью поговорить с вами наедине. Поблагодарить за доброе обращение, за заботу, которую вы постоянно ко мне проявляете, несмотря на все неприятности, которые я на вас навлек.

— Да, ты, конечно, мог бы подложить мне свинью. Но все равно, я вот что тебе скажу: наверное, ты все-таки правильно сделал, что пытался бежать. — И, дойдя до ворот, добавил: — Прощай, Папийон, да поможет тебе Бог!

— Прощайте, господин комендант.

Да, я действительно нуждался в Божьей помощи, поскольку суд, перед которым я предстал, был безжалостен. Три года за хищение, надругательство над могилой и попытку к побегу и в довесок — пять лет за убийство Селье. Итого восемь лет одиночки. Если б я не был ранен, меня наверняка приговорили бы к смертной казни.

ВТОРОЙ СРОК ОДИНОЧКИ

Нас привезли в Сен-Лоран. Суд состоялся в четверг, а уже в пятницу утром нас отправили морем на острова.

На борту было шестнадцать заключенных, из них двенадцать приговоренных к одиночке. Море бушевало, время от времени огромная волна захлестывала палубу. Отчаяние мое достигло такой степени, что я в глубине души возжелал, чтобы эта старая посудина затонула во время путешествия. На протяжении всего пути я ни разу ни с кем не заговорил, а просто сидел на палубе, и в лицо мне хлестал мокрый ветер. Я даже не пытался от него укрыться и ничуть не расстроился, когда с головы сдуло шляпу — вряд ли мне на протяжении восьми лет в одиночке понадобится шляпа. Но, когда в очередной раз я подумал, что было бы хорошо, если б корабль затонул, я сказал себе: «Акулы уже сожрали Бебера Селье, а ты пока еще жив. Но тебе уже тридцать, и предстоит просидеть восемь лет в этом гробу. Можно ли продержаться восемь лет в стенах этой тюрьмы-людоеда?»

Опыт подсказывал, что это невозможно. Четыре-пять лет — абсолютный предел. Если бы не убийство Селье, мне дали бы три, а то и всего два года. Не стоило все-таки убивать эту крысу. Нет, сейчас не надо думать об этом, не стоит... Надо думать, как выжить — выжить, чтобы попытаться бежать снова. Жить, жить, жить — вот отныне мой девиз, моя религия.

Среди охранников на борту одного я знал еще по первой одиночке.

— Начальник! Можно вас кое о чем спросить?

Он подошел, удивленный.

— Что?

— Вы знали хоть одного, кому удалось продержаться в одиночке восемь лет?

Поразмыслив с минуту, он ответил:

— Нет. Но я знал довольно много людей, которые просидели по пять, а один — его я помню очень хорошо, — так он просидел аж целых шесть лет и вышел в полном уме и добром здравии.

— Спасибо вам.

— Не за что, — ответил охранник. — А тебе, как я слыхал, вроде бы дали восемь?

— Да, шеф.

— Если не накажут, то, может, и продержишься. И он отошел.

Да, ценное замечание. Выжить, пожалуй, можно только в том случае, если не накажут. Отсюда вывод — нельзя принимать ни орехов, ни сигарет, писать и получать записки.

В три часа мы достигли островов. Не успел я оказаться на берегу, как тут же заметил светло-желтое платье Жюльетт, она стояла рядом с мужем. Комендант быстро подошел ко мне и спросил.

— Сколько?

— Восемь лет.

Он вернулся к жене, и они о чем-то пошептались. Жюльетт присела на камень. По лицу было видно, как страшно опечалена эта чудесная женщина. Муж взял ее за руку, она бросила в мою сторону последний преисполненный печали взгляд, и они ушли, не обернувшись.

— Сколько, Папи? — спросил Дега.

— Восемь лет одиночки. Он ничего не сказал и стоял, не поднимая на меня глаз.

Подошел и Гальгани. И не успел заговорить, как я прошептал ему:

— Не надо ничего посылать. Писать тоже не надо. Имея такой срок, мне ни в коем случае нельзя рисковать.

— Понял,

Так же шепотом я быстро добавил:

— Попытайся договориться, чтобы утром и на ужин мне давали как можно больше еды. Если получится, тогда, может, еще даст Бог свидеться.

И я направился к первой же лодке, что должна была увезти нас на Сен-Жозеф. Все смотрели на меня, как смотрят на покойника, которого собираются опустить в могилу. Уже в лодке я повторил свою просьбу Шата.

— Что ж, попробуем. Крепись, Папийон! — и шепотом добавил: — А что с Матье Карбоньери?

— О, совсем забыл. Председательствующий отложил слушание его дела до получения новых материалов. Уж не знаю, к лучшему это или нет.

— Думаю, к лучшему.

Я оказался в первом ряду колонны, поднимавшейся в гору к тюрьме одиночного заключения. Я шел очень быстро, словно торопился как можно скорей попасть в эту клетку. Один охранник заметил:

— Куда так летишь, Папийон? Можно подумать, тебе прямо не терпится попасть в ту самую камеру, откуда ты недавно вышел.

Наконец мы добрались.

— Всем раздеться догола! Будет говорить комендант!

— Прискорбно видеть, что ты снова здесь, — заметил комендант и начал свою обычную вступительную речь. А потом снова обратился ко мне:

— Блок «А», камера 127. Самая лучшая, Папийон, потому что она против двери из коридора, там светлее и больше воздуха. Надеюсь» будешь вести себя прилично. Восемь лет — большой срок... но как знать... Может, за примерное поведение тебе и скостит год-другой. Будем надеяться, так оно и случится, потому что ты парень храбрый, я таких уважаю.

Итак, камера 127. Она действительно находилась точно напротив больших зарешеченных дверей, открывающихся в коридор. И здесь действительно было светлее даже в шесть часов вечера. Вонь и запаха гнили, которые преследовали меня в той, первой камере, тоже не было. Я немного прибодрился.

«Выходит, дружище Папийон, тебе предстоит глядеть на эти стены все последующие восемь лет. Нет смысла вести счет дням и месяцам. Отсчитывать можно и полугодовыми сроками. Шестнадцать раз по шесть месяцев — и ты свободен. И если уж тебе предстоит здесь умереть, хорошо, что ты умрешь при дневном свете, Это очень важно. Совсем невесело умирать в темноте. А если заболеешь, врач сможет хотя бы разглядеть твоё лицо. Так что не стоит корить себя за попытку к бегству и за то, что ты убил Селье. Представь, как бы ты мучился уже при одной мысли, что, пока ты гниешь здесь, он, возможно, уже бежал и на свободе. Так что время покажет. Может, выйдет амнистия или случится война, землетрясение, тайфун, наконец, который сметет с лица земли это здание. Почему бы и нет? Может, найдется честный и порядочный человек, который отправится во Францию и возбудит там общественное мнение против того факта, что в тюрьмах страны убивают людей без гильотины. Может, врач или священник не знают о здешних порядках?.. Во всяком случае, акулы давно уже переварили Селье! А ты еще жив и, как мне кажется, должен выбраться из этой могилы живым и на ногах».

Один, два, три, четыре, пять, поворот... Один, два, три, четыре, пять, поворот... Я начал ходить по камере, приняв привычную позу и четко соразмеряя каждый шаг. Маятник работал безукоризненно. Я решил заниматься ходьбой два часа утром и два днем, по крайней мере первое время. А там посмотрим. Все зависит от рациона. Не стоит попусту тратить энергию и нервы.

Спать я лег очень поздно и проспал спокойно всю ночь. Жить, жить, жить... Всякий раз, когда меня одолевало отчаяние, я твердил себе: «Там, где жизнь, там и надежда».

Прошла неделя. Со вчерашнего дня я заметил изменения в моем рационе. Прекрасный кусок вареного мяса на обед, а вечером полная до краев миска чечевичной похлебки, густой, почти без воды. И я твердил себе, как твердят ребенку: «В чечевице много железа, она очень полезная»... Если так пойдет и дальше, то в эти первые полгода по крайней мере можно позволить себе маршировать по десять — двенадцать часов в день. А после, устав как следует, ложиться и уноситься к звездам. Нет, это не отключка, я твердо стоял на земле. Я заполнял долгие ночные часы воспоминаниями о заключенных, с которыми познакомился на островах, — у каждого была своя история, свое прошлое и настоящее. Я вспоминал байки, которые они мне рассказывали. Одна все не давала мне покоя, и я поклялся, что, если выйду отсюда и попаду на острова, обязательно выясню, правда это или нет. Это история о колоколе.

Как я уже говорил, заключенных не хоронили, а бросали в море, в кишасший акулами пролив между Сен-Жозефом и Руалем. Труп заворачивали в мешки от муки, к ногам привязывали камень. На носу лодки находился прямоугольный ящик. Доплыв до нужного места, шестеро гребцов — все заключенные — поднимали весла. Затем один из них наклонял ящик, другой отворял нечто вроде подъемной дверцы, и труп соскальзывал в воду. Без всякого сомнения, акулы тут же сжирали труп. Ни один из покойников не успевал достигнуть дна, его разрывали на части почти на самой поверхности. Если верить свидетелям, то зрелище это было действительно крайне омерзительным: целая стая акул набрасывалась на покойника, срывала с него саван, вернее мешки от муки, и разрывала тело на огромные куски, тут же заглатывая их.

Все это было, конечно, ужасно, но в одну вещь я так и не мог до конца поверить: все без исключения твердили, что акул сзывал в то скорбное место звон церковного колокола, иногда по вечерам с мыса на острове Руаяль не было видно ни одной акулы, но, когда начинал звонить колокол, бухта за считанные секунды наполнялась этими тварями. Акулы ждали мертвеца — иначе чем можно было объяснить их присутствие там в нужный момент? Будем надеяться, я не попаду акулам на обед в этом качестве; если они сожрут меня во время побега, это, конечно,

скверно, зато есть утешение, что это произошло, когда я пытался обрести свободу. Только бы не, умереть от какой-нибудь болезни в этой клетке...

Благодаря стараниям моих друзей недостатка в еде я не испытывал и чувствовал себя хорошо. Безостановочно бродил по камере с семи утра до шести вечера. И ужин — миска, полная чечевицы, других овощей или вареного риса — съедался с удовольствием. Ходьба тоже приносила пользу: усталость после нее была здоровой усталостью. Я даже научился отключаться, не переставая бродить по камере.

Прошло полгода, Я сдержал данное себе обещание отсчитывать срок шестью месяцами. И вот сегодня их осталось пятнадцать из шестнадцати. Прошла одна шестнадцатая часть моего срока.

Можно подвести кое-какие итоги. Никаких чрезвычайных событий в течение этого срока. Еда однообразна, но в достаточном количестве, так что здоровье не пострадает.

Вокруг случались самоубийства, заключенные ревели и бились в своих клетках, как дикие обезумевшие звери, но, слава Богу, их быстро утихомиривали. Страшно действует на нервы, когда целыми днями слышишь, как ревут, стонут и рыдают люди. Я отрезал маленький кусочек мыла и заткнул им уши, чтобы не слышать этих ужасных воплей. Делать этого не следовало, так как от мыла началось раздражение. Впервые за все время пребывания в заключении я унизился до того, что обратился с просьбой к охраннику. Одним из разносчиков обеда оказался парень из Монтелимара, почти мой земляк. Я знал его по острову Руаяль. И попросил принести мне шарик из воска, чтобы отключаться от рева маньяков и безумных, когда они расходились особенно сильно. На следующий день он принес мне шарик величиной с грецкий орех. Невероятное облегчение...

Я научился правильно обращаться с большими сороконожками. За полгода меня укусили только раз. Я научился терпеть и лежать совершенно неподвижно, если, проснувшись, обнаруживал, что одна из этих тварей ползает по моему обнаженному телу. Ко всему можно привыкнуть, дело только в самоконтроле, ведь щекотание всех этих многочисленных ножек и щупалец крайне неприятно, стоит отреагировать — и ты укушен. Так что лучше уж дожидаться, пока эта тварь сама не сползет, а потом отыскать и раздавить ее. На цементном сиденье я всегда оставлял две-три крошки хлеба. Его запах привлекал сороконожек, и они направлялись к хлебу. Тут я их и приканчивал.

Одна мысль постоянно мучила и преследовала меня: почему я не убил Бебера Селье в тот же день, когда заподозрил его в грязной игре? Тут я вступал с собой в бесконечный спор, в каком случае ты имеешь право убить? Мой вывод: цель оправдывает средства. Целью моей являлся успешный побег. Мне посчастливилось закончить постройку плота и спрятать его в надежном месте. До побега оставались считанные дни. Когда я узнал о Селье, нам не хватало лишь одной детали для плота, которую мы протащили затем в тайник почти чудом. Так что надо было прикончить его сразу же, не раздумывая. Но что, если бы я тогда ошибся? Что, если он только выглядел подозрительно? Тогда я пролил бы кровь невинного человека, а это ужасно!

Прошлой ночью «тюрьма— людоед» полностью оправдала свое название. Я догадался, что двое заключенных повесились, а один удушил себя, забив рот и ноздри обрывками ткани. Моя камера находилась рядом с местом, где происходила смена караула, и иногда до меня доносились обрывки разговоров. В то утро охранники говорили громче, чем обычно, и я понял, что произошло.

Прошло еще полгода. Подводя итоги, я нацарапал на куске дерева цифру 14. У меня был

припасен гвоздь, которым я пользовался раз в полгода. Итак, подводя итоги, следовало отметить, что с точки зрения здоровья и состояния духа у меня все обстояло отлично.

Благодаря умению отключаться я довольно редко испытывал приступы отчаяния и справлялся с ними довольно быстро. Я даже специально придумывал для этого воображаемое путешествие, которое помогало отогнать черные мысли. В эти моменты мне здорово помогала смерть Селье. Я твердил себе: «Я жив, жив, все еще жив... И должен продолжать жить, чтобы дожидаться перемен. А он пытался помешать мне бежать, и теперь мертв, и никогда уже не будет свободен, а я буду, непременно буду! В любом случае, пусть мне даже исполнится тридцать восемь, когда я выйду отсюда, это ведь еще не старость. И следующий побег наверняка окажется удачным!»

Один, два, три, четыре, пять, поворот... Один, два, три, четыре, пять, поворот... Вот уже несколько дней, как я заметил, что ноги у меня опухают, а из десен сочится кровь. Надо ли заявлять, что я болен? Нажимая на голень, я замечал, как после этого на ноге остается ямка. Это значит, что у меня нечто вроде водянки. Вот уже целую неделю, как я не могу ходить по десять — двенадцать часов. Даже две прогулки по три часа каждая страшно меня утомляли. А когда я чистил зубы, то уже не мог тереть их полотенцем, смазанным мылом. Они страшно болели и кровоточили. Вчера даже выпал один зуб — верхний резец.

Третий полугодовой срок закончился настоящим переворотом. Вчера нас всех заставили высунуть руки в коридор, и мимо прошелся врач, заглядывая каждому под верхнюю губу. И вот в тот день, когда исполнилось ровно восемнадцать месяцев с начала срока заключения, дверь в мою клетку отворилась и кто-то сказал:

— Выходи! Стать возле стены и ждать!

На выходе я оказался первым, следом за мной во двор вывели около семидесяти человек. Там мы развернулись, и теперь я стоял последним.

Девять утра. Молодой врач в рубашке хаки с высоко закатанными рукавами сидел прямо на улице за маленьким деревянным столиком. Рядом стояли два санитар из заключенных и один медбрат. Все были люди новые, и я никого не знал, врача тоже. Всю эту команду охраняли десять человек с ружьями. Здесь же находились комендант и старший надзиратель.

— Всем раздеться! — прокричал санитар. — Одежду свернуть и под мышку! Первый! Имя?

— Такой-то...

— Открыть рот, ноги расставить. Так... три зуба удалить. Давать сперва настойку йода, затем сироп колеарии по ложке два раза в день перед едой.

Я был последним в очереди.

— Имя?

— Шарьер.

— Надо же, первый, у кого сохранилось хоть какое-то подобие фигуры. Вы здесь недавно?

— Сегодня ровно восемнадцать месяцев.

— Почему вы не похожи на остальных?

— Не знаю.

— Вот как? Ну тогда я вам сам скажу. Потому что наверняка питаетесь лучше или меньше занимаетесь онанизмом. Рот, ноги... Два лимона в день — один утром, другой вечером. Лимоны высасывать, затем втирать сок в десны. У вас цинга.

Они намазали мне десны йодом, затем обработали их голубым метиленом и дали лимон, после чего я отправился в свою клетку.

Что же такое произошло в этой тюрьме, что больных вдруг вывели во двор на солнце, где врач осмотрел их куда тщательнее, чем обычно? Да это настоящая революция! Ничего подобного прежде в одиночке не знали. Может, это произошло благодаря новому врачу, который отказался быть молчаливым пособником и подчиняться всем этим бесчеловечным правилам и законам? Кстати, этот врач, Жермен Жибер, ставший вскоре моим другом, погиб впоследствии в Индокитае.

Каждые десять дней медосмотр во дворе, на солнышке Предписания те же йод, сироп, два лимона. Состояние мое не улучшалось, но нельзя сказать, что и ухудшалось тоже. Это начинало раздражать, так как я не мог ходить по камере больше шести часов в день, ноги так и оставались распухшими и почерневшими внизу.

Однажды, ожидая своей очереди во время медосмотра, я обратил внимание на высокое дерево с веретенообразной кроной, в тени которого стоял. Вроде похоже на лимонное, только лимонов что-то не видать... Я сорвал листок и пожевал, затем решительно сорвал целую ветку с листьями, сам не понимая, впрочем, зачем это делаю. И когда подошла моя очередь, я засунул себе эту ветку в задницу и сказал:

— Доктор, смотрите-ка, может, это от ваших лимонов у меня из зада вон что выросло! — И повернулся показать ему ветку с листьями.

Охранники так и покатались со смеху, но тут на них прикрикнул надзиратель. А потом повернулся ко мне и гаркнул:

— Папийон, вы будете наказаны за неуважение к врачу!

— Нет, — вмешался врач, — ни в коем случае! Наказывать его нельзя, так как жалобы от меня не поступило. Шарьер, вы что, пытаетесь этим сказать, что не желаете больше есть лимоны?

— Да, доктор. По горло сыт этими лимонами. А лучше мне не становится. Давайте мне лучше побольше сиропа.

— Его у меня не так много, приходится экономить для более серьезных случаев. Ладно, так и быть, добавим еще одну столовую ложку. Но лимоны тоже продолжайте.

— Доктор, я видел, как индейцы едят морские водоросли. Точно такие же встречаются на Руаяле. Здесь, на Сан-Жозефе, тоже должны быть.

— Что ж, ценная идея. Пойду на берег и наберу разных, на пробу. А что, эти индейцы ели их сырыми или как-то готовили?

— Сырыми.

— Прекрасно, спасибо. И прошу вас, комендант, проследите, пожалуйста, чтобы этого

человека Ее наказывали

— Хорошо, капитан.

Щелк, щелк, щелк. Щелканье отворяемых подряд задвижек дверей. Девять утра, четверг. Всем заключенным приказали стать на пороге камер.

— Заключенные! — раздался чей-то голос. — Губернатор с инспекцией!

Высокий и элегантный седовласый господин медленно шагал по коридору в сопровождении пяти | офицеров в колониальной форме. Врачи, вне всякого сомнения. Я слышал, как они обмениваются какими-то малопонятными фразами. Они не успели дойти до меня, как вдруг один из заключенных едва не упал. Видимо, настолько обессилел, что не мог больше стоять. Его подхватили. Это был Гравиль, один из каннибалов. Офицер из свиты заметил:

— Но это же просто ходячий труп!

— Они все в весьма плачевном состоянии, — сказал губернатор.

Наконец процессия добралась до меня.

— Ваше имя? — спросил губернатор.

— Шарьер,

— Приговор?

— Восемь лет. Три за хищение государственного имущества и прочее, плюс еще пять за убийство.

— Сколько отсидели?

— Полтора года.

— Как себе ведет?

— Хорошо, — ответил наш комендант.

— Здоровье?

— Сносное, — сказал врач.

— Жалобы есть?

— Есть. Эта система абсолютно негуманна и недостойна такой державы, как Франция.

— В каком смысле? Что вас не устраивает?

— Правило полного молчания, отсутствие физических упражнений и медицинского ухода, если не считать последних нескольких дней.

— Будете вести себя хорошо, и тогда, поскольку я пока губернатор, мне удастся добиться смягчения приговора.

— Благодарю вас.

С того дня нас стали выпускать во двор на час и даже разрешили купаться в некотором подобии бассейна, отгороженном в бухте от вторжения акул большими каменными плитами — все это по приказу губернатора и главного врача с Мартиники.

Каждый день в девять утра отряды заключенных по сто человек в каждом маршировали нагишом из тюрьмы к морю. Женщинам и детям охранников предписывалось в это время сидеть по домам.

Так продолжалось примерно с месяц. Лица людей разительно изменились. Этот час, проведенный на солнце, купание в соленой воде и возможность перемолвиться словом преобразила узников одиночки — прежде совершенно больных людей духовно и физически.

Однажды, когда мы шли из тюрьмы к морю, раздался отчаянный женский крик, а затем два выстрела из револьвера. Идя в хвосте колонны, я отчетливо расслышал:

— На помощь! Моя дочка, моя малышка тонет!

Крик доносился с мола, цементного настила, выходящего далеко в море. К нему приставали лодки и катера. Еще крики: «Акулы!» — и снова выстрелы. Все остановились и обернулись в ту сторону, откуда они раздавались, а я, не раздумывая, бросился в воду и поплыл совершенно голый, к бухте. Доплыв до мола, я увидел на нем двух женщин, вопивших и мечущихся как безумные, трех охранников и нескольких арабов.

— Прыгайте за ней, ну же! — кричала женщина. — Она здесь, рядом. Я не умею плавать, иначе я бы сама... Эх вы, трусы!

— Акулы! — закричал охранник и выстрелил снова.

В воде плавала маленькая девочка в сине-белом платьице, течение медленно сносило ее в сторону, как раз к тому месту, где находилось «кладбище» заключенных. Охранники не прекращали пальбу и наверняка ранили не одну акулу — вода возле ребенка так и бурлила и расходилась кругами.

— Прекратите стрельбу! — крикнул я и еще более отчаянно заработал руками. Течение помогало, плыл я очень быстро и приближался к малышке, не переставая сильно бить по воде ногами, чтобы отпугнуть акул. Девочка не тонула, видно, ее поддерживало на воде платье.

Я находился от нее всего метрах в тридцати — сорока, как вдруг со стороны Руаяля показалась лодка — видимо, люди успели заметить, что произошло. Вот она поравнялась с ребенком. Девочку схватили за юбку, подняли, и вот она уже в безопасности. Они успели чуть раньше меня. Я рыдал от ярости, совершенно позабыв об акулах, когда меня, в свою очередь, тоже втащили в лодку. Я напрасно рисковал жизнью.

Так по крайней мере я тогда думал. Однако месяц спустя в качестве вознаграждения доктор Жермен Жибер добился моего освобождения из одиночки по состоянию здоровья.

Тетрадь восьмая

СНОВА НА ОСТРОВЕ РУАЯЛЬ

БУЙВОЛЫ

Итак, чудо возвратило меня на Руаяль уже в качестве обычного заключенного, отбывающего обычный срок. Я вернулся туда через девятнадцать месяцев.

Я снова был с друзьями. Дега занимал тот же пост, Гальгани по-прежнему служил почтальоном. Карбоньери тоже был здесь, обвинение в соучастии в побеге удалось отвести. И еще меня встретили, конечно, Гранде, Бурсе, Шатай и тачечники — Нарик и Кенье. Служил на Руаяле помощником санитары и Матуретт, мой товарищ по первому побегу.

Надо сказать, что мое возвращение на Руаяль произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Было субботнее утро, когда я появился во дворе блока «А» для особо опасных. Почти все ребята были здесь и почти все без исключения бурно и радостно приветствовали меня.

— Ну, ребята, вы как, нормально?

— Да, Папи. И очень рады: тебя видеть!

— Твое место по-прежнему за тобой, — сказал Гранде. — Никому не позволил занимать.

— Спасибо, всем спасибо. Что слышно нового?

— Одна приятная новость.

— Какая?

— Вчера ночью против барака для «паинек» нашли убитого араба, того самого, что донес на тебя. Ну, который лазил на пальму и шпионил. Должно быть, это устроил один из твоих приятелей. Не хотел, чтобы он тут мозолил тебе глаза. Ну и избавил от лишних хлопот

— Хотел бы я все-таки знать, чья это работа. Чтобы поблагодарить.

— Может, потом он тебе и сам скажет. Во время переключки араба нашли с ножом, воткнутом в грудь по самую рукоятку. Никто, как водится, ничего не видел и не слышал.

— Что ж, оно и к лучшему. Как игра?

— Нормально. Место за столом тебе обеспечено.

— Прекрасно.

Итак, я снова начинал жить как человек, приговоренный к пожизненному заключению, вот только как и когда кончится вся эта затянувшаяся история?..

— Комендант хочет вас видеть, — сообщил какой-то араб.

Я пошел с ним. В сторожевой будке у входа было несколько охранников, они приветствовали меня весьма радостно, почти по-приятельски. Я вошел. В комнате сидел комендант Пруйе.

— Ну как ты, Папийон, в порядке?

— Да, комендант.

— Очень рад, что тебя простили. Поздравляю также с храброй попыткой спасти дочурку моего коллеги.

— Спасибо

— Хочу предложить тебе поработать возницей. Временно, конечно, пока не освободится место ассенизатора, чтобы ты смог снова рыбачить.

— Что ж, если это вас не скомпрометирует, прекрасно, я согласен.

— Это уж мое дело, скомпрометирует или нет. Я на три педели еду во Францию. Можешь приступить к работе хоть сейчас

— Не знаю, как и благодарить вас, комендант.

— А я знаю. Продержаться хоть месяц, не пытаюсь бежать. — И Пруйе рассмеялся.

Люди в нашем бараке были все те же, и образ жизни прежний. Игроки — отдельный класс — не думали ни о чем, кроме своих карт. Мужчины, имеющие мальчиков-подружек, жили, ели и спали с ними. Тут образовались вполне стабильные пары, днем и ночью поглощенные своими мыслями и страстями, всеми перипетиями гомосексуальной любви. Сцены ревности, бурные проявления чувств, «муж» и «жена» постоянно втайне шпионившие друг за другом, и неизбежная серия убийств в случае, если одному из партнеров надоедал другой и он уходил к новому любовнику.

Так, на прошлой неделе негр по имени Симплон убил парня по имени Сидеро, и все это ради неотразимого Шарля Барра. Это уже третий человек, которого убил Симтон из-за Шарля. Я не успел пробыть в лагере и нескольких часов, как ко мне вдруг подошли двое:

— Скажи-ка, Папийон, этот Матуретт, он что, твоя девочка? Или нет?

— Чего это вы вдруг? — Да так, чисто личный интерес.

— Тогда вот что я вам скажу, ребята. Матуретт бежал со мной за тысячу миль и вел себя как настоящий мужчина. Больше мне добавить нечего.

— Да нет, мы интересуемся он твоя подружка или нет?

— Нет. По части секса я о нем ничего не знаю. А что касается дружбы, то я самого высокого мнения об этом парне, остальное меня не интересует. Разве что если какая сволочь попытается его обидеть.

— А что, если однажды, он станет моей женой?

— Захочет — его дело. Я в это не вмешиваюсь. Но если только узнаю, что ты ему угрожал» склоняя к сожительству, будешь иметь дело со мной.

Поражаюсь этим гомикам — и как они находят друг друга? Ни до кого им нет дела живут себе, и все тут!

Итак, жизнь на Руаяле шла своим чередом. Я начал работать возницей, и у меня появился буйвол по кличке Брут. Он весил две тонны и был с точки зрения других буйволов закоренелым убийцей. Он уже успел расчитаться с двумя быками — своими соперниками.

— Даю ему последний шанс, — сказал Агостини, надзиратель скотного двора на острове. — Если он еще кого заперет, отправлю на бойню!

Первая наша встреча с Брутом состоялась утром. Негр с Мартиники, ездивший с ним ранее, остался еще на неделю — научить меня новому делу. Я подружился с Брутом тотчас же, пописав ему на нос — он обожал привкус соли. Затем я угостил его зелеными манго, сорванными в больничном саду. А когда впряг его в огромную, грубо сбитую телегу с бочкой для воды на три тысячи литров, все это очень напоминало колесницу фараона.

Отправились мы к берегу моря. Нам с Брутом надлежало наполнить бочку водой и снова вернуться на плато, поднявшись по жутко крутому склону. Там я открывал затычку, и вода, хлещущая из бочки по желобам, смывала в море все накопившиеся за день нечистоты. Наш рабочий день начинался в шесть утра, а к девяти уже заканчивался.

Дня через четыре я уже вполне мог обходиться без мартиниканца. Существовала лишь одна серьезная загвоздка: каждый день в пять утра мне приходилось плавать в грязном пруду, разыскивая Брута, который, ненавидя свою работу и стремясь от нее увильнуть, торчал по брюхо в воде и ни за что не желал вылезать. В ноздри — самое чувствительное у быка место — у Брута было вдето железное кольцо с полуметровой цепочкой, лишь потянув за нее, можно было заставить его выйти из воды. Но для этого надо сначала найти его. Часто, когда я почти настигал его, он нырял и всплывал где-то совсем в другом месте. Иногда на то, чтобы вытащить эту упрямую скотину из воды, кишащей разными тварями и заросшей водяными лилиями, у меня уходил целый час. Я весь так и дрожал от злости.

— Свинья поганая! Упрямая скотина! Вылезешь ты из воды или нет?

Впрочем, все эти угрозы и оскорбления не действовали на Брута. Единственным средством управления этим чудовищем оставалось кольцо с цепочкой. Впрочем, стоило извлечь его из воды, как мы тут же становились друзьями.

В Брута была влюблена одна очень славенькая молоденькая буйволица, она обожала ходить с нами на море и обратно. Я в отличие от мартиниканца не отгонял ее, напротив, позволял «целовать» Брута и повсюду следовать за нами. А когда они целовались, ни разу не побеспокоил «влюбленных», после чего Брут, выражая мне свою благодарность, с непостижимой легкостью и быстротой катил по дороге тяжеленную телегу. Кстати, кличка этой буйволицы была Маргарита.

Вчера в шесть утра на переключке из-за этой Маргариты произошла пресмешная история. Дело в том, что возница-мартиниканец имел, по-видимому, привычку каждый день залезать на низенькую изгородь и трахать с этой высоты Маргариту. Однажды его застукал за этим занятием охранник, и парня уперли в карцер на тридцать суток, — ведь скотоложство признавалось преступлением. А вчера во время переключки в лагерь неожиданно ворвалась Маргарита. Пробежав мимо строя заключенных, она остановилась перед негром, затем повернулась и подставила ему свой зад. Все так и покатались со смеху, а лицо мартиниканца посерело от стыда.

Я совершал три поездки к морю в день. Самым трудным делом было заполнение бочки водой, но с помощью еще двоих заключенных я справлялся с этим довольно успешно и уже к девяти мог отправляться на рыбалку.

На середине подъема от моря к плато находилась довольно ровная площадочка, где у меня был припасен большой камень. Брут привык устраивать себе в этом месте передышку минут на пять, и я подкладывал камень под колесо телеги, чтобы она не тащила его вниз. Но однажды утром в этом месте вдруг появился еще один буйвол по кличке Дантон, такой же огромный, как и Брут. Он выскочил из зарослей низеньких пальм с густой листвой, где прятался до того, и

бросился прямо на Брута. Бруту удалось увернуться от удара. Дантон попал по телеге. Один из рогов пробил бочку. Бык отчаянно дергался, пытаясь высвободить застрявший рог, а я в это время спешно распрягал Брута. Освободившись от сбруи, Брут отбежал метров на тридцать, затем пригнул голову и бросился в атаку. Отчаяние или страх помогли Дантону — он рванулся со страшной силой и высвободил голову, а в бочке остался торчать обломок рога. Дантон успел увернуться от Брута, и тот с ураганной силой налетел на телегу и опрокинул ее.

Затем произошла самая странная вещь, которую я когда-либо видел в жизни. Дантон и Брут соприкоснулись рогами и потерлись этим грозным оружием друг о друга нежно и приветливо, без всякой злобы. Было похоже, что они о чем-то переговариваются. Потом Маргарита начала медленно подниматься по склону, за ней последовали оба быка. Время от времени они останавливались и нежно терлись друг о друга рогами. В какой-то момент они слишком увлеклись и затянули эти процедуры, но тут Маргарита испустила дразнящий стон, и вся троица снова пустилась в сторону плато. Наконец процессия, замыкаемая мной, оказалась возле маяка на ровной прямоугольной площадке длиной около трехсот метров, на дальнем конце которой располагался лагерь, а справа и слева две больницы — одна для заключенных, другая для солдат.

Дантон и Брут следовали за Маргаритой метрах в двадцати. Время от времени соблазнительница испускала долгое, томное, явно призывное мычание. Соперники снова соприкоснулись рогами, на этот раз, как мне показалось, они действительно о чем-то говорили — в их мычании отчетливо различались совсем особые, осмысленные звуки.

После беседы быки разошлись — один влево, другой вправо. Каждый остановился у самого края площадки. Итак, их разделяло метров триста. Маргарита выжидательно замерла посередине.

И тут я сообразил, что сейчас будет: настоящая классическая дуэль по обоюдному согласию. А буйволица — приз победителю. Она была совсем не против, наоборот, так и раздулась от гордости как павлин. Еще бы — два таких красавца собираются биться насмерть за право обладания ею.

Крик Маргариты, и они бросились друг на друга. Не могу передать, с какой невообразимой скоростью сближались эти две двухтонные туши. Они столкнулись лбами с такой силой, что минут на пять застыли, оглушенные мощью удара. Брут пришел в себя первым и галопом вернулся к исходной позиции.

Битва длилась часа два. Охранники уже хотели убить Брута, но я им не позволил; затем в один из моментов у Дантона сломался рог — тот самый, который он повредил о бочку. И он ударился в бегство, преследуемый Брутом. Погоня, прерываемая короткими схватками, длилась до утра следующего дня. Быки разметали и сносили все, что попадалось на пути: сад, кладбище, прачечную. Лишь около семи утра Бруту удалось припереть Дантона к стене скотобойни возле моря и глубоко вонзить рог в брюхо соперника.

К тому же Брут повернул его в теле соперника дважды — до самого желудка. И побежденный Дантон рухнул в лужу крови, смешанной с собственными кишками.

Битва гигантов настолько изнурила Брута, что мне пришлось самому выдергивать его рог из тела Дантона. Буйвол поплелся по тропинке вдоль моря, там к нему присоединилась Маргарита и затрусила бок о бок, подставляя ему под плечо свою безрогую голову.

Я не смог присутствовать на их брачной ночи, так как надзиратель, в чьем ведении находились

буйволы, объявил, что увольняет меня за то, что я посмел распрячь Брута. Я дошел к коменданту.

— Что произошло, Папийон? Брута надо прирезать, он слишком опасен. Он уже успел уничтожить трех прекрасных животных.

— Потому я и пришел к вам. Просить, чтобы вы спасли Брута. Никто, кроме меня, не знает, как обстояло дело. Я должен заявить, что Брут действовал исключительно в целях самообороны.

Комендант улыбнулся.

— Так... Что же дальше?

— Видите ли, комендант, противник напал на моего буйвола первым. — И я посвятил его во все детали. — Более того, если бы я не распряг Брута, Дантон наверняка убил бы его. Ведь он не мог защищаться, будучи прикованным к телеге.

— Это, конечно, верно, — заметил комендант.

В этот момент появился надзиратель скотного двора.

— Доброе утро, комендант! А я везде ищу тебя, Папийон. Ты ушел утром из лагеря, будто на работу отправился, а ведь я тебя уволил! Быка в любом случае отправят на бойню в воскресенье утром — мяса с него на целый барак хватит!

— Вы не посмеете?

— А ты кто такой, чтобы мне приказывать?! Плевать я хотел!

— Есть комендант. И еще доктор — я попрошу его спасти Брута, и он скажет свое слово.

— Да тебе-то что за дело?

— Это мое дело. Я возникший, а Брут — мой друг.

— Друг?! Буйвол? Ты что, смеешься?

— Господин Агостини, послушайте меня хоть минуту!

— Пусть он выступит как адвокат Брута, — вмешался комендант.

— Ладно. Говори!

— Господин Агостини, как вы думаете, животные могут разговаривать друг с другом?

— Почему нет? Надо же и им как-то общаться.

— Ну хорошо. Так вот: Брут и Дантон договорились, что будут драться на дуэли.

И я второй раз пересказал историю с самого начала.

— Бог ты мой! — воскликнул надзиратель. — Ну и странный ты все же тип, Папийон! Ладно, поступай со своим Брутом как знаешь, но смотри: если он взбрыкнет еще хоть раз, никто его не спасет, даже сам комендант. Можешь возвращаться на работу.

Два дня спустя Брут вновь вернулся к своим обязанностям по доставке воды. И по-прежнему за ним повсюду следовала его верная подруга Маргарита.

БУНТ НА СЕН-ЖОЗЕФЕ

Острова опасны — слишком уж большой, конечно, видимой свободой пользуются там заключенные. Мне было больно и противно наблюдать, какой ленивой растительной жизнью здесь живут и больше всего на свете боятся, чтобы ничто не нарушило ее мирного течения. Одни ждут, когда закончится срок заключения, другие уже ничего не ждут, а просто погрязли в своих пороках.

Прошлой ночью я лежал в гамаке, а в другом конце барака развернулась карточная игра, такая бурная, словно в картежников бес вселился. В конце концов моим друзьям Карбоньери и Гранде пришлось вмешаться, чтобы немного утихомирить их, одному справиться с этой публикой было не под силу. Я же погрузился в дремоту и, стараясь забыться, гнал от себя сладкие воспоминания о жизни на побережье среди индейцев. Наверное, сам Господь Бог наказал меня за то, что я недооценил красоту и прелесть первобытной жизни, так щедро предложенной мне в подарок, которой я мог пользоваться ровно столько, сколько мне хотелось.

Там остались милые мои возлюбленные, Лали и Зарема, там не существовало ни жандармов, ни наших законов, ничего, кроме полного взаимопонимания и любви между людьми, населяющими эту благословенную землю. Да, я сам виноват, что оказался здесь, но надо постоянно думать только об одной вещи — бежать или умереть. Ведь стены и цепи каторги владеют не духом, а только моим телом, правда, об этом напоминают ежедневно, точнее, два раза в день.

— Папийон!

— Здесь!

Это утром. А в шесть вечера снова:

— Папийон!

— Здесь!

Но вы заблуждаетесь, господа. Мое физическое пребывание здесь еще ничего не означает. Дух мой свободен. Я не принадлежу каторге, я не освоился с ней, как освоились тысячи заключенных, в том числе даже самые близкие мои друзья. Я постоянно готов к побегу.

В этот момент к моему гамаку подошли какие-то два типа.

— Спишь, Папийон?

— Нет.

— Мы хотели бы с тобой поговорить.

— Говори. Только тихо, чтоб никто не услышал.

— Так вот, мы готовим бунт.

— Каким образом? Как это понять?

— Перебьем всех арабов, всех этих собак охранников с их женами и детьми-ублюдками. А план такой: Арно, это я, и мой друг Отэн, и еще четверо ребят, они на нашей стороне, нападаем на склад оружия, что у комендатуры. Я там работаю — слежу, чтобы стрелковое оружие содержалось в чистоте и порядке. Там двадцать три автомата, пулеметы и еще восемьдесят единиц — по большей части карабины и короткоствольные ружья марки «Лебел». Все пройдет как по...

— Стоп, стоп, не продолжай! Я пас. Благодарю за оказанное мне доверие, но я отказываюсь.

— Мы думали, ты согласишься стать во главе... Погоди, сейчас узнаешь подробности и сам все поймешь. Дело беспроектное. Мы уже с полгода готовим эту операцию. На нашей стороне около пятидесяти человек...

— Только не называй имен. Ни руководителем быть не хочу, ни вообще принимать участия в этом деле.

— Почему? Мы же доверяем тебе и говорим все напрямик, как есть. Так что уж, будь другом, объясни.

— Но я же не просил рассказывать мне все это. Это, во-первых. Я вообще, сколько себя помню, делаю только то, что сам захочу, это, во-вторых. Плюс к тому я не убийца, который кидается на людей. Могу убить только того, кто причинил мне зло, много зла, но убивать женщин и детей, не сделавших мне ничего дурного... К тому же вы даже не понимаете, что дело это на все сто процентов гиблое, но я вам сейчас объясню. Даже если бунт и удастся, в конце все равно тупик.

— Почему?

— Потому что главное — это вырваться отсюда. Главное — побег, а он невозможен. Ну, допустим, в мятеже примут участие даже сто человек, а куда они потом денутся? На острове всего две лодки. Больше сорока каторжан вместить они не могут. А как быть с остальными шестьюдесятью?

— Мы будем в числе тех сорока, что сядут в лодки.

— Это ты так сейчас думаешь. Другие не глупее вас. У них тоже будет оружие, и если имеется хоть капля мозгов, они своего не упустят. Вы тут же начнете убивать друг друга из-за этих лодок. Но самая главная загвоздка состоит в том, что ни одна страна в мире не захочет принять ни одну из этих лодок после того, что вы здесь натворите. Ведь сообщение об этом будет передано по телеграфу во все возможные страны, куда бы вы ни направились. Особенно, конечно, их сильно вдохновит тот факт, что вы перебили столько людей. Нет такого уголка на Земле, где бы вас приняли, а если и примут, то только для того, чтобы вернуть во Францию. Слыхали, наверное, что я вернулся из Колумбии? Так что я знаю, что говорю.

— Ладно. Выходит, отказываешься?

— Да.

— Это последнее твое слово?

— Последнее.

— Что ж, нам ничего не остается, как распрощаться.

- Погодите минуту. Прошу, ни в коем случае не говорите об этом ни одному из моих друзей.
- Заметано.
- И вообще не кажется ли вам, что лучше от этого отказаться?
- Честно говоря, нет, Папийон.
- Все же никак не пойму, какой в этом толк. Даже если затея и удастся, бежать вы все равно не сможете.
- Больше всего мы хотим отомстить. Теперь, после того, как ты объяснил, что ни одна страна в мире не захочет нас принять, путь остается один — сколотим банду и уйдем в джунгли, будем орудовать там.
- Даю честное слово, что не скажу об этом никому, даже моим лучшим друзьям.
- Знаем тебя и верим.
- Хорошо. И последняя просьба: дайте мне восемь дней, чтоб я успел уйти на Сен-Жозеф. Не хочу находиться на Руаяле, когда начнется вся эта заваруха.
- Сообщим вовремя.
- Как мне заставить вас передумать? Может, сообразим вместе что-то другое? К примеру, стырим четыре короткоствольных ружья, нападём ночью на охранников, захватим лодку и уйдем вместе?
- Нет. Очень уж они над нами издевались. Для нас самое главное — месть, пусть даже кто-то из наших и погибнет.
- Ну, а при чем тут дети, жены?
- Они из того же теста. Та же мразь.
- Ладно, хватит об этом.
- Не хочешь пожелать нам успеха на прощанье?
- Нет. Скажу только: бросьте вы это дело, пока не поздно.
- Ты что же, отказываешь нам в праве на месть?
- Да не отказываю, но невиновные здесь ни при чем! Спокойной ночи!
- Спокойной ночи. Мы ни о чем не говорили, Папи, верно?
- Само собой, ребята.

Отэн и Арно исчезли. Вот так история! Ну, то, что эти двое тронулись, это ясно, но есть еще человек пятьдесят — шестьдесят сбитых с толку, а может, их и вправду уже около ста! Какой идиотизм! Ни один из моих друзей не обмолвился об этой истории ни словом, выходит, эти двое говорили в основном с мелкой шушерой. Ни один из серьезных парней не полезет в такое грязное дело.

Целую неделю я собирал сведения об Арно и Отэне. Арно получил пожизненное, кажется, по судебной ошибке, за преступление, которое больше чем на десятку не тянуло. Судьи же наказали его так жестоко скорее всего потому, что всего за год до этого его брат был гильотинирован за убийство сержанта. И так как на суде прокурор распространялся больше о брате, чем об Арно, у присяжных создался совершенно чудовищный образ закоренелого преступника. Вот он и оказался здесь. Кажется, его еще ужасно избили при аресте, и все из-за брата.

Отэн вообще не ведал, что такое свобода, он в тюрьме с девяти лет. Перед тем как выйти из исправительной колонии в возрасте девятнадцати лет, он умудрился убить какого-то типа, и снова загремел за решетку. Думаю, у него не все дома, так как поговаривали, что он планировал добраться до Венесуэлы, устроиться работать на золотых приисках и там отрубить себе ногу, чтобы получать пожизненную компенсацию. Кстати, как раз эта нога отнялась у него по несчастливому стечению обстоятельств: этот кретин сделал себе укол какой-то неизвестной сыворотки еще на острове Сен-Мартен.

Сегодня случилось весьма загадочное происшествие. Во время утренней переклички вызвали вдруг Арно, Отэна и Жана Карбоньери, брата моего друга Матье. Этот Жан был пекарем, хоть и работал иногда у нас на пристани, возле лодок. Их без всякого объяснения отправляли на Сен-Жозеф. Я пытался выяснить, но безрезультатно. Ведь Арно проработал здесь оружейником целых четыре года, а Жан Карбоньери исправно исполнял обязанности пекаря вот уже лет пять. Это не могло быть просто случайностью. Наверняка кто-то кому-то стукнул, но вот кто и кому?

Я решил поговорить об этом с моими ближайшими друзьями, Матье Карбоньери, Гранде и Гальгани. Никто ничего не знал. Выходит, и вправду Арно и Отэн толковали тогда только с мелкой рыбешкой.

— Но почему они заговорили об этом со мной?

— Но ведь все же знают, что ты готов бежать любым способом.

— Любым, но не таким же!

— Они не поняли разницы. — Ну, а Жан, твой брат?

— Ума не приложу, как это он влез в такую историю? Сдурел, что ли?

— А может, кто-то просто так на него донес, может, он тут ни при чем?

События развивались стремительно. Прошлой ночью по пути в клозет был убит Джирасоло. Кровь обнаружили на рубашке мартиниканца, возникшего. Через две недели после поспешного расследования на основе показаний какого-то типа, которого тут же заперли в изоляторе, специальный трибунал приговорил возникшего к смертной казни.

Как-то раз во дворе возле душевой ко мне подошел Гарвел, бывалый каторжанин по кличке Трубочист.

— Папи, тяжело у меня на душе. Это я пришел Джирасоло. Я, конечно, хочу спасти черномазого, но в жар бросает при одной только мысли о гильотине. Если б ты подсказал мне ход, чтоб можно было получить за это лет эдак пять, не больше, я тут же бы пошел и признался.

— А какой у тебя приговор?

— Двадцатник.

— Сколько отсидел?

— Двенадцать.

— Да, надо бы придумать что-нибудь, чтоб дали пожизненное, тогда можно избежать одиночки.

— Можешь подсказать идею?

— Дай подумать, сегодня ночью скажу. Настала ночь, и я сказал Гарвелу:

— Ты должен пойти сам и признаться. А мотивировать тем, что тебя заела совесть и что ты не можешь позволить, чтоб из-за тебя отрубили голову невинному человеку. При этом возьми в защитники одного из охранников. Я скажу, кого именно, потом, когда сам с ним вперед переговорю. Только торопись, а то казнят парня. У тебя дня два-три, не более.

Я переговорил с охранником Коллоной, он тут же подал великолепную идею. Я должен сам привести Гарвела в комендатуру и сказать, что это он попросил сопроводить его сюда якобы после того, как я твердо обещал, что его ни в коем случае не приговорят к смерти, так как поступает он благородно и честно. И надо бы, учитывая, что преступление, конечно, тяжелое, дать ему пожизненное.

Все прошло как по маслу. Гарвел спас негра, которого тут же отпустили. Лжесвидетеля, донесшего на него, наказали годом одиночки. Робер Гарвел получил пожизненное.

Только через два месяца Гарвел объяснил мне, как все случилось. Оказывается, Джирасоло знал о бунте и, согласившись в нем участвовать, тут же донес на Арно, Отэна и Жана Карьбоньери. Слава Богу, он знал только эти имена. Рассказанная им история так мало походила на правду, что даже фараоны не поверили ему. И все же на всякий случай, дабы оградить себя от сюрпризов, взяли да и отправили троицу на Сен-Жозеф, даже не объяснив, за что.

— Гарвел, ну а какой мотив убийства ты придумал, за что его замочил?

— За то, что он якобы спер у меня патрон. Сказал, что я спал рядом с ним, а это так и было на самом деле, ну и по ночам доставал патрон и прятал его под подушку. А как-то ночью пошел в клозет, а когда вернулся, патрона на месте не оказалось. Из всех, кто был рядом, он только один не спал, Джирасоло. Фараоны скушали все это тут же, быстренько позабыли о том, что покойник трепался о бунте.

— Папийон! Папийон! — закричали со двора. — Выходи! Быстро! Переключка!

— Здесь!

— Собери вещи. Отправляешься на Сен-Жозеф.

— Черт бы вас взял...

Во Франции началась война. И дисциплина тут же ужесточилась: ответственное за побег начальство ждало суровое наказание. А пойманным за одну только попытку к побегу полагался

расстрел. Ибо считалось, что беглец автоматически должен примкнуть к тем, кто предал родину. Любой проступок можно простить, кроме побега.

Комендант Пруйе уехал уже более двух месяцев назад. Нового я не знал. Ничего не поделаешь. В восемь утра я сел в лодку, отправлявшуюся на Сеи-Жозеф.

Отца Лизетт — той девочки, которую я пытался спасти, — в лагере не оказалось. На прошлой неделе он с семьей отправился в Кайенну. Нового коменданта звали Дутен, он был родом из Гавра. Он и встретил меня на пристани.

— Это вы Папийон?

— Да, господин комендант.

— Станный вы все же человек, — сказал он, рассматривая мои документы.

— Почему странный?

— Потому что, с одной стороны, вы здесь помечены как особо опасный со всех точек зрения, даже подчеркнуто красными чернилами. Вот: «Всегда готов организовать бунт или восстание». А чуть ниже приписка: «Попытка спасти ребенка коменданта с острова Сен-Жозеф от акул». У меня две дочери, Папийон, хочешь познакомиться?

Он подозвал малюток. Одной было около трех, другой лет пять. Они вошли в кабинет в сопровождении молодого араба и очень хорошенькой темноволосой женщины.

— Вот, знакомься, любовь моя. Это тот человек, который пытался спасти твою крестницу, Лизетт.

— О! Позвольте пожать вам руку! — воскликнула молодая женщина.

Простое пожатие руки является для каторжанина великой честью. Почти никто и никогда не протягивает руки заключенному. Я был тронут благородным порывом этой красивой женщины, ее теплым искренним жестом.

— Да, я крестная Лизетт. Мы очень дружим с женой Грандуа. Ах, дорогой, скажи, чем мы можем облегчить участь этого человека?

— Ну, прежде всего он отправится в лагерь, а потом скажет, чем бы хотел там заняться, какую работу получить.

— Благодарю вас, господин комендант, благодарю, госпожа. Но не могли бы вы мне сказать, за что меня отправили на Сен-Жозеф? Это смахивает на наказание.

— Не знаю. Но полагаю, что причина проста — новый комендант опасается, как бы вы не сбежали.

— Вообще-то он недалек от истины.

— Для тех, кто отвечает за побег, наказания ужесточились. До войны могли просто понизить в должности, теперь совсем другое дело. Поэтому вас и решили отправить сюда. Тамошний комендант предпочитает, чтобы вы сбежали с Сен-Жозефа, так как он за этот остров не отвечает, а дрожит только за порядок на Руаяле.

— Господин комендант, а сколько вы намерены проработать здесь?

— Полтора года.

— Я не смогу столько ждать. Но что-нибудь да придумаю, чтобы отправили обратно на Руаяль, чтоб вы были непричастны к моему побегу!

— Спасибо, — сказала госпожа. — Очень рада убедиться, что у вас действительно благородное сердце. Если что-то понадобится, милости просим, заходите, не стесняйтесь. Дорогой, скажи охране, чтоб Папийона пропускали к нам, когда он захочет.

— Хорошо, дорогая. Мохаммед, проводи Папийона в лагерь, пусть он сам выберет себе барак.

— О, ну тут выбор однозначен — только вместе с «особо опасными».

— Нет проблем, — со смехом ответил комендант и нацарапал что-то на клочке бумаги, который и передал Мохаммеду.

Начальником караула служил в лагере пожилой корсиканец, человек крайне жестокий, прирожденный убийца. Звали его Филлисари.

— А-а, так это Папийон, собственной персоной... Знай, со мной можно только по-хорошему, иначе тебе конец. О побеге и помышлять не смей, а коли попробуешь, придавлю, как курицу. Через два года выхожу на пенсию, и у меня нет желания, чтобы какая-то каторжная сволочь отравляла мне жизнь.

— Ты знаешь, я всегда ладил с корсиканцами. Обещаю, что не сбегу, ну а если уж так получится, устрою, чтоб это произошло не во время твоего дежурства.

— Вот это другое дело, Папийон. Тогда будем друзьями. Молодым, им, понятное дело, легче... Что им побег! А вот мне, в моем возрасте да на пороге пенсии! Ладно, ты, я вижу, все понял. Ступай в свой барак.

И вот я в лагере. Барак такой же, как и на острове Руаяль, примерно на сто двадцать заключенных. Здесь я увидел Придурка Пьеро, Арно, Отэна и Жана Карбоньеры. Хотя он и доводился родным братом Матье, но слеплен был из теста пожиже. К тому же брательник корешился с Арно и Отэном. Так что я устроился от него подальше — рядом с Карье по прозвищу Придурок Пьеро.

Природа на Сен-Жозефе более дикая, чем на Руаяле, сам остров меньше, но выглядит большим, чем есть на самом деле, потому что сильно вытянут в длину. Лагерь расположен на возвышенности, состоящей из двух плато — на первом сам лагерь, а на втором, что повыше, одиночка. Между прочим, заключенных из этой одиночки до сих пор водят купаться по часу каждый день. Надеюсь, что и дальше будет так же.

Каждый день араб, работающий у коменданта, приносит мне на ужин три металлических судка с деревянными ручками, составленных вместе один на другой. Оставляет их и забирает вчерашнюю посуду. Крестная Лизетт посылает мне ту же еду, которую готовит для своей семьи.

В воскресенье я отправился поблагодарить их. Все послеобеденное время я провел в приятной беседе и играх с девочками. Глядя их светлые кудрявые головки, я поймал себя на мысли, что просто не знаю, как вести себя дальше. Что если маньяки не передумали? Можете себе

представить, какая угроза нависла над этой семьей? После доноса Джирасоло фараоны, так и не поверившие ему, даже не удосужились изолировать одного заговорщика от другого. Может, их предупредить? А как будет реагировать охрана, если что произойдет? Нет уж, лучше помолчу, а там видно будет.

Отэн и Арно не разговаривают со мной в бараке. Вообще это даже к лучшему, мы относимся друг к другу с уважением, но без всяких там фамильярностей. Жан Карбоньери не разговаривает вообще, обижен, что я отказался занять место рядом с ним. В моей шобле четверо: Придурок Пьеро, Маркетти, получивший второй приз на конкурсе скрипачей в Риме (кстати, он целыми часами играет, да так, что сердце разрывается на части), Марсори, корсиканец из Сета, и я, ваш покорный слуга.

О подготовке бунта я не вымолвил и слова, создавалось впечатление, что здесь об этом совсем не знают. А может, эта идея их уже больше не греет? До мятежа ли, когда такой тяжкий труд выпал на их долю. Они вынуждены тянуть свою лямку в прямом и переносном смысле слова, тянуть точно бурлаки. Каторжники таскали здесь огромные каменные глыбы, предназначенные для строительства в море закрытого бассейна. Камень хорошенько обматывали цепями, в одном месте прикреплялась цепь подлинней — 15 — 20 метров, и заключенные, встав с обеих сторон цепи цепляли крючьями каждый за одно из звеньев, причем крючья эти были прикреплены у них к некоему подобию сбруи, обмотанной вокруг плеч и туловища. Словно лошади-тяжеловозы, волокли они глыбу к нужному месту, в жару, под палящим солнцем. Кошмарная работа, просто ужасная.

Внезапно со стороны пристани грянули выстрелы — из ружья и револьвера. Я тут же понял — кретины начали свое черное дело. Интересно все же, кто берет верх? Лежа в гамаке в бараке, я даже не шелохнулся. Кругом послышались возгласы:

— Это же бунт!

— Бунт? Какой еще бунт?

Я нарочито подчеркнуто показываю всем, что понятия не имею, о чем они толкуют.

Жан Карбоньери, который не вышел сегодня на работу, приблизился ко мне бледный, точно мертвец, и прошептал:

— Папи, это бунт... Я ответил холодно:

— Какой еще бунт? Ничего не знаю!

Выстрелы не смолкали. В барак вбежал Придурок Пьеро.

— Начался бунт! Но сдаётся мне, дела их плохи. Вот чертовы придурки! Папи, а ну доставай нож! Перережем их как можно больше, пока нас не задавили!

— Да, — повторил Карбоньери. — Поубиваем гадов, и чем больше, тем лучше!

Чиссилья достал бритву. В руке каждого появилось по раскрытому ножу. Я сказал:

— Бросьте заниматься ерундой! Сколько нас здесь?

— Девять.

— Вы, семеро, бросайте ножи! Первого, кто поднимет руку на фараона, прикончу самолично! Не хочу, чтоб меня пристрелили в этом бараке как кролика. Ты что, замешан в этом деле?

— Нет!

— А ты?

— Тоже нет.

— А ты?

— Понятия не имел.

— Тогда порядок. Никто из нас ничего не знал об этом бунте. Поняли?

— Да.

— Если кому-то придет в голову протреться, пусть знает, ему конец! А теперь быстро кидайте оружие в коридор. Они скоро будут здесь.

— А если верх одержат каторжане?

— Тогда пусть поступают, как считают нужным. Пусть попробуют смотаться. Лично я не собираюсь бежать таким способом. А вы?

— Мы тоже, — хором ответили мои товарищи, в том числе и Жан Карбоньери.

Что касается меня, то я и вида не подал, что хоть что-нибудь знаю, тем более что выстрелы вскоре прекратились, а это могло означать одно — заключенные проиграли.

И действительно, то страшное побоище, которое они запланировали, не могло окончиться так просто.

В лагерь ворвались фараоны. Они мчались, как безумные, колошматя всех направо и налево прикладами, дубинками и просто ногами и распахивая заключенных по баракам. Гитары, мандолины, шахматы, лампы, табуретки, бутылки с маслом, сахар, кофе — все было разбито и растоптано. Они уничтожали весь наш жалкий лагерный скарб, который по уставу запрещалось держать в бараках.

Грохнуло еще два выстрела, судя по звуку, из револьвера.

В лагере было восемь барачков, они прошлись смерчем по каждому, избивая заключенных прикладами. Какой-то голый каторжанин выскочил из дверей и помчался к капралу, за ним погнались фараоны, продолжая лупить его что было сил.

Вот они уже совсем рядом, справа от нас, в седьмом бараке. Мы стояли и ждали каждый на своем месте. Из тех, кто вышел на работу, в барак не вернулся никто. Мы стояли и молчали. В горле пересохло, и я успел только подумать: «Не дай Бог кому-нибудь из этих типов придет в голову воспользоваться ситуацией и прихлопнуть меня под горячую руку!»

— Идут! — шепнул Карбоньери, трясаясь от страха. Они вломились в барак, человек двадцать, если не больше, с ружьями на изготовку.

— Эй, вы! — взревел Филлисари. — Это как понимать? Еще не разделись? Чего ждете, крысы?

Перестреляю всех, сволочи! А ну, скидывай барахло, не будем же сдирать тряпки с трупов!

— Господин Филлисари...

— Заткнись, Папийон! Не время просить пощады! Поздно. Слишком уж подлую штуку вы задумали. Тут ведь самые отпетые в лагере, без вас наверняка не обошлось!

Глаза его, готовые вылезти из орбит, налились кровью.

— Все, крышка! — шепнул Пьеро, Я решил рискнуть.

— Странно, что такой человек, как вы, тем более бонапартист, грозит наказанием совершенно невиновным людям. Хотите стрелять, стреляйте, но только без лишних слов, мы обойдемся без них. И стреляйте скорее, на черта нам сдалась такая собачья жизнь! Я-то думал, вы человек, старина Филлисари, но, вижу, ошибся. Валяй! Даже видеть не желаю, как вы будете палить, повернусь спиной. Повернитесь и вы спиной к этим душегубам, ребята, тогда они не смогут сказать, что это мы первыми напали на них.

И все мы как один повернулись спиной к фараонам. Они смешались от этого неожиданного поворота событий, тем более что, как я позже узнал, Филлисари уже застрелил двоих заключенных в других бараках.

— Ну, что еще скажешь, Папийон? Я ответил, стоя лицом к стене:

— Не очень-то я верю во всю эту историю с бунтом, вот что. Зачем им бунтовать? Чтобы убить фараонов? А потом сбежать? Но куда им бежать? Я-то знаю, что такое побег, как-никак вернулся из самой Колумбии. Может, вы знаете страну, которая предоставит убежище беглецам, да к тому же еще убийцам? Как называется эта страна? Лично я не знаю. Бросьте, все это глупости, ни один уважающий себя человек в такое дело не полезет.

— Ты, может, и нет, а Карбоньери? То, что он впутан, ясно как день. Плюс к тому Арно и Отэн сегодня сильно удивились, когда узнали, что он сказался больным и не вышел на работу.

— Все это просто догадки, — я повернулся к нему лицом. — Скоро сами поймете. Я друг Карбоньери и рассказал ему о своем побеге, так что у него нет никаких иллюзий на этот счет, он знает, чем кончается побег после бунта.

В это время во дворе появился комендант. Филлисари вышел к нему, и через минуту комендант позвал:

— Карбоньери!

— Здесь.

— В карцер его! Только не бить! Охрана, проводите! Всем остальным выйти! Остаются только старосты. Так... Все заключенные, что расползлись по всем углам, должны вернуться каждый на свое место. Никого не бить и не убивать, все должны вернуться в лагерь.

Затем в наш барак вошли комендант, его заместитель, Филлисари и четыре охранника.

— Папийон, произошла очень серьезная вещь, — сказал комендант. — И я отвечаю за все, что случилось. Перед тем как отдать соответствующие распоряжения, я должен иметь информацию. Понимаю, в такой напряженный момент ты, может, и не захочешь говорить со

мною откровенно, с глаза на глаз, поэтому я и пришел сюда. Убит охранник Дюкло. Они пытались захватить оружие, так что речь, несомненно, идет о бунте. У нас всего несколько минут. Я верю тебе и хочу знать твое отношение ко всему этому.

— Если речь идет о бунте, то почему я о нем ничего не знал? Почему мне не сказали? Сколько людей вовлечены в эту историю? Я отвечу вам на все эти вопросы, но только если вы скажете мне, сколько людей начали действовать после того, как убили охранника и отобрали у него оружие.

— Трое.

— Кто именно?

— Арно, Отэн и Марсо.

— Тогда ясно. Согласны вы или нет, неважно, но речь никак не может идти о бунте.

— Лжешь, Папийон! — вмешался Филлисари. — Бунт должен был произойти на острове Руаяль. Джирасоло предупреждал, но мы ему не поверили. А теперь видим, что все это правда. А это значит, что ты все время водил нас за нос, Папийон.

— Ну, если так, то тогда все мы информаторы — и я, и Придурок Пьеро, и Карбоньери, и Гальгани, и все корсиканцы с Руаяля тоже. Даже после всего случившегося я в бунт не верю. Если бы он был, то именно мы стояли бы во главе, а не какая-то мелкая шваль!

— Что ты мне лапшу на уши вешаешь?! Сказки для дураков!

— Ну а где же бунтовщики, где все остальные? Дернулся хоть кто со своего места, кроме тех трех кретинов? Хоть рукой шевельнул, чтоб захватить оружие или еще чего-нибудь? Кто накинулся на фараонов? Где лодка? Сколько вообще лодок на Сен-Жозефе? Одна шлюпка, и все! Одна на шестьсот человек! У вас что, крыша поехала? Допустим, даже двести бы дураков схиляли. Куда бы они ни причалили, их тут же арестуют и отошлют назад... Господин комендант, я еще не знаю, сколько людей вы убили в этой перепалке, но уверяю, все они были невиновны! А за что уничтожили наши вещи? Ваша злоба неоправданна. Должны же вы понимать, что если не давать каторжанам послаблений хоть на йоту, то действительно может начаться бунт, бунт людей, отчаявшихся от безысходности, нечто вроде коллективного самоубийства — раз нам все равно подыхать, так подохнем вместе с фараонами! Господин Дутен, я был с вами откровенен, уверен, вы того заслуживаете, ведь вы пришли не наказывать, а сначала разобраться. Оставьте нас в покое.

— Ну а как быть с теми, кто замешан? — встрял Филлисари.

— Ваша забота найти их. Мы понятия не имеем, кто это, и ничем не можем помочь. Еще раз говорю: все это пустая трепотня, выдумки дешевых фразеров. Мы к этому делу никак не причастны.

— Господин Филлисари, — сказал комендант, — когда в бараке для особо опасных все будут на месте, прикажите запереть дверь до особых распоряжений. Двух охранников у дверей, никого не бить, вещи заключенных не трогать. Идемте.

И он вышел вместе с охранниками.

Уф! Вроде бы пронесло. Мы начали понемногу приходить в себя. Запирая двери, Филлисари

бросил мне:

— Твое счастье, что я бонапартист!

Меньше чем через час вернулись почти все обитатели нашего барака. Отсутствовало восемнадцать человек — позднее фараоны сообразили, что впопыхах распихали их по другим баракам. И вот мы узнали подробности. Воришка из Сент-Этьена поведал мне шепотом:

— Представляешь себе, Папи, тащим мы каменюку весом, наверное, в тонну. Дорога там, сам знаешь, под гору с уклоном к морю. Ну вот, доползли до колодца, что недалеко от комендантского дома. Всегда делаем там остановку, там тень от кокосовых пальм, это примерно на полпути от берега. Вытащили из колодца ведро воды, стали пить, мочить платки, чтоб потом прикрыть головы. Фараон тоже присел на край колодца передохнуть. Снял каску и только собрался вытереть пот со лба, как сзади к нему подошел Арно с большой мотыгой, так осторожно, что никто ничего и не заметил, да как врежет фараону острием прямо по затылку! Тот даже пикнуть не успел, так и упал на землю с рассеченной надвое башкой. А тут и Отэн подскочил и выхватил у него ружье, а Марсо отобрал кобуру с револьвером. Марсо с пушкой оборачивается к нам и говорит: «Это бунт! Кто на нашей стороне, айда с нами!» Но ни один заключенный не двинулся с места, даже намек не было, что кто-то хочет пойти за ними. Арно глянул на нас и говорит «Стадо предателей и трусов! Мы вам покажем, что такое настоящие мужчины!» Взял у Отэна ружье, и они бегом побежали к комендантскому дому, а Марсо остался и, держа пистолет в руке, приказал: «Ни с места, и чтоб ни звука! Эй вы, арабы, лечь на землю лицом вниз». С того места, где мы стояли, все было хорошо видно. Арно уже поднимался по ступенькам, как вдруг из дома вышел араб, работавший у коменданта. Он вышел погулять с девочками, одну держал на руках, а вторая малышка вцепилась ему в штанину. Они так и замерли от неожиданности. Но араб очнулся первым и врезал ногой Арно. Тот хотел пристрелить его, но араб загородился девочкой, которую держал на руках. Арно целился в него раз пять, то с одной, то с другой стороны, но всякий раз тот совал под ствол малышку. Тогда, не поднимаясь по ступенькам, Отэн ухватил араба за штанину. Падая, тот кинул девочку прямо на ружье, и все они — араб, Арно, девочка — полетели кувыркком друг на друга. Тут вторая девочка закричала, потом завопил араб, а я услышал, как Арно и Отэн матерятся, потому что араб изловчился и ухватил ружье за ствол. Отэн снова вцепился ему в ногу, а Арно схватил за руку и стал выворачивать ее за спину. Тогда араб отбросил ружье метров на десять в сторону. И тут они все трое кинулись к ружью, и грянул первый выстрел. Но это стрелял фараон, он находился в наряде, где-то за деревьями. В окне появился комендант и выстрелил тоже. Но он, видно, боялся попасть в детишек, потому что стрелял в сторону, туда, где находилось ружье. Арно и Отэн кинулись вдоль берега к лагерю, вслед им стреляли. Отэн не мог быстро бежать из-за больной ноги, в него первого попали, до моря даже не успел добежать. Арно же кинулся в воду, знаешь, там, где строится бассейн. Там вода так и кишит акулами. Вокруг Арно был прямо целый дождь из пуль. Он хотел укрыться за камнями. «Сдавайся! — кричали фараоны. — И мы сохраним тебе жизнь!» — «И не подумаю, — отвечал Арно. — Пусть лучше меня акулы слопают, чем видеть ваши вонючие рожи!» И пошел в воду, прямо к акулам. Наверное, пуля в него все-таки попала, остановился на секунду. А фараоны все палили и палили. И он пошел дальше, именно пошел, а не поплыл, вода даже до пояса не доходила, и тут на него напали акулы. Он как врежет кулаком одной, только она морду из воды высунула. А потом... Потом они его просто разорвали на куски. Не прошло и пяти минут, как человек просто исчез. Фараоны стреляли еще, наверное, раз сто в эту кашу. И убили только одну акулу, ее выбросило на берег брюхом вверх. Тут уже со всех сторон понабежали фараоны. Марсо подумал, что сохранит себе жизнь, если бросит револьвер в колодец, но тут поднялись арабы и давай его колошматить дубинками, кулаками и ногами и подталкивать к фараонам. И хоть он был весь в крови и с поднятыми руками, фараоны прикончили его выстрелами из

ружей и револьверов, а потом один фараон разбил ему голову прикладом. А мы смотрели на все это и даже не шелохнулись. Все это трепотня, что у них были соучастники. Никто даже с места не тронулся.

Недели две мы просидели взаперти в своем бараке. На работу никто не выходил. Каждые два часа у дверей сменялись караульные. Другие часовые ходили между бараками. Вести переговоры между бараками было запрещено. Стоять у окна запрещалось тоже. С острова Руаяль прибыло подкрепление из охранников. Куда-то исчезли все охранники-арабы. Лишь изредка по двору проводили какого-нибудь заключенного, совершенно голого, в сторону дисциплинарного барака. Фараоны частенько заглядывали к нам через окна.

От скуки мы решили засесть играть в покер небольшими группами, человек по пять, чтоб не было шуму. Даже Маркетти, скрипача, и то заставили замолчать.

— Прекратить музыку! Охрана в трауре!

Необычное напряжение царило везде, не только в бараке, но и во всем лагере. Прощай, кофе, и суп тоже! Кусок хлеба утром, на обед и ужин по одной банке мясных консервов на четверых. Поскольку у нас ничего из вещей не трогали, сохранился кофе и еще кое-какая еда: масло, мука. В других бараках и этого не было. Но когда охранник заметил, что из туалета, где мы варили кофе, идет дым, он тут же приказал потушить костер. Кофе варил у нас Нистон, старый каторжанин из Марселя. Он не удержался и сказал охраннику:

— Хочешь, чтоб не было огня, зайди и потуши сам! В ответ фараон выстрелил несколько раз в окно. В считанные секунды с огнем и кофе было покончено, а Нистон схлопотал пулю в ногу. Мы все были на пределе и, решив, что фараоны перестреляют нас всех, бросились ничком на пол.

Начальником караула в тот день был Филлисари. Он примчался в сопровождении еще четырех фараонов. Стрелявший доложил, родом он из Оверни. Филлисари костерил его по-корсикански, а он, ничего не понимая, оправдывался.

Мы разлеглись по гамакам. Нога Нистона кровоточила.

— Только не говорите, что я ранен! А то вытащат во двор и там прикончат!

Филлисари подошел к окну. Маркетти что-то сказал ему по-корсикански.

— Ладно, варите свой кофе! Ничего подобного больше не случится. — И он ушел.

Нистону повезло — пуля, прошив мышцу, вышла наружу. Мы сделали ему плотную повязку, чтобы остановить кровотечение.

— Папийон, выйди во двор!

Было уже около восьми вечера, на улице сгустилась тьма. Я не знал фараона, окликнувшего меня, но поговору понял, что он бретонец.

— Чего это я должен выходить в такое время? Мне там делать нечего.

— Тебя хочет видеть комендант.

— Передай, пусть сам сюда приходит. Я не выйду.

— Отказываешься?

— Отказываюсь.

Маркетти подошел к двери и крикнул:

— Мы не разрешим Папийону выходить одному, если там не будет коменданта!

— Так ведь он и послал меня за ним!

— Передай, пусть сам приходит!

Через час к двери подошли двое охранников, а вместе с ними — араб, работавший у коменданта, тот самый, что спас его и предотвратил бунт.

— Папийон, это я, Мохаммед. Пришел за тобой. Комендант хочет тебя видеть. Он сам не может прийти.

— Папи, у этого типа ружье, — шепнул мне Маркетти.

Я приблизился к двери. Действительно, Мохаммед держал ружье. Я просто глазам своим не верил. Заключение, и чтоб с ружьем?

— Идем, — сказал он мне. — Я здесь, чтоб в случае чего защитить тебя, прикрыть.

Я ему не поверил.

— Выйдешь ты или нет?!

Я вышел, и мы отправились. Мохаммед шел рядом, два фараона позади. Мы направлялись к комендатуре. На выходе из лагеря Филлисари сказал мне:

— Папийон, думаю, ты ничего против меня не имеешь?

— Нет. Ни я, ни другие тоже. Я имею в виду, из нашего барака. А вот за остальных не окажу.

По дороге Мохаммед подарил мне пачку сигарет «Галуаз». В освещенном двумя газовыми лампами кабинете сидели два коменданта — один наш, другой с острова Руаяль, оба с заместителями.

— Я привел Папийона, — сказал араб.

— Добрый вечер, Папийон, — поздоровался наш комендант.

— Добрый вечер.

— Присаживайся, вот стул

Я разместился напротив них. Одна дверь кабинета открывалась на кухню, и я увидел там крестную Лизетт, она махнула мне рукой.

— Папийон, — сказал комендант с острова Руаяль, — комендант Дутен считает вас надежным человеком, полностью искупившим свою вину тем, что спас крестницу его жены. Но в личном деле и других бумагах написано, что ты опасен со всех точек зрения. Мне хочется забыть о

личном деле и поверить моему коллеге Дутену. Дело вот в чем: скоро сюда прибудет комиссия для проверки фактов, связанных с бунтом, все заключенные должны будут дать показания. Вы и еще несколько человек несомненно имеете большое влияние на заключенных. Нам бы хотелось узнать ваше мнение об этом бунте, а заодно и что будут говорить люди из вашего барака, ну и во вторую очередь все остальные.

— Мне нечего сказать. И влиять на других я не собираюсь. И если комиссия действительно будет честно делать свое дело, то вас всех отсюда турнут.

— Это почему же, Папийон?! Ведь мы предотвратили бунт, я и мой коллега с Сен-Жозефа.

— Может, вы и выйдете чистыми из воды, по только не начальство с Руаяля.

— А яснее можно?

— Если и дальше в официальных объяснениях вы будете упоминать о бунте, то вас несомненно накажут. Согласитесь с моими условиями — вы будете спасены. Все, кроме Филлисари.

— Какие такие условия?

— Во-первых, мы должны жить как прежде, как до этой истории, и немедленно, с завтрашнего дня. Ведь только мы можем повлиять на остальных, верно?

— Да, — кивнул Дутен. — Ну а дальше?

— Ведь тут, насколько я понимаю, начальство с трех островов?

— Да.

— Так вот. Вы ведь получили донос от Джирасоло, он предупреждал о готовящемся бунте. А Арно и Отэн были главарями.

— И Карбоньери, — добавил фараон.

— Нет, неправда. Джирасоло был на ножах с Карбоньери еще с Марсея, поэтому и донес на него. Но вы не поверили. Почему? Потому что вам сказали, что во время бунта перебьют всех женщин, детей, арабов и фараонов, что казалось невероятным. Кроме того, на Руаяле есть две посуды на восемьдесят заключенных, а на Сен-Жо-зефе всего одна, на шестьдесят человек. Ни один здравомыслящий человек не полез бы в это грязное и глупое дело.

— Откуда ты знаешь все это?

— Мое дело. Так вот. Следуя такому раскладу событий, вся ответственность падет на начальство с острова Руаяль, ведь оно выслало заговорщиков на Сен-Жозеф, даже не разделив их. Надо было хоть одного послать на остров Дьявола, другого — сюда, ну, и так далее. Так что взыскания вас ждут самые серьезные. Потому советую согласиться с моими условиями. Первое вы уже слышали: с завтрашнего дня жизнь должна войти в прежнее русло, второе; все, кто сидит в карцере как подозреваемый, должны быть немедленно отпущены. И не надо больше допрашивать их о бунте, не надо, так как самого бунта не было вовсе. В-третьих, Филлисари необходимо срочно отправить на Руаяль, прежде всего в целях его же безопасности, так как, если бунта не было, чем объяснить убийство трех человек? Плюс к тому он самый что ни на есть отъявленный негодяй и трус. Во время инцидента хотел прикончить нас всех в бараках. Так вот, если вы принимаете эти условия, я в ответ обещаю устроить все так, что все в один

голос будут твердить: Отэн, Арно и Марсо рехнулись, хотели перебить как можно больше людей, и непонятно, чего они при этом добивались. У них не было ни соучастников, ни сочувствующих. Наверное, просто хотели покончить с собой, но перед тем уничтожить как можно больше народу. Если хотите, я подожду на кухне, а вы тут пока посоветуйтесь, прежде чем дать ответ.

И я вышел на кухню, притворив за собой дверь. Госпожа Дутен пожала мне руку и угостила кофе с коньяком. А Мохаммед спросил:

— Обо мне что-нибудь говорили?

— Это комендант будет решать. Вижу, он дал тебе оружие, наверное, будет добиваться помилования.

Крестная Лизетт тихо сказала:

— Все будет хорошо! Плохо придется тем, с островов.

— Я тоже так думаю. Им было выгодно представить все именно таким образом. Чтоб вся вина пала на местное начальство.

— Папийон, я слышала все и тут же поняла, что ты хочешь нам помочь.

— Да, госпожа Дутен. Дверь открылась.

— Зайди, Папийон, — сказал один из фараонов.

— Присаживайся, — кивнул комендант с Руаяля. — Ну вот, мы посоветовались и решили, что ты прав. Никакого бунта не было. С завтрашнего дня возвращаемся к прежнему режиму. Филлисари этой же ночью отправят на Руаяль. Мы с ним разберемся сами, без твоей помощи. Надеемся, ты сдержишь свое слово?

— Можете на меня положиться. До свиданья.

В бараке я слово в слово повторил все, о чем говорилось у коменданта. И все согласились, что я принял верное решение.

— Думаешь, они действительно поверят, что в этом деле больше никто не замешан?

— Не думаю. Но им ничего не остается, как поверить, если они не хотят, чтоб их наказали.

Наутро всех заключенных выпустили из карцера. На работу никто не пошел. Двери всех барачных комнат открылись, и двор наполнился каторжанами, которые, пользуясь предоставленной им свободой, расхаживали, болтали, курили и просто сидели на солнце или в тени Нистон отправился в санчасть. Карбоньеры сказали, что таблички с надписью «Подозревается в бунте» были вывешены на дверях примерно восьмидесяти или даже ста одиночек.

Мы, наконец, узнали правду. Оказывается, Филлисари убил только одного человека, других двоих пристрелили фараоны, оказавшиеся в окружении у колодца, когда каторжники достали тесаки, горя желанием прирезать хоть одного фараона перед смертью. Вот во что вылился бунт, с самого начала обреченный на провал, — в самоубийство трех каторжан. Эта трактовка была принята всеми — и администрацией, и заключенными.

Похороны охранников, а также Отэна и Марсо, прошли следующим образом: так как на острове

оказался всего один ящик-гроб со специальной задвижкой для выброса трупов в море, то фараоны запихнули туда всех покойников, вывезли в открытое море и затем одновременно спустили за борт. По их расчетам, покойники должны были тут же уйти на дно, как как к ногам были привязаны камни, что позволило бы уберечь их от акульих челюстей. Но мне рассказывали, что не успели все пятеро скрыться под водой, как начался балет «Белый саван» — ожившие с помощью акульих морд и хвостов, они, словно марионетки, долго вертелись и дергались на пиру, достойном самого Навуходоносора. Фараоны быстро повернули к берегу, опасаясь, что и до них доберутся голодные твари.

Прибыла комиссия. Она проторчала на острове пять дней, а на Руаяле два. Меня никто не допрашивал. Что касается Дутена, то для него все сошло гладко. Филлисари предоставили длительный отпуск до достижения пенсионного возраста. Мохаммед получил свободу, коменданта Дуэтена повысили в чине.

В любом сообществе всегда находится какой-нибудь недовольный или нытик. Не обошлось без него и здесь. Сразу после того, как уехала комиссия, ко мне подошел один тип.

— Ну а мы что с этого поимели, спасая фараонов? Я пристально взглянул ему в глаза:

— По-твоему, ничего, да? Человек шестьдесят каторжан не получили по пять лет одиночки за соучастие, по-твоему, этого мало?

Что касается меня, то я не выиграл и не проиграл, самое главное, что мои товарищи не понесли тяжкого наказания. Заодно было покончено с тяжелой работой по перевозке камней. Сейчас их таскали буйволы, а каторжане только устанавливали их в море. Карбоньери вернулся в пекарню. Я же по мере сил добивался возвращения на Руаяль. Здесь не было мастерской, а значит, и перспективы изготовить плот.

Избрание Петена главой правительства ухудшило взаимоотношения между каторжанами и охранниками. Все из администрации в голос твердили, что они сторонники Петена, дошло до такого курьеза, что один парень, нормандец, заявил мне:

— Знаешь, что я скажу тебе, Папийон? Я сроду не был республиканцем.

На островах не было радио, и мы не знали последних новостей. И вдруг разнесся слух, что из Марселя и Гваделупы мы якобы снабжаем немецкие подводные лодки. Вот тебе и на, попробуй тут разобраться! Вести поступали самые противоречивые.

— Знаешь что, Папийон? Именно сейчас мы должны организовать бунт, чтобы потом передать острова людям де Голля.

— Думаешь, Длинному Шарло так нужны каторжане? На черта они ему сдались?

— Ну чтоб добавилось еще две-три тысячи граждан.

— Ах, граждан! Наверное, тех, у кого проказа. Или дизентерийных, или у кого поехала крыша. Смеешься, что ли? На хрена ему такое барахло? Он не дурак.

— Ну а тысячи две здоровых?

— Это другое дело. Думаешь, если здоровые, так пригодны в армию? Думаешь, война — это нечто вроде вооруженного грабежа? Грабеж длится минут десять, а война несколько лет. Чтобы стать настоящим солдатом, надо иметь патриотические чувства. Не больно-то много тут

тех, кто готов отдать за Францию свою жизнь.

— А зачем отдавать ее после того, что она с нами сделала?

— Значит, я прав. Слава богу, у этого верзилы Шарло есть другие, с кем он может выиграть войну. И как подумаешь только, что эти свиньи немцы вошли в нашу страну! Как подумаешь, что нашлись французы, которые тут же перешли на их сторону! Здесь фараоны все до единого твердят, что они на стороне Петена!

— Неплохой повод снять с себя обвинение, оправдаться, — заметил один каторжанин.

До сих пор никто не говорил об оправдании. А сейчас вдруг все — и блатные в законе, и мелкая шушера, — все бедняги узрели вдруг какой-то проблеск надежды.

— Папийон, так тот бунт устроили нарочно, с целью примкнуть к де Голлю?

— Сожалею, но я ни перед кем не собираюсь оправдываться. В гробу я видал французское правосудие и его статью об амнистии! Мой долг — устроить побег, а потом, когда стану свободным, буду жить как нормальный человек среди нормальных людей, жить в обществе, не представляя для него опасности. Я готов принять участие в любом предприятии, лишь бы в результате можно было смыться. А с другой стороны, влезешь в какую-нибудь заваруху, и, знаете, что скажут эти штабисты? Что мы захватили остров, просто чтоб удрать, а не помочь чем-нибудь освобождению Франции. Да и в конце концов, как знать, кто тут прав. Мне, как и любому другому, больно, что моя родина захвачена, ведь там мои родители, сестры, племянники.

— Дураки мы и засранцы, если думаем о родине, которая ни капельки нас не пожалела.

— Так и должно было случиться. Ведь все эти мусора, эти адвокатишки и прочие законники, все эти местные жандармы и фараоны, это не Франция. Отдельный класс со свихнутыми мозгами. Сколько из них готовы сейчас лизать задницы немцам? Повторяю еще раз — не собираюсь я лезть ни в какой бунт ни под каким предлогом. Ради побега, да, но не лишь бы как...

Подобные разговоры велись во всех бараках. Одни были за Петена, другие за де Голля. Новости поступали, только когда к нам в гавань приходили корабли, доставлявшие муку, сушеные овощи и рис. Трудно было понять, что такое война, слишком уж огромное расстояние отделяло нас от родины.

Для нас же война означала приблизительно вот что: усиленную охрану, удвоившуюся численность фараонов, множество инспекторов, среди которых многие с эльзасским акцентом, очень мало хлеба — мы получали в день всего по четыреста граммов.

О побеге даже думать стало страшно — за него полагалась теперь смертная казнь с формулировкой: «При попытке перейти на сторону врагов Франции».

Через четыре месяца мне удалось вернуться на Руаяль.

Тетрадь девятая

СЕН-ЖОЗЕФ

Моего друга Матье Карбоньери ударили ножом прямо в сердце. Это убийство повлекло за собой серию других. Он совершенно голый принимал в умывалке душ, и как раз, когда лицо его было сплошь залеплено мылом, его закололи. Обычно, когда принимаешь душ, берешь с собой перо, открываешь его и суешь под свое барахло, чтобы успеть выхватить, если возникает какая-нибудь опасность. Он пренебрег этой маленькой предосторожностью, и это стоило ему жизни. Убийцей моего друга был армянин-сутенер, осужденный на пожизненное заключение.

С разрешения коменданта я вместе с одним заключенным понес тело к причалу. Труп оказался страшно тяжелым, даже спускаясь с холма, мы раза три устраивали себе передышку. К ногам покойника привязали большой камень. Проволокой, а не веревкой — так акулам будет труднее ее перегрызть, — и тело спокойно уйдет себе на глубину целым и невредимым.

Как только мы дошли до причала, зазвонил колокол. Мы влезли в лодку. Краешек солнца едва коснулся горизонта. Шесть часов вечера, а Матье уже уснул крепким, беспробудным вечным сном. Для него в этом мире все было кончено.

— Давай двигай! — сказал надзиратель, сидевший у румпеля. Минут за десять течение вынесло нас в пролив между двумя островами — Руаялем и Сен-Жозефом. И тут у меня буквально дыхание перехватило. Десятки акульих плавников резали водную гладь, описывая быстрые круги на расстоянии не более четырехсот метров от нашей лодки. Вот они — пожиратели заключенных, — явились на свидание вовремя.

Бог даст, они не успеют сцапать моего друга. В знак прощания мы подняли весла. Ящик накренился. И спеленутое мешковиной тело Матье выскользнуло из него вслед за тяжелым камнем и через секунду оказалось в воде.

И... о ужас! Не успело оно скрыться из вида, а я был уверен, что оно уже пошло ко дну, как вдруг его вытолкнули на поверхность акулы — Бог знает, сколько их там было — семь, десять, двадцать, — трудно сказать. Мы и развернуться не успели, как мешки были сорваны с трупа, а затем произошло нечто уже совершенно невообразимое и чудовищное. Секунды две-три тело Матье стояло в воде вертикально. Правой руки уже не было. Возвышающийся до пояса над поверхностью труп двинулся прямо к лодке, а затем исчез навеки в бешеном пенном водовороте. Акулы проносились под лодкой и били о днище с такой силой, что один из сидевших с нами заключенных потерял равновесие и едва не свалился в воду.

Все мы, в том числе и тюремщики, буквально оцепенели от ужаса. И первый раз в жизни я почувствовал, что, увидев хоть раз такое, жить дальше абсолютно невозможно, просто невыносимо; я уже сам был готов броситься к акулам, чтобы избавиться от этого кошмара раз и навсегда.

Я медленно брел от причала к лагерю. Один. Часов семь вечера, а уже совсем стемнело. На западе небо слабо отсвечивало последними отблесками уже закатившегося солнца. Все остальное затягивала сплошная черная мгла, пронзаемая время от времени мигающим лучом маяка.

«Какого черта! Ты же хотел присутствовать на похоронах своего друга?! Так вот ты и побывал там, чего же еще?.. Слышал звон колокола... Ну что, брат, доволен? Насытился? Удовлетворил свое нездоровое любопытство?..

Остался еще парень, который все это сотворил, с ним надо будет разобраться отдельно. Когда? Сегодня же!.. Сегодня, пожалуй, слишком рано... Он будет настороже. У них в шобле человек

десять. Впрочем, отчаиваться не следует. Так, посмотрим, на кого я могу положиться. Четверо, я пятый. Что ж, не так уж плохо. В порошок стереть эту падлу! И если выгорит, переберусь потом на остров Дьявола. И никаких плотов, никаких приготовлений: два мешка кокосовых орехов — и кидаюсь в море. До континента рукой подать, километров сорок по прямой. А если учитывать волны, ветер и течения, то и целых сто двадцать выйдет. Вся задача в том, чтобы продержаться. Но я — парень крепкий, что мне стоит проболтаться пару дней в море, оседлав мешок с орехами?.. Нет, пожалуй, справлюсь».

Я поднял носилки и двинулся к лагерю. У ворот произошло нечто совершенно экстраординарное: меня обыскали! Чего прежде сроду не случалось. Надзиратель отобрал у меня нож.

— Вы что, погибели моей захотели? Почему оставляете без оружия? Разве не понимаете, что мне тогда крышка? Пришьют меня, вам же придется и отвечать!..

Но никто не обратил никакого внимания на мои протесты. Ни надзиратель, ни арабы-тюремщики. Дверь распахнулась, и я вошел в барак.

— Эй, да здесь же ни черта не видно! Почему горит одна лампа, а не все три?

— Папи, иди сюда.

Гранде схватил меня за рукав. В помещении было как-то необычно тихо. Я прямо всей кожей чувствовал, что здесь должно произойти нечто ужасное, если уже не произошло...

— Я без ножа. Обыскали и отобрали.

— Тебе он сегодня без надобности.

— Почему?

— Армяшка и его дружок в сортире.

— А чего они там делают?

— Они убиты.

— Кто их пришил?

— Я

— Быстро сработано, ничего не скажешь. А что другие?

— Их в шобле осталось четверо. Паоло поклялся, что сами они на нас не полезут, но только хотят твердо знать, что на этом дело и кончится. Они сами хотят услышать это от тебя

— Достань нож.

— На, держи мой. Я постою здесь, в углу, а ты иди и потолкуй с ними.

Я двинулся в их угол. Глаза мои уже привыкли к темноте, и я отчетливо видел их всех. Вон они стоят, все четверо, бок о бок, плечо к плечу, перед своими гамаками

— Ты что, хотел потолковать со мной, Паоло?

— Да.

— Один на один или при своих дружках? Чего тебе надо?

Я весь подобрался. Нас разделяло метра полтора. Раскрытый нож я держал в левой руке, крепко зажав рукоятку в ладони.

— Я хотел сказать... Твой друг уже достаточно отмщен, так мне, во всяком случае, кажется. И покончим на этом. Ты потерял своего лучшего друга, мы потеряли двух наших. Сдается мне, на этом можно поставить точку. А ты как считаешь?

— Паоло, я тебя выслушал. Давай договоримся так: моя и твоя кодлы неделю будут сидеть тихо и друг друга не трогать. А там посмотрим, что дальше делать. Идет?

— Идет.

И я повернулся и ушел.

— Ну, что он тебе сказал?

— Они считают, что смерть армяшки и Сан-Суси — достаточная плата за Матье.

— Нет, — сказал Гальгани

Гранде промолчал. Жан Кастелли и Луи Гравон высказались за мирное разрешение конфликта.

— Ну а ты как считаешь, Папи?

— Так.. Прежде всего, кто убил Матье? Армяшка. Ладно. Я предложил такую сделку. Дал слово, и они тоже дали, что неделю будем сидеть тихо.

— Так, значит, ты не хочешь отомстить за Матье? — спросил Гальгани

— Он уже отмщен. За него одного пришили двоих. Может, хватит?

— А если и остальные тоже были причастны к этому делу? Вот что надо бы узнать.

— Ладно, всем спокойной ночи. Прошу прощения, но мне надо малость поспать.

На самом деле мне просто хотелось побыть одному. И я улегся в свой гамак. А через секунду почувствовал вдруг, как по телу моему скользнула чья-то рука и отобрала нож. И голос во тьме прошептал:

— Спи, если сможешь, Папи. Спи спокойно. А мы покараулим. По очереди.

Внезапное, жестокое, подлое убийство моего друга было к тому же совершенно беспочвенным. Армянин убил его только потому, что прошлой ночью за картами Матье хотел заставить его уплатить сто семьдесят франков за проигранное пари. И этому сволочному кретину показалось, что его унижают перед тридцатью — сорока другими уголовниками, участвовавшими в игре. Тут еще Матье и Гранде прижали его хорошенько, и он вынужден был уступить.

Трусливо и подло, из-за угла, он убил храброго человека, истинного романтика и искателя

приключений, остававшегося чистым и правдивым даже в нашем ужасном уголовном мире. Это событие глубоко потрясло меня. Единственное утешение, что убийцы пережили свою жертву всего на несколько часов. Пусть и небольшая, а все же радость.

Пластичный и мощный, как тигр, Гранде перерезал им глотки, сперва одному, потом другому, причем практически молниеносно, они и ахнуть не успели. Он действовал с быстротой и ловкостью опытного фехтовальщика. Я представил себе эту картину — должно быть, там целые лужи крови. В голову лезли самые дурацкие мысли: интересно, кто заманил этих двоих в сортир? И тут перед закрытыми глазами у меня возникла совсем иная картина: закатное небо, окрашенное в трагические красные и фиолетовые тона, последние лучи заходящего солнца высвечивают достойную пера Данте адскую сцену — акулы разрывают на части тело моего друга... И вдруг труп, уже без правой руки, буквально вылетает на поверхность и идет прямо на лодку... Выходит, это правда, что колокол сзывает акул на пир, эти твари прекрасно понимают, что, когда раздастся звон колокола, им есть чем поживиться... Я вновь видел десятки плавников, отливающих мрачным стальным блеском, — они бороздили поверхность воды, описывая круги, словно подводные лодки. Их наверняка было больше сотни... Впрочем, для моего друга все кончено, он прошел весь свой скорбный путь до конца, «Погибнуть в сорок лет от удара ножом из-за какого-то пустяка! Бедный Матье! Нет-нет, это совершенно невыносимо, совершенно. Ладно, я согласен, пусть и меня сожрут акулы, но живого, при попытке к бегству, на пути к свободе. Без всяких там мешковин, камней и веревок. И без колоколов. И без зрителей, тюремщиков и заключенных... Раз уж суждено быть съеденным — пусть, но пусть бы они попробовали взять меня живым, наедине с небом и морем сражающимся за свободу.

Нет, все, баста! Больше никаких тщательно подготовленных побегов. Только остров Дьявола, два мешка кокосов и с Божьей помощью — в путь! Доберусь до острова Дьявола, если повезет, а там видно будет. Самое главное — выбраться отсюда, с острова Руаяль.

— Ты не спишь, Папи?

— Нет.

— Может, кофе выпьешь?

— Пожалуй.

Я сел в гамаке, взял кружку с горячим кофе, которую протянул мне Гранде вместе с сигаретой «Голуаз», уже прикуренной.

— Сколько сейчас?

— Час ночи. Я заступил на свой пост в полночь и вижу, как ты все время ворочаешься и не спишь.

— Да, ты прав. Эта история с Матье буквально убила меня. А его похороны с акулами... Это доконало меня окончательно. Знаешь, это было так жутко, так ужасно...

— Не надо, Папи, я вполне могу представить. Тебе не стоило туда ходить.

— А я-то думал насчет колокола, что все это так, выдумки, болтовня. И потом, ему к ногам прикрутили тяжеленный камень, я и представить себе не мог, что акулы успеют добраться до него прежде, чем он уйдет на дно. Бедняга Матье!.. Эта жуткая сцена будет стоять у меня перед глазами до конца дней. Ну а ты, как тебе удалось так быстро прикончить армяшку и Сан-Суси?

— Я был на том, дальнем конце острова, ставил железную дверь у входа в пекарню, там и узнал, что нашего друга убили. В полдень. И вместо того, чтобы идти в лагерь обедать, я сказал, что мне еще надо заняться замком. В полый трубе метровой длины мне удалось закрепить рукоятку заточенного как кинжал ножа. А перед тем, как отправиться в лагерь, я, конечно, нож вытащил. Пришел где-то около пяти. Надзиратель еще спросил, зачем это я тащу с собой трубу. Я сказал, что сломалась одна из деревянных перекладин гамака и мне надо ее заменить. Было еще светло, когда я пришел в барак, без трубы, конечно, ее я оставил в умывалке. И взял только перед переключкой. Уже начало темнеть. Наши ребята прикрыли меня, и я быстро закрепил кинжал в трубе. Армяшка и Сан-Суси стояли на своей половине барака, у гамаков. Паоло — чуть позади. Знаешь, Жан Кастелли и Луи Гравон, конечно, отличные ребята, но старые уже и не годятся для такого рода трюков. Тем более я спешил проделать все это до твоего возвращения, чтоб не подумали, что ты тут замешан. Если бы мы попались, то, учитывая все твои прошлые «заслуги», ты точно получил бы вышку. Жан вывинтил лампочку в одном конце барака, Гравон — в другом. Осталась одна посередине, которая едва-едва освещала барак. У меня был с собой мощный карманный фонарик, Дега мне дал. Жан шел впереди с фонариком, я — сразу за ним. Мы приблизились к этим типам, тут он резко поднял руку, и свет ударил им прямо в лицо. Ослепленный армяшка прикрыл глаза левой лапой, я воспользовался этим и пронзил ему горло пикой. На очереди был Сан-Суси. Когда в глаза ему ударил луч света, он выхватил нож и стал тыкать им вперед наугад. Я ударил его с такой силой, что пика вышла сзади, под затылком. Паоло ничком бросился на пол и перекатился под гамаки. Тут Жан вырубил фонарик, и я не стал преследовать Паоло, поэтому он и уцелел.

— А кто оттащил их в клозет?

— Не знаю. Думаю, эти, из его коды. Чтобы там, воспользовавшись моментом, вытащить у них из задниц патроны с бабками.

— Должно быть, там было целое море крови?

— Не то слово. Я так располосовал им глотки, что из них вытекло все до последней капли, вся их пакостная кровь. А эта идея насчет фонарика пришла мне в голову, когда я мастерил пикку. Там, в мастерской, сидел охранник и как раз менял батарейки в своем. Это и натолкнуло меня на мысль, я тут же пошел к Дега и попросил одолжить мне фонарик. А теперь пусть делают полный шмон, коли им охота. Фонарик я передал Дега через своего охранника-араба, нож тоже. И никаких улик. И никаких угрызений совести. Они убили нашего друга, когда глаза у него были залеплены мылом, я помог им отправиться на тот свет с глазами, ослепленными электрическим светом. Мы квиты. Ну, что скажешь, Папи?

— Сработано отлично, не знаю даже, как и благодарить тебя, Гранде. За то, что ты так быстро отомстил за нашего друга и не стал впутывать меня во всю эту историю.

— Да ладно, чего там... Я просто исполнил свой долг; тебе и без того пришлось нелегко — все эти твои попытки к побегу, карцеры, наказания. Я знаю, как ты стремишься вырваться на свободу... И если б не я, ты бы сам обязательно пришел их, а это тебе сейчас совсем ни к чему. Вот я и взял все на себя...

— Спасибо тебе, Гранде. Ты прав. Именно сейчас, как никогда прежде, мне хочется бежать. И надо, чтоб ты помог поставить на этом деле точку. Честно сказать, мне как-то не верится, чтоб армяшка говорил своим ребятам, что собирается прикончить Матье. Паоло никогда не пошел бы на такое трусливое и подлое убийство. Он знает, к чему приводят такие вещи.

— Я тоже так думаю. Только Гальгани считает, что все они виноваты.

— Ладно, подождем до шести. Я на работу не выйду. Притворюсь больным и останусь в бараке.

Пять утра. К нам подошел барачный староста.

— А не кажется вам, ребята, что я должен вызвать сейчас охрану? Только что нашел двух жмуриков в клозете.

Этот тип, старый семидесятилетний каторжник, пытался убедить нас (пас!) в том, что он со вчерашнего вечера ничего не видел и не слышал. Точнее — с половины седьмого, когда их прикончили. Весь барак, должно быть, был залит кровью, ведь заключенные шастали в темноте туда-сюда и неминуемо должны были ступить в лужу, что находилась прямо в проходе

Гранде, беря пример со старикашки, тоже стал придуриваться:

— Что, серьезно? Два жмурика в сортире? И сколько уже они там валяются?

— Не знаю, хоть убей, — ответил старикашка. — Я как вырубился в шесть, так все. И только вот встал пописать и тут же вляпался ногой во что-то липкое. Зажег фонарик, вижу — кровь. Ну а потом и нашел этих деятелей в клозете.

— Ладно, зови охрану, посмотрим, что они скажут.

— Стража! Стража!

— Чего разблеялся, старый козел? Пожар, что ли?

— Нет, шеф. Там два трупа плавают в дерьме.

— Ну и чего ты от меня хочешь? Чтоб я оживил их, что ли? Теперь только четверть шестого, вот в шесть пойдем и посмотрим. В сортир никого не пускать.

— Это невозможно. Сейчас все начнут вставать и попрут туда, кто по малой, кто по большой нужде.

— Да, это верно. Ладно, погоди минутку, пойду доложу начальнику.

И вот появились трое охранников, надзиратель и еще двое. Мы думали, что сейчас они войдут, однако они остались снаружи, у зарешеченной двери.

— Ты говорил, что в сортире два трупа?

— Да, шеф.

— С каких пор они там?

— Не знаю. Только сейчас нашел, когда ходил писать

— Кто они?

— Понятия не имею.

— Ладно придуриваться, старый лунатик! Я тебе сам скажу, кто. Один из них — армянин. Поди

и сам погляди хорошенько.

— Вы совершенно правы, там армянин и Сан-Суси.

— Ну и хорошо. Подождем до переклички. И они удалились

Шесть утра, первый звонок. Дверь распахнулась. В проходе появились два разносчика кофе, за ними шел третий — раздатчик хлеба.

В половине седьмого второй звонок. Светало, и я увидел, что весь проход испещрен следами людей, ночью нечаянно ступавших в кровавую лужу.

Прибыли два коменданта. Было уже совсем светло С ними — восемь охранников и еще врач.

— Всем раздеться! Стоять смирно у своих гамаков. Да здесь настоящая бойня, везде кровь!

Новый комендант, недавно прибывший на смену старому, вошел в сортир первым. Он вышел оттуда с лицом, белым как простыня.

— Им так располосовали глотки, что головы едва держатся. И, конечно, никто ничего не видел и не слышал?

Полное молчание.

— Эй, старик, ты вроде бы здесь староста? Там два покойника. Доктор, как давно их убили, по-вашему?

— Часов восемь-десять назад, — сказал врач.

— И ты нашел их только в пять? И ничего не видел и не слышал?

— Нет. Я вообще глуховат, а со зрением так и вовсе скверно. Что вы хотите, уже семьдесят стукнуло, из них — сорок лет на каторге. И поэтому я все сплю, сплю... Заснул где-то в шесть, а встал только потому, что захотелось по малой. Это, можно сказать, еще повезло, обычно я дрыхну до первого звонка.

— Да уж точно, что повезло, — с сарказмом заметил комендант. — Можно сказать, всем повезло, потому как все мы мирно и тихо проспали себе всю ночь в своих кроватках, и стража, и заключенные... Носильщики, забрать трупы и в операционную! Доктор, я жду от вас результатов вскрытия. А вы, ребята, давайте по одному во двор, без одежды.

Каждый из нас проходил между комендантом и врачом. И они тщательно осматривали нас с головы до пят. Однако ни царапин, ни ран ни у кого не обнаружилось. Лишь пятна крови на нескольких. Они объяснили это тем, что поскользнулись по дороге в сортир.

Гранде, Гальгани и меня осматривали особенно пристально.

— Папийон, где твое место? Они перерыли все мои вещи.

— Где твой нож?

— Да у меня его еще вчера вечером у ворот отобрали.

— Это правда, — подтвердил охранник. — Он еще там базарил, говорил, что мы посылаем его

на верную смерть.

— Гранде, это твой нож?

— А чей же еще? Раз лежит у меня, значит, мой. Они тщательно осмотрели нож. Он был чист, как стеклышко. Нигде ни пятнышка.

Из сортира вышел врач и сказал:

— Этим двоим перерезали глотки заточенным с двух сторон кинжалом. Убиты в стоячем положении. Вообще все это совершенно непонятно. Чтоб заключенный стоял как кролик и ждал, когда ему перережут глотку, даже не пытаясь обороняться! Здесь наверняка должны быть раненые.

— Сами же только что убедились, доктор, ни на одном из них — ни царапинки.

— Л те двое, которых убили, были опасны?

— Да, очень, доктор. Мы почти уверены, что именно армянин убил вчера в девять утра Карбоньери в душе.

— Дело закрыто, — сказал комендант. — Нож Гранде мы на время конфискуем. Всем на работу, за исключением больных. Папийон, ты, кажется, докладывал, что болен?

— Да, господин комендант.

— Оперативно ты рассчитался за своего дружка, ничего не скажешь! Меня не проведешь! К сожалению, у меня нет никаких доказательств, и я точно знаю, что их никогда и не будет. Последний раз спрашиваю: есть у кого что сказать?! И даю слово, если найдется человек, который прольет свет на это двойное убийство, ему смягчат статью и отправят на материк.

Гробовое молчание.

Вся армянская шобла сказалась больной. Видя это, Гранде, Гальгани, Жан Кастелли и Луи Гравон в последнюю секунду тоже внесли себя в список больных. Сто двадцать человек вышли из барака, и он опустел. Остались пятеро наших, четверо из армянской шоблы, а также часовщик, староста, непрерывно ворчащий, что ему придется теперь делать уборку, и еще двое-трое заключенных, в том числе эльзасец по прозвищу Громила Сильвен.

Этот человек держался от всех отдельно, совершенно независимо и пользовался всеобщим уважением. Парень он был, что называется, рисковый. Ему дали двадцать лет каторги за весьма оригинальное преступление. Один, безоружный, он напал на почтовый вагон экспресса «Париж — Брюссель», оглушил кулаками двух охранников и выбросил на полотно почтовые мешки. Там их подобрали его сообщники, поимевшие на этом деле кругленькую сумму.

Сильвен заметил, как перешептываются две наши кодлы, каждая в своем углу, и, не зная, что заключено временное перемирие, решил все же сказать свое слово:

— Надеюсь, вы не собираетесь наброситься друг на друга, как в «Трех мушкетерах»?

— Не сегодня, — сказал Гальгани. — Попозже.

— Как это попозже? Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, — сказал Паоло. — Впрочем, лично я не считаю, что у нас есть повод убивать друг друга. А ты что

скажешь, Папийон?

— Один простой вопрос: вы знали, что задумал армяшка?

— Слово мужчины, Папи, ничего не знали. И вот еще что — не будь армянин теперь покойником, я вовсе не уверен, что скушал бы все это.

— Ладно, раз так, то почему бы не окончить все дело миром? — предложил Гранде.

— Мы тоже так считаем. Давайте пожмем друг другу руки и забудем об этом неприятном недоразумении.

— Идет!

— Я свидетель, — сказал Сильвен. — Очень рад, что все это наконец закончилось.

— И забудем об этом раз и навсегда!

В шесть вечера зазвонил колокол. Я услышал его, и вчерашняя сцена снова неотвратимо встала перед глазами — тело моего друга, высовываясь по пояс из воды, несется к лодке. И хотя с тех пор прошли уже сутки, я видел ее во всех ужасающих деталях и столь живо, что даже своим мертвым врагам — армянину и Сан-Суси — не в силах был пожелать того же.

Гальгани не проронил ни слова. Он прекрасно знал, что произошло с Карбоньери. Он сидел в гамаке, болтая ногами и уставившись в пустоту. Гранде еще не вернулся. Прошло уже добрых минут десять с тех пор, как стих колокольный звон, когда вдруг Гальгани, не глядя на меня и по-прежнему болтая ногами, сказал полупшепотом:

— Надеюсь, что ни кусочка армянина не досталось той акуле, что сожрала Матье. Представляешь, какая издевка судьбы: один человек убивает другого, потом его тут же пришивают за это, и после встретиться в желудке акулы!

Ушел из жизни прекрасный благородный друг. Утрата его была для меня невосполнима. Самое главное теперь — убраться как можно скорее с этого проклятого острова и начать действовать. Вот что твердил я себе каждый день.

ПОБЕГ ИЗ ПСИХУШКИ

— «В связи с тем, что идет война, любая попытка к бегству приравнивается к дезертирству и наказывается по законам военного времени... ». Да, Сальвидиа, не очень-то подходящее время затевать побег, а?

Мы с итальянцем мылись в душе, в очередной раз перечитав приказ коменданта, где перечислены новые санкции, применявшиеся отныне к заключенным за попытку к бегству.

— И все равно — пусть хоть смертная казнь, это меня не остановит, — продолжал я. — А ты что скажешь?

— Знаешь, Папийон, я не в силах больше выносить это. Я хочу бежать, чем бы дело ни кончилось. Я попросил, чтобы меня перевели в дурдом санитаром. Случайно узнал, что в кладовой у них есть две бочки на двести тридцать литров каждая — достаточно, чтобы построить плот. В одной оливковое масло, в другой уксус. Сдается мне, что, если их крепенько связать, чтобы они нормально держались и не разошлись на воде, у нас есть шанс добраться до

материка. За стенами, что окружают двор психушки, охраны нет. А внутри постоянно дежурит только один охранник, ему помогают следить за психами двое заключенных. Может, и тебе туда пристроиться?

— Кем, санитаром?

— Не выйдет, Папийон. Слишком они хорошо тебя знают, чтоб пустить козла в огород. Психушка от лагеря не близко, охраны, считай, никакой. Так что и думать нечего, что тебя возьмут санитаром. Но можно устроиться пациентом.

— Ой, это очень сложно, Сальвидиа. Когда врач признает, что ты чокнутый, он тем самым дает тебе право вытворять все, что заблагорассудится. Потому как психи не подлежат ответственности за свои поступки. И это должно быть подтверждено официально. Теперь представляешь, какую ответственность берет на себя врач, подписавший такой документ? Ты можешь убить заключенного, даже охранника, его жену или ребенка, ты можешь бежать, можешь совершить любое мыслимое и немыслимое преступление, и ответственности перед законом не несешь. Худшее, что могут с тобой сделать, — засадить в смиренной рубашке в камеру, обитую чем-нибудь мягким. Да и то не навсегда, рано или поздно выпустят. Короче говоря, какое бы тяжелое преступление ты ни совершил, пусть даже побег, тебя не наказывают.

— Папийон, я очень в тебя верю. Ты как раз тот человек, с которым я хотел бы бежать. Вывернись хоть наизнанку, но постарайся попасть в психушку. А я уже буду там санитаром и помогу, чем смогу. Всегда протяну руку помощи в трудную минуту. Я понимаю, как это жутко для нормального человека оказаться среди опасных преступников, да к тому же еще психов.

— Ладно, ты устраивайся туда, Ромео, а я обмозгую все хорошенько. Прежде всего надо выяснить, каковы эти первые признаки сумасшествия, чтобы запудрить мозги врачу. В любом случае цель того стоит — получить подтверждение, что ты не отвечаешь за свои поступки.

И я вплотную занялся делом. Книг по психиатрии в тюремной библиотеке не оказалось. Я использовал любой удобный случай, чтобы поговорить с людьми, которые сами болели когда-то. И постепенно выяснил следующее:

1. Все сумасшедшие жалуются на мучительные боли в затылке.
2. Часто страдают от звона в ушах.
3. Все они ведут себя крайне беспокойно и не в состоянии в течение долгого времени неподвижно лежать. У них наступает нервный срыв, они вскакивают, как ужаленные, их бьет дрожь, мышцы напряжены.

Вот что мне предстояло проделать, чтобы убедить врача воочию, а не со слов. Надо разыграть все так, чтобы меня признали достаточно сумасшедшим для содержания в дурдоме, но не переборщить, чтобы не слишком там мучили разными смиренными рубашками, битьем, голодом, уколами брома, холодными и горячими ваннами и всем прочим. Если удастся достаточно убедительно сыграть роль, врача я наверняка проведу.

В мою пользу было одно обстоятельство: никому и в голову не могло прийти, что мне есть смысл симулировать. Как только врач убедится в этом, я победил. Другого выхода не было. Они отказались перевести меня на остров Дьявола. В лагере все обрыдло до предела, особенно посла смерти моего друга Матье. К черту сомнения! Я решил. В понедельник объявляю себя больным. Лучше, правда, если бы это сделал кто-нибудь, кому доверяет начальство. Мне

следует разыграть в бараке две-три достаточно убедительные сцены, чтоб староста сам доложил охраннику, а охранник, в свою очередь, сам внес меня в список больных.

И вот уже три дня я не сплю, не моюсь и не бреюсь. По несколько раз за ночь занимаюсь онанизмом, ем совсем мало. Вчера спросил соседа: зачем он забрал у меня фотографию (которой на самом деле сроду не существовало). Он божился на чем свет стоит, что не притрагивался к моим вещам. Потом занервничал и перебрался в другой конец барака.

Суп нам приносили в большой бадье, и вот перед тем, как кто-либо из наших успел к ней приблизиться, я встал, подошел к бадье и на глазах у всех помочился в нее. Восторга у присутствующих это, разумеется, не вызвало, однако мой вид был, наверное, столь страшен, что никто не пикнул. Только Гранде спросил:

— Зачем ты это сделал, Папийон?

— Потому что забыли посолить.

И не обращая ни на кого ни малейшего внимания, я достал свою миску и протянул старосте, чтобы тот ее наполнил.

В полном молчании весь барак смотрел, как я ем свой суп.

Этих двух инцидентов оказалось достаточно, чтобы однажды утром предстать перед врачом без всякого с моей стороны заявления или жалобы.

— Ну, доктор, как вы себя чувствуете? Хорошо или плохо?

Я повторил вопрос. Врач смотрел на меня в изумлении. Я не сводил с него пристального, изучающего взгляда.

— Гм... неплохо, — ответил наконец врач. — А вот как вы? Вы не больны?

— Нет.

— Тогда почему вы здесь?

— Пришел вас проведать. Мне сказали, что вы заболели. Рад, что это не так, до свиданья.

— Погодите минутку, Папийон. Сядьте вот сюда, напротив. Смотрите прямо на меня.

И он обследовал мне глаза крошечным фонариком, испускающим узкий пучок лучей.

— Ну, как, нашли там то, что искали, док? Свет у вас, правда, слабоват, но, думаю, вы все поняли. Скажите честно, видели их?

— Кого? — спросил врач.

— Ладно, не притворяйтесь! Врач вы в самом деле или ветеринар? И не пытайтесь убедить меня в том, что они попрятались раньше, чем вы их заметили. Просто не хотите говорить мне или принимаете за круглого идиота.

Глаза мои блестели от усталости, лицо грязное, небритое. Весь мой вид играл мне на руку. Охранники слушали этот диалог, разинув рты. Но я не сделал ни одного резкого движения, ни одного угрожающего жеста, который позволил бы им вмешаться. Врач встал и ласково,

успокаивающе положил мне руку на плечо. Я остался сидеть.

— Да, я не хотел говорить вам, Папийон, но я успел их заметить.

— Вы лжете, док, и лжете преднамеренно! Ничего вы там не видели! Я знаю, вы искали у меня в глазу те три маленькие черные точки. Но фокус в том, что сам я их вижу, только когда не смотрю или читаю. А вот когда беру зеркало, то глаза свои вижу прекрасно и никаких точек там нет. Они успевают спрятаться в ту же секунду, как только я беру зеркало.

— В больницу его, — сказал врач. — И немедленно. В лагерь он возвращаться не должен. Так ты говоришь, что не болен, Папийон? Может, ты и прав, но лично я думаю, что ты немного переутомился и надо отдохнуть пару деньков в больнице. Ты ведь хочешь отдохнуть, а?

— Не возражаю. Мне как-то все равно. Что больница, что лагерь. Все одно — острова.

Итак, первый шаг сделан. Через полчаса я оказался в больнице, на чисто застеленной белой койке, в светлой камере. На двери табличка: «Под наблюдением».

Постепенно, занимаясь самовнушением, я превращался в чокнутого. Опасная игра: я настолько, например, натренировался кривить рот и закусывать нижнюю губу перед маленьким осколком зеркала, который прятал в постели, что внезапно ловил себя на том, что делаю эту гримасу уже непроизвольно. Да, в таких играх главное — вовремя остановиться, Папи. Иначе можно войти во вкус и выработать опасные симптомы, от которых потом уж никогда не избавиться. Однако следовало пройти весь путь до конца, чтобы добиться цели. Попасть в дурдом, где бы меня признали не отвечающим за свои поступки, а потом уже пытаться бежать со своим напарником. Побег! Это магическое слово наполняло меня неумным восторгом — я уже видел себя верхом на бочке рядом со своим другом итальянцем на пути к материку.

Ежедневные обходы. Врач обследовал меня тщательно и подолгу, и мы вели с ним интеллигентные и приятные беседы. Он был обеспокоен, но еще не убежден на все сто. Самое время пожаловаться ему на боли в затылке — первый симптом.

— Ну, как ты, Папийон? Спал хорошо?

— Да, спасибо, доктор. Я в полном порядке. И спасибо за журнал, который вы прислали. А вот со сном опять не очень... Потому что, знаете, у меня за стеной насос. Чего-то там поливает. Так должен вам сказать, каждую ночь это его «пум-пум-пум» так и врзается мне в затылок. А потом это самое «пум-пум-пум» прямо эхом в черепашке отдается. И так всю ночь. Прямо сил нет! Вот если б меня перевели в другую камеру, уж как бы я был вам благодарен!

Доктор обернулся к санитару и быстрым шепотом спросил:

— Там есть насос?

Санитар отрицательно помотал головой.

— Переведите его в другую камеру. Ты в какую хочешь, Папийон?

— Куда угодно, лишь бы подальше от этого проклятого насоса! В самый конец коридора. Спасибо вам, доктор.

Дверь затворилась. Я снова был один. Однако через секунду мой слух уловил слабый звук: за

мною наблюдали через глазок. Наверняка врач, потому что я не слышал его шагов, удалявшихся по коридору. И тут я пригрозил кулаком той самой стене, за которой находился воображаемый насос, и крикнул, впрочем, не очень громко: «Перестань, перестань, перестань, пьяная сволочь! Прекратишь ты наконец поливать свой сад, ты, грязная сука!» И улегся ничком на койку, прикрыв голову подушкой.

Я не слышал, как опустился над глазком медный щиток, зато прекрасно различил звук удалявшихся по коридору шагов. Сомнений нет — именно врач шпионил за мной.

В тот же день меня перевели в другую камеру. Значит, утром мне удалось разыграть все достаточно убедительно, поскольку сопровождать меня на новое место жительства, в камеру, расположенную всего лишь в нескольких метрах дальше по коридору, явились сразу четверо — два охранника и два санитар из заключенных. Они со мной не заговорили, я тоже молчал. Просто молча шел за ними по коридору. Через два дня — второй симптом: шум в ушах.

— Ну, как дела, Папийон? Прочитал журнал?

— Нет, вообще не читал. Весь день и полночи пытался прихлопнуть москита или маленькую мушку, что поселилась у меня в ухе. Даже заткнул его ваткой, но не помогло. Жужжит и жужжит. Это совершенно доконало меня, доктор. Может, раз не удастся их поймать, попробовать утопить их, а? Как по-вашему, док?

Рот у меня кривился, и я понял, что он заметил это. Он взял меня за руку и заглянул прямо в глаза. Я видел, что он встревожен уже не на шутку.

— Да, Папийон, мы их утопим. Шатай, промыть ему уши!

Подобные сцены повторялись теперь каждое утро с разными вариациями. Однако врач, похоже, еще не решался отправить меня в психушку.

Однажды утром, делая мне укол брома, Шатай сказал:

— Пока все идет нормально. Ты произвел на дока нужное впечатление, однако все может затянуться. Поэтому надо помочь ему. Показать, что ты можешь быть опасен.

— Ну как самочувствие, Папийон? — ласково обратился ко мне врач, открывая дверь и входя в камеру в сопровождении охранников, санитаров и Шатая.

— Хватит придуливаться, док!

Я весь задрожал от возбуждения.

— Вы прекрасно знаете, что я болен. И я начинаю подозревать, что один из вас в сговоре с той сукой, которая мучает меня!

— Кто тебя мучает? Когда? Как?

— Прежде всего скажите-ка мне вот что, доктор, вы знакомы с трудами доктора д'Арсонваля?

— Полагаю, что да...

— Тогда вам должно быть известно, что он изобрел многоволновый генератор колебаний, ионизирующий воздух в палате, где находятся больные язвой двенадцатиперстной кишки. Этот осциллятор посылает электрические токи. Так вот, один мой враг спер такую штуковину из

кайеннского госпиталя. Стоит мне только заснуть, как он нажимает на кнопку, и ток бьет меня прямо в живот и в пах. Я прямо подпрыгиваю над кроватью на целых десять сантиметров! Как прикажете мне с этим бороться, чтоб я мог спать нормально? Всю прошлую ночь промучился! Только закрою глаза, как тут этот ток: бац! Все тело подпрыгивает, как пружина. Не могу я больше выносить всего этого, док! И предупредите каждого: не дай Бог доберусь я до его сообщника, в куски порву падлу! Оружия у меня, правда, нет, но ничего, парень я крепкий, удавлю эту гниду голыми руками. Вот так, имеющий уши да услышит! И нечего дурить мне мозги всякими там «доброе утро» да «как поживаешь, Папийон»! Предупреждаю последний раз: кончайте придуливаться!

Это принесло свои плоды. Шатай сообщил, что врач приказал охранникам не спускать с меня глаз, входить ко мне в камеру только по двое-трое и разговаривать как можно ласковее. «У него мания преследования, — объяснил врач. — Следует как можно быстрее отправить его в психиатрическую лечебницу».

— Думаю, что смогу доставить его в дурдом в сопровождении всего лишь одного санитара, — предложил Шатай, желавший избавить меня от смиренной рубашки.

— Ну как, Папи, хорошо пообедал?

— Да, Шатай, прекрасно.

— Не хочешь пойти сейчас со мной и с месье Жанньюсом?

— Куда?

— Да мы идем в психушку, взять там кое-какие лекарства. Заодно и прогуляемся.

— Ладно, пошли.

И вот мы вышли из ворот и зашагали к психушке. Всю дорогу Шатай болтал, не закрывая рта. А когда мы наконец почти дошли, спросил:

— А тебе не надоело в лагере, Папийон?

— Еще как надоело! Сыт по горло. Особенно с тех пор, как моего друга Карбоньери там нет.

— Так почему бы тебе не остаться тогда в дурдоме на пару деньков? Может, это собьет со следа того типа с электрической машинкой, который посылает в тебя ток?

— А что, это идея, приятель. Но почему ты так уверен, что меня примут? Ведь с головой-то у меня все в порядке?

— Я все устрою, замолвлю за тебя словечко, так уж и быть, — сказал санитар в полном восхищении от того, как ловко удалось Шатаю заманить меня в ловушку.

Короче говоря, я оказался в дурдоме, бок о бок с сотней психов. Да, это не подарок, жить с психами! Разбившись на группы по тридцать — сорок человек, мы выходили во двор, пока дежурные убирали камеры. Днем и ночью в чем мать родила, без одежды. Хорошо еще было тепло. Мне, правда, разрешили оставить шлепанцы.

Санитар протянул мне зажженную сигарету. Я сидел на солнышке, размышляя о том, что нахожусь в психушке вот уже пять дней, а до сих пор еще не вышел на Сальвидиа.

Ко мне подошел сумасшедший. Я про него слышал, звали его Фуше. Его мать продала за пятнадцать тысяч франков дом, чтобы подкупить тюремщика, который обещал помочь сыну бежать. За эту услугу он должен был оставить себе пять тысяч, а остальное отдать Фуше. Однако этот мерзавец захапал все деньги и сбежал с ними в Кайенну. Когда Фуше узнал, что мать послала ему деньги, оставшись при этом, что называется, под открытым небом и без гроша в кармане и что самое обидное — совершенно напрасно, он совершенно обезумел и в тот же день напал на охрану. Его связали, отомстить так и не удалось... С тех пор уже прошло три или четыре года, а он все еще находился в дурдоме.

— Ты кто?

Я взглянул на этого несчастного: совсем не старый еще человек, лет тридцати.

— Кто я? Такой же человек, как и ты, приятель. Просто мужчина, не больше и не меньше.

— Глупый ответ. Вижу, что мужчина, раз у тебя есть член и яйца. Будь ты бабой, так у тебя была бы дырочка. Я спрашиваю: кто ты? Как тебя зовут?

— Папийон.

— Папийон? Ты что, бабочка, что ли? Бедняга. У бабочек крылышки, они летают. А где твои?

— Потерялись.

— Надо найти. Тогда ты сможешь бежать. У охранников-то крыльев нет. Дай мне твою сигарету.

Не успел я протянуть сигарету, как он уже выхватил ее из моих пальцев. Затем сел напротив и с наслаждением затянулся.

— А ты кто? — спросил я его.

— Лопух. Только собираюсь взять, что мне принадлежит по праву, как получаю фиг.

— Как это?

— Так уж выходит. Поэтому при каждом удобном случае убиваю охранников. Вот как раз прошлой ночью придушил парочку. Но только никому ни звука.

— А за что ты их?

— Они украли у матери дом. Мама послала мне свой дом, он им приглянулся, вот они и забрали его и сейчас в нем живут. У меня были все основания прикончить их, правда?

— Да, конечно. Нечего пользоваться чужим добром.

— Видишь вон того, толстого, за решеткой? Этот охранник тоже живет в мамином доме. Доберись и до него, уж поверь мне.

И он поднялся и ушел.

Слава Богу! Да, это не подарок — жить среди безумцев, к тому же еще и опасных преступников. Всю ночь напролет они вопили и завывали, особенно с наступлением полнолуния. Тут они бесновались еще больше. Почему, интересно, луна влияет на этих

людей?.. Не могу объяснить, хотя не раз убеждался в этом.

Охранники докладывали о поведении находящихся под их присмотром больных. Меня проверяли неоднократно. Ну например, забывали якобы выпустить во двор. И следили, замечу ли я это и как буду реагировать. Или нарочно забывали меня покормить. У меня была палочка с привязанным к ней куском бечевки, и я делал вид, что ужу рыбу.

— Ну что, клюет, Папийон? — спрашивал старший санитар.

— Не очень. Стоит забросить удочку, как тут же начинает доставать одна маленькая рыбка. Когда она видит, что собирается клюнуть крупная, говорит: «Эй, не надо клевать, берегись! Это Папийон рыбачит!» Так ничего из-за нее и не поймал. Ну ничего, все равно буду удить. Может, в один прекрасный день появится рыба, которая ей не поверит.

Я слышал, как охранник сказал дежурному:

— Э-э, да у него уже совсем крыша поехала!

За обедом мне практически ни разу не удавалось съесть свою порцию чечевичной похлебки. В столовую являлось гигантское создание под метр девяносто, с волосатыми, как у обезьяны, руками, ногами и телом, выбравшее меня своей жертвой. Он всегда садился рядом со мной. Чечевицу подавали прямо с огня, очень горячей, надо было дать ей остыть прежде чем есть. Я подцеплял немного деревянной ложкой и, дуя на нее, делал глоток-другой. Айвенго же (он воображал себя Айвенго) брал свою миску обеими руками и проглатывал все содержимое разом. Затем хватал мою и проглатывал тоже, как само собой разумеющееся. Затем дочиста вылизанную миску швырял передо мной и сидел, уставившись на меня огромными, налитыми кровью глазами, словно хотел сказать: «Вот как надо расправляться с чечевицей, видал?» Мне до предела осточертел этот Айвенго, но поскольку я все еще пребывал под наблюдением, то решил использовать его как повод для очередного спектакля. Снова настал чечевичный день. Айвенго, как всегда, сел рядом. Абсолютно безумная его физиономия светилась восторгом — он уже предвкушал скорую расправу со своей и моей порциями. Я придвинул к себе большой и тяжелый глиняный кувшин с водой. Не успел гигант поднести мою миску ко рту, как я резко встал и изо всей силы грохнул его по голове кувшином. Айвенго повалился на пол, завывая, как раненый зверь. В ту же секунду все сумасшедшие, вооружившись тарелками, набросились друг на друга. В столовой поднялся невыносимый гвалт и крик.

Меня схватили и как куль поволокли в камеру четверо санитаров, действовавших быстро и без всяких там церемоний. Я и сам завывал, как маньяк, крича, что Айвенго стащил у меня кошелек и удостоверение личности. Фокус удался. Врач наконец решил признать меня не отвечающим за свои поступки. Охранники в голос твердили, что хотя в принципе псих я и спокойный, но время от времени на меня «находит». Айвенго бродил с забинтованной головой, похоже, на темени у него останется здоровенный шрам. К счастью, время наших прогулок не совпадало.

Наконец-то удалось поговорить с Сальвидиа. Он уже раздобыл дубликат ключей от кладовой, где находились бочки. Теперь осталось лишь раздобыть проволоку, которой можно связать их. Я высказал опасение, что проволока в море при трении бочек друг о друга может быстро лопнуть в отличие от более эластичной веревки, и он решил обзавестись и веревкой тоже. Предстояло также подобрать три ключа: один — от моей камеры, другой — от коридора, куда она выходила, и третий — от главных ворот сумасшедшего дома. Патрулированием себя охрана не утруждала. Два охранника дежурили по четыре часа: один с девяти до часу ночи, а другой — с часу до пяти утра. Было еще два сторожа, беспробудно спавших во время своего

дежурства; они никогда не делали обхода, целиком и полностью полагаясь на санитаров из заключенных, дежурившего при них. Таким образом, дело было на мази, оставалось только ждать. Мне предстояло терпеть самое большее еще месяц.

Я вышел во двор. Старший охранник протянул мне сигару, довольно паршивую. Но даже она показалась мне замечательной. Я обвел взором стадо абсолютно голых, поющих, рыдающих, дергающихся, скачущих, разговаривающих с самими собой людей. Они еще не обсохли после душа, который их заставляли принимать перед выходом на прогулку. Их истерзанные тела были сплошь покрыты синяками и ссадинами — следами получаемых побоев или повреждений, которые они наносили себе сами. Были там и отметины от слишком туго затянутых смиренных рубашек. При виде всего этого понимаешь — вот где та грань, тот предел человеческого падения, после которого человек перестает быть человеком. А скольких из этих безумцев признали ответственными за свои поступки психиатры Франции?..

Титин — так его называли — был со мной еще в 1933 году в конвое, когда нас отправили из Франции после суда отбывать наказание в этот забытый богом уголок земли. В Марселе он убил человека. Остановил такси, погрузил в машину свою жертву и повез тело в больницу, где заявил: «Вот, займитесь им, похоже, он приболел». Его тут же арестовали. И у суда хватило духа осудить его как вполне вменяемого! Нормальный человек не мог совершить такого поступка. Нормальный человек, если даже он крайне глуп, понимал бы, что за это его посадят.

Титин находился тут же, во дворе, сидел рядом со мной. Он страдал хронической дизентерией — это был ходячий труп, а не человек. Он взглянул на меня прозрачными серыми глазами, где отсутствовал даже проблеск какой-либо мысли, и сказал:

— Знаешь, Папийон, а у меня в кишках живут маленькие обезьянки. И есть такие вредные, кусаются, когда злятся. Поэтому я и хожу кровью. А другие — такие пушистые, и лапки у них такие мягкие, и они так нежно гладят меня и все стараются остановить вредных, чтоб не кусали. И когда добрые за меня заступаются, я не хожу кровью.

— Ты помнишь Марсель, Титин?

— Конечно, помню и даже очень хорошо. Площадь Биржи с разными там красотками и бандитами...

— А имена хоть какие-нибудь помнишь? Ангела Взятчика, Мусорщика, Клемана?

— Нет, имен не помню, помню только того ублюдка таксиста, который отвез меня в больницу вместе с моим больным товарищем, а потом сказал, что это из-за меня он заболел. Вот и все.

— А друзей?

— Не знаю. Не помню.

Бедняга Титин! Я отдал ему окурочку сигары и встал. Сердце мое было переполнено жалостью к этой больной душе, которая наверняка пропадет здесь как собака. Да, крайне опасно жить среди этих безумцев. Но что поделаешь... Как бы там ни было, это единственная возможность бежать, а в случае поимки — отвертеться от смертного приговора.

У Сальвидиа почти все было уже готово. Имелось два кчюча, оставалось раздобыть лишь третий — от моей камеры. Он обзавелся также большим мотком крепкой веревки. Другую изготовил сам — разрезал ткань для гамака на полосы и сплел каким-то особым, пятикратным плетением. Так что с этим все было в порядке.

Мне не хотелось откладывать побег. Пребывание в психушке становилось с каждым днем все невыносимей, да и жутко надоело разыгрывать всю эту комедию. Ведь для того, чтобы остаться именно в этом отделении дурдома, где я находился, приходилось время от времени «срываться» и строить из себя буйного.

Как-то раз я так вошел в роль, что санитар распорядился сделать мне сразу два укола брома и поместить в горячую ванну. Эта ванна представляла собой нечто вроде огромной бочки, затянутой сверху чрезвычайно прочной тканью, не позволяющей выбраться. Над бочкой торчала лишь голова.

Скованный этой своего рода смирительной рубашкой, я сидел, наверное, уже два часа, как вдруг появился Айвенго. Прямо мороз пробрал по коже — так этот зверь глянул на меня. Я испугался, что сейчас он меня удушит. Ведь я был совершенно беззащитен, руки находились под полотном.

Он приблизился и пристально посмотрел на меня словно вспоминая, где он прежде мог видеть эту голову, торчавшую сейчас из дырки в ткани, точно из рамы. И ощутил на своем лице его зловонное дыхание. Хотелось позвать на помощь, но я боялся, что мой крик взбесит его. Поэтому я закрыл глаза и ждал, уверенный, что вот-вот он начнет душить меня своими огромными волосатыми лапами.

Сколько буду жив — не забуду пережитого в те секунды страха. Однако наконец он отвернулся и отошел. Пересек комнату и приблизился к маленьким вентилям, регулирующим подачу воды. Он перекрыл холодную и включил горячую на полную мощность. Я вопил и верещал как ненормальный, поскольку буквально заживо варился в этой треклятой бочке. А Айвенго исчез. Комната наполнилась паром, я хватал ртом воздух, кашлял и задыхался, предпринимая отчаянные усилия, чтобы сорвать полотно и освободиться. Наконец помощь прибыла. Охранники заметили клубы пара, валящие из окон. К тому времени, когда они извлекли меня из этого котла, я успел получить ужасные ожоги и страшно мучился от боли. Особенно в паху и половых органах, с которых почти полностью облезла кожа. Они обработали ожоги пикриновой кислотой и поместили меня в маленькую больничную палату. Я был так плох, что пришлось вызвать врача. Несколько уколов морфия позволили продержаться первые сутки. Когда врач спросил, как это случилось, я ответил, что в бочке произошло извержение вулкана. Старший санитар обвинял во всем банщика, перепутавшего, как он считал, краны.

Пришел Сальвидиа и обработал мои ожоги пикриновой мазью. У него все уже было готово. Он находил, что нам повезло, что я попал в эту палату, — если побег сорвется, сюда можно будет вернуться незамеченным. Он не собирался откладывать дела в долгий ящик — решил изготовить дубликат ключей от этой палаты, даже прихватил с собой кусок мыла и сделал на нем отпечаток, чтобы к завтрашнему дню ключ был готов. Теперь все зависело от меня — я должен был дать ему знать, как только почувствую себя лучше.

Побег назначен на сегодня — на время дежурства от часу ночи до пяти утра. Сальвидиа не дежурил. Не желая терять времени даром, он решил опорожнить бочку с уксусом вечером, где-то около одиннадцати. А бочку с маслом мы решили катить полной — на море поднялось сильное волнение, и мы надеялись, что масло поможет утихомирить волны хотя бы в первый момент.

На мне были надеты сразу четыре пары полотняных штанов, обрезанных по колено, шерстяной свитер и нож на поясе. При мне была сумка из водонепроницаемой ткани, которую я собирался повесить на шею, — там находились сигареты и трутовая зажигалка. Припасы Сальвидиа — водонепроницаемый рюкзак с мукой из маниоки, пропитанной маслом и сахаром. Фунтов семь,

как сказал он мне. Было уже поздно. Я сидел на постели, ожидая своего друга. Сердце бешено колотилось — еще несколько минут, и в путь. Пусть Бог и удача сопутствуют мне и помогут вырваться из этого ада и никогда больше не возвратиться сюда.

Странно, но мысли мои в этот момент были сосредоточены почему-то на прошлом. Я думал о своем отце, о семье. Напрочь вылетели из памяти сцены суда, преследовавшие меня до сих пор, мысли о мести прокурору и всей этой гнусной системе правосудия, незаконно приговорившей меня к этим мучениям. А когда дверь вдруг распахнулась, мне показалось, что на пороге я вижу Матье, несущегося по волнам в сопровождении акул.

— Идем, Папи!

Я последовал за Сальвидиа. Он быстро запер дверь и спрятал ключ в темном уголке в коридоре.

— Быстрее, быстрее!

Мы дошли до кладовки, дверь была открыта. Он выкатил пустую бочку словно игрушку, подхватил веревки, перекинул их через плечо. Я забрал мешок с мукой и проволоку. В кромешной тьме я покатил пустую бочку к морю. Сальвидиа следовал за мной, катя бочку с маслом. К счастью, он был очень силен и ему удавалось удерживать ее на крутом спуске.

— Тише, тише, смотри, чтоб не вырвалась и не укатилась!

Я подождал его, чтобы быть рядом на тот случай, если он вдруг упустит бочку — тогда я заблокирую ей путь своей. И спускался задом наперед — сам впереди, а бочка сзади. Наконец мы благополучно спустились с холма. Отсюда начиналась узенькая тропинка к морю, а за ней — трудный каменистый спуск к воде.

— Опорожни бочку, так нам никогда не добраться! — С моря дул сильный ветер, и волны бешено бились о скалы. — Так, прекрасно, бочка пуста... Теперь заткни пробкой. погоди минутку, накрой сверху жестянкой! — Дырки были уже пробиты. — А теперь вгоняй гвозди, прямо сюда! — Стука молотка никто не услышал бы в этом реве моря и ветра.

Мы связали бочки, но тащить их по камням оказалось очень трудно, каждая — на двести двадцать пять литров. Очень громоздкая и неудобная ноша. Место для выхода в море мой товарищ тоже выбрал неудачное.

— Толкай, черт бы их взял! Чуть выше! Еще! Теперь следи за волной!

И нас, и бочки подхватила волна и тут же бешено отбросила назад, на скалы.

— Берегись! Они разобьются, а мы переломаем руки и ноги!

— Не дрейфь, Сальвидиа! Давай или вперед, или стой вот здесь, сзади. Да, вот так. Теперь жди, когда я подам сигнал. Я оттолкнусь, и мы наверняка отлепимся наконец от этой скалы. Но надо здесь удержаться, даже если волны захлестывают с головой!

Я выкрикивал эти команды в реве ветра и волн и надеялся, что мой друг слышит меня. Огромная волна накрыла нас с головой, и мы приникли к бочкам. В ту же секунду я изо всей силы оттолкнул наш плот. Сальвидиа, наверное, сделал то же, потому что мы тут же оказались на волнах, в море. Он забрался на бочки первым. Но только я начал карабкаться на них, перед нами вырос огромный вал, подбросил нас как перышко и отшвырнул прямо на заостренную

скалу, одиноко торчавшую в море. Удар оказался столь сокрушительным, что бочки разлетелись на куски. Отхлынув, волна отнесла меня метров на двадцать от скалы. Я поплыл, позволив следующей волне нести меня к берегу. Меня выбросило на сушу. Я оказался зажатым между двумя камнями в сидячем положении. Едва удержался, чтобы меня снова не унесло в море. Весь в ссадинах и синяках я начал пробираться наверх. А когда наконец достиг сухой земли, сообразил, что меня отнесло не меньше, чем на сто метров от того места, где мы спускали на воду плот.

Забыв о всех мерах предосторожности, я завопил что было сил:

— Сальвидиа! Ромео! Где ты?!

Нет ответа. Совершенно подавленный, я повалился на землю. Скинул с себя брюки и свитер и снова остался голым, в одних только тапочках. Господи, где же Сальвидиа? Я снова крикнул:

— Эй, где ты?!

Но мне ответили лишь море, ветер и волны.

Не помню, сколько я просидел на берегу, совершенно разбитый и морально, и физически. Потом, плача от ярости, отшвырнул в сторону маленькую сумочку с табаком и зажигалкой — знак внимания и заботы моего друга, сам Сальвидиа не курил.

Повернувшись лицом к ветру и огромным валам, которые унесли у меня все — и друга, и надежду, — я поднял руку и яростно погрозил Богу кулаком:

— Ты, скот! Педераст вонючий! Совесть есть у тебя, так меня мучить?! Ведь ты должен быть добрым и милосердным, разве нет, Бог? Ты — мерзкая злая тварь, вот кто ты! Садист, кровавый садист! Извращенец проклятый! Знать не хочу ни тебя, ни имени твоего! Ты того не стоишь!

Ветер понемногу стих, волны улеглись, и как ни странно, это успокоило меня — привело, что называется, в чувство. Надо возвращаться в дурдом, попытаться пробраться в свою палату. Если, конечно, повезет.

Я поднимался по холму с одной лишь целью и желанием: вернуться и лечь в свою постель. И чтобы никто ничего не видел и не слышал. Проникнуть в больничный коридор труда не составило. А вот через стену, окружавшую двор, пришлось перелезть, так как я не знал, куда запрятал Сальвидиа ключи от ворот.

Ключ от палаты я нашел быстро. Вошел и запер за собой дверь. Потом зашвырнул ключ в окно — он упал где-то по ту сторону стены. И лег спать. Единственное, что могло меня выдать, — это насквозь промокшие тапочки. Я поднялся и отжал их над унитазом.

Постепенно, укутанный одеялом до самого носа, я начал согреваться. Неужели мой друг действительно утонул?.. А может, его отнесло еще дальше, чем меня, и он все-таки выбрался на берег на том, дальнем конце острова? Может, я поторопился уйти? Надо было подождать еще хоть немного. Я корил себя, что так быстро сдался, что посчитал своего друга пропавшим уже навеки.

В ящике тумбочки лежали две таблетки снотворного. Я проглотил их, не запивая.

Меня разбудил санитар. Он тряс меня за плечо. Комната была полна света, окно распахнуто. В дверь из коридора заглядывали три пациента.

— Что с тобой, Папийон? Спишь как убитый. Смотри и кофе не выпил!.. Давай-ка, пей.

Хоть еще и полусонный, я сообразил, что пока все в порядке, они ничего не заподозрили.

— Зачем вы меня разбудили?

— Затем, что ожоги твои стали лучше и надо освобождать койку. А ты пойдешь обратно в свою камеру.

— Ладно, начальник.

И я последовал за ним. Он оставил меня погулять во дворе, и я высушил тапочки на солнце. Со дня неудавшегося побега прошло дня три. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь заговорил о нем. Выходил из камеры во двор, снова возвращался в камеру. Сальвидиа так и не появился. Это означало, что бедняга погиб, разбился, наверное, о скалы. Я и сам чудом уцелел только потому, что находился сзади, а не впереди. Но как знать?.. Надо выбираться из психушки. Будет гораздо труднее убедить их в том, что я выздоровел или по крайней мере поправился настолько, чтобы снова вернуться в лагерь. Да, куда труднее, чем в обратном... Надо начать убеждать врача, что мне стало гораздо лучше.

— Месье Рувио! (Так звали главного охранника). Я по ночам мерзну. Если я пообещаю, что не буду пачкать одежду, дадите мне брюки и рубашку?

Охранник был изумлен. Он уставился на меня широко распахнутыми глазами, потом после паузы сказал:

— Присядь-ка, Папийон! Вот тут, рядом. И расскажи, как дела.

— Я ужасно удивлен. Прямо понять не могу, как я тут оказался, начальник. Ведь это психушка, верно? И я здесь, с этими придурками. Я что, тоже маленько съехал с крыши? Почему я здесь? Объясните мне, уж пожалуйста.

— Бедняга Папийон. Ты был болен, но теперь, похоже, дело пошло на поправку. Работать хочешь?

— Да.

— А что хочешь делать?

— Все равно.

И вот мне выдали одежду и поставили убирать камеры. Вечером дверь в мою камеру оставалась открытой до девяти, запирали ее, только когда заступала на свой пост ночная охрана.

Однажды со мной вдруг заговорил человек из Оверни, санитар из заключенных. Мы сидели в дежурке вдвоем. Охрана еще не пришла. Я этого парня не знал, зато он сказал, что очень хорошо знает меня.

— Хватит тебе придуриваться, приятель, — сказал он, — что у тебя тараканы в башке.

— Ты про что это?

— Про то. Не воображай, что тебе удалось провести меня, вот про что. Я наблюдаю за психами

вот уже лет семь и с первой же недели понял, что ты прикидываешься.

— Ну и что?

— А вот что. Я очень расстроился, что вам с Сальвидиа не удалось бежать. Это стоило ему жизни. Мне его жаль, честно, он был моим близким другом, хотя и не посвятил в свои планы. Но я на него не в обиде. Если чего надо — дай знать. Буду рад помочь чем могу.

Взгляд у него был открытый и честный, и я понял, что он не лжет. Не слышал, чтоб кто-нибудь отзывался о нем хорошо. Но и плохого не слышал. Так что наверняка парень что надо. Бедный Сальвидиа! Да, вот уж, наверное, подняли переполох, когда обнаружилось, что он исчез. На берегу нашли обломки бочек. Они были уверены, что его сожрали акулы. Врач сокрушался по пропавшему оливковому маслу. Все твердил, что теперь, во время войны, вряд ли пришлют еще хоть каплю.

— Что ты теперь советуешь мне делать?

— Устрою тебя в наряд. Они каждый день ходят из дурдома в больницу за жратвой. Заодно и прогуляешься. Начинать вести себя нормально. Ну, из десяти высказываний восемь должны быть разумны. Если быстро поправляться — тоже будет подозрительно.

— Спасибо. Как тебя зовут?

— Дюпон.

— Спасибо, Дюпон. Приму твой совет к сведению. После неудавшейся попытки бегства прошел уже месяц.

Еще дней через шесть в море обнаружили тело моего друга. По какой-то странной случайности акулы его не тронули, так, во всяком случае, сказал мне Дюпон. Но какие-то мелкие рыбки выели внутренности и сожрали часть ноги. Череп был разбит. Вскрытия не производили, так как труп почти совершенно разложился. Я спросил Дюпона, может ли он помочь отправить одно письмо. Его следовало передать Гальгани, который затем незаметно сунул бы его в еще не опечатанный мешок с почтой. Я написал в Италию, матери Ромео Сальвидиа.

«Мадам, Ваш сын погиб без оков и цепей. Он храбро встретил свою смерть в океане, вдали от охранников и тюрем. Он умер свободным в мужественной борьбе за эту свободу. Мы обещали друг другу писать семьям, если с кем-нибудь из нас что случится. Я исполняю свой скорбный долг и целую Ваши руки, как сын.

Папийон, друг Вашего мальчика».

Исполнив свой долг, я вознамерился никогда больше не вспоминать об этом кошмаре. Так уж устроена жизнь. Теперь главная цель — выбраться из дурдома, чего бы это ни стоило, и постараться устроить так, чтобы меня отправили на остров Дьявола, откуда можно снова попытаться бежать.

Мне поручили приглядывать за садом. Вот уже месяца два я вел себя нормально, и работой моей были так довольны, что этот чертов кретин, начальник охраны, не желал меня отпускать. Овернец сообщил: еще одна последняя проверка, и доктор намеревается отправить меня из дурдома в лагерь на испытательный срок. Но начальник охраны уперся и стоял намертво, уверяя, что никогда еще его сад не был так замечательно ухожен.

Поэтому однажды утром я повыдергивал из грядок все кустики клубники и побросал их в кучу. А на месте каждого кустика воткнул маленький крестик.

Ну и гвалт же тут поднялся! Этот ублюдок, начальник охраны, чуть не треснул от злости. Он прямо дар речи потерял — только плевался пеной, так что было не разобрать ни слова. А потом сел на тачку и залился настоящими непритворными слезами. Да, я, конечно, переборщил немного, но что оставалось делать?..

Врач смотрел на вещи проще.

— Этого больного следует отправить в лагерь на испытательный срок с тем, чтобы он мог адаптироваться к нормальной жизни, — сказал он. — Чувство одиночества — вот что толкнуло его на этот странный поступок. Скажи, Папийон, ну зачем ты выдернул клубнику и повтыкал все эти крестики?

— Я не в силах объяснить этого, доктор. И я прошу у начальника прощения. Он так любил эту клубнику! Мне страшно жаль, что так произошло... Буду молить Бога, чтобы он послал ему в следующий раз хороший урожай.

И вот я снова в лагере с моими друзьями. Место Карбоньери оставалось незанятым — я повесил свой гамак рядом с его гамаком, словно Матье был еще здесь.

По указанию врача я носил на блузе нашивку с надписью «Спецлечение». Никто, кроме врача, не смел отдавать мне никаких приказаний. В мою обязанность входило подметать листву перед больницей с восьми до десяти утра. Я частенько сживал с врачом перед его домом за кофе и сигаретами. Его жена тоже часто сидела с нами и расспрашивала меня о прошлом.

— А что же случилось дальше, Папийон? После того, как ты расстался с этими ныряльщицами за жемчугом?

Дни напролет я проводил с этими славными людьми.

— Заглядывай почаще, Папийон, — говорила его жена. — Мне всегда приятно тебя видеть, ты так интересно рассказываешь о своих приключениях!

Они, видимо, считали, что рассказы и воспоминания о прошлом помогут мне смягчиться, восстановить душевное равновесие. Я решил попросить врача помочь мне с отправкой на остров Дьявола.

И вот все решилось. Завтра меня отправляют. Врач и его жена знали, почему я так стремился на остров Дьявола. Они были так добры ко мне, что я просто не мог им лгать.

— Доктор, я не в силах переносить этого более. Устройте так, чтобы меня отправили на остров Дьявола. И я или убегу, или погибну при попытке к бегству. Мне все едино.

— Понимаю тебя, Папийон. Вся эта каторжная система, это издевательство над людьми претит мне самому. Здесь все насквозь прогнило. Поэтому прощай и удачи тебе!

Тетрадь десятая

ОСТРОВ ДЬЯВОЛА

СКАМЕЙКА ДРЕЙФУСА

Это был самый маленький из островов Спасения. И самый северный, открытый всем волнам и ветрам. Он начинался с узкой и ровной полосы земли, опоясывающей его почти по замкнутому кругу, затем почва постепенно поднималась и переходила в плато, на котором располагался сторожевой пост охраны и один барак для заключенных — всего человек на десять. Заключенных, осужденных за обычные преступления, посылали на остров Дьявола не часто, он почти целиком и полностью был зарезервирован для политических, которые жили каждый в отдельном маленьком домике с крышей из оцинкованного железа. По понедельникам им выдавали продукты вперед на неделю и каждый день — по буханке хлеба. Их было здесь человек тридцать. Врачом работал некий Леже, отравивший всю свою семью в Лионе. Политические практически не общались с остальным контингентом заключенных, лишь время от времени слали на них жалобы в Кайенну. Неудобного им человека ждала отправка назад, на остров Руаяль.

Между Руаялем и островом Дьявола существовала кабельная связь, поскольку море часто штормило, не позволяя судам и лодкам с Руаяля причалить к каменистым берегам этого маленького острова.

Главного надзирателя лагеря (всего здесь их было трое) звали Сантори. Омерзительный, грязный и жестокий тип с недельной щетиной на лице.

— Папийон, надеюсь, ты будешь вести себя на острове прилично. Не станешь доставать, тогда и я тебя не трону. Ступай в лагерь. Там проведу тебя еще раз.

В большой камере я обнаружил шестерых заключенных — двух китайцев, двух негров, парня из Бордо и еще одного француза из Лилля. С одним китайцем мы познакомились уже давно — он сидел со мной в Сен-Лоране под следствием. Обвиняли его в убийстве. Дело в том, что в прежней своей жизни он промышлял пиратством. Его ребята нападали на сампаны [16] и зачастую вырезали всю команду вместе с семьями. Страшно опасный тип, но в тюрьме он зарекомендовал себя надежным и добрым товарищем, и я ему доверял.

— Ну как ты, Папийон, нормально?

— Нормально. А как ты, Чанг?

— Хорошо! Здесь здорово. Кушать будешь с моя, спать тоже. А моя будет тебе готовить. Папийон ловить рыба. Здесь много рыба.

Появился Сантори.

— Ну что, устроился? Завтра утром пойдешь вместе с Чангом кормить поросят. Он принесет орехи, а ты будешь колоть их надвое. Самые маленькие и мягкие откладывай в одну сторону — для тех поросят, что еще без зубов. В четыре — вторая кормежка. Два часа в день — час утром, час вечером, а все остальное время твое, делай что хочешь. Каждый, кто ходит на рыбалку, должен приносить моему повару по килограмму рыбы или лангустов в день. Так, чтоб все были довольны, понял?

— Да, господин Сантори.

— Я знаю, ты из тех, кто любит бегать, но особо не беспокоюсь, так как бежать отсюда нельзя. По ночам вас запирают, но я знаю, есть такие, что умудряются выходить. И еще смотри, держи ухо востро с политическими. У них у всех мачете. Будешь шастать возле их домов, еще подумают, что хочешь спереть у них цыплят или яйца. Так что и ранить могут, и прибить насмерть.

Накормив две сотни свиней, я весь остаток дня бродил по острову в сопровождении Чанга, который знал здесь каждую былинку. Однажды по дороге к морю мы встретили старика с длинной седой бородой. Это был журналист из Новой Каледонии, писавший во время войны против Франции в пользу немцев. Я видел также типа, застрелившего Эдин Кавелл, английскую или бельгийскую монахиню, спасавшую английских летчиков в 1915 году. Это был огромный жирный детина. В момент, когда мы его встретили, он тащил на палке гигантского угря длиной около полутора метров и толщиной в руку.

Врач тоже жил в одном из домиков, предназначенных для политзаключенных. Это был высокий, крепкий и неопрятный человек Единственной более или менее отмытой частью его тела было лицо под шапкой седеющих волос, нависающих на лоб, шею и уши. Все руки его были в шрамах — следы порезов об острые скалы.

— Если что понадобится — заходи. Но если не болен, не суйся. Гостей не люблю, а пустую болтовню — еще меньше. Я продаю яйца, иногда кур и цыплят. Если приколешь втихаря молоденького поросенка, тащи сюда кусок ветчины. Взамен даю цыпленка и шесть яиц. Раз уж ты здесь оказался, вот бери пузырек с хинином, тут сто двадцать таблеток. Ты ведь наверняка носишься с идеей побега, что, впрочем, маловероятно, и если он тебе удастся, в чем я лично сильно сомневаюсь, хинин в джунглях пригодится.

Я удил очень успешно и днем, и вечером, отлавливая султанку в невиданных количествах. Охранники получали каждый по три-четыре килограмма. Сантори был в восторге: на его стол никогда не попадало так много рыбы и лангустов. Иногда, ныряя на мелководье, я добывал до трехсот лангустов за день.

Вчера на остров Дьявола приехал доктор Жермен Жибер. Море было тихим, и, воспользовавшись этим, с ним прибыли и комендант Руаяля с супругой. Она оказалась первой женщиной, чья нога ступила на остров Дьявола. Если верить коменданту, то ни один штатский тоже никогда не бывал на этом острове. Я проговорил с Жюльетт больше часа и даже сводил показать скамейку Дрейфуса, где некогда этот офицер французской армии, ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии, сживал, глядя па океан, отделяющий его от родины, что отвергла своего сына.

— Если бы этот камень, такой гладкий и отполированный, мог рассказать нам, о чем в те минуты думал Дрейфус, — сказала она и погладила камень — Папийон, мы наверняка видимся с тобой в последний раз. Ведь ты сам сказал, что скоро снова собираешься бежать. Буду молиться, чтобы побег тебе удался. Но перед тем, как тронуться в путь, прошу тебя, приди сюда и присядь на эту скамейку. Присядь на минутку, погладь и попрощайся с ней.

Комендант разрешил мне посылать врачу рыбу и лангустов. Сантори был не против.

— Прощайте, док, прощайте, мадам! — Я долго махал рукой уплывающей лодке. На прощанье мадам Жибер одарила меня многозначительной улыбкой, словно хотела сказать: «Помни о скамейке, и мы тебя не забудем». Скамейка Дрейфуса находилась в северной части острова на высоте сорока метров над уровнем моря. Это каменное сиденье, на котором невинный и все же осужденный Дрейфус некогда черпал силы, чтобы продолжать жить, невзирая на все обстоятельства, сложившиеся не в его пользу, служило мне примером. Скамейка учила меня не сдаваться, пытаться снова бежать. Да, это гладко отполированный камень высоко над скалистым берегом моря должен дать мне новые силы. Ведь Дрейфус не пал духом, он боролся за свою реабилитацию до самого конца. Правда, на его стороне был еще и Золя со своим «Я обвиняю», и все же я уверен — именно личное мужество удержало его от того, чтобы в какой-то момент, отчаявшись от несправедливости, броситься с этого обрыва вниз. И я тоже должен

держаться и раз и навсегда оставить эту мысль: «Или удачный побег, или смерть». Я должен быть уверен в том, что рано или поздно обрету свободу.

Проводя долгие часы на скамейке Дрейфуса, я предавался воспоминаниям и размышлениям о счастливом будущем, которое ожидает меня на свободе. Иногда яркий солнечный свет и серебристый блеск волн слепили и резали глаза. Я так долго глядел на море, что знал теперь наизусть каждый изгиб берега, каждый всплеск и поворот прибоя. Неутомимое море швыряло и било валами о скалы. Оно облизывало и обтачивало камни, словно внушая острову Дьявола: «Убирайся! Тебе пора исчезнуть. Ты стоишь на моем пути к материку, ты мне его преграждаешь. Изо дня в день я бьюсь и буду биться о твои скалы, откалывая, отщипывая от них по кусочку и никогда не сдаваясь». Когда поднимался шторм, море обрушивалось на берег уже со всей яростью, разбивая и смывая все, что только могло смыть и разрушить.

Именно в один из таких моментов я сделал одно очень важное открытие: прямо под скамейкой волны налетали на берег, разбивались об огромные гребенчатые валуны и, сердито шипя, отползали обратно. Тонны воды, которые море обрушивало на остров, не находили выхода — их зажимали две скалы, образующие подобие подковы метров пять-шесть в поперечнике. Над этим местом круто вздымалась скала, и вода не находила иного пути, как только выплеснуться обратно в море.

Это было крайне важное наблюдение, так как я собирался выброситься в море в тот самый момент, когда очередной вал разбивался о берег и наводнял «подкову», после чего вода вне всякого сомнения должна была вынести меня в открытое море.

Я уже знал, где раздобыть несколько джутовых мешков — в свинарнике их полным-полно.

Прежде всего надо правильно все рассчитать. Самые высокие волны и сильные приливы бывали в полнолуния. Значит, надо ждать полнолуния. Я запрятал крепко сшитый мешок с кокосовыми орехами в некое подобие грота, который можно обнаружить, только погрузившись в воду. Я наткнулся на него случайно, когда однажды ловил лангустов. Они висели на потолке пещерки, воздух в нее проникал лишь при сильном отливе. В другой мешок я положил камень весом килограммов тридцать пять — сорок и привязал его к первому. Поскольку я собирался отправиться в плавание не с одним, а с двумя мешками, и сам весил около семидесяти килограммов, все уравнивалось.

Я был крайне обрадован своим открытием. С точки зрения побега, эта часть острова была совершенно безопасна — никому и в голову не могло прийти, что человек решится выбрать наиболее открытую для обозрения местность. И в то же время только отсюда — при условии, что удастся оторваться от берега, — меня могло вынести в открытое море так, чтобы потом течением не прибило к Руаялю. Да, именно отсюда и только отсюда я и должен бежать. Мешки с орехами и камнем были слишком тяжелы, по скользким от воды и водорослей скалам их не протащить. Я поговорил с Чангом, и он согласился мне помочь. Он натащил на берег целую кучу самых разных рыболовных снастей — если нас кто застигнет, мы всегда сможем сказать, что собираемся раскинуть сети для ловли акул.

вернуться

— Гребни, Чанг! Еще немного и мы на месте.

Полная луна освещала всю эту сцену ярко, как днем. Меня оглушил грохот прибоя.

— Ты готова, Папийон? — крикнул Чанг.

— Кидай сюда, вот в эту!

Вал с круто завитым гребнем обрушился на скалы. Он разбился прямо под нами с такой силой, что целая стена брызг перехлестнула через скалу и окатила нас с ног до головы. Что, впрочем, не помешало нам бросить мешок в «подкову» в тот момент, когда накопившаяся там вода как раз собиралась отхлынуть. Мешки подхватило словно перышко и потащило в море.

— Порядок, Чанг! Удалось! Вот здорово!

— Обожди, посмотрим, вернется или нет.

К моему ужасу, минут через пять я увидел свой мешок на гребне огромного вала высотой метров десять. Мешок неся с такой быстротой и легкостью, немного впереди пенного оперения на изломе волны, словно вовсе ничего не весил, а затем ударился о скалу с невероятной силой чуть ниже того места, где мы его бросили. Ткань лопнула, орехи выкатились, и их разметало в разные стороны, а камень тут же пошел ко дну.

Промокшие до костей — волны непрестанно обдавали нас брызгами и едва не сбивали с ног (хорошо еще в сторону земли) — и совершенно убитые плачевными результатами своего эксперимента, мы с Чангом ушли с этого места, даже не обернувшись.

— Не есть хорошо, Папийон. Не есть хорошо бежать с Дьявола. Руаяль есть хорошо. С юга Руаяля лучше бежать, чем отсюда.

— Да, но на Руаяле побег обнаружат через два часа. И мешки будут подталкивать только волны, так что пущенные вдогонку лодки тут же меня настигнут. Здесь же совсем другое дело. Начать с того, что нет лодок и у меня впереди вся ночь, прежде чем они хватятся. Во-вторых, они могут подумать, что я просто-напросто утонул во время рыбалки. На острове Дьявола нет телефонной связи. Если я выйду в бурное море, ни одна лодка не осмелится отчалить от берега. Так что уж если бежать, то только отсюда — с острова Дьявола.

В полдень над головой ярко блистало солнце. Тропическое солнце, от которого в черепе, казалось, закипают мозги. Солнце, сжигающее каждое растение, не успевшее достаточно вырасти, чтобы противостоять его жару. Солнце, высушивающее огромные лужи морской воды за несколько часов, оставляя на камнях лишь белую пленку соли. Солнце, заставляющее дрожать и танцевать воздух... Да, воздух в буквальном смысле танцевал передо мной, а металлические блики на поверхности моря слепили и резали глаза. Я снова сидел на скамейке Дрейфуса, и ни зной, ни режущий блеск не могли помешать мне снова изучать море. И вдруг пришло озарение! Я понял, каким круглым, законченным болваном был все это время. Огромный вал, вдвое превосходящий по высоте самые большие волны, точь-в-точь такой же, что швырнул мои мешки о скалы и разметал орехи, появляется через каждые шесть волн, седьмым.

С полудня до заката я просидел на берегу, пытаюсь выяснить, не носит ли мое наблюдение случайный характер. Оказалось, нет — ничто не нарушало этого ритма, и приход огромного седьмого вала наступал неукоснительно.

Шесть красавцев высотой метров в шесть, а затем метров за триста от берега вздымался седьмой — настоящий гигант. Он шел ровно и прямо, и чем ближе подходил, тем становился выше и мощней. На гребне у него почти не было пены, в отличие от предыдущих шести. И шум он издавал особенный — подобный отдаленному рокоту грома. Разбившись о две скалы и сбросив тонны воды в расщелину между ними, он наполнял «подкову» почти до краев. Вода кипела и бурлила в поисках выхода и через десять-пятнадцать секунд начинала отступать, унося с собой камни, которые, перекатываясь, так грохотали, словно где-то рядом разгружали одновременно сотни телег, наполненных гравием.

Я сунул в мешок десяток орехов, положил туда же и камень весом килограммов двадцать и швырнул все это в седьмой вал, как только он разбился о берег.

Взрыв белой пены, и я потерял его из виду, но потом вдруг заметил: мой мешок мелькнул уже на самом выходе из «подковы» — вода стремительно вытягивала его в открытое море. Мешок не вернулся. Следующие шесть волн уже не смогли прибить его к берегу, а когда настала очередь седьмого вала, он был уже далеко, и я больше его не видел.

Я не шел, а летел в лагерь — радостный, окрыленный удачей. Я добился своего, нашел способ отчалить от берега! Все же надо устроить проверку, попробовать запустить два мешка с орехами, привязав к ним еще два, с камнями. И я поделился своими мыслями с Чангом. Китаец слушал меня, развесив уши.

— Хорошо, очень даже хорошо! Моя поможет твоя с побегом, Папийон. Ждать прилива, высокого прилива. Она придет скоро.

И вот мы с Чангом, дождавшись высокого прилива, бросили в этот замечательный и великий седьмой вал два мешка с орехами и тремя камнями общим весом около семидесяти килограммов.

— А как звали та маленькая девочка, за которой ты плыл в вода на Сен-Жозеф? — спросил Чанг.

— Лизетт.

— Тогда надо звать та волна, что унесет тебя отсюда, тоже Лизетт.

— Верно!

Лизетт подходила, по звуку это напоминало приближение поезда к станции. Высокая, прямая, она росла на глазах, становясь с каждой секундой все мощнее и огромнее. Грандиозное зрелище! Она обрушилась на берег с такой силой, что нас с Чангом сбило с ног, а мешки сами свалились в воду. В какую-то долю секунды успев сообразить, что за скалы цепляться бессмысленно, мы просто отползли назад, и только поэтому нас не смыло в море, хотя оба мы, конечно, были мокры, как мыши.

Происходил этот эксперимент в десять утра. Опасности, что нас застукают, не было — трое часовых в это время обходили остров с другой стороны. Мешки вынесло в море, мы видели их вполне отчетливо уже довольно далеко от берега. Шесть волн, отправившихся вслед за Лизетт, не смогли подхватить и выбросить их на скалы. Снова с ревом поднялась Лизетт, но и она не принесла с собой мешков. Итак, они, должно быть, вырвались за пределы той зоны, где происходило образование высоких прибрежных волн.

Мы бросились к скамейке Дрейфуса, чтобы с нее попробовать увидеть мешки, и раза четыре с

восторгом замечали их вдаль, болтающимися на волнах, сносивших их не к острову Дьявола, а в западном направлении. Да, эксперимент, безусловно, удался! Решено — я отправляюсь навстречу новым приключениям и испытаниям верхом на Лизетт!..

— Вот она опять, смотри! Один, два, три, четыре, пять, шесть... — и настал черед Лизетт.

В той части острова, где находилась скамейка Дрейфуса, море всегда было бурным, но сегодня оно особенно разгулялось. Лизетт подошла с обычным характерным своим ревом, только на этот раз мне показалось, что она выше, чем обычно, и толще в основании. Вся эта масса воды обрушилась на две скалы с сокрушительной силой и, хлынув в пространство между камнями, так и кипела, а грохот был поистине оглушительным.

— И откуда, говоришь, мы должны бросаться под эту самую Лизетт? Да, ничего себе, хорошенький фокус ты придумал, я туда и близко не подойду. Конечно, я хочу бежать, но это же чистой воды самоубийство! Нет уж, покорно благодарю! — воскликнул Сильвен, выслушав мое красочное описание Лизетт. Он находился на острове Дьявола всего три дня, и разумеется, я предложил ему бежать вместе. Каждый на отдельном плоту. Тогда на материке у меня будет надежный товарищ, ведь блуждание по джунглям в одиночку — это вам не сахар.

— Да перестань ты каркать! Нельзя же с ходу все отвергать. Конечно, с первого взгляда кажется страшновато. Но зато эта волна вынесет тебя в море куда дальше остальных и не швырнет обратно на скалы.

— Не бойся, — вставил Чанг. — Моя и Папийон пробовали. Только отчалишь и никогда не вернешься на остров Дьявола и на Руаяль тоже.

Сильвена пришлось уговаривать добрую неделю. Парень он был крепкий, одни мускулы, рост метр восемьдесят, атлетического телосложения.

— Ладно, согласен, нас вынесет далеко в море. Но сколько после этого придется плыть по течению до материка?

— Честно сказать, Сильвен, не знаю. Может, долго, а может, нет. Все зависит от погоды. Ветер особенно влиять не должен, ведь на воде мы будем сидеть низко. Но если море разгуляется и волны станут выше, нас донесет до берега быстро. Так что, думаю, это займет где-то часов сорок восемь — шестьдесят.

— Откуда ты знаешь?

— От острова до материка сорок километров по прямой. Во время дрейфа придется двигаться по гипотенузе прямоугольного треугольника. Теперь что касается направления волн, их тоже надо учитывать... Так что, грубо говоря, получится километров сто пятьдесят. Причем чем ближе к берегу, тем больше волн.

Он выслушал все это очень внимательно, неглупый был парень, ничего не скажешь.

— Да, видно, ты прав. И если бы не отливы, которые станут нести нас в открытое море, тогда наверняка мы достигли бы берега за тридцать часов. В общем, получится по-твоему — часов сорок восемь — шестьдесят.

— Ну что, убедил? Плыдем вместе?

— Почти убедил. Хорошо, а что дальше? Что будем делать, когда попадем в джунгли?

— Нас должно вынести в окрестностях Куру. Там большая рыбацкая деревня. И еще живут люди, занимающиеся добычей каучука и золота. Но при высадке на берег надо быть начеку. Там есть лагерь, где заключенные работают на лесоповале. Но, с другой стороны, в этом тоже свой плюс. Там наверняка прорублены просеки до самой Кайенны или китайского лагеря Инини. Надо будет захватить какого-нибудь заключенного или темнокожего из местных, чтоб он отвел нас до Инини. Будет вести себя хорошо — дадим пятьсот франков и пусть отваливает. А если попадется заключенный — предложим ему бежать с нами.

— А зачем нам идти в Инини? Это же спецлагерь для индокитайцев.

— Там брат Чанга.

— Да, там мой брат. Он будет с вами бежать, он будет доставать еду и лодка. Встретить Куик-Куик, и он давать вам все-все. Китайца не доносчик. Вы встречай в леса человек, вы говори ему, он говорит Куик-Куик.

— А почему это твоего брата зовут Куик-Куик? — спросил Сильвен.

— Моя не знает. Одна француз называй его Куик-Куик. — И Чанг продолжил: — Но надо берегись! Как причалишь материк, найдешь там грязь. По грязи никогда не ходи: грязь плохо, грязь тебя засосать! Жди прилив и плыви с ним на твоя лодка в лес — за лиан цепляйся, за дерево-ветка и плыви. Иначе пропал!

— Вот это верно, Сильвен. Никогда не ступай ногой в болото, даже если уже достиг берега. Надо подождать, когда можно будет уцепиться за ветку.

— Ладно, Папийон. Уговорил. Я с тобой!

— Делаем два плота. Одинаковые по размеру, ведь мы с тобой почти одного веса. Тогда нас не сможет сильно отнести друг от друга. Впрочем, наверняка знать нельзя. Если всё же вдруг разминемся, то как нам искать друг друга?.. Отсюда Куру не видать, но ты, когда был на Руаяле, должен был заметить белые скалы километрах в двадцати справа от Куру. Особенно хорошо видно, когда их освещает солнце.

— Да, помню.

— Так вот — таких скал больше на всем побережье нет. Кругом — слева и справа — одни болота. А скалы белые от птичьего помета. Там тысячи птиц, а люди никогда не заходят в те края, так что место вполне безопасное. Питаться будем яйцами и орехами, которые захватим с собой. И никаких костров. Кто высадится первым, должен дожидаться товарища.

— Сколько дней ждать?

— Пять. Я считаю, пяти дней хватит.

Два плота были готовы. Мы уложили орехи таким образом, чтобы они придали им дополнительную прочность. Я уговорил Сильвена подождать дней десять — хотел потренироваться в плавании на мешках. Он занялся тем же. Выяснилось, что мешки довольно легко переворачиваются, и, чтобы удержать их на воде, требуются дополнительные усилия. Надо стараться лежать на них плашмя и не засыпать, иначе можно свалиться в море и утерять свой мешок безвозвратно. Чанг изготовил мне маленький водонепроницаемый мешочек для спичек и сигарет, который можно было привязать на шею. Еще мы решили натереть на терке по десять орехов каждому — они помогут утолить голод и жажду. Кажется, у Сантори имелся

кожаный бурдюк для вина, которым он никогда не пользовался, и вот Чанг время от времени наведывался в дом охранника с целью спереть его для нас.

Побег был назначен на десять вечера в воскресенье. При полнолунии прилив поднимается на восемь метров, так что Лизетт должна обрушиться на берег со всей своей мощью. В воскресенье Чангу придется кормить свиней одному. Сам я собирался проспать всю субботу и почти все воскресенье. Ведь мы отправляемся в десять, через два часа после начала прилива.

Мешки разойтись не должны. Они были связаны между собой плетеными конопляными веревками и медной проволокой, да еще прошиты толстой морской ниткой. Удалось достать большие мешки, причем скрепили мы их «рот в рот», чтобы орехи не высыпались. На острове в сухом заброшенном колодце я обнаружил железную трехметровую цепь и переплел ее с веревкой, кроме того, пропустил через звенья болт — на тот случай, если не станет сил держаться, и тогда можно будет приковать себя к мешкам. К тому же это даст возможность вздремнуть, не опасаясь свалиться в воду и потерять плот. Если же сами мешки перевернутся, вода сразу разбудит меня, и я постараюсь выправить положение.

— Осталось всего три дня, Папийон.

Мы сидели на скамейке Дрейфуса и любовались Лизетт.

— Да, Сильвен, всего три дня. Думаю, все пройдет удачно. А ты?

— Уверен, Папийон. Уже в четверг вечером, в крайнем случае в пятницу к утру будем в джунглях. А там — ищи-свищи!

Чанг должен был натереть нам по десять орехов. Нужный нам лагерь находился к востоку от Куру, значит, придется идти только по утрам, ориентируясь по солнцу, чтобы не сбиться с пути.

— Сантори в понедельник утром будет как зверь! — заявил Чанг. — Моя до три часа дня не скажет ему, что твоя и Папийон сбежал, пока стража обедает.

— А почему бы тебе не прибежать к нему с криком, что нас смыло волной во время рыбалки?

— Нет. Моя не хочет проблема. Моя скажет: «Шеф, Папийон и Сильвен не пришла сегодня на работа. И моя одна кормила свиней».

Ни больше, ни меньше, вот так.

ПОБЕГ С ОСТРОВА ДЬЯВОЛА

Воскресенье, семь вечера. Я только что проснулся. Заставил себя проспать с самого утра. Луна поднимется только в девять. И на дворе было совсем темно, лишь несколько звездочек горело на небе. Огромные дождевые облака быстро бежали над нашими головами. Мы только что вышли из барака. Хотя по ночам выходить запрещалось, мы частенько отправлялись на рыбалку или просто побродить по острову именно к ночи, так что в глазах других в этом поступке не было ничего подозрительного.

Мимо проскользнул юноша со своим любовником — огромным жирным арабом. Наверняка занимались любовью в каком-нибудь укромном местечке. Я видел, как они отодвигают задвижку, чтобы войти в барак, и подумал, что должно быть, араб, постоянно имеющий под рукой мальчика, которого можно трахать по два-три раза на дню, чувствовал себя на седьмом

небе. Для него возможность удовлетворять свои сексуальные потребности превратила тюрьму в сущий рай. То же самое, без сомнения, относилось и к его «подружке». Пареньку было года двадцать три, от силы — двадцать пять. Тело уже потеряло юношескую свежесть и прелесть. Днем он упорно торчал в тени, чтобы сохранить молочную белизну кожи, но, увы, уже мало походил на юного Адониса. И все же здесь, в заключении, он мог позволить себе иметь любовников в количестве, о коем не смел бы мечтать на воле. Помимо постоянного хахалы араба ему наносили визиты и разовые клиенты. Такса — двадцать пять франков, как у любой шлюхи с бульвара Рошешуар на Монмартре. И он не только удовольствие получал, но и обеспечивал себе со своим «мужем» вполне приличное существование. Такие, как он, его клиенты и прочие подобные им типы, попав на каторгу, жили только одним — сексом.

Так что прокурор, уверенный, что осуждает их на суровое наказание, глубоко заблуждался: для них каторга превращалась в сплошной праздник. Дверь тихо затворилась, мы с Чангом и Сильвенем вновь остались одни.

— Пошли! — И мы быстро зашагали к северной оконечности острова.

И вот два плота извлечены из пещеры. При этом мы все трое промокли до нитки. Ветер дул с моря с характерным для штормовой погоды завыванием. Сильвен и Чанг помогли мне втащить плот на вершину скалы. В последний момент я решил приковаться правым запястьем к цепи с веревками, обматывающими мешки, — испугался, вдруг они вырвутся из рук и меня отнесет в сторону. Сильвен с помощью Чанга вскарабкался на скалу напротив. Луна стояла высоко, и все вокруг было прекрасно освещено.

Я обвязал голову полотенцем. Начался отсчет шести первых волн. Еще несколько минут... Чанг вернулся, обнял меня за шею и поцеловал. Он собирался растянуться на камне плашмя и, образуя некий противовес, удерживать меня за щиколотки, чтобы я смог устоять под напором разбивающейся о скалы Лизетт.

— Еще одна! Последняя! — прокричал Сильвен. — И вперед!

Он стоял, загораживая телом свой плот, чтобы его не унесло раньше времени. Я занял такую же позицию, к тому же меня крепко-накрепко держал Чанг — в возбуждении китаец не замечал, что ногти его глубоко вонзаются в мою плоть.

Вот наконец настал и черед Лизетт. Она поднялась, высокая, как гора, и разбилась о две скалы с характерным для нее гулким громом.

Я рванул вперед на долю секунды раньше моего товарища. Сильвен нырнул следом, и нас на двух плотах бок о бок вынесло в открытое море. Меньше чем за пять минут мы оказались в трехстах метрах от берега. Сильвен все никак не мог вскарабкаться на плот, я же оседлал свой в две минуты. Чанг бросился к скамейке Дрейфуса и теперь махал белой тряпкой в знак прощания. Минут за пять нас вынесло из опасной зоны, где формировались волны, идущие затем к острову Дьявола. Там, где мы оказались, они были куда длиннее, почти без пены и шли так ровно, что мы, казалось, слились с ними — нас ничуть не швыряло и не качало, а плоты не пытались перевернуться. Мы медленно поднимались и опускались вместе с огромными валами, перемещавшимися от острова в открытый океан, — как раз в это время был отлив.

Оказавшись на гребне одной из них, я повернул го лову вправо и в последний раз заметил белый платок Чанга.

Сильвен находился недалеко — метров на пятьдесят дальше в море. Он несколько раз поднимал руку и махал, выражая свою радость и торжество по поводу удавшегося побега.

Ночь прошла спокойно, я четко ощущал любое изменение в направлении течения. Одно из них вынесло нас в море, другое — подталкивало вперед, к материку.

Над горизонтом поднялось солнце — шесть часов утра. Мы находились слишком низко на воде, чтобы видеть берег. Но я понимал, что теперь мы уже далеко отошли от островов, поскольку солнце хоть и освещало вершины гор, прорисовывались они неотчетливо, даже нельзя было различить, три их там или больше. Все сливалось перед глазами в сплошную дымчатую массу. Ладно, сделал я вывод, раз не видно, сколько там вершин, значит, мы отошли минимум на тридцать километров от берега.

И тут я рассмеялся от внезапно нахлынувшего чувства счастья и торжества. А что если попытаться сесть! Тогда ветер будет подталкивать в спину и плот понесет еще быстрее.

Так я и поступил. Разомкнул цепь и обвязал ее вокруг пояса. Болт был хорошо смазан, и закрутить гайку оказалось несложно. Затем я поднял руки вверх, чтобы ветер высушил их, ведь я собирался выкурить сигарету. Я курил, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Страх прошел. Словами невозможно передать, какая резь и боль скрутила мне живот в момент прыжка со скалы и мучила меня еще некоторое время. Нет, больше я не боялся, не боялся настолько, что, докурив сигарету, решил перекусить мякотью кокосового ореха. Проглотив добрую пригоршню, снова закурил. Сильвен находился на довольно большом расстоянии. Время от времени мы мельком видели друг друга — когда обоих одновременно поднимало на гребень волны.

Солнце бешено пекло макушку, казалось, того гляди мозги закипят. Я намочил полотенце и обернул им голову. Затем стянул шерстяной свитер — такое ощущение, что он вот-вот задушит меня, несмотря на ветер.

Тысяча чертей! Плот перевернулся, и я едва не потонул. Во всяком случае, глотнул две большие порции морской воды. Несмотря на самые отчаянные усилия, мне никак не удавалось перевернуть мешки и вскарабкаться на них. Мешала цепь, не давая свободы движениям. Наконец, перетянув ее почти по всей длине на одну сторону, я смог принять в воде вертикальное положение и насилу перевел дух. Снова начал возиться с цепью, пытаюсь снять ее совсем, но никак не удавалось свинтить эту паршивую гайку

Я злился все больше и больше, и, наверное, потому, что я так разнервничался, пальцы не слушались меня.

Господи, наконец-то! Наконец-то удалось! За какие-то пять минут я едва не сошел с ума, решив, что мне так и не удастся освободиться от этой проклятой цепи. Я не стал переворачивать плот обратно, слишком уж изнурила меня вся эта возня. Просто взобрался на него и все. Какая разница, даже если теперь я лежу на его дне? Я решил больше не привязываться к плоту ни цепью, ни чем-либо еще, поняв, какую свалил глупость, приковавшись за запястье с самого начала. Нет уж, хорошенького понемножку!

Безжалостное солнце палило руки и ноги, лицо горело. От смачивания водой становилось только хуже — когда она высыхала, жгло уже невыносимо. Впрочем, солнце начинало клониться к западу. Было около четырех, и шел уже четвертый прилив с начала плавания. Я надеялся, что именно этот прилив прибьет нас наконец к берегу, ведь он был мощнее всех предыдущих. Теперь я все время видел Сильвена очень хорошо, наверняка и он тоже меня видел — волны стали совсем низкими. Стащив рубашку, он сидел на плоту голый до пояса. Вот махнул мне рукой. Он опередил меня метров на триста. Судя по вспененной вокруг его плота воде, он пытался грести руками. Наверно, хотел немного притормозить свой плот и дать мне

возможность догнать его. Я лег на мешки плашмя и, погрузив руки в воду, тоже принялся грести. Может, и удастся сократить расстояние между плотами. Нет, я не ошибся, выбрав себе товарища по побегу. Парень что надо, на все сто! Впрочем, вскоре я перестал грести — утомился, а силы надо было беречь. Лучше уж попытаться перевернуть плот, потому как пакет с едой оказался внизу. Там же находилась и кожаная фляга с питьевой водой. Я проголодался и испытывал сильную жажду. Губы растрескались и горели. Наилучший способ перевернуть плот — это повиснуть всей тяжестью на мешках со стороны, противоположной набегающим волнам, а затем изо всей силы толкнуть мешки ногами, как только они взлетят на гребень. После пятой попытки мне наконец повезло. Но все это совершенно вымотало меня, и я едва нашел в себе силы вскарабкаться на плот.

Солнце уже коснулось линии горизонта — вот-вот исчезнет. Значит, уже шесть или около того. Будем надеяться, что ночь окажется не слишком тяжелой, ведь именно сырая промокшая одежда и холод изнуряют больше всего.

Я отпил добрый глоток из кожаной фляги Сантори и съел две пригоршни мякоти кокоса. Совершенно довольный всем и вся, и прежде всего собой, высушил руки на ветру и закурил сигарету — блаженство! Перед самым наступлением темноты Сильвен взмахнул полотенцем, я сделал то же: единственный способ пожелать друг другу спокойной ночи. Он находился на прежнем расстоянии. Я сел, вытянув ноги во всю длину, высушил, насколько это было возможно, свитер, натянул его через голову. Даже сырыми эти свитера помогают сохранить тепло и согреться, когда заходит солнце. Как только оно скрылось, я сразу почувствовал, что забну.

Ветер крепчал. Лишь на западе низко нависшие над горизонтом облака хранили розовый отблеск. Все остальное небо было затянуто мглой, сгущавшейся с каждой минутой. Ветер дул с востока, там облаков видно не было. Значит, и дождя не предвидится.

Я расправил цепь и прикрепил ее к поясу, хорошо смазанная гайка на этот раз подалась легко, тогда я слишком сильно ее закрутил. Теперь я чувствовал себя спокойнее, уже не опасаясь свалиться во сне в воду и потерять мешки.

Да, ветер все крепчал, и волны становились выше, а провалы между ними делались все глубже. Но, несмотря на все это, плот держался на воде превосходно.

Совсем стемнело. Небо усеяли миллионы звезд, самым ярким было созвездие Южного Креста. Товарища своего я не видел. Эта ночь должна была стать самым ответственным моментом в нашем путешествии — если повезет и ветер все время будет дуть с неослабевающей силой, то к утру мы должны пройти приличное расстояние.

Ветер усиливался. Из-за моря медленно поднималась луна. Сначала она была красноватого оттенка, а когда она взошла уже довольно высоко, я отчетливо различил на ней темные пятна, делающие ее похожей на круглое, несколько обиженное личико.

Значит, уже больше десяти. Темнее не становилось, луна поднималась все выше и заливала море голубоватым светом, волны отливали серебром, и это странное подвижное мерцание слепило глаза. Почему-то я не мог отвести от него взгляда, хотя глаза болели и слезились, раздраженные еще солнцем и соленой водой. Понимая, что делать этого не следует, я выкурил одну за другой три сигареты подряд.

Плот вел себя хорошо, покорно поднимался и опускался вместе с волнами. Я продолжал пребывать в сидячем положении, хотя ноги сильно затекли и водой меня заливало до пояса. Но

свитер оставался сухим с тех пор, как я просушил его на ветру. Глаза болели ужасно. Я закрывал их. время от времени впадая в дремоту. «Нельзя, нельзя спать, приятель!» Легко говорить «нельзя»... Я больше был не в силах держаться. Черт! Я отчаянно старался побороть сонливость, навалившуюся на меня словно каменная глыба, отключался, снова просыпался, чувствуя острую боль в висках и затылке. И тогда я вытащил зажигалку и начал прижигать себя, прикладывая язычок пламени то к правому предплечью, то к шее.

И еще меня снедала жгучая неумемная тревога, побороть которую никак не удавалось. Что если я засну? Если упаду в море? Разбудит ли меня холодная вода? Все же это был очень разумный шаг — приковать себя цепью. Ни в коем случае нельзя терять мешки — в них сейчас сосредоточена сама моя жизнь. Ужасно глупо свалиться во сне в воду, чтоб никогда больше не проснуться.

Вот уже несколько минут я сижу на плоту промокший до нитки. Меня захлестнула поперечная волна, налетевшая на плот с правой стороны. Должна же когда-нибудь подойти к концу эта вторая ночь путешествия? Интересно, сколько теперь времени? Судя по тому, что луна начала клониться к западу, где-то около двух-трех ночи.

Мы находились в море уже часов тридцать. Вредная волна оказалась по-своему полезной — холодная вода помогала окончательно побороть сонливость. Я весь дрожал, но зато больше не составляло труда держать глаза открытыми. Ноги совершенно заоченели, и я решил сесть на них. Руками по очереди я подогнул их под себя. Может, в этом положении удастся хоть немного отогреть заледеневшие ступни?

В этой позе, скрестив ноги, я просидел довольно долго. Смена положения помогла. Луна прекрасно освещала море, и я все пытался высмотреть Сильвена, но теперь она сместилась вправо, светила прямо в лицо, и я плохо различал все вокруг. Никого... Сильвену нечем было привязать себя к плоту, кто знает, может, он уже свалился с него?.. В отчаянии я безуспешно всматривался в море.

Ветер дул сильно, но ровно, без внезапных порывов, и привыкнув к этому ритму, я прочно сидел на своих мешках, словно слился с ними.

Я пялился по сторонам с таким усердием, что постепенно мной целиком овладела мысль о необходимости увидеть своего приятеля во что бы то ни стало. Высушив пальцы на ветру, я свистнул как можно громче. Прислушался. Нет ответа... А умеет ли Сильвен свистеть сквозь пальцы? Я не знал. Надо прежде было спрашивать. И потом вполне можно было смастерить пару свистков. Я проклинал себя, что не подумал об этом. Затем, приложив ладони ко рту рупором, закричал: «О-го-го!» Единственный ответ — свист ветра и шлепанье волн о плот.

Я не мог больше выносить этого и встал во весь рост; балансируя на мешках и придерживая цепь левой рукой, простоял так, пока волны не подбросили меня раз пять подряд, не меньше. Справа никого, слева тоже, впереди такая же картина. Может, он сзади? Но встать снова и обернуться я не рискнул. Единственное, что я различил, — это сплошная линия по левую руку, густо-черная в лунном свете. Наверняка лес...

Значит, днем я увижу деревья, и мысль об этом сразу меня развеселила. «На рассвете ты увидишь лес, Папийон. Даст Бог, и твой друг тоже».

Я растер ступни и вытянул ноги. Затем закурил. Выкурил две сигареты подряд. Интересно все же, который час. Луна стояла уже очень низко. Я судорожно пытался вспомнить, в какое время зашла луна накануне. Крепко зажмурил глаза, перебирая в памяти события первой ночи в

море, и никак не мог вспомнить. Бесполезно. И вдруг перед глазами возникла четкая картина: на востоке восходит солнце, а луна еле виднеется на горизонте в западной части неба. Итак, сейчас должно быть пять часов. Луне еще понадобится время нырнуть в воду. Южный Крест исчез уже давно, Большая и Малая Медведицы тоже. Лишь Полярная звезда сияла ярче остальных. Еще бы, теперь у нее не было главного соперника — Южного Креста. Ветер, похоже, усиливался. Во всяком случае, он стал более плотным, если так можно выразиться. Это означало, что волны станут выше, а на их гребнях будет больше пены, чем предыдущей ночью.

Вот уже тридцать часов я в море. Нельзя отрицать, до сих пор все складывалось вполне благополучно, но самый трудный и ответственный момент начнется вскоре с восходом солнца.

Ведь вчера весь день с шести утра до шести вечера меня сжигало солнце. Это вам не шуточки, ведь оно взойдет снова и предпримет очередную атаку. Глаза и губы жгло как огнем. Так же обстояло дело и с руками. Пожалуй, не стоило днем снимать свитер.

И все же, братец, пусть изнуренный, усталый и обожженный солнцем, но ты своего добился. У тебя девяносто шансов из ста достичь материка живым и здоровым, а это уже нечто, черт побери! Даже если я пристану к берегу облысевший и с содранной от ожогов кожей, все равно это не слишком высокая цена за результат путешествия. И еще за все это время я не видел ни одной акулы. Можете себе вообразить? Они что, все уплыли на каникулы, что ли? Нет, если и есть на свете везунчики, то ты из их числа, этого отрицать нельзя. Это самый настоящий удавшийся побег — вот что это такое. Все остальные были слишком тщательно подготовлены, слишком хорошо организованы, но те, которые удаются, — совсем иного рода. В них есть доля безумия и отчаянная наглость. Всего два мешка орехов и вперед, куда понесут тебя ветер и волны. Если и сегодня ветер и волны сделают свое дело, то к полудню мы достигнем земли.

И вот за моей спиной поднялся великан-людоед тропиков. Похоже, он твердо и неуклонно вознамерился спалить все и вся. Одним проблеском своего огненного глаза он погасил луну и, не успев полностью выйти из-за горизонта, сразу дал понять, кто здесь хозяин, непререкаемый властитель, король тропиков. За считанные секунды ветер потеплел. Я сразу почувствовал, как в тело мое возвращает я бодрость. Еще через час станет по-настоящему жарко. Я снял с головы тюрбан из полотенца и подставил щеки солнцу. Ощущение было такое, словно я подсел к костру. Перед тем как спалить меня заживо, людоед хотел показать, что является дарителем жизни... Кровь быстрее побежала по жилам, даже промерзшие насквозь ноги начали отходить.

Джунгли были видны уже совершенно отчетливо — я имею в виду, конечно, вершины деревьев. Казалось, они совсем недалеко. Подожду еще немного, пока солнце не поднимется повыше, и встану на мешки посмотреть, где же Сильвен.

Меньше чем через полчаса солнце было уже высоко Господи, ну и жара же будет! Левый глаз мой совсем слипся. Я набрал воды и промыл его — жутко щиплет! Снял свитер. Можно пока посидеть и без него, а когда начнет жарить уже вовсю, снова надеть.

Подошла волна, более высокая, чем предыдущие, и подбросила мои мешки. В какую-то долю секунды я успел заметить моего товарища — он сидел на плоту раздетый до пояса. Меня Сильвен не видел. Находился он метрах в двухстах левее и немного ближе к берегу. Ветер дул по-прежнему сильно, и я решил вдеть руки в рукава свитера, поднять их, а зубами придерживать край, образуя нечто вроде паруса — может, он позволит мне догнать Сильвена.

Так я проплыл, наверное, с полчаса. Но от свитера противно шерстило во рту, да и сидеть с поднятыми и растопыренными руками оказалось утомительно. И все же, когда я наконец

опустил руки, впечатление было такое, что двигался я быстрее, чем просто по ходу течения.

Ура! Я увидел Сильвена. На этот раз он был метрах в ста. Но что это он там делает? Волны подбросили меня один, два, три раза подряд, и я разглядел, что он сидит, приложив ладонь козырьком к глазам — должно быть, высматривает меня в море. Обернись, ну же, болван! Наверняка оборачивался, и не раз, но не заметил. Тогда я встал и свистнул. И, в очередной раз подброшенный волной, вдруг увидел: Сильвен стоит и смотрит прямо на меня. Мы раз двадцать прокричали друг другу: «С добрым утром!» И махали руками всякий раз, когда взлетали на гребень волны. На последних двух волнах он указал рукой на джунгли, теперь они были видны совсем хорошо и находились километрах в восьми. Тут я потерял равновесие и шлепнулся, к счастью, на плот. Меня захлестнула такая дикая радость — оттого, что я вновь увидел своего друга и берег совсем рядом, — что я зарыдал как дитя. Слезы промыли слипшиеся глаза, сквозь ресницы расплывались радужные пятна, и я вдруг подумал: «Ну прямо как витражи в церкви... Господь сегодня с тобой, Папи!»

Солнце поднималось быстро. Было десять утра. Я уже совершенно обсох. Намочил полотенце, обвязал им голову и надел свитер — руки, плечи и спину страшно жгло. Да и ноги, хотя их и окатывало все время водой, были красны, как клешни омаров.

Теперь я видел лес уже в деталях — значит, еще часа четыре-пять. Первый побег научил меня правильно оценивать расстояние. Когда начинаешь видеть берег в деталях, это значит, до него километров пять с половиной. Я уже различал стволы деревьев — одни тонкие, другие более толстые, и, даже подброшенный на гребень одной очень высокой волны, увидел ствол огромнейшего дерева, настоящего гиганта, оно лежало на боку, а ветви и листья полоскались в воде.

Дельфины и птицы! Господи, сделай так, чтоб дельфины не лезли играть с моим плотом, иначе перевернут. Я знал, что они имеют привычку подталкивать людей и плавучие средства к берегу с самыми наилучшими намерениями, часто топя их при этом.

Нет... Их было всего трое или четверо, и они безостановочно описывали круги возле моего плота, а затем вдруг ушли, даже не прикоснувшись к нему. Слава тебе, Господи!

Полдень. Солнце прямо над головой. Эта сволочь, похоже, твердо вознамерилась спалить меня заживо. Из глаз текло, кожа с носа и губ сошла полностью. Волны стали мельче и бежали к берегу с оглушительным шумом.

Сильвена я видел теперь все время. Волны, стремящиеся к берегу, разбивались о какую-то невидимую мне преграду с неистовым грохотом, а затем, преодолев пенный барьер, устремлялись в атаку на лес.

Мы находились всего в километре от берега, и я видел розовых и белых птиц с аристократическим плюмажем, расхаживающих вдоль него и время от времени окунающих головы в грязь. Их были тысячи. Изредка одна из них взлетала, но не высоко — метра на два. Эти короткие и низкие полеты помогали им спастись от грязных брызг. Грязь была повсюду — вода приобрела желтовато-бурый оттенок. Даже на стволах деревьев различались полосы грязи, оставленные приливом.

Шум волн был не в состоянии заглушить пронзительные крики мириад этих многоцветных существ. Бум-бум... Затем, еще через два-три метра снова... Отмель — плот задевал о дно. Слишком мелко, чтобы вода могла нести меня вперед. Судя по солнцу, было около двух. Значит, я нахожусь в отливе. Прилив начнется где-то через час. К ночи я должен быть в

джунглях. Хорошо, что есть цепь — она будет удерживать меня в самый опасный момент, когда валы начнут перекатываться через плот, а он будет торчать на мели. Да, на плаву я смогу оказаться не раньше, чем часа через два-три, в разгар прилива.

Сильвен находился метрах в ста справа и по-прежнему немного впереди. Он взглянул на меня и махнул рукой. Кажется, он пытался что-то кричать, но голос его, видно, сел, иначе бы я услышал. Теперь, когда шум прибоя остался позади, не было слышно никаких звуков, кроме гомона птиц.

Я находился в полукилометре от джунглей. Сильвен ближе к ним метров на сто. Но что там делает этот придурок? Он встал и сошел с плота... Совсем из ума выжил, не иначе. Идти ни в коем случае нельзя — ведь с каждым шагом будешь увязать все глубже и к плоту уже не вернуться. Я попытался свистнуть, но не смог. Пресной воды оставалось совсем мало, но я опустошил флягу до дна — надо крикнуть, чтобы его остановить. Однако ни единого звука выжать не удалось. Из грязи поднимались пузырьки воздуха, значит, внизу, под ней, лишь тонкая корочка земли, а глубже — трясина, и для любого, кто в нее попадет, песенка спета.

Сильвен обернулся. Он смотрел на меня и делал какие-то знаки, но что он хотел сказать, я понять не мог. Я яростно замахал в ответ, давая знать: «Нет, нет! С плота ни шагу! Иначе леса не видать!»

И еще я никак не мог понять, рядом он с плотом или уже отошел от него — загораживали мешки. Все же мне показалось, что он стоит рядом, и если начнет тонуть, успеет ухватиться за плот.

Впрочем, тут же я понял, что ошибался — он уже отошел на значительное расстояние и его начало засасывать, а выбраться из трясины не получалось. Я услышал крики. Тогда я упал на свой плот плашмя, погрузил руки в грязь и принялся гребти что было сил. Мешки медленно продвигались вперед, так удалось проплыть, наверное, метров двадцать. Я переместился вместе с мешками немного левее и тут увидал, мой дружище, мой приятель стоит по пояс в грязи. Он успел отойти от своего плота метров на десять. Ужас вернул мне голос, и я закричал: «Сильвен! Стой! Не двигайся! Ляг в грязь! Попробуй выдернуть ноги!» Ветер отнес эти слова, и он услышал их. Кивнул. Я снова бросился на плот животом вниз и стал гребти, проталкивая его вперед по грязи. Страшная тревога придала мне сил, и я проплыл еще метров тридцать, даже больше. Правда, заняло это не меньше часа, но теперь я был уже близко — метрах в пятидесяти-шестидесяти от него.

Черт, до чего же плохо видно! Я сел. Лицо, руки и плечи были сплошь залеплены грязью. Попытался протереть левый глаз — в него тоже попала грязь с солью, и он жутко болел, но сделал еще хуже — второй глаз тоже начал гноиться. Наконец я все же разглядел Сильвена — он не лежал, а стоял уже по грудь в грязи.

Накатила первая волна. Мимо меня она прошла спокойно, лишь слегка качнув мешки, и разбилась дальше, ближе к берегу, распустив по грязи пенное покрывало. Она перекатилась через голову Сильвена. Тут же мне пришла мысль — чем больше будет волн, тем мягче станет грязь. Надо пробиваться к нему, чего бы это ни стоило!

Мной двигала энергия обезумевшего дикого зверя, чьи детеныши попали в беду, и я греб и греб эту грязь, пытаясь пробиться к нему, как мать, спасающая свое дитя. Он смотрел на меня, не произнося ни слова, не делая ни единого движения, глаза его смотрели в мои, мои — в его. Самое главное — не отвернуться от этих глаз, и я уже не глядел, куда сую руки. Продвинулся вперед еще немного, но тут две волны подряд окатили меня с ног до головы. К тому же грязь

разжижилась — я двигался куда медленнее, чем час назад. Накатил большой вал и едва не снес меня с плота. Я сел, чтобы лучше видеть. Грязь дошла Сильвену уже до подмышек. Я находился метрах в сорока, даже ближе. Он по-прежнему напряженно смотрел на меня. Я понял — он знает, что умрет здесь — бедный, несчастный, невезучий мой товарищ, умрет в каких-то трехстах метрах от земли обетованной...

Я снова лег на живот и врезался ладонями в грязь — она была уже почти совсем жидкой. Мы снова смотрели друг другу в глаза. Внезапно он покачал головой, давая знать: не надо, не стоит больше стараться. Я, тем не менее, продолжал грести и был уже метрах в тридцати, как вдруг огромный вал навалился на меня всей своей многотонной массой и едва не смел с мешков. Впрочем, он же и подтолкнул их, продвинув метров на пять-шесть вперед.

Вода схлынула, и я огляделся. Сильвен исчез. Поверхность грязи, затянутая пенной кружевной пленкой, была абсолютно ровной и гладкой. Мой друг даже не успел махнуть мне рукой на прощанье.

И тут я сам удивился своей реакции — отвратительному звериному инстинкту самосохранения, вдруг взывавшему во мне: «Но ты-то жив, Папи! Ты выжил, хотя и остался один, а бродить по джунглям одному, без товарища, — это не шутка!»

Через спину перекатилась волна и привела меня в чувство. Плот продвинулся еще на несколько метров, и тут, наблюдая, как угасает волна у стволов деревьев, я начал оплакивать Сильвена: «Мы ведь были совсем рядом! Если б только ты не двинулся с места, брат!.. Всего в трехстах метрах от леса... Зачем? Зачем, скажи мне на милость, ты свалил такую глупость? Что заставило тебя ступить в эту проклятую грязь? Солнце? Блеск воды? Кто знает... Или ты просто не мог больше находиться на мешках? Неужели нельзя было потерпеть еще несколько часов?..» Волны шли одна за другой и разбивались с гулким грохотом. Они стали мощнее и выше, каждая подталкивала меня еще на несколько метров. К пяти они превратились в сплошной поток и шли почти бесшумно. Плот Сильвена уже затерялся среди деревьев. Я находился от них всего метрах в двадцати, но не спешил сходить с мешков, пока не уцеплюсь за какую-нибудь ветку или лиану. Всего двадцать метров! Их преодоление заняло, наверное, целый час — пока наконец уровень воды не поднялся, и меня внесло прямо в джунгли! Я отвинтил болт и освободился от цепи. Но не выбросил ее, она могла пригодиться.

В ДЖУНГЛЯХ

Я торопился углубиться в лес, так как солнце уже начало клониться к западу. Часть пути шел, часть плыл — ведь и здесь тоже была трясина. Вода заходила в джунгли далеко, и ночь настала прежде, чем я успел достичь сухой земли. Ноздри мои щекотал аромат гниющей растительности, от испарений щипало глаза. Ноги были опутаны какими-то стеблями и листьями. Плот я толкал перед собой. И, прежде чем сделать очередной шаг, осторожно ощупывал землю под водой, и только если она не поддавалась, делал этот шаг.

Первую свою ночь пришлось провести на стволе гигантского упавшего дерева. По мне разгуливали сотни самых разнообразных тварей. Все тело горело и чесалось. Я надел свитер и втащил с собой на дерево мешок. В этом мешке сейчас была сосредоточена сама моя жизнь — ведь там находились орехи, и еда, и питье одновременно. Нож был привязан к правому запястью. Совершенно измученный, я улегся в развилке двух ветвей — они образовывали нечто, напоминающее огромное гнездо, — и уснул, не успев даже ни о чем подумать. Впрочем, нет, кажется, все-таки успел пробормотать раза два: «Бедный Сильвен!..».

Разбудил меня птичий гомон. Лучи солнца просачивались сквозь листву горизонтально.

Значит, часов семь-восемь утра. Вода стояла довольно высоко.

С того момента, как я покинул остров Дьявола, прошло шестьдесят часов. Я никак не мог сообразить, насколько далеко нахожусь от моря; во всяком случае, надо подождать, пока хоть немного спадет вода, а потом пойти на берег и маленько обсушиться, погреться на солнышке. Пресной воды у меня не осталось, зато остались кокосы, и я жевал их мякоть с великим удовольствием. Я также протер этой мякотью ожоги — ведь она содержала кокосовое масло. Затем выкурил две сигареты подряд.

Сильвен не выходил из головы, только на этот раз я думал о нем без эгоизма. Сердце мое было исполнено печали, а перед глазами так и стояла страшная картина: мой друг, затягиваемый в болотную жижу все глубже и глубже. Хорошо хоть теперь он не страдает.

Наконец вода сошла почти полностью, и я отправился к берегу. Солнце сияло ослепительно, море было преисполнено благодатного покоя. Я умылся в лужице с чистой морской водой, одежда и тело высохли через несколько минут. Закурил, бросил последний взгляд на то место, где погиб мой друг, и зашагал в лес, перекинув мешок через плечо.

Часа через два удалось наконец выбраться на сухой участок. Здесь можно разбить лагерь и передохнуть хотя бы сутки. Я начал потрошить ножом орехи, мякоть складывал в мешок, а скорлупу выбрасывал. Так и подмывало развести костер, но осторожность возобладала.

Оставшаяся часть дня и ночь прошли спокойно. На рассвете меня разбудило птичье пение. Я закончил потрошить орехи и с маленьким узелком вместо мешка отправился в путь, на восток.

К трем часам дня я вышел на тропинку — узенькую, но хорошо утоптанную, должно быть, ею пользовались люди, собирающие балату — природный каучуконос, или те, кто носил еду золотоискателям. Тут и там виднелись отпечатки копыт ослов и мулов. А вот в засохшей грязи промелькнул и человеческий след с хорошо пропечатавшимся большим пальцем. Я прошагал по ней до самой ночи, жуя кокосовую мякоть. Глаза по-прежнему гноились и слипались. Надо промыть их пресной водой, как только попадетсЯ. В узелке, помимо кокосов, лежала коробочка с куском простого мыла, бритва «Жилетт», двенадцать лезвий и кисточка для бритья — полный джентльменский набор. В руке я держал мачете, но пользоваться им не пришлось — тропинка была хорошо расчищена. Глядя по сторонам, я замечал ветки срезанные совсем недавно. Должно быть, здесь ходит немало людей, так что нужно держаться настороже.

Здесь джунгли совсем не походили на те, в которых я оказался во время первого побега. Лес был как бы двухъярусным. Первый ярус составляла растительность высотой метров пять-шесть, а над ней уже располагалась «крыша» леса, поднимавшаяся больше чем на двадцать метров от земли. Солнечный свет проникал только справа, по левую руку джунгли были погружены почти в полную тьму. Шел я довольно быстро, изредка попадались гари, где деревья были выжжены либо людьми, либо лесным пожаром от молний. Двигался я на восток, и клонящееся к западу солнце било мне теперь в спину — по направлению к негритянской деревне Куру или лагерю под тем же названием.

Ночь настала резко и сразу, идти в темноте я не решался. Зашел в лес и метрах в тридцати от дороги устроил себе постель, срезав гладкие листья с дерева, напоминавшего банановую пальму. И листья, и земля были совершенно сухими — повезло, видно, давно не было дождя. Выкурил две сигареты. Я не очень устал за этот день. И голоден не был. Но во рту пересохло от жажды.

Итак, началась вторая половина побега. Руаяль, Сен-Жозеф и остров Дьявола теперь далеко.

Прошло уже шесть дней, и здесь, в Куру, должны быть предупреждены. Прежде всего, охранники в лагере и, конечно, негры в деревне. Здесь и полицейский пост наверняка имеется. Разумно ли в этом случае держать путь к деревне? Я плохо представлял себе окрестности. Лагерь находится где-то между деревней и рекой. Это все, что мне известно о Куру.

Будучи еще на острове, я рассчитывал захватить в плен первого встречного и заставить его довести меня до Инины, китайского лагеря, где находился брат Чанга Куик-Куик. Так к чему менять этот план? А вдруг на острове Дьявола решили, что мы утонули? Тогда беспокоиться не о чем. Ну а если нет? Тогда и к Куру приближаться опасно. Раз там лесоповал, значит, должно быть много арабов, а они по большей части доносчики и шпионы. Берегись, Папийон. Не расслабляйся. Ты должен заметить их первым, до того, как заметят тебя. Вывод: по тропе идти нельзя, надо идти лесом, вдоль нее. Сегодня ты вел себя как самый легкомысленный болван — разгуливал по тропинке ничем не вооруженный кроме мачете. Это просто безумие! Завтра пойду лесом.

Проснулся я рано, разбуженный птицами и животными, приветствовавшими восход солнца. Пожевал орехов, протер мягкостью лицо и отправился в путь.

Теперь я шел вдоль тропинки, совсем близко к ней, и видно меня не было, но идти было трудно — мешали лианы и ветки. Все же я поступил очень разумно, сойдя с нее, так как вскоре услышал свист. Тропинку было видно метров на пятьдесят вперед, но никого на ней не было...

Ага, вот же он! Угольно черный негр. На спине какой-то ящик, в правой руке ружье. В рубашке хаки и шортах, ноги босые. Он шел, опустив глаза и сгорбившись под грузом.

Я спрятался за большим деревом на самом краю тропы и ждал, зажав открытый нож в ладони. В ту же секунду, как он поравнялся с деревом, я прыгнул. Схватил его за правую руку, вывернул ее. Ружье упало.

— Не убивайте! О, господин, пощадите! — Он стоял с приставленным к горлу ножом.

Я наклонился и поднял ружье — старенькую одностволку, — отступил на пару шагов и сказал:

— Снимай ящик. Клади его на землю. И не думай бежать, иначе пристрелю как собаку!

Оцепеневший от ужаса бедняга наконец повиновался. Потом поднял на меня глаза.

— Вы беглый?

— Да.

— Чего вы хотите? Заберите все, что у меня есть. Но умоляю, только не убивайте! У меня пятеро детей! Ради бога!

— Заткнись! Как тебя зовут?

— Жан.

— Куда идешь?

— Несу еду и лекарства двум моим братьям, они рубят лес.

— Откуда идешь?

— Из Куру.

— Так ты оттуда?

— Там родился.

— А где Инины, знаешь?

— Да. Торгую иногда с китайцами из лагеря.

— А вот это видишь?

— Что это?

— Деньги. Пятьсот франков. Давай выбирай, братец: или будешь делать, что я тебе говорю, и тогда получишь пятьсот франков и свое ружье обратно, или, если откажешься или попробуешь удрать, убью. Так что решай.

— А что я должен делать? Все сделаю, даже бесплатно.

— Отведешь меня к Инины. Но смотри, чтоб ни единая душа не прознала. Там надо найти одного китайца. Как только я встречусь с ним, отпущу. Идет?

— Идет.

— Но смотри, без фокусов. Иначе ты покойник!

— Нет-нет. Клянусь! Я вас не подведу.

В ящике оказалась сгущенка. Он дал мне шесть банок, потом добавил еще буханку хлеба и кусок ветчины.

— Спрячь ящик в лесу, на обратном пути заберешь. Вот здесь, смотри, я отмечу дерево зарубкой.

Я опустошил одну банку. Еще он дал мне брюки — синие, нечто вроде рабочей одежды. Я натянул их, не выпуская из рук ружья.

— Вперед, Жан! Смотри, только осторожней. Иначе...

Жан куда лучше владел искусством хождения по джунглям, чем я. Он двигался легко и бесшумно, словно не замечая веток и лиан.

— А ведь в Куру говорили, что какие-то двое смылись с островов. Так что я вам точно говорю, близко к Куру подходить опасно.

— Ты, похоже, честный парень, Жан. Надеюсь, не подведешь. Как считаешь, есть способ незаметно подобраться к Инины? И помни, от моей безопасности зависит твоя жизнь — ведь если охранники нападут, я вынужден буду пристрелить тебя.

— А как вас можно называть?

— Папийон.

— Хорошо, месье Папийон. Надо зайти поглубже в лес и обойти Куру кружным путем. Доберемся до Инины лесом, обещаю.

— Ладно, я тебе верю. Выбирай дорогу сам.

В глубине леса пришлось идти медленнее, но как только мы отошли от тропы, я почувствовал, что негр несколько успокоился. Он уже не потел так сильно, да и лицо было не такое напряженное.

— Похоже, теперь ты меньше трусишь, а, Жан?

— Верно, месье Папийон. По краю дороги идти опасно и вам, и мне.

Шли мы быстро. Сообразительный все же парень этот чернокожий. Он не отдалялся от меня больше, чем на три-четыре шага.

— Постой, надо скрутить сигарету.

— Вот пачка «Голуаз».

— Спасибо, Жан, ты добрый парень.

— Это верно. Я очень добрый. Я вообще-то католик, и мне больно видеть, как белые охранники мучают заключенных.

— А ты что, много их видел? Где?

— В Куру, на лесоповале. Сердце болит смотреть, как они умирают там медленной смертью от непосильной работы, лихорадки и дизентерии. На островах, видно, лучше. Первый раз вижу заключенного в добром здравии, как вы.

— Да, на островах куда лучше... А что, жена у тебя молодая? — Мы присели на дерево, закурили.

— Да, ей тридцать два. А мне сорок. У нас пятеро детей — три девочки и два мальчика.

— Ну и как, на жизнь хватает?

— Слава Богу! Я зарабатываю на красном дереве, а жена стирает и гладит для охраны. Тоже помогает немного. Мы, конечно, не богачи, но на еду хватает, и дети ходят в школу. И у каждого есть башмаки.

Бедняга негр, он считал, что все замечательно уже потому, что его дети имеют башмаки... Он был примерно с меня ростом, и в черном его лице не было ничего неприятного. Напротив — глаза светились юмором и добротой. Трудяга, хороший отец, хороший муж, добрый христианин.

— Ну а вы, Папийон?

— Пытаюсь начать новую жизнь. Последние десять лет был заживо похоронен и бегал много раз, чтобы однажды стать таким, как ты, — свободным, с женой и детьми И не причинять никому вреда даже в мыслях Ты же сам сказал, каторга — это не жизнь, и человек, мало мальски себя уважающий, должен обязательно выбраться из этого дерьма.

— От всей души надеюсь, что вам это удастся. Я вас не подведу. Идемте!

Жан прекрасно ориентировался в джунглях, и часа через два после захода солнца мы вышли к китайскому лагерю. Издали доносились какие-то звуки, но света видно не было. По словам Жана, чтобы подобраться поближе, надо миновать один или два поста. Мы решили заночевать в лесу.

Я буквально умирал от усталости, но заснуть боялся — что, если этот негр меня обманывает? Вдруг, когда я засну, отнимет ружье и пристрелит меня? Все же не похоже. Он славный парень. Ладно, на всякий случай будем на чеку. У меня целая пачка «Голуаз», сигареты помогут продержаться без сна.

Ночь стояла абсолютно темная. Негр лежал метрах в двух, в сумраке смутно белели его босые пятки. Лес был полон ночными шумами — время от времени раздавался хриплый мощный крик обезьяны-ревуна. Раз он звучит регулярно, значит, все остальное стадо может спокойно есть и спать, опасности не предвидится. Это не сигнал тревоги, возвещающий, что рядом бродят хищники или люди.

С помощью сигарет да еще москитов, которых тут оказались тысячи и которые, видно, твердо вознамерились выпить у меня всю кровь, поддерживать себя в бодрствующем состоянии не составляло труда. Конечно, можно было натереться табаком, смоченным в слюне. Но лучше не надо, будем надеяться, что среди этих тварей нет переносчиков малярии или желтой лихорадки.

Ночь хоть и медленно, но все же близилась к концу. И я не заснул и ни на секунду не выпустил из рук ружья. Я мог гордиться собой — не поддался соблазну заснуть, хотя и изнемогал от усталости. И все ради свободы! С какой же гордостью и радостью услышал я первую птичью переключку, означавшую, что рассвет близок. К этим робким вначале голосам вскоре присоединился целый мощный хор.

Негр потянулся и сел.

— Доброе утро! — сказал он почесывая пятку — Вы что же, не спали?

— Нет.

— Ну и глупо. Я же обещал, что не обману. Я и правда очень хочу вам помочь.

— Спасибо, Жан. А когда в лесу станет светло?

— Не раньше чем через час. Только звери знают, когда наступает рассвет. Чуют загодя. Дайте-ка мне нож, Папийон.

Я без всяких колебаний протянул ему мачете. Он отошел и отрезал кусок стебля кактуса. Разрезал и протянул одну половинку мне.

— Вот, высосите сок, а остальным натрите лицо.

Используя этот довольно оригинальный способ, я умылся и немного утолил жажду. Светало. Жан отдал мне мачете. Я закурил, угостил и его сигаретой, и мы двинулись в путь. Наконец где-то к полудню, преодолев труднопроходимые участки леса и не встретив ни единой души, мы вышли к лагерю Инини.

Сперва я увидел настоящую железную дорогу, правда, узкоколейку. Шла она краем широкой вырубки.

— По рельсам поезда не ходят, — объяснил Жан. — Заключенные сами толкают вагонетки. Колеса так гремят — за милю слышно.

Как раз в это время мимо проехало такое сооружение — нечто вроде дрезины со скамейкой, на которой сидели двое охранников. Сзади примостились двое китайцев — упираясь длинными шестами в землю, они приводили дрезину в движение. Из-под колес сыпались искры.

На дороге и вырубке оказалось множество людей. Сновали китайцы, одни несли на спине связки лиан, другие — диких свиней, третьи — охапки пальмовых ветвей. Жан объяснил, что добывают все это они в джунглях, из лиан делают плетеную мебель, из пальмовых листьев — щиты для защиты огородных растений от палящих лучей солнца. Поросята идут, разумеется, в пищу. Кроме того, в джунглях отлавливают бабочек, насекомых и змей. Некоторым заключенным-китайцам разрешают выходить в лес на несколько часов после окончания основных работ. Но к пяти все снова должны быть в лагере.

— Вот, Жан, держи! Здесь пятьсот франков и еще ружье (я предварительно разрядил его). Мне хватит и мачете. Можешь идти, и спасибо тебе. Надеюсь, Бог вознаградит тебя за то, что ты помог мне, бедолаге, начать новую жизнь. Ты меня не подвел, как и обещал, еще раз спасибо. Когда-нибудь будешь еще рассказывать детям: «Этот заключенный выглядел довольно приличным парнем. И я ничуть не жалею, что помог ему!»

— Месье Папийон, уже поздно. Скоро стемнеет, и мне все равно далеко не уйти. Оставьте ружье себе, я побуду с вами до утра. Наверное, лучше будет, если я сам найду какого-нибудь китайца и попрошу его сообщить Куик-Куику, вы только скажите. Меня он не так испугается, как вас. Тем более если вдруг объявятся охранники. Тогда я скажу, что ищу красное дерево по заказу одной компании в Кайенне. Вы уж на меня положитесь.

— Все равно, ружье бери. Мало ли что... Да и потом, невооруженный человек в джунглях — это может показаться подозрительным.

— Пожалуй.

Жан стоял на дороге. Мы договорились, что, как только я замечу подходящего китайца, тут же дам ему знать тихим свистом.

— Добрый день, мисе! — поздоровался с Жаном старичок-китаец на ломаном французском. Через плечо у него был перекинут огромный лист капустной пальмы — настоящий деликатес. Я тихонько свистнул — китаец, первым приветствовавший Жана, показался мне подходящим кандидатом.

— Добрый день, Чинк! Постой, надо потолковать.

— Чего твоя нада, мисе? — Он остановился. Они говорили минут пять. О чем, я не слышал. Наконец Жан подвел китайца к деревьям, за которыми укрывался я. Китаец протянул мне руку.

— Твоя бежала?

— Да.

— Откуда?

— С острова Дьявола.

— Хорошо, хорошо. — Он рассмеялся, разглядывая меня узкими глазками-щелочками. — Хорошо, хорошо. Твоя имя?

— Папийон.

— Моя не знай.

— Я друг Чанга. Чанга, брата Куик-Куика.

— О? Хорошо, хорошо. — Он снова потряс мне руку. — Чего твоя хочет?

— Скажите Куик-Куику, что я жду его здесь.

— Моя не мочь.

— Почему?

— Куик-Куик украла шестьдесят утка у начальник лагерь. Начальник хотела убивать Куик-Куик. Куик-Куик бежать.

— Как давно?

— Два месяц.

— Бежал морем?

— Моя не знай. Моя ходить в лагерь, говорить другая китайца, большой друг у Куик-Куик. Она скажет, что моя делать. Твоя отсюда не уходить. Моя сама приходить.

— Во сколько?

— Моя не знать. Но моя приходить, приносить сигарета, кушать. Моя свистеть «Мадлон». Твоя слышать и выходить на дорога. Понимай?

— Понимай. И он исчез.

— Ну, что ты на все это скажешь, Жан?

— Ничего страшного. Если хочешь, можешь пойти к Куру, там я раздобуду тебе каноэ, еды и парус тоже раздобуду. Можешь уплыть морем.

— Но мне далеко надо, очень далеко, Жан. Одному не добраться. Все равно, спасибо за предложение. Если другого выхода не будет, так и поступим.

Китаец уделил нам большой кусок капустного листа, который мы и съели. Стоящая штука, с острым свежим привкусом ореха. Жан вызвался нести караул. Я натер табачным соком лицо и руки — москиты вновь начали донимать. И уснул.

Разбудил меня Жан.

— Папийон, вроде бы кто-то насвистывает «Мадлон».

— А сколько сейчас?

— Не очень поздно. Где-то около девяти.

Мы вышли на дорогу. Ночь стояла страшно темная. Свист приблизился, и я ответил. Так мы пересвистывались некоторое время и наконец сошлись. Их было трое. Каждый по очереди пожал мне руку. Скоро взойдет луна.

— Давайте присядем вот тут, у дороги, — сказал один из них на чистейшем французском. — Пока темно, нас никто не увидит. — Подошел Жан. — Сперва поедим, говорить будем потом, — продолжал образованный китаец.

И мы с Жаном принялись за еду. Сперва это был какой-то горячий овощной суп, затем последовал тоже очень горячий сладкий чай с привкусом мяты — изумительно вкусный.

— Значит, вы — близкий друг Чанга?

— Да. Он сказал, что я должен разыскать здесь Куик-Куика и продолжать побег с ним. Я опытный моряк. Вот почему Чанг хотел, чтобы я забрал его брата. Он мне доверяет.

— Понимаю. А какая у Чанга татуировка?

— Дракон на груди и три точки на левой руке. По его словам, эти три точки означают, что он являлся одним из предводителей восстания в Пунта-Кардон. А лучший его друг был предводителем другого восстания — Ван Ху. И потерял руку.

— Это я и есть, — сказал китаец. — Да, теперь сомнений нет: вы друг Чанга, а значит, и наш друг тоже. Дело в том, что Куик-Куик сам в море выйти не может, не умеет управлять лодкой. Сейчас он один в джунглях, километрах в восьми отсюда. Добывает древесный уголь. Друзья этот уголь продают, а деньги относят ему. Когда накопит достаточно, купит лодку и будет искать компаньона по побегу морем. Там, в джунглях, он в безопасности. На островке, окруженном непроходимыми болотами, куда никто не сможет пробраться, не зная пути. Тут же засосет. Я приду на рассвете и отведу вас к Куик-Куику.

Мы пошли краем леса, так как луна взошла уже высоко и прекрасно освещала все вокруг в радиусе пятидесяти метров. Дойдя до деревянного моста, он сказал:

— Укройтесь здесь, под мостом. Поспите, а утром я вас заберу.

Мы пожали друг другу руки, и китайцы ушли. Жан сказал:

— Папийон, вам здесь спать не стоит. Идите в лес, а я останусь. Когда он придет, позову.

Город в Венесуэле.

— Прекрасно! — Я отправился в лес сытый и донельзя довольный тем, как складываются обстоятельства, и уснул, выкурив предварительно несколько сигарет подряд.

Ван Ху был в назначенном месте еще до восхода солнца. Минут сорок мы шли по дороге довольно быстро, но затем взошло солнце и издали слышался звук приближавшегося трактора. Мы нырнули в лес.

— Прощай, Жан! Желаю удачи. Господь да благословит тебя и твою семью!

Я все же заставил Жана взять пятьсот франков. На тот случай, если с Куик-Куиком не выгорит, он объяснил мне, как добраться до деревни, где он жил, и описал место на дороге, где мы могли встретиться. Он бывал там три раза в неделю. Я пожал руку этому доброму и честному негру, и мы двинулись дальше. Шли мы довольно быстро, когда путь преграждали ветки или лианы, Ван Ху обрубал их мачете или просто раздвигал руками.

КУИК-КУИК

Часа через три мы вышли к огромному болоту. На гладкой грязно-коричневой поверхности воды плавали водяные лилии и стебли каких-то растений с плоскими зелеными листьями. Мы двинулись вдоль берега.

— Смотрите, не оступитесь, — предупредил Ван Ху. — Одно неверное движение — и конец.

— Давайте вы вперед. Буду идти след в след за вами. Впереди метрах в ста пятидесяти показался островок.

Над деревьями поднимался дым. Должно быть, брат Чанга жег там древесный уголь. Сбоку я заметил в грязи крокодила, вернее — один его глаз. Интересно, чем они здесь питаются, в этих болотах?..

Пройдя по берегу еще с полкилометра, Ван Ху остановился и громко запел по-китайски. На берегу островка показался человек. Маленького роста, в одних только шортах. Китайцы заговорили. Они тараторили, как сороки, без умолку, и я уже начал терять всякое терпение, когда наконец Ван Ху обратился ко мне:

— Идемте!

Теперь мы почему-то повернули обратно.

— Все в порядке. Это приятель Куик-Куика. Сам Куик на охоте, но скоро вернется. Надо подождать здесь.

Мы сели. Примерно через полчаса появился Куик-Ку-ик — маленький, сухопарый, пепельно-желтый, с покрытыми черным лаком зубами. Впрочем, взгляд у него оказался открытый и умный.

— Вы друг моего брата Чанга?

— Да.

— Очень рад. Можешь идти, Ван Ху.

— Спасибо.

— Вот, возьми себе птичку.

— Нет, спасибо. — Ван Ху пожал мне руку и ушел. Мы с Куик-Куиком двинулись вдоль берега. Впереди бежал маленький поросенок. Куик-Куик ступал строго по его следам.

— Осторожней, Папийон. Стоит только оступиться на самую малость — и ты в болоте. Это тот случай, когда спутник уже ничем не может помочь — иначе засосет обоих, а не одного. Постоянной тропы здесь нет, болота все время в движении, перемещаются. Но поросенок всегда на ходит тропу.

И верно — черный поросенок беспрестанно обнюхивал пяточком грязь и, быстро перебирая короткими ножками продвигался вперед. Китаец говорил с ним на своем языке. Я следовал за ними, совершенно замороженный видом этого маленького существа, которое повиновалось китайцу как собака. Куик-Куик не сводил с него глаз, и я тоже, словно загнипнотизированный. Поросенок достиг острова, не запачкав копытцев больше чем на несколько сантиметров. А мой новый товарищ, поспешая за ним, повторял:

— Ступай по моим следам, только по следам... И быстрее.

По пути поросенок сделал два зигзага. Пот так и лил с меня градом. Мало сказать, что я струхнул, я просто сходил с ума от страха, опасаясь, а не предназначена ли мне та же судьба, что и бедняге Сильвену, та же ужасная смерть? Он прямо как живой, так и стоял у меня перед глазами, причем тело, наполовину увязшее в трясине, я видел довольно смутно, а вот лицо у него было мое...

— Дай руку! — И маленький тощий Куик-Куик помог мне вскарабкаться на берег.

— Да уж, приятель, легавые вряд ли сюда доберутся!

— Уж что-что, а насчет этого можешь быть спокоен!

Мы двинулись в глубь острова. Запах горелого древесного угля проникал в легкие, я закашлялся. Прямо перед нами дымились две черные кучи. Тут можно не беспокоиться и насчет москитов, вряд ли они станут донимать. В дыму вырисовывались очертания хижины, стены и крыша которой были сплетены из пальмовых веток. Была там и дверь, а перед дверью стоял маленький китаец, тот самый, которого я видел на берегу.

— Доброе утро, мисе!

— Говори с ним только по-французски, — предупредил Куик-Куик. — Это друг моего брата.

Чинк, с виду почти карлик, обзрел меня с ног до головы и, видимо, удовлетворенный тем, что увидел, протянул руку, щербатый рот расплылся в улыбке.

— Входите, присаживайтесь!

Единственная комната, она же кухня, была чисто прибрана. На огне в большом котелке что-то варилось. Только одна постель, сделанная из веток и возвышающаяся на метр от земли.

— Помоги устроить ему лежанку.

— Да, Куик-Куик.

Через полчаса они соорудили мне спальное место, и мы сели есть. Сначала китайцы подали суп, совершенно великолепный, за ним последовали рис и мясо, тушенное с луком.

Этот парень, приятель Куик-Куика, как раз и занимался продажей угля. На острове он не жил, и в эту же ночь мы с Куик-Куиком остались одни.

— Это правда, я спер у начальника уток, поэтому и ударился в бега.

Мы сидели у огня, сполохи пламени освещали время от времени наши лица. Мы напряженно разглядывали друг друга, каждый, говоря о себе, старался понять, что представляет собой другой.

Лицо Куик-Куика вовсе не было желтым — солнце придало коже глубокий медный оттенок. Очень узкие быстрые глаза смотрели прямо. Он курил длинные сигары, которые скатывал сам из каких-то черных листьев.

— Ну я и удрал, потому что начальник, чьи были утки, собирался меня убить. Три месяца уже прошло. Самое паршивое, что деньги, вырученные за уток и две кучи угля, я проиграл.

— А где вы играете?

— В джунглях. Там каждую ночь собираются китайцы из «Инини» и вольняшки из Каскада.

— Так ты решил бежать морем?

— Да, решил. Поэтому и торгую углем, чтобы накопить денег и купить лодку. Но надо найти человека, который бы умел с ней управляться и хотел бы бежать со мной. Недели через три будет еще уголь. Как продам, можно будет покупать лодку и в путь, если ты, конечно, не против.

— Деньги у меня есть, Куик-Куик. Так что нечего ждать, пока будет готов уголь.

— Что ж, здорово. Тут продается одна очень хорошая лодка. За полторы тысячи франков. Один негр-лесоруб продает.

— Ты ее видел?

— А как же.

— Я тоже хочу посмотреть.

— Завтра пойду повидаться с Шоколадом. Это я так его называю. Расскажи, как ты бежал, Папийон. Я думал, с острова Дьявола это невозможно. А чего Чанг не бежал с тобой?

Я рассказал ему о побеге, о Лизетт и о смерти Сильвена.

— Да, выходит, Чанг не хотел... Боялся, уж больно рискованно. А тебе повезло, вот что я скажу. Чистой воды везение, что ты добрался сюда живым. Я рад.

Мы проболтали часа три. Спать легли рано, так как Куик собирался встать па рассвете и тут же отправиться к Шоколаду. Подложили в костер одно большое полено и улеглись. Дым щекотал горло, и я кашлял, зато ни одного москита не было.

Я закрыл глаза, но спать не мог, слишком уж был возбужден. Да, побег пока идет гладко. Если лодка действительно окажется подходящей, через неделю можно выходить в море. Куик-Куик худенький и мелкий, но такие люди нередко обладают большой физической силой и выносливостью. Он наверняка прямодушен с друзьями, но жесток к врагам. Впрочем, разве можно прочесть по лицу азиата, что у него на уме? Нет, глаза все же говорят в его пользу.

Я уснул и видел во сне освещенное солнцем море, по которому летит моя лодка, зарываясь носом в волны, — летит навстречу свободе.

— Будешь кофе или чай?

— А ты что?

— Чай.

— Тогда и я тоже.

Едва начало светать. На огне стоял котелок с кипящей водой. Черный поросенок лежал на постели Куик-Куика. Он все еще спал, демонстрируя, как мне показалось, полную беззаботность. На углях жарились пончики из рисовой муки. Подав мне чай с сахаром, китаец разрезал пончик пополам, намазал внутри мармеладом и тоже протянул мне. Завтрак оказался вкусным и сытным. Я съел три больших пончика.

— Ладно, я пошел. Можешь проводить немного. Если будет кто кричать или свистеть, не отвечай. Сюда они, конечно, не полезут, но если покажешься на берегу, могут пристрелить.

Хозяин позвал поросенка, и тот соскочил с постели. Попил и поел. Затем вышел из хижины, за ним последовали мы. Он затрусил прямо к берегу, но вышел на болото чуть в стороне от того места, где мы вчера проходили. Пробежав метров десять, повернул назад. Видно, что-то ему не понравилось. Наконец после трех попыток путь был найден. И Куик-Куик без колебаний последовал за поросенком.

Он собирался вернуться только к вечеру. Оставил на огне суп, который я съел в одиночестве. Затем я обнаружил курятник, а в нем — штук восемь яиц и сделал себе омлет на маргарине. Ветер переменялся, и дым из кучи, что находилась прямо перед хижинкой, сносило в сторону. Поэтому где-то в полдень я прилег на свою постель из пальмовых листьев и спокойно дремал, едкий дым больше не беспокоил.

Днем я отправился обследовать остров. В центре его находилась довольно большая вырубка. Пни и горы поленьев указывали, что именно здесь добывал Куик-Куик материал для угля. Я также обнаружил неподалеку карьер, откуда он наверняка брал белую глину, присыпать кучи, чтобы деревья не сгорали дотла. Кругом ворковали какие-то птицы. Прямо из-под ног у меня вдруг выскочила громадная крыса, а дальше, в нескольких метрах, я обнаружил мертвую змею. Должно быть, это крыса убила ее.

За целый день, проведенный в одиночестве, я сделал несколько интересных открытий. Так, мне удалось наткнуться на целое семейство муравьедов — мамаша и с нею трое малышей. Они засели прямо в огромном и высоком муравейнике, а вокруг истерически сновали муравьи. Потом я увидел целую дюжину каких-то мелких обезьян, ловко перескакивающих с ветки на ветку. Как только я появился на вырубке, они стали издавать пронзительные душераздирающие крики.

Вечером вернулся Куик-Куик.

— Ни Шоколада, ни лодки не видел. Должно быть, он ушел в деревню за продуктами, там у него дом. Ты не голоден?

— Нет.

— Может, еще поешь, за компанию?

— Нет, спасибо.

— Принес тебе две пачки табака. Это все, что удалось раздобыть.

— Спасибо. А сколько обычно Шоколад торчит в этой деревне?

— Дня два-три... Но я и завтра пойду. Каждый день буду ходить, ведь я не знаю, когда он ушел.

На следующий день вдруг хлынул сильный дождь — настоящий ливень. Но это не помешало Куик-Куику отправиться в путь. Он пошел совершенно голый, неся под мышкой завернутую в кусок непромокаемой ткани одежду. Провожать его я на этот раз не стал.

— Что толку мокнуть понапрасну, — заметил он. Вскоре, однако, дождь прекратился. Судя по солнцу, было где-то между десятью и одиннадцатью. Я пошел взглянуть на одну из древесных куч, что подальше от хижины. Дождю не удалось полностью загасить огонь. Над углем вился дымок.

И тут... Я протер глаза и взглянул еще раз — просто не мог поверить в то, что видел. Из-под угля торчали пять башмаков. И в каждом из них была... да, несомненно, настоящая человеческая нога. Выходит, в куче, вместе с углем, пеклись минимум трое...

Мурашки пробежали у меня по спине. Я наклонился и, разбрасывая полуобгоревшие куски дерева, обнаружил шестой ботинок.

Шустрый, однако, парень этот Куик-Куик, ничего не скажешь. Заманивает к себе на остров людей, а затем превращает их в уголь. Это открытие настолько потрясло меня, что я отошел от кучи и направился к вырубке. Захотелось погреться на солнышке, потому что, несмотря на удушающую жару, меня прошиб озноб от этого ужасного зрелища.

Я был совершенно уничтожен и морально, и физически. Пот так и катил со лба и по спине. Потому что чем больше я об этом думал, тем большим чудом казалось, что я еще жив. Ведь я же сам сказал ему, что в патроне у меня деньги. А может, он приберегает меня для закладки третьей кучи?

Я вспомнил, как Чанг говорил, что брата его осудили за пиратство и за убийства. Напав на какую-то джонку с целью ограбления, пираты вырезали всю семью — как это принято говорить теперь, по политическим мотивам, конечно. Да, к убийствам ему не привыкать. К тому же здесь я его пленник. Безвыходное положение...

Так, спокойно, надо разобраться. Допустим, я убью Куик-Куика и засуну его в угольную кучу, это будет только справедливо. Но ведь поросенок меня не послушается, этот поганец не понимает ни слова по-французски. Так что с острова тогда не выбраться. Под угрозой оружия Куик, конечно, проведет меня через болото, но, выбравшись в джунгли, я должен буду убить его там, на той стороне. Брошу труп в болото, и он исчезнет. Однако должна же быть какая-то причина, почему сам он не поступил так с теми тремя несчастными... Охранники меня в данном случае не беспокоили, но если друзья китайца прознают, что я расправился с ним, они наверняка организуют на меня охоту, на их стороне доскональное знание джунглей. Да, радости мало, если они пойдут за мной по пятам. У Куик-Куика одностволка, он ни на миг с ней не расстанется, даже когда готовит еду. Он спит и ест с ней и выносит из хижины, когда идет справлять нужду. Я, конечно, буду держать свой нож наготове, открытым, но ведь и спать когда-то надо. Да, хорошенького дружка я выбрал себе для побега...

Весь день кусок не шел в горло, я все думал, что же делать дальше. Но так ничего и не придумал, когда вдруг услышал пение. Это возвращался Куик. Укрывшись в зарослях, я наблюдал за ним. На голове он нес какой-то узелок, и, лишь когда приблизился к берегу, я вышел из своего укрытия. С улыбкой он протянул мне сверток, выбрался на берег и направился к хижине. Я поспешил за ним.

— Хорошие новости, Папийон. Шоколад вернулся. Лодка пока не продана. Говорит, в нее

можно загрузить хоть полтонны — не потонет. А этот сверток, что ты несешь, — это мешковина. Из нее можно сделать парус и кливер. Завтра пойдем вместе, принесем остальное. Заодно и лодку посмотришь.

Все это он говорил, не оборачиваясь. Шли мы цепочкой: впереди поросенок, за ним Куик-Куик и последним я. Похоже, пока он не собирается засовывать меня в угольную кучу, раз хочет, чтобы завтра мы шли смотреть лодку, и уже тратит деньги, отложенные для побега.

— Смотри-ка, а куча почти погасла! Дождь, черт бы его побрал. Ничего удивительного, когда кругом сплошная мокрота!

Однако он не завернул к куче, а проследовал прямо в хижину. Я не знал, что говорить и как себя вести. Притвориться, что ничего не видел? Глупо. Ведь куча всего метрах в двадцати пяти от хижины, а я болтался вокруг да около целый день.

— Э-э, ты что же, дал огню погаснуть?

— Да. Не заметил.

— И что, ничего не ел?

— Нет. Не хотелось.

— Что, заболел, что ли?

— Пет.

— Тогда чего суп не ел?

— Присядь, Куик-Куик. Надо поговорить.

— Давай сперва разведу огонь.

— Нет. Я хочу поговорить с тобой прямо сейчас, пока светло.

— А что случилось?

— Там, в куче, — трое мертвецов. Угли размыло, и их очень хорошо видно. Что ты на это скажешь?

— Ах, так вот почему ты такой хмурый! — И он, как ни в чем не бывало, взглянул мне прямо в глаза. — Увидел и тут же заволновался. Что ж, я тебя понимаю, это естественно. Просто везенье, я считаю, что ты не воткнул мне нож в спину по дороге... Слушай, Папийон, те трое были доносчики, шпионы. Примерно с неделю назад, точнее дней десять, я продал Шоколаду довольно много угля. Китаец, которого ты видел, помог перевезти мешки с острова. Непростое это было дело: мы связали мешки веревкой и тащили их за собой по болоту волоком. Ладно, короче — между островом и протокой, где стояло каноэ Шоколада, осталось полно следов. Некоторые мешки оказались старыми, разорвались, и из них сыпался уголь. Тут-то нас и начали выслеживать. Шастали вокруг да около — я понял это по крикам птиц и животных, они всегда так кричат, когда кто-то ходит в джунглях. А потом увидел одного, он меня не заметил. И тогда я переправился на ту сторону, обошел его сзади и подкрался. Он даже не увидел, кто его пришил. А поскольку я знал, что брошенное в болото тело через несколько дней обязательно всплывет, то затащил его сюда и бросил в кучу.

— Ну а другие двое?

— Это было за три дня до твоего появления. Ночь стояла темная и какая-то уж очень тихая. Эти двое стали обходить болото, как только стемнело. Ветер дул в их сторону, и один время от времени кашлял от дыма. Поэтому я все время знал, где они находятся. И вот уже перед рассветом рискнул и переправился туда, где слышал кашель. Короче: первому перерезал глотку. Он и пикнуть не успел.

А другой, с ружьем, облажался — дал мне возможность его увидеть, — сам он в это время старался рассмотреть, что там творится на острове. Я в него выстрелил, но потом понял, что не убил. И ударил ножом прямо в сердце. Вот и все, Папийон, что касается этих покойников. Двое были арабами, третий — француз. Думаешь, просто идти по болоту с трупом на спине? Тяжелые были, черти... Прямо замучился. Ну, в конце концов все оказались в той куче.

— Это правда?

— Да, Папийон. Клянусь, все так и было.

— Но почему же ты просто не бросил их в болото?

— Я же говорил: болото не принимает мертвецов. Как-то раз видел, как олень туда свалился, а через неделю снова всплыл. Потом их начинают жрать грифы. Обьедают до костей, но на это нужно время. А грифы все летают вокруг да кричат и привлекают внимание. Клянусь, Папийон, тебе нечего меня бояться. Вот, хочешь? Бери ружье, может, тогда согласишься?

Меня так и подмывало взять ружье, но я сдержался и как можно более спокойным и естественным тоном произнес:

— Нет, Куик-Куик. Я здесь потому, что знаю: я с другом. И ничуть тебя не боюсь. Но завтра ты должен их сжечь дотла. Как знать, что тут будет, когда мы покинем остров. Я не хочу, чтоб меня обвинили в убийстве трех человек, даже когда меня здесь уже не будет.

— Ладно. Завтра сожгу. Да ты не беспокойся, никто сюда не полезет. А если и полезет, тут же утонет, это я точно тебе говорю.

— А что если они попробуют подобраться на резиновой шлюпке?

— Я об этом как-то не думал.

— Если уж кто-то навел сюда жандармов и они вбили себе в головы непременно попасть на остров, будь уверен — они переправятся на шлюпке. Поэтому надо смыться отсюда как можно скорей.

— Ладно. Завтра снова запалю кучу. Не забыть бы только сделать две дырки для воздуха.

— Спокойной ночи, Куик-Куик!

— Спокойной ночи, Папийон. И спи спокойно, мне можно доверять.

Натянув одеяло до подбородка, я закурил. Не прошло и десяти минут, как Куик-Куик уже мирно храпел. Поросенок, лежавший у него под боком, тоже засопел. Ствол дерева в очаге тлел ровным розовым пламенем, и это придавало спокойствия и уверенности. Я наслаждался теплом и покоем. Думать ни о чем не хотелось. «Или я проснусь живым и невредимым и все

будет хорошо, или же этот китаец — великий актер и мастер рассказывать небылицы и скрывать свои истинные намерения, и тогда не видать мне уже неба и солнышка, ведь я слишком много знаю и потому для него опасен... »

Специалист по массовым убийствам разбудил меня с чашкой кофе в руке и как ни в чем не бывало пожелал доброго утра с самой что ни на есть сердечной улыбкой.

— Вот! Выпей кофе и пончик съешь, уже готовы.

Позавтракав, я вышел из хижины набрать воды из бочки.

— Поможешь мне, Папийон?

— Да, — ответил я, даже не спрашивая, какая именно помощь ему требуется.

Мы вытянули за ноги полуобгоревшие трупы. Я не произносил ни слова, хотя заметил, что животы у всех троих вспороты — должно быть, добродушный китаец рылся у них в кишках в поисках патронов. А точно ли они шпионили? Может, просто забрели в джунгли ловить бабочек или поиграть в карты?.. Может, он убил их вовсе не с целью самозащиты, а желая ограбить? Ладно, хватит! Теперь они снова засунуты в кучу и надежно прикрыты дровами и глиной. Мы сделали два отверстия для воздуха, и куча вновь принялась за свое дело — производить уголь и превращать покойников в прах.

— Идем, Папийон.

Поросенок быстро отыскал переправу. Ступая друг за другом след в след, мы перешли болото. Надо сознаться, что при этом страх ни на секунду не отпускал меня — видно, смерть Сильвена произвела столь неизгладимое впечатление, что я просто не мог спокойно ступать по трясине. Наконец, весь в холодном поту, я ступил вслед за Куиком на твердую землю.

Часа через два мы вышли к тому месту, где занимался заготовкой дров Шоколад. По дороге не встретилось ни Души.

— Привет!

— Привет, Куик-Куик!

— Ну, как дела?

— Нормально. Как ты?

— Покажи-ка моему другу лодку.

Лодка оказалась очень крепкая, тяжелая, но прочная. Я тыкал в нее ножом, но нигде лезвие не входило глубже, чем на полсантиметра. Дно тоже прочное. Все было сделано на совесть из очень высокосортного дерева.

— И сколько вы за нее хотите?

— Две пятьсот.

— Даю две тысячи. У лодки нет кия. Дам еще пятьсот, после того как вы поставите киль, руль и мачту. Киль и руль — непременно из твердого дерева. Мачта должна быть три метра высотой и сделана из легкого гибкого дерева. Когда будет готово?

— Через неделю.

— Вот тут две с половиной тысячи. Разрежем банкноты пополам. Одну половину получите сейчас, а вторую — когда лодка будет готова. Идет?

— Ага.

— И еще мне нужна марганцовка, бочонок с водой, сигареты и спички, запас продуктов для четырех человек на месяц: мука, масло, кофе, сахар. За это доплачу отдельно. Вы должны передать мне все это на реке.

— Но господин, я не могу выводить вас в устье!

— Я и не прошу. Просто я хочу получить лодку на реке, а не в этой протоке.

— Ладно. Вот вам мешки от муки, веревка, иголки и нитки.

Мы с Куик-Куиком вернулись в свое убежище. Часть пути он нес поросенка на плечах — бедняжка притомился.

На следующий день я сидел и занимался шитьем паруса, как вдруг послышались крики. Я поспешил к болоту, прячась за стволами деревьев, и увидел следующее: на противоположном берегу стоят Куик-Куик и китаец-интеллектуал и спорят, размахивая руками. У каждого было мачете. Похоже, однорукий разошелся не на шутку. Господи, а вдруг прикончит Куика? Я решил, что таиться дольше не сквит, и крикнул. Оба они обернулись.

— Что случилось, Куик-Куик?

— Я хочу поговорить с тобой, Папийон! — крикнул второй китаец. — А Куик-Куик меня не пускает.

Еще минут десять спора, затем поросенок был спущен на землю, и они последовали за ним к острову. Вошли в хижину, уселись у огня, и, когда у каждого в руке оказалась чашка горячего чая, беседа началась.

— В общем, — сказал Куик-Куик, — весь сыр-бор из-за того, что он просится бежать с нами. Я говорю ему: это не мне решать, раз платит Папийон. Кто платит, тот и заказывает музыку. А он не верит и долбит свое.

— Папийон, — вмешался однорукий, — Куик-Куик просто обязан взять меня с собой.

— Почему это?

— Да потому, что два года назад он отрезал мне руку в драке из-за карточной игры. И заставил поклясться, что я его не убью. Я поклялся, но на одном условии — он должен кормить меня всю свою жизнь или по крайней мере когда я буду просить. А теперь он сматывается, мне его больше не видать, это ясно. Поэтому или ты едешь один, или вы берете меня с собой.

— Бог ты мой! Теперь я понимаю. Послушайте, я ведь вовсе не против. Лодка большая, крепкая, в нее и больше поместится. Если Куик-Куик согласен, можете ехать.

— Спасибо, — кивнул однорукий.

— Ну а ты что скажешь, Куик-Куик?

— Пусть едет. Мне без разницы, если ты согласен.

— Но тут одна загвоздка. Есть ли возможность выбраться из лагеря так, чтобы они сразу не хватились и чтобы успеть добраться до реки к ночи?

— Нет проблем. Мне разрешают выходить каждый день с трех часов. Часа через два буду на берегу.

— Куик, а ты сможешь отыскать в темноте то место, где мы договоримся забрать твоего друга?

— Конечно.

— Тогда приходите через неделю, и я точно назову день.

Совершенно счастливый однорукий сердечно распрощался со мной и ушел. Я видел, как они с Куик-Куиком стояли на берегу и перед тем как расстаться тоже пожали ДРУГ другу руки. Итак, все в порядке. Когда Куик вернулся в хижину, я сказал

— Странное, однако, соглашение ты заключил с этим человеком. Кормить до конца жизни... Сроду ничего подобного не слышал. Как же вышло, что ты отрезал ему руку?

— В драке, из-за карт.

— Уж лучше б убил.

— Нет. Ведь он — очень хороший мой друг. В суде, ну, уже потом, после всей этой истории, он за меня горой стоял — твердил, что начал первым, а я только защищался. Так что я сам вызвался заботиться о нем и не имею права подвести. Ну а тебе ничего не говорил, потому что ты платишь за побег свои кровные.

— Ладно, не будем больше об этом. Если с Божьей помощью окажемся на свободе, там ты волен поступать как знаешь.

— Я свое слово сдержу.

— Ну а чем собираешься заняться, если удастся отсюда вырваться?

— Обзаведемся ресторанчиком. Я неплохо готовлю, а Ван Ху — настоящий чародей по части чоу мянь [17].

Шоколад свое слово сдержал — через пять дней все было готово. И мы, несмотря на дождь, который лил в тот день как из ведра, отправились взглянуть на лодку. Все в порядке — мачта, руль и киль встроены должным образом и изготовлены из прекрасного дерева. В лодке нас ждал бочонок для воды и припасы. Оставалось только оповестить Ван Ху. Шоколад вызвался пойти в лагерь, чтобы уберечь нас от излишнего риска, и обещал привести китайца прямо к условленному месту.

В устье Куру располагались два маяка. Если дождь не прекратится, мы сможем плыть по реке совершенно открыто, ничем не рискуя. Шоколад снабдил нас черной краской и кисточкой. На парусе мы должны были изобразить букву К и номер 21. К-21 был регистрационный номер местной рыбацкой лодки, которая иногда выходила на промысел по ночам.

Встреча была назначена на завтра, на семь вечера, через час после наступления сумерек. Куик был уверен, что отыщет тропу, которая должна вывести нас к условленному месту. С острова

надо выходить в пять, чтобы остался хотя бы час до захода солнца.

В хижину мы возвращались в самом прекрасном настроении. Куик шел впереди, неся поросенка на плече и не умолкая ни на минуту.

— Наконец-то распрощаюсь с тюрьмой, — говорил он, не оборачиваясь. — И все благодаря тебе и моему брату Чангу. Может, когда-нибудь французы уберутся из Индокитая, и я смогу вернуться на родину.

Короче, он целиком доверился мне, а то, что я одобрил лодку, привело его в совершенно детский восторг. Итак, настала моя последняя ночь на острове. Я надеялся, что она станет последней в Гвиане.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда Куик-Куик разбудил меня. Чай и пончики. Вся хижина была заставлена коробками. И еще я заметил в углу две плетенные из проволоки клетки.

— А это еще что такое?

— Это для курочек. Будем их есть во время плавания.

— Да ты совсем спятил, Куик! Никаких кур мы не берем!

— А я собираюсь взять.

— Из ума выжил. А что если все эти петухи и куры начнут кудахтать и кукарекать на реке? Ты что, не понимаешь, как это опасно?

— Нет, моя кур не оставит.

— Тогда свари их и залей жиром или маслом. Получатся консервы, на первые дни хватит.

В конце концов я убедил Куика, и он отправился ловить своих курочек, но гвалт, который подняли первые жертвы, заставил остальных, почуявших неладное, разбежаться кто куда и попрятаться в джунглях. Так что пришлось довольствоваться всего четырьмя. Как они умудряются учуять опасность — уму непостижимо. Грузенные словно верблюды, мы перешли болото вслед за поросенком. Куик-Куик все-таки уговорил меня взять его с собой.

— А ты можешь дать слово, что эта скотина не поднимет визга?

— Нет, обещаю! Ему только прикажи — молчит как рыба. Однажды нас выслеживал ягуар, все кружил и кружил вокруг, норовил застигнуть врасплох — а он и не пикнул. Но чуял, собака, что его ждет, каждая шерстинка так и стояла дыбом.

Я верил, что Куик не лжет, и согласился взять с собой его любимого поросенка в лодку. Было уже совсем темно, когда мы подошли к нужному месту. Там уже ждали Шоколад и Ван Ху. Я осветил лодку ручным фонариком, проверил. Вроде бы все на месте, паруса в том числе. Я показал Куику, как разворачивать их. Парень он был смекалистый, все ловил с полуслова. Негр тоже оказался молодцом. Я уплатил ему, он был настолько простодушен, что притащил с собой разрезанные половинки банкнот и клейкую бумагу и попросил меня помочь ему склеить деньги. Ему ни на секунду и в голову не пришло, что я могу забрать все деньги обратно. Когда люди не думают дурно о других, это наверняка свидетельствует о том, что сами они порядочны и прямодушны. Именно таким оказался и Шоколад. Он видел, как жестоко обращаются с

заключенными, и ни минуты не колебался прийти на помощь нам, решившим бежать из этого ада.

вернуться

17

Китайская лапша, приготовленная особым способом.

— Прощай, Шоколад! Удачи тебе и счастья! И твоей семье тоже!

— Спасибо вам, спасибо!

Тетрадь одиннадцатая

ПРОЩАЙ, КАТОРГА!

ПОБЕГ С КИТАЙЦАМИ

Я влез в лодку последним. Шоколад оттолкнул ее, и мы поплыли. У нас было два весла, Куик работал одним на корме, я подгребал вторым. Часа через два мы вышли из притока в Куру.

Уже час, как лил дождь. Плащом мне служил мешок от муки, Куик-Куик и Ван Ху тоже накинули на плечи по одному. Течение было быстрым. Три часа спустя мы миновали маяки. Я понял, что море близко — ведь они стояли у входа в устье. И вот с поднятыми парусами мы наконец вышли из Куру без всякой заминки. Лодка закачалась на волнах, берег позади таял с каждой секундой. Впереди в нескольких километрах был виден свет маяка на Руаяле, по нему можно было определить направление. Всего две недели назад я находился там, за этим маяком, на острове Дьявола. Мои китайцы отнюдь не спешили разразиться криками восторга по поводу выхода в море. Восточные люди вообще выражают свои чувства совершенно по-иному.

Просто когда мы отошли уже довольно далеко от берега. Куик заметил самым будничным тоном:

— Похоже, все прошло гладко, — и ни слова больше.

— Да, — добавил Ван Ху, — в море вышли нормально.

— Куик, я не прочь выпить. Дай-ка мне рюмочку тафии!

Они налили мне и сами тоже выпили по маленькой. Компаса у меня не было, но первый побег научил ориентироваться по солнцу, луне, ветру и звездам, поэтому, установив главный парус должным образом, я смело направил лодку в открытое море. Управлять ею было одно удовольствие — она легко слушалась и почти не качалась. Ветер был ровный и сильный, и к утру мы отошли от материка и островов Спасения уже на значительное расстояние.

Вот уже шесть дней нас сильно качает, но дождя нет и ветер довольно умеренный. Ровный бриз несет к западу с вполне приличной скоростью. О таких компаньонах, как Куик и Ван Ху, можно было только мечтать. Они никогда ни на что не жаловались — ни на качку, ни на палящий зной днем и холод ночью. Было только одно «но» — они напрочь отказались даже прикасаться к

рулю и управлять лодкой хотя бы несколько часов, чтобы дать мне возможность поспать. Зато раза три-четыре в день готовили еду Куры и петухи не миновали котелка и наших желудков. Вчера в порядке шутки я спросил Куика:

— Ну а когда поросенка будем есть?

Он принял шутку страшно близко к сердцу.

— Поросенок — мой друг. Пусть только кто попробует тронуть его, тут же убью!

Китайцы очень трогательно обо мне заботились. Подавали зажженные сигареты, в которых недостатка не было. Горячий чай тоже был всегда под рукой. Они делали все без лишних слов и напоминаний.

Прошла неделя. Я почти умирая от усталости. Солнце палило с такой силой, что даже мои китайцы стали похожими на светло-шоколадных негров. Я должен был поспать. Закрепил руль неподвижно и приспустил парус — пусть ветер и волны делают свое дело, далеко от курса отнести лодку они все равно не смогут. Заснул и проспал как мертвый часа четыре. Резкий толчок волны пробудил меня. Наклонившись, чтобы сполоснуть лицо морской водой, я с удивлением заметил, что Куик-Куик умудрился побрить меня, пока я спал, причем так умело, что я даже ничего не почувствовал. Мало того, он еще смазал мне лицо маслом. Со вчерашнего дня я держал курс на юго-запад, «как как мне стало казаться, что мы слишком отклонились к северу. Я рассчитывал встретить течение, которое позволило бы нам плыть быстрее. Боже мой, что это?! Дирижабль! Впервые в жизни видел я эту штуковину. Он завис в воздухе над морем на довольно большом от нас расстоянии, поэтому трудно было определить его размеры. Алюминиевого цвета бока отливали на солнце таким ослепительным блеском, что больно было смотреть. Вот он, похоже, переменял направление. Да, сомнений нет, он направляется прямо к нам. Он становился все больше и больше и минут через двадцать уже висел над нашими головами. Куик-Куик и Ван Ху были так потрясены этим зрелищем, что целиком, забыв обо мне, перешли на китайский.

— Ради Бога, говорите по-французски, ведь я вас не понимаю!

— Английская сосиска, — сказал Куик-Куик.

— Нет, не совсем сосиска. Это дирижабль.

Теперь мы видели летательный аппарат во всех деталях — он медленно описывал круги над нашими головами. Показались флажки — они подавали сигналы. К сожалению, мы не знали этого языка и не могли ответить. С дирижабля продолжали сигналить, он спустился еще ниже, можно даже было разглядеть людей в кабинах. Затем он начал набирать высоту и направился в сторону материка. Меньше чем через час появился аэроплан и промчался над нашими головами несколько раз.

Волнение усилилось, ветер тоже, но небо над горизонтом оставалось ясным, так что дождя или шторма не предвиделось.

— Смотрите! — воскликнул вдруг однорукий.

— Что?

— Вон там, маленькая черная точка. Это корабль. Идет от берега.

— С чего ты взял?

— Знаю. Быстро идет. Должно быть, катер береговой охраны.

— Почему?

— Потому что дыма не видно.

Действительно, через час мы уже отчетливо различали стального цвета миноносец, который направлялся напрямик к нам. Он быстро увеличивался в размерах, что свидетельствовало об очень высокой скорости. К тому же шел он прямо на наше суденышко, и я испугался — ведь если в такую сильную волну он подойдет вплотную, то может вполне потопить нас.

Но тут он начал разворачиваться, и на борту мы прочитали название «Тарпон». Судно шло под английским флагом. Закончив разворот, оно медленно прошло мимо нас. На палубе столпились моряки в синей форме английского королевского флота. На мостике стоял офицер в белом с мегафоном, он кричал по-английски:

— Стоп, стоп, остановитесь!

— Спусти паруса, Куик!

Через две минуты паруса были спущены. Мы почти не двигались, лишь волны легонько подталкивали лодку в борт. Это было довольно опасно, так как лодка, не приводимая в движение ни парусом, ни мотором, не слушается руля. Особенно опасно, когда волнение сильное. Приложив ладони рупором ко рту, я закричал:

— Вы говорите по-французски, капитан? Мегафон взял другой офицер.

— Да. Я понимаю по-французски.

— Что вам от нас надо?

— Мы хотим поднять вашу лодку на борт.

— Нет, рискованно. Может разбиться.

— Мы — военный патруль. Вам следует повиноваться нашим приказам!

— А я плевал на ваши приказы. Ни к какой войне мы отношения не имеем.

— Разве вы не моряки с торпедированного корабля?

— Нет. Мы бежали с французской каторги.

— Что это такое — каторга?

— Тюрьма, лагерь. По-английски мы — заключенные. Каторжники.

— О, понятно. Кайенна?

— Да, Кайенна.

— Куда держите курс?

— В Британский Гондурас.

— Но это невозможно! Держите курс на запад, на Джорджтаун. Это приказ.

— Ладно.

Я велел Куику развернуть парус, и мы направились по курсу, прокладываемому миноносцем.

Внезапно позади послышался рокот мотора. Это был катер, спущенный с миноносца, вскоре он догнал нас. На корме стоял моряк с ружьем за плечами. Катер поравнялся с нашей лодкой и шел теперь борт о борт. Одним прыжком моряк ловко перескочил в лодку, а катер развернулся и направился обратно к миноносцу.

— Добрый день! — поздоровался моряк. Подошел и стал со мной рядом. Затем взял румпель и подправил курс — еще больше к югу. Я решил целиком положиться на него. Вне всякого сомнения, он знал, как управлять лодкой. Но все же я на всякий случай оставался рядом. Мало ли что может случиться.

— Сигареты? — Он вынул из кармана три пачки английских сигарет и раздал нам.

— Ишь ты! — заметил Куик. — Неужели так и таскает с собой всю дорогу по три пачки?

Я рассмеялся этим словам и снова сосредоточил внимание на действиях английского моряка. Да, следовало признать, он управлял лодкой куда лучше меня. Мной овладело удивительное чувство уверенности и покоя. Итак, я наконец свободен, свободен! Побег удался! Обратного пути в преисподнюю уже нет, потому что во время войны ни одна из сторон не выдает своих пленных. А пока она не закончится, у меня будет достаточно времени выбрать страну, в которой я захочу осесть. Правда, война может, конечно, помешать выбрать именно ту, которая больше всего подходит, но это неважно. Там, где мне предстоит жить, я постараюсь завоевать доверие и уважение как властей, так и простых людей. Поведение мое будет безупречным, мало того — просто примерным.

Я перебирал в памяти прошедшие девять лет каторги да еще два года тюрьмы во Франции — итого одиннадцать, когда моряк крикнул:

— Земля!

В четыре, пройдя мимо еще не горящего маяка, мы вошли в устье огромной реки Демерары. С миноносца снова спустили катер, моряк передал мне управление, а сам отошел на корму. Там он поймал трос, брошенный с катера, и ловко и крепко привязал конец к скамейке. Затем сам спустил паруса, и так, привязанные к катеру, мы прошли километров двадцать вверх по течению желтой реки, а за нами следовал миноносец. За поворотом открылся большой город.

— Джорджтаун, — сказал моряк.

Это была столица Британской Гвианы [18]. В гавани находилась масса торговых кораблей и катеров. По берегам были видны башни, ошестинившиеся дулами орудий. Настоящая крепость.

Война шла вот уже два года, но все это время я как-то этого не осознавал. Джорджтаун, будучи столицей, служил военным морским портом и погряз в этой войне, что называется, по горло. Странное, однако, это зрелище — город, ошестинившийся ружьями и пушками и готовый к обороне.

Мы поднялись на пристань: впереди Куик с поросенком, за ним Ван Ху с маленьким узелком и последним я с пустыми руками. Ни одного штатского, только солдаты и моряки. Ко мне подошел офицер, тот самый, с которым мы переговаривались по-французски в море. Он протянул мне руки и спросил:

— Вы совершенно здоровы?

— Да, капитан.

— Прекрасно. И все же придется пройти в лазарет и сделать прививки. И вам, и вашим друзьям тоже.

Тетрадь двенадцатая

ДЖОРДЖТАУН

ЖИЗНЬ В ДЖОРДЖТАУНЕ

Днем, после того как каждому из нас сделали по несколько уколов, пришла машина и отвезла нас в центральный полицейский участок, нечто вроде штаб-квартиры. Вокруг непрерывно сновали сотни полицейских. Начальник полиции, непосредственно отвечающий за порядок в этом огромном порту, принял нас в своем кабинете. Вокруг сидели английские офицеры в неизменных хаки, шортах и белых гольфах. Полковник знаком пригласил нас садиться и сразу же заговорил на чистейшем французском:

— Откуда вы шли, когда вас подобрали в море?

— Из Французской Гвианы, с каторги.

— Нельзя ли точнее? Откуда именно вы бежали?

— Я — с острова Дьявола, другие двое — из лагеря для политических в Инини. Это на Куру, тоже во Французской Гвиане.

— Ваш приговор?

— Пожизненное. За убийство.

— А у китайцев?

— Тоже убийства.

— Их приговоры?

— Тоже пожизненное.

— Ваша специальность?

— Электротехник.

— А у них?

— Повара.

— Вы за де Голля или Петена?

— Мы об этом ничего не знаем. Просто бежали из тюрьмы, чтобы начать новую жизнь. Быть свободными.

— Хорошо. Мы поместим вас в камеру, но запирается она не будет. Пробудете там некоторое время, пока мы не проверим все эти сведения. Бояться вам нечего, если вы говорили правду. Вы должны понимать, что идет война, она предполагает повышенные меры предосторожности.

Короче говоря, где-то через неделю нас освободили. За это время мы успели обзавестись приличной одеждой. И вот в девять утра мы вышли на улицу — я и двое китайцев, сносно одетые и снабженные удостоверениями личности с вклеенными в них фотографиями.

В Джорджтауне проживало около четверти миллиона человек. Город почти сплошь был застроен домами в английском стиле: нижний этаж — каменная кладка, все остальное — дерево. На улицах и проспектах было полно людей всех рас и цветов кожи: белых, коричневых, черных. Здесь были индийцы-кули, английские и американские моряки, скандинавы. Просто голова кружилась, когда ты шел по этим многоголосым улицам, прокладывая путь сквозь пеструю толпу. Мы были переполнены счастьем, оно так и распирало нас, должно быть, это отражалось и на лицах — не только моем, но и Куика и Ван Ху тоже, потому что многие люди, бросив на нас взгляд, тут же начинали улыбаться.

— Куда идем? — спросил Куик.

— Есть один адресок. Мне дал его один негр-полицейский. Сказал, что там живут два француза. Район называется Пенитенс-Риверс.

Похоже, это был район, где проживали только индийцы. Я подошел к полицейскому в безупречно белой форме и показал ему бумажку с адресом. Прежде чем ответить, он попросил меня предъявить удостоверение личности. И я с гордостью вытащил свой документ.

— Благодарю, прекрасно, — с этими словами он самолично посадил нас в трамвай, предварительно переговорив с кондуктором. Мы выехали из центра города, и минут через двадцать кондуктор сделал нам знак сходить. Так, наверное, это оно и есть, то самое место. И мы принялись спрашивать всех встречных: «Французы?» Какой-то молодой парень сделал знак следовать за ним и вскоре привел нас к маленькому одноэтажному домику. Навстречу вышли трое, делая приглашающие знаки.

— Быть того не может! Папи! Как ты здесь оказался, черт тебя подери?!

— Глазам своим не верю! — закричал второй, старец с снежно-белой шевелюрой. — Входите! Это мой дом. А китайцы с тобой?

— Да.

— Входите все. Очень рады!

Старика, тоже бывшего заключенного, звали Огюст Гитту, он был родом из Марселя, и в 1933 году, то есть девять лет назад, плыл со мной на каторгу в одном конвое. Пробовал бежать с каторги, но побег оказался неудачным, однако вскоре приговор ему смягчили.

Двумя другими оказались некий тип из Арля по прозвищу Малыш Луи и Жуло из Тулона. Они добросовестно отбыли каждый свой срок, а затем удрали из Гвианы, так как по закону должны

были оставаться там каждый ровно на тот срок, на сколько были осуждены — то есть на десять в пятнадцать лет. Этот второй срок заключенные называли «дубляжем».

В домике было четыре комнаты: две спальни, одна служила одновременно кухней и столовой, а в последней размещалось нечто вроде мастерской. Они занимались изготовлением обуви из балаты — природного каучука, добываемого в джунглях. Он легко обрабатывался с добавлением горячей воды. Единственным его недостатком являлось то, что при долгом нахождении на солнце туфли начинали таять, так как материал не подвергался вулканизации. Поэтому между слоями балаты приходилось прокладывать полоски прочной ткани.

Нам был оказан поистине королевский прием. Лишь тот, кто сам страдал, может понять страдания других и проявить истинное благородство и широту души. Гитту тут же оборудовал для нас троих спальню. Сомнения у него вызывал только поросенок, но Куик уверял, что пачкать в доме животное не будет, поросенок приучен выходить на улицу, когда возникает нужда.

— Ладно, посмотрим, — сказал Гитту. — Однако хотя бы на первое время держи его при себе.

Наконец все мы расселись на полу на старых армейских одеялах и закурили, и я рассказал Гитту о всех своих приключениях за последние девять лет. Он и его друзья слушали это повествование, разинув рты, живо воспринимая все детали и подробности, так как и им было знакомо и понятно все, через что мне довелось пройти. Двое из них знали Сильвена и страшно расстроились, узнав о его трагической смерти. В лавочку непрерывно заглядывали люди всех цветов кожи, время от времени кто-то из них покупал туфли или метлу, так как Гитту с приятелями занимался еще изготовлением метел, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Они рассказали мне, что здесь, в Джорджтауне, осело около тридцати человек, бежавших с каторги. По вечерам они встречались в баре в центре города и пили пиво или ром. Жуло добавил, что все они работают, и большинство ведет себя вполне прилично.

Сидя в тени возле раскрытой двери, мы вдруг заметили проходившего по улице китайца, и Куик окликнул его. А затем он и Ван Ху вдруг встали и, не сказав мне ни слова, пошли вслед за этим человеком. Однако ясно было, что собрались они недалеко, так как поросенок плелся сзади.

Часа через два Куик вернулся с ослом, запряженным в маленькую тележку. Гордый, как павлин, он управлял этой повозкой и обращался к ослу по-китайски. Похоже, животное понимало этот язык. В тележке оказались три раскладушки, три матраца, подушки и три чемодана. В одном из них, который он протянул мне, лежали рубашки, жилеты, галстуки, две пары туфель и другие носильные вещи.

вернуться

18

Ныне это государство Гайана.

— Где ты все это взял, Куик-Куик?

— У земляка. Он подарил. Если хочешь, завтра можем пойти познакомиться.

— Прекрасно.

Мы думали, что Куик отправится отдавать тележку я но ничего подобного — он распряг его и привязал во

— И тележку с ослом тоже подарили. С ними легче можно заработать, так они сказали. Завтра утроей придет один китаец и научит как.

— Смотри-ка, шустрые, однако, ребята, эти твои земляки!

Гитту сказал, что осла с тележкой можно пока оставить во дворе. Итак, наш первый день на свободе, похоже, начался удачно. Вечером все мы, рассевшись на самодельных скамейках, ели очень вкусный овощной суп, приготовленный Жуло, и изумительные спагетти.

— Уборку и другую домашнюю работу мы делаем по очереди, — объяснил Гитту.

Трапеза стала символом нового нарождающегося братства. Куик, Ван Ху и я были совершенно счастливы. У нас есть крыша над головой, постели, добрые и открытые друзья, готовые, несмотря на свою собственную бедность, поделиться всем. Чего еще можно желать?

— Что собираешься делать вечером, Папийон? — спросил Гитту. — Может, хочешь сходить в бар, где собираются все наши ребята?

— Нет, пожалуй, останусь. А ты иди, если хочешь, обо мне не беспокойся.

— Схожу, пожалуй. Просто надо кое-кого повидать.

— А мы с Куиком и одноруким посидим дома.

Малыш Луи и Гитту оделись, повязали галстуки и отправились в город. Жуло остался — ему надо было доделать несколько пар обуви. Я решил немного побродить с китайцами по окрестным улицам, чтобы познакомиться с районом. Жили здесь в основном только индийцы. Очень мало черных, белых почти ни одного, два или три китайских ресторана.

Вообще этот район Пенитенс-Риверс напоминал уголок Индии или Явы. Попадались очень красивые молодые женщины, старики носили длинные белые одеяния. Многие шли босыми. Бедный район, но одеты все чисто. Улицы освещены плохо, бары полны пьющих и жующих людей, отовсюду доносится индийская музыка.

Какой-то лакированно-черный негр в белом костюме и галстук остановил меня:

— Вы француз, месье?

— Да.

— Как приятно встретить соотечественника! Зайдемте куда-нибудь выпить.

— С удовольствием. Но я не один, с друзьями.

— Это неважно. Они говорят по-французски?

— Да.

И вот мы четверо сидим за столиком с видом на набережную. Негр — мартиниканец говорил по-французски просто великолепно, куда лучше нас. Он предостерег нас от общения с англоязычными неграми, сказав, что все они лжецы.

— Не то что мы, французы. Нам можно доверять.

Я улыбнулся про себя, услышав от угольно-черного негра это «мы, французы». Но тут же возникло немного неприятное чувство. Нельзя отрицать, этот мартиниканец был настоящим французом, большим французом, чем я. У него было больше прав называться им, ибо он искренне и глубоко был предан этой стране. Он был готов отдать жизнь за Францию, а я — нет. Так что он — куда более настоящий француз, чем я. Умолчав, однако, об этих своих умозаключениях, я заметил:

— Да. Я тоже страшно рад встретить соотечественника и поговорить на родном языке, тем более что по-английски я говорю очень скверно.

— Нет, я владею английским вполне прилично. Если могу быть чем-нибудь полезен, к вашим услугам. Вы давно в Джорджтауне?

— Всего неделю.

— А откуда прибыли?

— Из Французской Гвианы.

— Вот как? Так вы беглый или охранник, который хочет перейти на сторону де Голля?

— Нет. Я всего лишь беглый каторжник.

— А ваши друзья?

— Тоже.

— Месье Анри, я совершенно ничего не хочу знать о вашем прошлом. Но сейчас настал момент, когда Франция нуждается в нашей помощи. Сам я за де Голля и жду корабля в Англию. Приходите ко мне завтра в клуб моряков — вот адрес. Буду рад, если вы к нам присоединитесь.

— А как ваше имя?

— Омер.

— Месье Омер, мне трудно решиться вот так, сразу. Прежде мне надо навести справки о моей семье. Вы должны понять меня, месье Омер. В свое время Франция обошла со мной весьма жестоко, отвергла, обращалась самым нечеловеческим образом.

Мартиниканец с удивительным пылом и красноречием принялся меня переубеждать. Трогательно было слышать, какие аргументы приводил он в защиту бедной страдающей Франции.

Вернулись мы домой очень поздно. Но заснул я не сразу — долго перебирал в мыслях все, что говорил мне этот патриот Франции. В конце концов фараоны, судьи и тюрьма — это еще не вся Франция. В глубине души я продолжал любить свою родину. Страшно было подумать, что могут сделать с ней эти гунны! Боже, как, должно быть, страдает мой народ, сколько несчастий и унижений испытывает.

Проснувшись, я обнаружил, что осел, тележка, поросенок, Куик и Ван Ху исчезли.

— Ну что, браток, как спалось? — спросил Гитту.

— Спасибо, прекрасно.

— Будешь черный кофе или с молоком? А может, чай? Кофе и хлеб с маслом?

— Да, спасибо.

Я завтракал, а они уже принялись за работу. Жуло вынимал из горячей воды куски балаты и раскатывал их тонким слоем. Малыш Луи нарезал ткань, а Гитту занимался непосредственным изготовлением изделий.

— И много вы зарабатываете?

— Нет. Долларов двадцать в день. Пять уходит на ренту и еду. Все, что остается, делим. Выходит по пять на брата. На карманные расходы, одежду, прачечную.

— А что, все распродается?

— Нет. Иногда приходится выходить и торговать в городе. Целый день на ногах, на жаре. Не сладко.

— Тогда я сам займусь этим, как только партия будет готова. Не хочу быть прихлебателем. Уж хоть на еду-то надо заработать.

— Ладно, Папи, там видно будет.

Весь день я слонялся по индийскому кварталу. Наткнулся вдруг на киноафишу, и мной овладело безудержное желание увидеть цветной озвученный фильм — впервые в жизни, ведь раньше таких не было. Надо попросить Гитту сводить меня вечером. И я продолжал бродить по улицам Пенитенс-Риверс. Меня приводила в восхищение вежливость и доброжелательность здешних жителей. Да, несомненно, два самых главных качества этих людей — это безукоризненная опрятность и вежливость. Вообще прогулка по индийскому кварталу Джорджтауна произвела на меня куда большее впечатление, нежели та, в Тринидаде, девять лет назад. И еще я размышлял о своей судьбе.

Да, здесь трудно, очень трудно зарабатывать на жизнь. Гитту, Малыш Луи и Жуло далеко не дураки, а как надрываются, чтоб заработать по пять долларов в день. Нет, прежде чем думать о заработках, надо научиться жить как свободный человек. Я сидел в тюрьме с 1931 года, сейчас 1942-й. После такого долгого перерыва все проблемы с ходу не решить. Главное, знать, с чего начинать, какие-то азы. Простым ручным трудом я никогда не занимался. Когда-то разбирался в электротехнике, но теперь любой, даже самый средний специалист понимает в этом деле куда больше меня. Единственное, что я мог пообещать самому себе, — быть честным и не сворачивать с этой дороги, чего бы это ни стоило. Вернулся домой я часа в четыре.

— Ну что, Папи, как тебе воздух свободы? Небось сладок, а? Как погулял?

— Хорошо, Гитту. Прошелся по району, поглазел.

— А китайцев не видел?

— Нет.

— Да они во дворе. Надо сказать, они не пропадут, эти твои дружки. Уже заработали сорок

долларов. Хотели, чтоб я взял себе двадцать. Я, конечно, отказался. Поди, пообщайся с ними.

Куик рубил капусту для поросенка, а Ван Ху мыл осла, который, замерев от наслаждения, стоял неподвижно, как статуя.

— Ну как ты, Папийон?

— Нормально. А вы?

— Мы собой довольны. Сорок долларов заработали.

— Интересно, как?

— В три утра поехали за город. С нами был еще один китаец, у него с собой было двести долларов. И мы накупили помидоров, салата, баклажанов и разных других овощей. И еще цыплят, яиц и козьего молока. Потом поехали на базар в гавань. Сначала местным продавали, а потом подвалили американские моряки, и мы им спустили все остальное. Они были так довольны и товаром, и ценами, и тем, что завтра на базар можно не ехать. Они сказали, что будут ждать прямо у ворот порта и все оптом купят. Вот деньги. Ты у нас главный, так что держи!

— Ты же знаешь, что деньги у меня есть, Куик. Мне не надо.

— Бери деньги, или работать больше не будем.

— Слушай, эти наши французы горбчатся за какие-то несчастные пять долларов в день. Давай раздадим каждому по пять и еще внесем пятерку на еду. Остальное надо отложить, чтобы потом отдать долг этому вашему китайцу.

— Ладно.

— Завтра поеду с вами.

— Не надо. Ты спи. Если есть охота, можешь подойти к семи к главным воротам в порт.

— Договорились.

Все мы были счастливы. Теперь мы были уверены, что можем сами зарабатывать на жизнь и не быть в тягость нашим друзьям. Наверное, Гитту и его товарищи, несмотря на всю их доброту, уже беспокоятся, скоро ли мы сможем стать на ноги или нет.

— У тебя потрясающие друзья, Папийон! Давай сделаем пару бутылочек анисовой и отметим это событие.

Жуло вышел и вернулся с сахарным тростником, сиропом и какими-то эссенциями. Через час мы уже пили анисовую, совсем как настоящую, ничуть не хуже, чем в Марселе. Под воздействием алкоголя голоса наши становились все громче, а смех все веселее. Индийцы-соседи, должно быть, сообразили, что в доме у французов какой-то праздник, и пятеро из них — трое мужчин и две девушки — вошли и присоединились к нам без всяких церемоний. Они принесли цыплят и свинину на вертеле — все очень сильно наперченное и сдобренное какими-то приправами. Девушки оказались настоящими красавицами — в белых одеяниях, босые, у каждой на левой щиколотке серебряный браслет. Гитту шепнул мне:

— Ты смотри, аккуратнее! Они порядочные девушки. Не вздумай приставать или заигрывать с

ними только потому, что под платьем у них видны голые грудки. Так у них принято. Сам-то я уже старый. Но Жуло и Малыш Луи как-то по приезде сунулись однажды и обожглись на этом деле. Потом девушки к нам долго не приходили.

Да, эти две индианки были настоящие красотки. В центре лба у каждой — маленький кружочек, придававший лицам еще большую экзотичность. Они очень любезно говорили с нами, но, будучи слаб по части английского, я понял только, что они рады приветствовать нас в Джорджтауне.

Вечером мы с Гитту отправились в центр города. Совершенно иной мир, совсем не похожий на наш тихий квартал. На улицах полно народа — белые, черные, индийцы, китайцы, солдаты и моряки в форме. Бесчисленное количество баров, ресторанов, пивнушек и ночных клубов. Они так ярко освещали улицу, словно стоял день.

И вот я впервые в жизни увидел цветной фильм и был совершенно потрясен. Затем мы с Гитту заглянули в большой бар. Один, угол был сплошь занят французами. Они пили «Куба либре» — напиток, представляющий собой смесь рома с кока-колой, Все бывшие каторжники. Некоторые беглые, другие — просто удравшие из Гвианы свободные поселенцы. Жили они впроголодь, хорошую работу найти не могли, а местное население и власти глядели на них косо. Поэтому они только и мечтали о том, как бы удрать в какую-нибудь другую страну, где жизнь им казалась богаче и легче. Среди них, по словам Гитту, попадались и очень лихие ребята.

— Ну вот возьми, к примеру, меня, — сказал один парень — Вкалываю на лесоповале на Джона Фернандеса за два доллара пятьдесят центов в неделю. Раз в месяц вырываюсь на несколько дней в Джорджтаун. Совсем отчаялся.

— А ты?

— А я делаю коллекции бабочек. Ловлю их в лесу и, как наберу побольше самых разных и красивых, укладываю в стеклянные коробочки и продаю.

Другие работали грузчиками в порту. Работали все, а на жизнь никому не хватало.

— Ладно. Хотя и несладко нам приходится, зато на свободе, — сказал один парень. — А свобода — это все же здорово!

Разгоряченные напитками, мы шумели и кричали, рассказывая друг другу самые невероятные байки: мы были уверены, что единственные в этом заведении понимаем и говорим по-французски.

— Вот, взгляните на меня! — воскликнул мой сосед. —

Я делаю резиновых куколок и ручке для велосипедов. Загвоздка одна — когда девочки забывают своих кукол в саду на солнце, те, бедняжки, тают и теряют форму. Знаете, во что превратилась одна тихая улица, на которой я продавал свои игрушки? В настоящее осиное гнездо! Последнее время избегаю ходить днем по половине улиц Джорджтауна. Та же штука и с велосипедами. Стоит оставить на солнце, и тут же ручки к рукам прилипают.

— Или возьмите меня, — вмешался второй. — Я тоже работаю с балатой, делаю палочки, которые негритянские девушки втыкают в волосы для красоты. А морякам говорю, что я — единственный уцелевший с Мер эль-Кебира [19]. Ну, глядишь, кто и купит палочку из сочувствия. Они, правда, не виноваты, что остались в живых. Восемь из десяти покупаются на эту байку.

Болтовня этой публики заставила меня рассмеяться, но в глубине души я понимал, что зарабатывать на жизнь далеко не просто. Кто-то включил в баре радио — передавали речь де Голля из Лондона, обращенную ко всем французам в мире, в том числе и к тем, кто находился далеко от родной земли, в заморских колониях. Все внимательно слушали. Она была очень трогательной и эмоциональной, эта речь, и в баре стояла тишина. Внезапно один парень, немного перебравший, пожалуй, «Куба либре», вскочил и закричал:

— Братцы, это здорово! Я наконец понимаю по-английски! Я понял каждое слово Черчилля.

Все расхохотались, никто не пытался объяснить парню его ошибку.

Да, мне предстояло научиться зарабатывать на жизнь. О том, как это сложно, я прежде никогда не задумывался. Находясь в неволе, я напрочь утратил всякое чувство ответственности и понимание, какими путями можно честно заработать. Человек, так долго пробывший в заключении, где не надо беспокоиться о еде, жилье и одежде, человек, которым управляют, который отвык обладать какой-либо собственностью и привык бездумно повиноваться приказам, получать питье и еду в определенные часы, — этот человек вынужден заново учиться жить нормальной человеческой жизнью. Учиться с азов, оказавшись вдруг в центре большого города и не умея ходить по тротуарам, чтобы не сталкиваться с людьми, или переходить дорогу по правилам, чтоб его не переехала машина. Я сидел за столом, слушал разговоры, я вдруг мне захотелось в туалет. Вы не поверите, но какую-то долю секунды я высматривал охранника, у которого требовалось спросить разрешения выйти. Длилось это, повторяю, всего долю секунды, и, очнувшись, я внутренне рассмеялся и сказал сам себе: «Папийон, заруби себе на носу: отныне, если захочется тебе пописать или сделать что-нибудь еще, ты не должен спрашивать никакого разрешения ни у кого. Отныне и во веки веков!» А в кино, когда девушка-контролер выискивала местечко, куда бы нас посадить, меня так и подмывало воскликнуть: «Милая девушка, я не стою вашего беспокойства. Я всего-навсего заключенный, стоит ли хлопотать?» А потом, идя по улице, я то и дело оборачивался. Видно, Гитту было все это хорошо знакомо, потому что он сказал:

— Чего все время оборачиваешься? Смотришь, не идет ли за тобой охранник? Запомни, Папийон, они все остались там, на каторге!

В бар зашел полицейский патруль — жутко аккуратные и подтянутые английские негры. Они принялись обходить столы, проверяя у посетителей документы. Добравшись до нашего угла, сержант быстро и цепко obeжал все лица глазами. Увидел одно незнакомое — мое и сказал:

— Удостоверение личности, сэр, будьте любезны.

Я протянул документ, он сверил фотографию и отдал обратно со словами:

— Прошу прощения, но вы для меня новый человек. Добро пожаловать в Джорджтаун! — И они удалились.

Поль де Савойяр заметил:

— Эти ростбифы, от них прямо помереть можно! Знаете, кому они доверяют на все сто? Только беглым! Стоит только кому сказать, что бежал с каторги, они начинают раскланиваться и тут же отпускают на все четыре стороны.

Несмотря на позднее возвращение домой, в семь утра я уже стоял у главных ворот в порт. Примерно через полчаса появились Куик и Ван Ху с тележкой, груженной овощами с верхом. Были тут и цыплята, и яйца. Я поинтересовался, где их китайский приятель. Куик ответил:

вернуться

19

Французская военная база в бухте Ораи. После капитуляции Франции стоявшая там эскадра отказалась от предложения англичан продолжить войну против Германии или сдаться без оружия. Была потоплена английским флотом, потеряв при этом 1300 моряков.

— Но он все показал нам вчера, и хватит. Теперь и сами справимся.

— А далеко пришлось ехать?

— Да. Часа два с половиной в один конец. Выехали в три, и, видишь, только сейчас вернулись.

Куик достал горячий чай в термосе и пончики. Усевшись на парапет рядом с тележкой, мы принялись за еду.

— Думаешь, они придут, эти твои вчерашние американцы?

— Надеюсь. А если не придут, продадим другим.

— Ну а цены? Ты их знаешь?

— Чего тут знать. Я же не говорю: это стоит столько-то, а это — столько-то. Я говорю: сколько дадите?

— Но ты же не говоришь по-английски!

— Это верно. Однако пальцы и руки имеются. Можно объясниться. Кстати, ведь ты, Папийон, вроде бы говоришь по-английски. Вполне достаточно, чтобы торговаться.

— Да. Ладно, сперва посмотрим, как это у вас получится.

Ждать пришлось недолго. Подъехал большой джип. Из него вышли водитель, какой-то офицер в мелком чине и двое матросов. Офицер осмотрел салат, баклажаны и прочее. Обнюхал каждый ящик и корзину, пощупал цыплят.

— Сколько за все?

И начался торг. Американец говорил как-то странно, в нос. Я не понимал ни слова. Куик лепетал что-то по-китайски и по-французски. Видя, что они никак не могут прийти к соглашению, я отозвал Куика в сторону.

— Во сколько вам все это обошлось?

Он обшарил карманы и вынул семнадцать долларов.

— Сто восемьдесят три, — сказал он.

— А сколько он дает?

— Двести десять. Я считаю, это мало.

Я подошел к офицеру. Он спросил, говорю ли я по-английски.

— Плохо. Говорите медленней, — попросил я.

— О'кей.

— Сколько вы даете? Нет, двести десять — это очень мало. Давайте двести сорок?

Он помотал головой. Потом он притворился, что уходит, потом опять вернулся. Снова отошел и залез в джип. Но я чувствовал, что все это — просто представление. Тут вдруг подошли две наши хорошенькие соседки-индианки. Они наверняка уже давно наблюдали за этой сценой, потому что сделали вид, что не знакомы с нами. Одна подошла к тележке, заглянула в нее и спросила:

— Сколько за все?

— Двести сорок долларов, — ответил я.

— Идет, — кивнула девушка.

Тут американец выхватил двести сорок долларов и сунул их в руку Куику, говоря, что уже купил всю партию. Однако наши соседки не спешили уходить, а стояли и наблюдали, как американцы разгружают тележку и укладывают продукты в джип. В последний момент моряк схватил поросенка, видимо, думая, что он тоже входит в партию товара. Естественно, Куик начал тянуть своего любимца к себе. Разгорелся спор, американцам никак не удавалось объяснить, что поросенок с самого начала не продавался.

Я пытался сказать это девушкам, но они тоже не понимали. Американец все не отпускал поросенка. Инцидент перерастал в скандал. Ван Ху уже схватился за какую-то доску, когда вдруг подъехал джип американской военной полиции. Я велел Куику отдать деньги офицеру, во он все медлил. Моряк тоже не отпускал поросенка. Куик, растопырив руки, стоял перед радиатором машины, не давая морякам уехать. Вокруг собралась толпа. Военный полицейский уже был склонен признать правоту американцев, он тоже никак не мог вонять, из-за чего разгорелся весь этот сыр-бор. Видимо, полиция считала, что мы пытаемся обжулить моряков.

И тут вдруг я вспомнил, что тот мартиниканский негр из клуба моряков оставил мне свой номер телефона. Я показал его полицейскому со словами:

— Переводчик, переводчик!

Он отвел меня к телефону. Я позвонил. К счастью, мой приятель — голлист оказался на месте. Я попросил его объяснить полицейскому, что поросенок вовсе не товар, что это необыкновенно умное, дрессированное животное, которое служит Куику как собака, и что мы просто забыли сказать морякам с самого начала, что он не продается. Затем трубку взял полицейский. Тот выслушал и понял все. Своими собственными руками он взял поросенка и передал его совершенно счастливому Куику, который, крепко прижав к груди свое сокровище, тут же забрался в тележку. Итак, все закончилось вполне благополучно, причем американцы, узнав, в чем дело, хохотали, как дети. Толпа разошлась. Вернувшись домой, мы поблагодарили девушек. Поняв, из-за чего произошел скандал, они тоже долго смеялись.

Вот уже три месяца как мы в Джорджтауне. Сегодня мы переехали на половину дома, принадлежащего нашим друзьям-индусам. Две большие светлые спальни, столовая, маленькая кухонька с плитой, отапливаемой углем, и просторный двор, в углу которого было уже

выгорожено стойло с навесом для осла с тележкой. Мне отдали новую большую кровать с добротным матрасом. В соседней комнате на двух отдельных кроватях поуже разместились мои друзья-китайцы. Был у нас и стол, и шесть стульев, и целых четыре табуретки. На кухне — все необходимое для приготовления еды. Поблагодарив Гитту и его товарищей за доброту и гостеприимство, мы, по словам Куика, стали наконец владельцами своего собственного дома.

В столовой у окна, выходящего на улицу, стояло старое резное, совершенно великолепное кресло — подарок наших индийских подружек. На столе — свежие цветы в стеклянной плошке, раздобытой где-то Куин-Куиком.

Впервые за долгие годы у меня был свой дом, и это придавало уверенности в себе и завтрашнем дне. Пусть скромный, но светлый, чистый и уютный дом — первый плод нашей совместной трехмесячной работы.

Завтра воскресенье, рынки закрыты, значит, в мы выходные. И мы решили пригласить на обед Гитту с друзьями и девушек-индусок с братьями. Почетным гостем должен был стать китаец, который в свое время так помог Куику и Ван Ху, одолжив осла с тележкой и двести долларов первоначального капитала. На тарелке для него был приготовлен конверт с двумястами долларами и благодарственной запиской по-китайски.

На втором месте по степени привязанности после поросенка был теперь у Куика я. Он без конца выказывал мне всяческие знаки внимания — из всех нас я был одет лучше всех. Очень часто Куик приносил мне разные подарки — то рубашку, то галстук, то пару брюк. Покупая он все это на свои деньги. Он не курил и почти не пил, единственной его страстью были карты. Утренняя торговля наша тоже шла хорошо. Я научился изъясняться по-английски — достаточно прилично для того, чтобы покупать и продавать. Зарабатывали мы долларов по двадцать пять — тридцать пять в день. Немного, но и работа не слишком пыльная. Закупками я занимался редко, зато продажа целиком перешла в мои руки. Я здорово научился торговаться. В гавани постоянно толпились английские и американские моряки, вскоре они уже знали меня в лицо. Мы торговались и спорили, но вполне мирно, без эксцессов. Бывал там один очень забавный тип — здоровяк-американец итальянского происхождения, он всегда говорил со мной по-итальянски и страшно радовался, когда я отвечая ему на его языке — по-моему, он и торговался только ради этого, так как в конечном счете всегда платил ту сумму, которую я запрашивал в самом начале. Домой мы возвращались около семи-восьми вечера. Поев, Куик и Ван Ху заваливались спать. А я шел в гости — или к Гитту, или к девушкам-индускам, которые, кстати, делали всю уборку и стирку по дому за два доллара в день.

МОЯ ИНДИЙСКАЯ СЕМЬЯ

В этом городе главным видом транспорта был велосипед. И вот я тоже купил себе велосипед, чтобы быстрее передвигаться, тем более что и Джорджтаун, и окрестности располагались на довольно ровном плато, позволяя ехать с вполне приличной скоростью. На велосипеде были установлены два дополнительных прочных сиденья — одно впереди, другое сзади, и, подобно многим местным жителям, я мог возить с собой двух пассажиров.

Пару раз в неделю я выезжал на прогулку с моими подружками, девушками-индусками. Им страшно нравилось кататься. Постепенно я стал замечать, что младшая из них влюбляется в меня.

Я ни разу не видел ее отца, но вот в один прекрасный День он появился в нашем доме. Жил он неподалеку, но никогда прежде не приходил, л был знаком только с его сыновьями. Это был высокий старик с очень длинной снежно-белой бородой. Серебристо-седые волосы разделялись

на пробор, открывая высокий умный лоб. Говорил он только на хинди, дочь переводила. Он пригласил меня к себе в гости. Принцесса (так я прозвал Индару, его дочь) уверяла, что для велосипеда расстояние это пустяковое. И я с благодарностью принял приглашение.

Съев несколько печений и выпив чашку чая, отец удалился, но я заметил, как внимательно разглядывал он наш дом. Принцесса потом говорила, что отец остался очень доволен визитом.

Когда мы втроем вместе с ее сестрой отправлялись на прогулку, она обычно сидела на переднем сиденье. Я крутил педали, лица наши были совсем рядом. Если она откидывала голову, я видел под прозрачной тканью обнаженные груди во всей их нежной девичьей прелести. Огромные черные глаза сияли, рот — темно-алый на фоне чайного цвета кожи — был всегда немного полуоткрыт как бы в ожидании поцелуя. Видны красивые ровные, ослепительно белые зубки. У нее была манера произносить некоторые слова так, что виднелся кончик розового языка — одно это могло воспламенить самого что ни на есть святого из всех святых.

Однажды вечером мы решили сходить в кино. Вдвоем, так как сестра ее отказалась, сославшись на головную боль — удобный предлог, как мне показалось, чтобы оставить нас наедине. Она появилась в белом муслиновом платье, доходившем до щиколоток и открывавшем при ходьбе три узких серебряных браслета на каждой ноге. Сандалии с колечком вокруг большого пальца придавали маленькой ступне особую прелесть. А в правую ноздрю была вдет крошечная золотая раковина. С головы на спину чуть ниже плеч спускалась вуаль, поддерживаемая золотой ленточкой. А с ленточки на лоб свисали три нитки из разноцветных камушков. Пустяк, разумеется, но очаровательно. При каждом даже легком наклоне головы нитки открывали маленький синий кружок в центре лба.

Все наши чада и домочадцы — их индийская половина и Куик с Ван Ху наблюдали наше отбытие. На их лицах застыло какое-то особое, торжественное выражение, словно они ожидали, что мы вернемся из кинотеатра помолвленными.

В город мы отправились на велосипеде. Во время медленного скольжения по плохо освещенным улочкам квартала эта замечательная девушка сама, по собственному почину вдруг отклонилась назад и нежно прикоснулась к моему рту своими губками. Этот ее поступок был для меня настолько неожиданным, что я едва не свалился с велосипеда.

В кинотеатре мы сидели в заднем ряду, крепко держась за руки. Я вел с ней безмолвный разговор с помощью нежных пожатий и поглаживаний пальцами, она отвечала тем же. Фильма мы почти не смотрели, никаких слов не произносили. Да и к чему нам были слова, если ее пальчики, ее длинные аккуратно заточенные ногти и мягкая Шелковистая ладонь могли сказать так много о ее любви и желании принадлежать мне. Затем она опустила мне на плечо голову и позволила покрывать поцелуями свое чистое и прекрасное лицо.

Эта такая вначале робкая и застенчивая любовь быстро переросла в открытую всепоглощающую страсть. Перед тем как овладеть ею, я счел нужным предупредить, что никак не могу на ней жениться, так как во Франции у меня есть жена. Но это, похоже, мало ее беспокоило.

И вот однажды ночью она осталась у меня. А потом сказала, что в глазах ее братьев и соседей-индусов все будет выглядеть гораздо приличнее, если я перееду к ней, вернее, в дом к ее отцу. Я согласился и вскоре переехал; ее отец жил там с молодой женщиной, какой-то родственницей, которая ухаживала за ним и вела домашнее хозяйство. Дом этот находился всего в полукилометре от нашего с китайцами жилища. Поэтому Куик и Ван Ху частенько заходили навестить меня и, как правило, оставались к ужину.

Мы продолжали торговать овощами в гавани. Я выходил из дома примерно в половине седьмого, и моя Принцесса почти всегда сопровождала меня. Мы брали с собой термос с горячим чаем, тосты и баночку с джемом, дожидались там Куика и Ван Ху и вместе завтракали. Моя девочка приносила с собой все необходимое — даже маленькую, отделанную по краям кружевами скатерку, которую церемонно расстилала прямо на тротуаре, предварительно Сметя с него веником мелкие камушки. Затем она расставляла на ней четыре фарфоровые чашки с блюдцами. И мы торжественно принимались за еду.

Занятно было сидеть прямо на тротуаре и пить чай, словно в комнате, однако и Принцесса, и Куик принимали это как должное и не обращали ни малейшего внимания на снующих мимо прохожих. А Принцесса так и сияла от счастья, разливая по чашкам чай и намазывая тосты джемом. И, конечно, обиделась бы, если б я к ним не присоединился.

В прошлую субботу я получил ключ к разгадке одной из довольно занимательных тайн. Дело в том, что на протяжении вот уже двух месяцев совместной жизни Принцесса частенько давала мне золото. Обычно это был кусочек какого-нибудь сломанного украшения — половинка кольца, несколько звеньев цепочки, половинка или четвертинка медали или монеты, одна сережка. В деньгах я особенно не нуждался и складывал эти вещи в коробочку. Постепенно там набралось где-то около четырехсот граммов золота. А когда я спрашивал, откуда берутся все эти вещи, она только смеялась и целовала меня, и не говорила ни слова.

И вот в субботу, где-то около десяти утра, она попросила меня отвезти отца в какое-то место, названия я теперь не помню. «Отец покажет, куда ехать, — сказала она, — а у меня дома глажка и стирка». Я несколько удивился, но потом решил, что старик хочет навестить кого-нибудь из своих приятелей, и согласился.

Он сел впереди меня и указывал дорогу жестами, так как говорил только на хинди. Путь оказался неблизким — мы ехали где-то около часа и наконец оказались в довольно фешенебельном квартале на побережье. Кругом утопали в садах роскошные виллы. Мой «тесть» сделал знак остановиться, я повиновался. Старин извлек из-под пола круглый белый камень и опустил на колени перед ступеньками, ведущими в дом. Он катал камень по ступенькам и что-то бормотал. Через несколько минут из дома вышла женщина в сари и, не говоря ни слова, протянула ему какой-то предмет.

Так старик переходил от дома к дому, везде повторяя ту же самую церемонию. Часа в четыре он оказался у последнего дома, из двери которого вышел мужчина в белом. Он заставил старика подняться с колен и ввел в дом. Оставался он там с четверть часа, а потом вышел в сопровождении того же мужчины, который поцеловал его в лоб на прощание. Мы отправились домой, я старался как можно быстрее вертеть педали, так как было уже половина пятого.

Нам посчастливилось добраться домой до наступления темноты. Индара проводила отца в его комнату и тут же повисла у меня на шее, целуя и одновременно подталкивая к ванной. Там для меня уже было приготовлено прохладное чисто выстиранное льняное белье. И вот, приняв душ, я сел за стол — чистый, выбритый, весь в белом. Сел, сгорая от любопытства, но не решаясь задавать вопросы, так как знал: бесполезно заставлять индусов, равно как и китайцев, тут же выложить вам все. Должен пройти какой-то период выжидания, после чего они сами скажут вам все, если доверяют, конечно. Именно так и произошло.

Мы довольно долго занимались любовью, а потом молча, расслабленно лежали в постели, как вдруг она прижалась ко мне своей горячей щекой и произнесла, не глядя в глаза:

— Видишь ли, милый, когда мой отец идет за золотом, он ведь не причиняет этим никому

вреда. Совсем нет... Напротив, катая камень по ступенькам, он призывает духов защитить дом от несчастий. И за это люди дают ему золото, чтобы отблагодарить. Этот старинный обычай возник на Яве, откуда мы родом.

Вот что поведала мне моя Принцесса. Но однажды на базаре я разговорился с ее подружкой. Ни Индара, ни китайцы к тому времени еще не появились. Эта хорошенькая девушка — тоже с Явы — рассказала мне нечто совершенно противоположное.

— Ради чего, скажите на милость, вы столько работаете? Ведь ваша жена — дочь колдуна. И не стыдно ей выгонять вас на улицу в такую рань, особенно когда идет дождь?! Ведь вы можете совершенно спокойно и безбедно жить на то золото, что зарабатывает ее отец. Нет, не любит она вас, иначе бы не заставляла вставать так рано!

— А чем все же занимается ее отец? Ну-ка, расскажите мне, ведь я ничего не знаю.

— Ее отец — колдун с Явы. Если захочет, запросто может наслать смерть на вас и вашу семью. Единственный способ избавиться от наговора — это заставить его катать свой камень в обратную сторону. А для этого надо от него откупиться. Золотом. Иначе в дом явится смерть. Ну а если покатать камень в обратную сторону, это снимает проклятие — будет и здоровье в доме, и достаток.

— Да... А Индара говорила совсем другое.

Я решил выяснить сам, где же правда. Несколько дней спустя мы вместе с моим белобородым «тестем» отправились на берег реки, пересекавшей наш квартал и впадавшей в Демерару. Выражение, застывшее на лицах рыбаков-индусов при виде старика, сказало мне все без слов. Каждый спешил сунуть колдуну рыбу и бросался наутек, как можно дальше от реки. Да, дело ясное...

Впрочем, ко мне старик относился неплохо. Говорил только на хинди, видимо, думая, что я хоть немного понимаю его. Я же не понимал ни слова. Была в этом и положительная сторона — мы практически не могли поссориться. А потом он вдруг совершенно неожиданно подыскал мне хорошую работу — татуировать лбы девушкам-индускам в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет. Иногда они просили сделать татуировку и на грудках, и я разрисовывал их листьями, разноцветными лепестками — зелеными, розовыми и голубыми, из которых, словно пестик из цветка, торчал сосок. Самые отчаянные (это очень болезненная операция) просили вытатуировать вокруг соска ярко-желтое кольцо, а некоторые — сделать и сам сосок желтым.

Над входом в дом старик повесил вывеску с надписью на хинди, гласившей: «Мастер татуировки — умеренные цены, качество гарантируется». За эту работу прекрасно платили, и я таким образом получал как бы двойное удовольствие — любовался прелестными грудками молоденьких девушек и зарабатывал деньги.

Куик узнал, что в районе гавани продается ресторан. Придя ко мне с этим известием, он предложил купить ресторан на паях. Цена была сходная — восемьсот долларов. Продав золото, доставшееся от колдуна, и добавив наши сбережения, мы вполне могли уложиться в указанную сумму. Улица, на которой находился ресторан, была совсем маленькая, но зато проходила совсем рядом с гаванью, и народу там в любое время дня и ночи было полно. В ресторане был один довольно большой зал, декорированный в черно-белых тонах, где стояло восемь столов слева и восемь справа, а в середине находился один большой круглый стол, на который выставлялись аперитивы и фрукты. Просторная, светлая, хорошо проветриваемая кухня с двумя большими печами и двумя плитами. Чего еще можно желать...

Итак, мы купили это помещение. Индара распродала все золото. Надо сказать, ее отец был немало удивлен тем фактом, что я не тронул из него ни грамма. Он сказал.

— Я ведь давал эти вещи вам обоим. Они ваши, и вы вовсе не должны спрашивать моего разрешения на продажу. Поступайте с золотом как хотите.

Мой тесть-колдун оказался вовсе не таким уж отпетым злодеем. Что же касается Индары, то она являла собой изумительное сочетание чудесной любовницы, верной жены и надежного друга. Мы категорически не могли поссориться уже хотя бы потому, что на любое мое слово или пожелание она всегда отвечала «да». И единственное, что омрачало ее личико, это минуты, когда я татуировал грудки молоденьких девушек.

Итак, я стал владельцем ресторана «Виктория» на Уотер-стрит, в самом центре портового района Джорджтауна. Куик должен был исполнять обязанности шеф-повара — он обожал это занятие. Ван Ху — обеспечивать поставки продуктов и готовить чоу мянь, свое коронное блюдо. А готовилось оно вот как: пшеничную муку самых высших сортов смешивают с яичными желтками и взбивают. Тесто месят долго, без добавления воды. Это самое трудное — ведь оно такое тугое, что приходится крутить ногами хорошо отполированную деревянную палку, укрепленную в центре стола. Ван Ху обвивал одной ногой эту палку и, придерживая ее единственной рукой, прыгал вокруг по столу до тех пор, пока смесь не становилась восхитительно легкой и вкусной. В последний момент добавлялось немного масла, что придавало лапше особо изысканный вкус.

В свое время разорившийся ресторан стал теперь весьма популярен в округе. Посетителей, спешивших отведать блюда китайской кухни, обслуживали Индара и еще одна молоденькая и очень хорошенькая индуска по имени Дайя. Наведывались сюда и бывшие заключенные. Те, у кого были деньги, платили, те, кто их не имел, ели бесплатно. «Накормишь голодного — и тебе непременно воздастся», — говаривал по этому поводу Куик.

Все дело портила только одна мелочь — ослепительная красота Индары и второй официантки. Они открыто демонстрировали груди, просвечивающие через тонкую ткань платья; мало того, они еще сделали на них разрезы от щиколотки до бедра. Американские, английские, шведские, канадские и норвежские моряки наведывались по два раза на дню полюбоваться этими прелестями. Мои друзья называли ресторан раем для моряков. Я же был владельцем, все называли меня боссом, официантки приносили мне выручку, и я складывал деньги в карман, при необходимости разменивая.

Ресторан открывался в восемь вечера и работал до пяти-шести утра. Нет нужды говорить, что около трех к нам сходились почти все местные шлюхи — проедать заработанные за ночь деньги, лакомясь жареными цыплятами и салатом из проросшей фасоли. Появлялись они обычно в компании сутенера или клиента. Пили они пиво, предпочитая английские сорта, виски и очень хороший местный ром с содовой или кока-колой. Поскольку наше заведение постепенно превратилось в место встречи всех беглых французских каторжников, я стал их советчиком, судьей и конфидентом. Не обходилось и без эксцессов.

Однажды ловец бабочек рассказал мне о том, как ходит в джунгли и выискивает там свою добычу. В поход он брал с собой особую снасть — вырезал из картона силуэт бабочки, наклеивал на него крылышки того вида, который собирался поймать, и укреплял картонку на конце палки длиной около метра. Он держал ее в правой руке и легонько вращал, отчего казалось, что фальшивые крылышки трепещут. Охотился он обычно на светлых, залитых

солнцем вырубках. Он знал сроки выхода из куколок всех видов бабочек, надо сказать, что некоторые из них жили всего сорок восемь часов. И вот, едва солнце появлялось над вырубкой, как все они — и только что вылупившиеся, и более старые — оживали и кидались заниматься любовью, отчаянно при этом спеша, словно сознавая, что срок их недолог. Бросались они и на приманку. Если фальшивка изображала самца, слетались самки, и наоборот. А в левой руке мой приятель держал сачок, которым тут же и прихлопывал добычу. Горловина у него закрывалась, так что можно было наловить несколько особей, не опасаясь, что остальные пленницы вылетят.

Самыми красивыми среди них были ночные летуны. Но в полете они часто натыкались на разные предметы, поэтому трудно было отыскать особь с неповрежденными крылышками. Для ловли ночных бабочек мой охотник карабкался на вершину какого-нибудь высокого дерева, натягивал на раму кусок белой ткани и зажигал под ним карбидный фонарик. И отовсюду на свет слетались огромные особи с размахом крыльев от пятнадцати до двадцати сантиметров. Они словно прилипали к ткани. Охотнику только и оставалось, что умерщвлять их, прокалывая горло толстой, хорошо заточенной булавкой, не разрушавшей красоты этих созданий. И еще надо было следить, чтобы они не бились одна о другую, иначе с крылышек осыпалась пыльца и добыча теряла всякую ценность.

На витрине у меня были выставлены небольшие коллекции бабочек, жуков, мелких змей и вампиров. Шел этот товар нарасхват, так что цены были довольно высоки.

Однажды какой-то американец показал мне бабочку с нижними крыльями серо-стального цвета и верхними нежно-голубыми, пообещав пятьсот долларов, если я смогу раздобыть точно такую же, только гермафродита.

Я переговорил с моим приятелем, и он поведал мне, что поймал однажды прекрасный экземпляр того же вида и выручил за него пятьдесят долларов, а позднее один серьезный коллекционер сказал ему, что стоила эта бабочка где-то около двух тысяч.

— Так что этот янки хочет тебя фрайернуть, — сказал он. — Держит за недоумка. И пусть даже отвалит тебе за этот редкий вид полкуска, все равно, будь уверен, Папийон, свой интерес он при этом соблюдет.

— Ты прав, он тот еще жулик. А как насчет того, чтобы обдурить его?

— Как это?

— Давай приделаем два крылышка от самца к самке или наоборот.

После нескольких попыток мы сработали существо, прикрепив два крылышка от самца к великолепной самке, причем так ловко, что операции вовсе не было заметно — сделав надрезы в ее тельце и вклеив в них концы крыльев с помощью разбавленной балаты. Держались они так прочно, что можно было свободно приподнять бабочку за крыло. Я словно ненароком поместил ее в стеклянную коробочку вместе с другими бабочками, типичными для дешевой, двадцатидолларовой коллекции. Клиент клюнул на приманку. Не успел он кинуть на коробочку взгляд, как тут же возжаждал купить ее и поспешил ко мне с двадцатидолларовой купюрой. Но я сказал, что коллекция не продается, я будто бы обещал ее одному шведу. В течение двух последующих дней американец раз десять держал в руках коробочку. Наконец, не в силах больше выносить эту пытку, он предложил:

— Продайте мне одну бабочку, ту, что в середине, за двадцатку, а остальное можете оставить себе.

— А что в ней такого особенного, в этой средней? — спросил я и присмотрелся. И тут же воскликнул: — Господи, да это же гермафродит!

— Серьезно?.. Гм, да, действительно. А я не был уверен, — пробормотал янки. — Через стекло разве разглядишь... Вы не возражаете, если я ее выну? — Он начал разглядывать бабочку со всех сторон. — Ну, и сколько вы за нее хотите?

— Вы что, забыли, как предлагали мне пятьсот за точно такой же экземпляр?

— Да я много чего кому обещал, разве упомнишь... Я не хочу выгадывать за счет незнания человека, который поймал этот экземпляр.

— Пятьсот долларов или ничего.

— Идет. Придержите ее для меня. Просто сейчас со мной всего шестьдесят долларов. Завтра принесу остальное. Дайте мне расписку и выньте ее, пожалуйста, из коробочки.

— Ладно, куда-нибудь припрячу.

Назавтра, не успели мы открыть двери своего заведения, как появился этот потомок Линкольна. Он еще раз осмотрел бабочку, уже с увеличительным стеклом. У меня прямо сердце ушло в пятки, когда он ее перевернул. Но обошлось, похоже, он был удовлетворен осмотром. Заплатил, уложил бабочку в коробку, которую специально принес, попросил еще одну расписку и ушел.

Два месяца спустя за мной явилась полиция. Они увезли меня в комиссариат, где префект, прилично, кстати, говоривший по-французски, объяснил, что я арестован, поскольку один американец обвиняет меня в мошенничестве.

— Какая-то бабочка, которой вы якобы приклеили крылья, — сказал полицейский. — И, похоже, неплохо погрели на этом деле руки, речь идет о пятистах долларах Часа через два появились Индара и Куик с адвокатом.

Он прекрасно говорил по-французски. Я твердил, что ничего ни о какой бабочке не знаю. Я не ловец и не коллекционер, просто продаю иногда коробки с коллекциями по просьбе одного своего клиента, охотника за бабочками. Янки сам предложил мне пятьсот долларов, я ему ничего не навязывал. Как бы то ни было, если бабочка настоящая, он все равно нагрел меня, так как, по слухам, за такой экземпляр платят до двух тысяч.

Десять дней спустя я предстал перед судом. Адвокат выполнял параллельно роль переводчика. Я заново пересказал всю историю. В подтверждение ее правдивости адвокат представил суду каталог-ценник бабочек, где указанный экземпляр был оценен в полторы тысячи. Американец проиграл иск и должен был оплатить все судебные издержки, услуги моего адвоката плюс еще двести долларов сверху.

Все мы — и индусы, и заключенные, и члены семьи — отметили оправдательный приговор анисовой домашнего приготовления. Явившиеся на праздник родственники Индары жутко пыжились и гордились, что членом их клана является такой замечательно ловкий человек, как я. Поскольку уж кого-кого, а их не проведешь — они с самого начала были уверены, что я подклеил бабочке чужие крылышки.

Так и должно было случиться — мы продали ресторан. Индара и Дайя оказались слишком хороши собой. Их «стриптиз», впрочем, далеко никогда не заходящий, производил на

здоровенных, изголодавшихся по женщинам моряков куда большее впечатление, чем если бы девушки разгуливали по залу раздетыми донага. Мои официантки успели заметить одну закономерность: чем ближе оказывались их полуприкрытые грудки к посетителям, тем больше чаевых те давали. Поэтому они нарочно наклонялись совсем низко над столиком, выписывая счет или давая сдачу. После точно рассчитанной паузы, когда глаза моряков уже начинали лезть из орбит, чтобы лучше разглядеть все эти прелести, они выпрямлялись и говорили: «А как насчет чаевых?» Бедняги, совершенно обескураженные, тупо соображали, как вести себя дальше, но чаевые давали исправно.

И вот однажды случилось то, чего я всегда опасался. Огромный веснушчатый и рыжеволосый детина остался неудовлетворен лицеизрением полуобнаженного бедра Индары. Когда в разрезе на миг мелькнули трусики, он протянул волосатую лапу и схватил мою Принцессу словно клещами. У нее в этот момент оказался в руке полный кувшин воды, который она не замедлила обрушить рыжеволосому на голову. Кувшин разлетелся на куски, моряк рухнул на пол, стащив при этом с Индары трусики. Я бросился поднимать его, но его друзья поняли этот жест превратно — решили, что я собираюсь его бить, и не успел я и пикнуть, как один из них врезал мне прямо в глаз. Хотел ли этот морской волк, любитель бокса, заступиться за своего приятеля или просто возжаждал поставить мужу хорошенькой женщины синяк под глазом — кто его знает. Как бы там ни было, но уж слишком самоуверенным парнем при этом оказался — стал передо мной во весь рост и, размахивая кулаками, закричал

— Бокс, парень, бокс!

Удар по яйцам — мой излюбленный прием в этом виде спорта — заставил его распластаться на полу. И разгорелась драка. На помощь мне из кухни поспешил Ван Ху и приложил «боксер» по голове палкой для размешивания теста. Куик орудовал длинной двузубой вилкой. Некий парижский громила, завсегдатай танцевальных залов на Рю де Лапп, использовал стул вместо клюшки. Удрученная потерей трусиков, Индара поспешно покинула поле брани.

Финальный счет: пятеро янки получили серьезные ранения в голову, другие — парные дырки в разных частях тела — от вилки. Кругом все было залито кровью. Негр-полицейский с лоснящимся черным лицом заблокировал собою дверь, чтобы никто не мог выйти. И очень правильно поступил, в этот момент подъехал джип американской военной полиции. Размахивая дубинками, они пытались ворваться внутрь, так как видели, что их моряки все в крови, и, конечно же, жаждали отомстить. Но черный полицейский оттеснил их и телом загородил дверь со словами:

— Полиция ее величества!

И только когда подъехала английская полиция, нас вывели и запихали в черный фургон. В полицейском участке выяснилось, что, если не считать синяка у меня под глазом, никто из наших не пострадал, поэтому заверениям, что действовали мы исключительно в целях самообороны, веры было мало. Неделью спустя, уже во время суда, объяснение наше было наконец принято, и всех нас выпустили, за исключением Куика, который получил три месяца за оскорбление действием.

После этого в течение двух недель произошло еще шесть драк, и мы почувствовали, что дальше так существовать просто невозможно. Моряки не расстались со своей мечтой отомстить, и так как сами они не появлялись, а приходили какие-то совсем незнакомые личности, то различить, где друзья, а где враги, было невозможно.

Итак, мы продали ресторан, не выручив за него даже той суммы, которую в свое время

заплатили при покупке. И неудивительно — сыграла роль дурная репутация ресторана.

— Ну что будем делать, Ху?

— Передохнем, пока не выйдет Куик. Ослика и тележку уже не взять, они их продали. Самое лучшее — ничего не делать, просто отдыхать. А там видно будет.

Вышел Куик. Он рассказал, что обращались с ним в тюрьме хорошо.

— Одно паршиво — сидел в камере по соседству с ребятами, приговоренными к смертной казни. — У англичан существовал омерзительный обычай уведомлять осужденного к высшей мере за сорок пять дней, что ровно по истечении этого срока он будет вздернут на виселице в такой-то день и час. — Так вот, — продолжал Куик, — каждое утро эти двое кричали друг другу: «Еще на один день меньше, Джонни, осталось столько-то!» А другой все время ругал и оскорблял своего сокамерника.

В целом же Куик неплохо провел в тюрьме время, все его уважали.

«БАМБУКОВАЯ ХИЖИНА»

С бокситовых рудников вернулся Паскаль Фоско, один из парней, пытавшихся в свое время ограбить почту в Марселе. Его напарника гильотинировали. Из всех нас Паскаль был самым лихим парнем. К тому же он был весьма искусным механиком и, зарабатывая не больше четырех долларов в день, умудрялся содержать на эти деньги одного или двух бывших заключенных, которым в это время приходилось туго.

Рудники располагались в самом сердце джунглей. Вокруг лагеря выросла небольшая деревня, где жили шахтеры и инженеры. Оттуда в порт шел непрерывный поток алюминиевой руды, которую грузили на многочисленные корабли. Мне пришла в голову идея: почему бы не открыть в этом удаленном от всех плодов цивилизации уголке развлекательное заведение? Ведь вечерами мужчины там, должно быть, просто умирают от скуки.

— Это верно, — подтвердил Фоско. — Какие уж там заведения. Скука смертная. Ничего нет.

И вот вскоре Индара, Куик, Ван Ху и я погрузились на какую-то старую посудину и поплыли вверх по реке. Через два дня мы достигли шахты Маккензи. Лагерь, который выстроили себе инженеры и мастеровые, состоял из ряда маленьких аккуратных домиков, снабженных металлическими сетками от москитов на окнах. Но сама деревня была отвратительным местом. Ни одного строения из кирпича, камня или бетона — сплошные кое-как сложенные из бамбука и глины хижины, крытые пальмовыми ветками. Лишь на нескольких красовались крыши из оцинкованного железа. Было там и четыре ресторанчика с барами — совершенно ужасные, грязные и вечно переполненные дыры, где шахтеры дрались, чтобы получить кружку теплого пива. Ни в одном из них не было холодильника.

Паскаль был прав — в этом забытом Богом уголке можно делать бизнес.

Поскольку все улицы были покрыты грязью, в которой в сезон дождей люди всякий раз утопали чуть ли не по колено, я выбрал более высокое место, чуть в стороне от центра. За десять дней с помощью местных плотников-негров, работавших на шахте, мы соорудили прямоугольное помещение метров двадцать в длину и восемь в ширину. Тридцать столиков на четыре персоны каждый — это означало, что за один раз можно принять сто двадцать посетителей. Приподнятая над уровнем пола эстрада, бар во всю ширину помещения с дюжиной высоких вертящихся табуреток. Рядом с этим залом было выстроено и второе

помещение, состоящее из восьми спальных комнат, в которых можно было свободно разместить шестнадцать человек.

Отправившись в Джорджтаун за всеми необходимыми покупками (оборудованием, мебелью и т. д.), я нанял четырех хороших негритянских девушек для работы официантками. Дайя, с которой мы работали в ресторане, ехать отказалась. И еще я нанял девушку-индуску брэнчать на пианино. Теперь оставалось только подобрать участниц шоу.

После долгой беготни, хлопот и умасливания мне удалось убедить шестерых девиц — двух яванок, одну португалку, одну китайку и еще двух неопределенной национальности с кофейного цвета кожей — оставить занятие проституцией и стать артистками стриптиза. В маленькой лавчонке я купил старый красный занавес.

Торговец спиртными напитками снабдил меня разнообразными бутылками в кредит. Он мне доверял, и мы договорились, что раз в месяц я буду выплачивать ему энную сумму, произведя предварительно инвентаризацию, а он — снабжать меня новыми напитками по мере надобности. Старый граммофон и набор подержанных пластинок были призваны подменять пианистку, чтобы дать ей возможность перевести дух. Я отыскал также некоего старого индуса, который в свое время целиком закупил гардероб одной театральной труппы, и приобрел у него платья, нижние юбки, черные и разноцветные чулки, пояса и бюстгалтеры. Надо сказать, что вещи были в хорошем состоянии, а при выборе я руководствовался одним принципом — чем ярче, тем лучше.

Куик купил стулья, столы и столовое белье. Индара — бокалы и прочую посуду для бара. Дел было невпроворот, а до открытия оставалась всего неделя. Но мы все успели и, битком набив большую лодку, специально с этой целью нанятую у одного рыбака-китайца, тронулись в путь.

Через два дня мы были в деревне. Появление десятка хороших девушек в этой забытой Богом дыре произвело настоящий фурор. С узлами и чемоданами они проследовали в «Бамбуковую хижину» — именно так мы решили назвать наше заведение. Начались репетиции. Странно, но факт: научить моих подопечных раздеваться оказалось далеко не простым делом. Во-первых, я плохо говорил по-английски и меня мало кто понимал. Во-вторых, всю свою жизнь они учились торопливо срывать одежду, чтобы побыстрее обслужить клиента и тем самым увеличить оборот. Теперь же от них требовалось совершенно обратное — медленные эротические движения. К тому же надо было учитывать индивидуальность каждой девушки. И движения должны были гармонировать с внешностью и одеждой.

Была у нас Маркиза в розовом корсете и кринолине, отделанном белыми кружевами. Она медленно раздевалась в самой глубине сцены перед большим зеркалом, которое позволяло видеть каждую соблазнительную складочку плоти. Была еще одна звезда по прозвищу Экспресс — девушка с кожей цвета кофе с молоком и плоским гладким животиком, великолепный плод смешанного брака белого мужчины с довольно светлой кожей негритянки. Ее изумительная, очень пропорциональная фигура только выигрывала от цвета кожи. На округлые плечи падали вьющиеся от природы волосы. Главным украшением были высокие полные груди с острыми сосками почти того же светло-кофейного цвета. Прозвали ее Экспресс за то, что все части ее костюма были на молниях. Она появлялась на сцене в ковбойских штанах, широкополой шляпе и белой рубашке с кожаной бахромой на манжетах. Выходила под звуки военного марша и первым делом сбрасывала сапожки. Вслед за ними слетали и джинсы, имеющие молнии по бокам. Рубашка разваливалась на две части — на рукавах и в боковых швах тоже были молнии. На публику это производило совершенно потрясающее впечатление, так как из-под рубашки вылетали груди, словно рассерженные, что их так долго держали в неволе. Уперев руки в бока, Экспресс стояла на сцене, блистая голыми ногами и грудями, но на

голове по-прежнему красовалась шляпа. Наконец она срывала и ее и бросала на столик у сцены. С трусиками затруднений тоже не возникало. Она расстегивала их с каждой стороны и срывала этот незначительный предмет туалета. А потом стояла посреди сцены, и другая девушка передавала ей огромный веер из белых перьев, за которым и пряталась красавица.

В день открытия «Бамбуковая хижина» с трудом вместила всех желающих. Даже начальство с шахты прибыло в полном составе. Шоу закончилось танцами. Последний посетитель покинул заведение уже на рассвете. Успех превзошел все ожидания. Цены были высоки, но так и предполагалось с самого начала, и теперь я твердо верил, что вскоре в этом кабаре в самом сердце джунглей отбоя от посетителей не будет.

Четыре мои чернокожие официантки буквально сбивались с ног, не успевая выполнять заказы. На них были очень короткие юбочки, блузы с глубоким вырезом, на головах красовались красные платочки, они тоже имели огромный успех у гостей. Ван Ху и Куик стояли за стойкой бара. Я же поспевал везде, улаживая назревающие конфликты, веселя публику и подбадривая волнующихся артистов.

— Да, здорово было, ничего не скажешь! — проронил Куик, когда официантка, артистки и босс остались наконец одни в огромном пустом зале. Мы ели вместе, как одна большая семья, усталые и измученные, но донельзя довольные собой. Затем все отправились спать.

— Эй, Папийон, ты вставать собираешься?

— А который час?

— Шесть вечера, — сказал Куик. — Твоя Принцесса уже с двух на ногах и нам помогает. Все готово к вечернему представлению.

Вошла Индара с кувшином горячей воды. Умытый, побритый и бодрый, я, обняв ее за талию, двинулся к «Бамбуковой хижине». На меня со всех сторон так и сыпались вопросы.

— Ну, как я выглядела, босс?

— А я хорошо раздевалась? Может, иногда это было скучно?

— А как я пела? Попадала в такт? Слава Богу, эти люди не избалованы, им легко угодить.

Мне нравилась моя команда. Проститутки относились к своей новой работе крайне серьезно и, видимо, радовались, что оставили прежнее занятие.

Бизнес шел прекрасно. Единственное, что беспокоило, — это постоянная «взрывная» ситуация в зале. Ведь там собиралось слишком много одиноких мужчин, а девушек было мало. Каждый посетитель мечтал увести с собой одну, если не на всю ночь, то хотя бы на время. Особенным успехом пользовались артистки. Это вызывало ревность. Когда за одним столиком оказывались, например, сразу две девушки, остальные посетители начинали роптать.

Чтобы устранить ревность и недовольство среди гостей, желающих пригласить артистку за столик, я изобрел лотерею. Соорудили огромное колесо с номерами от 1 до 32. Каждый номер соответствовал номеру столика, и еще два оставались для бара. Именно это колесо определяло, за какой столик сядет девушка после стриптиза или исполнения песни. Для участия в лотерее надо было купить билет, равный по стоимости бутылке виски или шампанского.

Система имела два преимущества. Во-первых, она позволяла разрешить все споры. Победитель имел удовольствие общаться с девушкой за столиком в течение часа. К тому же сам момент «передачи» ему девушки тоже был обставлен соответствующим образом. Ну, например, когда артистка стояла на сцене в чем мать родила, прикрываясь веером, мы запускали колесо крутиться. Выпадал какой-либо номер, и девушка взбиралась на огромный деревянный поднос, выкрашенный в серебряную краску. Четверо мужчин подхватывали поднос и несли его к столику победителя. Там девушка сама распечатывала бутылку шампанского и выпивала бокал все еще совершенно обнаженная, затем соскакивала с подноса, извинялась, что придет через пять минут, и появлялась за столиком уже одетая.

Примерно полгода все шло великолепно, но с прекращением сезона дождей у нас появились новые посетители. Это были искатели золота и алмазов, в те времена их немало слонялось по джунглям. Они часто грабили и убивали друг друга, каждый носил с собой оружие. А стоило кому-то набрать мешочек золотого песка или пригоршню мелких камешков, тут же возникал соблазн пуститься в разгул. С каждой бутылки наши девушки получали приличные комиссионные. И поскольку недостатка в поклонниках у них не было, они зачастую выливали свое шампанское или виски в ведро со льдом, чтобы быстрее прикончить бутылку. И хотя клиенты в большинстве своем бывали сильно пьяны, не заметить этого было просто невозможно. Реагировали они бешено — стулья и столы так и разлетались в разные стороны.

Именно из-за этих новых посетителей все и произошло. У нас появилась новая девушка. Прозвали мы ее Цветок Корицы — за цвет кожи. Этого цыпленочка я раздобыл в трущобах Джорджтауна. Надо сказать, что ее стриптиз совершенно сводил публику с ума.

На сцену выкатывали белый шелковый диван, на котором она и раздевалась, причем делала это потрясающе изящно и сексуально. А затем, совершенно голая, растягивалась на диване и начинала ласкать сама себя. Ее длинные пальцы с заостренными ногтями так и порхали по обнаженному телу — от головы до кончиков ступней. Я не в силах описать, сколь бурной была реакция этих грубых одичавших парней из джунглей, к тому же еще распаленных алкоголем.

Цветок Корицы знала себе цену и требовала за участие в лотерее в отличие от других девушек не одну, а две бутылки шампанского. В зале сидел огромный широкоплечий золотоискатель с кустистой черной бородой — он купил целую кучу билетов в надежде выиграть Цветок Корицы, но напрасно — его номер никак не выпадал. Когда Индара стала обходить столики в последний раз, он купил у нее билеты на все тридцать номеров. Неохваченными остались только два номера бара.

Бородач был уверен в победе — еще бы, ведь он купил целых шестьдесят бутылок шампанского, в нетерпеливо поджидал, когда Цветок Корицы закончит свой последний номер. Было где-то около четырех утра. Надо сказать, что девушка к концу представления довольно сильно напилась, и вино ударило ей в голову.

Алкоголь, видимо, разрушил последние барьеры приличия, и она вытворяла такое, что захватывало дух. Мы крутанули колесо, маленькая костяная стрелка должна была указать счастливый номер.

От представления Цветка Корицы бородач еще больше воспламенился и так весь и трясся от возбуждения. Сейчас, совсем скоро ему поднесут красавицу на серебряном подносе, прикрытую веером и с двумя бутылками шампанского между стройных ножек. О боги! Катастрофа!.. Бородач проиграл. Выпал номер бара — 31. Сперва бедняга никак не мог сообразить, что происходит, и врубился только тогда, когда увидел, что девушку несут к бару. И бедняга свихнулся: вскочил, опрокинул столик и тремя прыжками достиг бара. Секунды три

понадобилось ему, чтобы выхватить револьвер и всадить в девушку три пули.

Я сбил злодея с ног с помощью резиновой американской дубинки, которая всегда была при мне. Цветок Корицы умерла у меня на руках. Итог: полиция закрыла «Бамбуковую хижину», и нам всем пришлось вернуться в Джорджтаун.

Итак, мы снова оказались дома. Индара, прирожденная фаталистка, как все индусы, восприняла этот удар судьбы спокойно. Значит, займемся чем-нибудь другим — вот вывод, который она сделала. Китайцы придерживались того же мнения. Никто не упрекнул меня за безумную идею разыгрывать девушек в лотерею, хотя именно она привела к несчастью. Мы выплатили все долги и передали матери Цветка Корицы довольно крупную сумму денег. Надо сказать, что мы не очень горевали — каждый вечер отправлялись в бар, где встречались с бывшими заключенными, и довольно славно проводили время, но постепенно я начал уставать от Джорджтауна. К тому же если раньше моя Принцесса меня не ревновала и я чувствовал себя свободным, как птица, то теперь она не отпускала меня ни на шаг и просиживала бок о бок часами, где бы мы ни находились.

Кроме всего прочего, зарабатывать деньги в городе тоже стало труднее. И вот в один прекрасный день меня обуяло безудержное желание покинуть Британскую Гвиану, бежать в какую-нибудь другую страну. Особой опасности затея эта не представляла, так как время было военное. Ни одна страна нас не выдаст, так я по крайней мере думал.

ПОБЕГ ИЗ ДЖОРДЖТАУНА

Гитту был того же мнения. Он тоже считал, что в других странах возможностей заработать на жизнь больше. И мы начали гоговиться к побегу. Я не оговорился — выезд из Британской Гвианы считался в то время тяжким преступлением. Ведь шла война, к тому же ни один из нас не имел паспорта.

За три месяца до этого из Кайенны бежал Шапар. Он жил в Джорджтауне и зарабатывал в день доллар и тридцать центов, готовя мороженое в каком-то китайском магазинчике. Он тоже мечтал удрать из города. И потом к нам хотели присоединиться еще двое — парень из Дижона по имени Депланк и еще один парень из Бордо. Куик и Ван Ху решили остаться. Им здесь нравилось. Устье реки Демерары находилось под неусыпным наблюдением и прицелом пулеметов, пушек и тяжелых орудий с торпедоносцев. Поэтому мы решили изготовить точную копию рыбацкой лодки, зарегистрированной в Джорджтауне, и выплыть на ней в море. Я проклинал себя за неблагодарность к Индаре, за то, что не в состоянии отвечать ей преданностью и любовью. Но ничего не мог с собой поделать — в эти последние дни она так прилипла ко мне, что просто действовала на нервы и выводила из всякого терпения. Есть на свете простодушные существа, которые не умеют скрывать своих страстей и желаний, обычно они не ждут, когда их возлюбленный сделает первый шаг. Моя индуска вела себя точь-в-точь так же, как те две сестры из племени гуахира. Стоило их чувствам расцвести, как они тут же отдавали себя полностью и без остатка, а если их отвергали, то впадали в отчаяние. В глубине их души нарастала боль, ощущение неудовлетворенности — это печалило меня, пожалуй, больше всего, так как я вовсе не имел намерения обижать ни Индару, ни Лали с Заремой. Приходилось делать огромное усилие, чтобы доставить возлюбленной хоть какое-то удовольствие в моих объятиях.

К побегу мы готовились основательно. Уже была куплена широкая и длинная лодка с прочным парусом и кливером. Причем готовились мы втайне, подальше от глаз полиции. Мы прятали лодку довольно далеко от нашего квартала, в одном из притоков Демерары. Она была покрашена в тот же цвет и имела тот же номер, что и китайская рыбацкая лодка,

зарегистрированная в Джорджтауне. И если ночью она вдруг попадет в луч прожектора, то полиция увидит, что только команда выглядит несколько иначе. Поэтому придется нам пригibasь, ведь китайцы, плавающие в лодке-оригинале, создания мелкие, в то время как все мы довольно крупные ребята.

Отплытие прошло гладко, и вот мы вышли из устья Демерары в море. Надо сказать, я не испытывал в этот момент особой радости, перед глазами неотступно стояла Индара. Ведь я удрал как вор, даже не попрощавшись с моей Принцессой. Ни она, ни ее отец и другие родственники не сделали мне ничего, кроме добра, а я ответил им такой черной неблагодарностью. Я и не пытался оправдаться перед собой. Правда, перед тем, как выйти из дома, я оставил на столе шестьсот долларов, но разве можно отплатить деньгами за преданность и любовь?..

В течение первых двух суток следовало держать курс на север — ведь я вернулся к своей старой идее попасть в Британский Гондурас. Команда наша состояла из пяти человек: Гитту, Шапар, Барриер из Бордо, Депланк из Дижона и я. Часов через тридцать после выхода в море на нас обрушился сильный шторм, перешедший затем в ураган. Гром, молнии, ливень, огромные неравномерные валы, словно горы, вдруг вырастающие за бортом, бешено свистящий ветер. Наше суденышко, не способное сопротивляться и сохранять нужный курс, несло по морю, как щепку. Да, таким я моря еще никогда не видел, даже представить не мог. Ветер налетал бешеными порывами и нес нас то в одном, то в другом направлении. Продлись все это неделю, и мы снова оказались бы на каторге.

Это был знаменитый циклон, сказал мне позднее месье Агостини, французский консул на Тринидаде. В тот день на его плантации погибло шестьсот кокосовых пальм — ветер переламывал стволы деревьев пополам. Дома поднимало в воздух и уносило на большое расстояние, они падали затем на землю или в море. Мы потеряли все — припасы, вещи, даже бочонок с водой. Мачта сломалась, парус унесло. Но что хуже всего — отказало рулевое управление. Каким-то чудом Шапару удалось сохранить маленькое весло. Этим предметом, похожим на лопаточку, я пытался направить лодку по курсу. Все мы разделись и соорудили нечто вроде паруса — все пошло в ход: и куртки, и брюки, и рубашки. Обломок мачты и этот парус из предметов гардероба, скрепленных кое-как оказавшейся на борту проволокой, — на них сейчас была вся наша надежда.

Наконец вновь поднялся обычный ветер, дующий в нормальном направлении, и я воспользовался им, чтобы взять курс на юг, по направлению к земле. К любой земле, все равно какой, даже к Британской Гвиане. Ожидающий нас там приговор казался сейчас блаженным избавлением от всех мучений. Надо сказать, что во время шторма, правда, какого шторма, этого ада, конца света, короче говоря, циклона, мои попутчики вели себя достойно.

Лишь на седьмой день — два последних из них погода была совершенно великолепной — мы наконец увидели землю. Наш самодельный парус, сплошь состоящий из дырок, все же сделал свое дело, хотя мне и не удалось направить лодку по нужному курсу. Все эти дни мы оставались практически голыми и здорово обгорели, это резко уменьшило нашу сопротивляемость. Особенно сильно пострадала кожа на носгах, они у нас просто пылали. В том же состоянии были губы, ноги, бедра — сырое мясо, лишенное какой-либо защиты. Жажда просто измучила. Депланк и Шапар дошли до того, что попробовали пить соленую воду, после чего им стало еще хуже. Но, несмотря на изнурительную жажду и голод, ни один из нас, повторяю, ни кто, не жаловался. И не навязывал другим своих советов и мнений. Если кому-то хотелось пить морскую воду или плескать ее на себя, говоря, что это охлаждает, никто ему не мешал. Пусть человек сам убедится, к чему это приводит, когда соль начнет разъедать раны, а вода, испаряясь, лишь усилит ощущение ожога.

Только у меня остался один открытый и видящий глаз, у остальных глаза заплыли и гноились. Яростное солнце палило столь безжалостно, что переносить это больше не было никаких сил. Депланк полуобезумел и твердил, что вот-вот бросится в море.

Последний час мне казалось, что я различаю на горизонте полосу земли. И я направил туда лодку, не сказав, впрочем, никому ни слова из боязни, что ошибаюсь. Появились птицы и начали кружить над лодкой — выходит, я не ошибся. Их крики вывели из забвения моих товарищей, лежащих на дне лодки.

Гитту прополоскал рот морской водой и пробормотал:

— Ты видишь землю, Папийон?

— Да.

— Как долго еще плыть?

— Часов пять—семь. Знаете, братцы, я уже больше не могу. Я обгорел не меньше вас, к тому же стер задницу до крови, ерзая по этой мокрой и скользкой скамейке. Ветра нет, и продвигаемся мы очень медленно. У меня прямо руки занемели держать все время это весло. Послушайте, что я хочу предложить, и скажите, согласны или нет. Давайте спустим парус и расстелим в лодке все это тряпье, чтоб защититься от чертового солнца, пока оно не зайдет. Течением лодку будет потихоньку подталкивать в землю. Или, может, кто-то из вас хочет занять мое место?

— Нет, нет, Пали. Давай сделаем именно так, как ты предлагаешь, и поспим. А кто-нибудь один останется дежурить.

Солнце стояло почти в зените, когда я предложил друзьям свой план. С чувством животного блаженства я растянулся на дне лодки в долгожданной тени. Друзья уступили мне лучшее место, где воздуху было побольше. Один остался дежурить, но и он сидел в тени. Все мы умирали от усталости и, защищенные, наконец, от безжалостных лучей, погрузились в глубокий сон.

Нас разбудил пронзительный вой сирены. Я откинул тряпье: снаружи стояла тьма. Интересно, сколько теперь времени? Сев на свое место за руль, я ощутил, как обнаженное мое тело овеивает прохлада. Вскоре я даже озяб. Зато какое облегчение — прекратилась эта попытка поджаривания живьем! Мы снова установили парус. Сполоснув лицо водой, я поднял голову и совершенно отчетливо различил землю — слева я справа. Где мы? И куда лучше держать курс? Снова послышался вой сирены, и я понял, откуда доносится звук. Справа... Что, черт возьми, они пытаются сообщить мне?

— Где мы, Папийон, как ты думаешь? — спросил Шапар.

— Честно сказать, не знаю. Если эта земля не остров, а вода вокруг — пролив, то тогда, должно быть, мы у берегов Британской Гвианы, в той ее части, что идет до Ориноко, великой венесуэльской реки, по которой проходит граница. Но если между землей справа и слева большое расстояние, то тогда этот мыс — остров, и это Тринидад. А слева Венесуэла, а это означает, что мы находимся в заливе Пария.

Карта, которую я в свое время так тщательно изучал, позволила мне сделать этот вывод. Но если слева Венесуэла, а справа Тринидад, то какой же нам следует сделать выбор? Судьба наша зависела от этого решения. Ровный свежий бриз вскоре может прибить нас к любому из

этих берегов. На Тринидаде ростбифы — то же правительство, что и в Британской Гвиане.

— Нет, обращаться с нами будут наверняка хорошо, — заметил Гитту.

— Но чем мы объясним, что покинули страну в военное время?

— А что ты знаешь о Венесуэле?

— Что там сейчас, трудно сказать, — заметил Деппанк. — Однако во времена президента Гомеса беглых каторжников заставляли работать на строительстве дорог в жутких условиях, а потом выдавали французам.

— Да, но теперь другое время. Теперь война.

— А в Джорджтауне я слышал, что они в войне не участвуют. Держат нейтралитет.

— Ты это точно знаешь?

— Конечно.

— Ну что ж, тогда нам там бояться нечего.

И слева, и справа виднелись огоньки. Снова сирена, на этот раз она дала три коротких гудка. С берега по правую руку нам просигналили прожектором. Взошла луна. С правой стороны от нас из воды поднимались две огромных черных скалы с заостренными вершинами — должно быть, именно о них предупреждали с берега.

— Эй, смотри-ка! Буй! Да не один, целая куча. Давай привяжем к нему лодку и обождем до рассвета. Шапар, спусти парус.

Шапар тут же повиновался и спустил ворох рубах и штанов, который я так торжественно называл парусом. Я подгрел к бую. К счастью, у нас сохранился кусок длинного и прочного каната, с помощью которого я и решил привязать лодку к бую. Вернее, не к нему самому, а к тросу, связывающему его со вторым, что подальше. Наверняка они были поставлены тут отметить какой-то проход. И вот, не обращая внимания на пронзительное завывание сирены, что продолжало доноситься с правого берега, мы растянулись на дне лодки и прикрылись парусом. Я довольно сильно продрог на ветру, но вскоре угрелся и заснул.

Когда я проснулся, было уже довольно светло. Из-за горизонта медленно поднималось солнце. Через прозрачную сине-зеленую толщу воды виднелось дно, заросшее кораллами.

— Ну, что будем делать? Высаживаться на берег или нет? Этот голод и жажда меня доконают.

Впервые за последние несколько дней один из нас пожаловался.

— Тем более что мы уже совсем близко, — вставил Шапар.

За двумя скалами, грозно поднимающимися из воды, отчетливо различалась земля. Итак, справа у нас Тринидад, слева Венесуэла. Нет ни малейших сомнений — мы в заливе Пария. Поэтому вода здесь голубовато-зеленая, а не желтая, как бывает в месте впадения в море такой большой реки, как Ориноко.

— Что делать? Надо думать всем вместе, один человек не может принять столь серьезное решение. Справа Тринидад, английский остров, слева Венесуэла. Что выбираете? Только

думайте быстрее — лодка и все мы в таком состоянии, что долго не продержаться. У нас тут только двое, что полностью отбыли срок, — Гитту и Барриер. Остальные — Шапар, Депланк и я — беглые и рискуем больше. Ну, что скажете?

— Самое разумное — идти в Тринидад. Про Венесуэлу мы ничего не знаем.

— Поздно решать! — воскликнул Депланк. — К нам плывет катер.

Действительно, по направлению к нам быстро двигался катер. Остановился он метрах в пятидесяти. Человек поднес ко рту мегафон. Я успел заметить, что флаг не английский. Такого флага я прежде никогда не видел: очень красивый, весь в звездах. Должно быть, венесуэльский. Позднее ему суждено было стать моим флагом, символом моей новой родины, самым трогательным из всех символов

— Кто вы? — прокричали с борта по-испански.

— Французы.

— Вы что, взбесились?

— А в чем дело?

— Да вы же к mine лодку привязали! — Поэтому вы не подходите ближе?

— Конечно. Давайте быстрее отвязывайте!

— Ладно.

Шапар в три секунды отвязал веревку. Оказывается, мы попали в самое настоящее минное поле. Наша лодка медленно тронулась вслед за катером, позднее капитан сказал, что мы не подорвались просто чудом. На борт к нам они не перешли, а просто передали кофе, горячее молоко, сахар и сигареты.

— Мы направляемся в Венесуэлу. Общаться с вами будут хорошо, это я обещаю. К себе на катер пересадить не можем, идем к маяку, забрать тяжело раненного человека. Это срочно. И не пытайтесь бежать в Тринидад, девять шансов против одного, что подорветесь на mine.

Крикнув на прощание: «Адье, буэна суэрте!» — они отплыли в сторону. Мы подняли парус. Было десять утра, я чувствовал себя гораздо лучше благодаря кофе с горячим молоком и, сунув в рот сигарету, ступил на берег — участок песчаного пляжа, где уже собралось человек пятьдесят, наблюдавших за приближением странного судна с обломком мачты и парусом, кое-как слепленным из курток, штанов и рубаш.

Тетрадь тринадцатая

ВЕНЕСУЭЛА

РЫБАКИ ИРАПЫ

Я обнаружил здесь людей и цивилизацию, доселе мне совершенно незнакомую. Те первые минуты на венесуэльской земле были столь трогательны, что у меня не хватает слов и таланта объяснить, описать и выразить атмосферу царившей там сердечности и теплоты, с которой эти люди встретили нас. Некоторые из них были черными, другие белыми, но большинство того

оттенка, который приобретает кожа европейца после нескольких дней, проведенных на солнце. Брюки у мужчин были закатаны до колен.

— Бедняги! Ну и досталось же вам! — восклицали они.

Рыбацкая деревня, возле которой мы причалили, называлась Ирапа и, согласно административному делению, входила в штат Сукре. Все женщины, присутствовавшие на берегу, тут же превратились в сестер милосердия и ангелов-хранителей — и самые молоденькие (все без исключения хорошенькие, небольшого роста, но, Боже, до чего же грациозные!), и средних лет, и настоящие старухи. Нас отвели в дом, где повесили пять гамаков, поставили стол и стулья и первым делом намазали нас с ног до головы кокосовым маслом. Мы буквально падали от голода и истощения, к тому же организмы наши были сильно обезвожены. Рыбаки хорошо знали все эти симптомы, знали, что мы должны теперь долго спать и принимать пищу часто, но небольшими порциями.

И вот мы растянулись в гамаках, и даже во сне они кормили нас, давая еду понемногу, ложечками. Силы совершенно оставили меня; в тот момент, когда они положили меня в гамак абсолютно голого и обмазанного кокосовым маслом, я погрузился в глубокий непробудный сон, и если и пил во время него, то совершенно этого не осознавая. Сперва желудки отказывались принимать пищу, и нас вырвало по несколько раз каждого, но затем дело пошло на лад.

Люди, обитавшие в этой деревне, были ужасающе бедны, но среди них не нашлось ни одного человека, который бы отказался нам помочь. Дня через три благодаря старательному уходу, а также молодости и крепости наших организмов мы встали на ноги. Сначала поднимались совсем ненадолго, затем на несколько часов, и вот уже подолгу просиживали в тени под пальмами вместе с нашими гостеприимными хозяевами. Бедность не позволяла им одеть нас всех сразу, и они разбились на небольшие группы, одна взяла шефство над Гитту, другая — над Депланком, и так далее. Обо мне заботилась, наверное, целая дюжина, не меньше. В первые дни они нарядили нас буквально во что попало — старые, изношенные, но безупречно чистые вещи. Затем стали приносить по одному предмету туалета — то новую рубашку, то пару брюк, то пояс, то туфли. Среди женщин, ухаживающих за мной, были две совсем молоденькие девушки, они напоминали индианок с примесью испанской или португальской крови. Одну звали Табисай, другую Ненитой. Они принесли мне рубашку, брюки и пару туфель, которые назывались здесь аспаргаты — кожаная подошва без каблука, а верх сделан из плетеной ткани. Ткань прикрывала ступню и пятку, оставляя пальцы открытыми.

— Вас и спрашивать не надо, откуда вы. По татуировке видно, что бежали с французской каторги.

Это особенно растрогало меня. Еще бы! Ведь они понимали, что мы были осуждены за серьезные преступления, и тем не менее помогали нам, всячески привечали и ухаживали. Когда обеспеченный человек отдает бедняку свою одежду или кормит голодного, это, безусловно, свидетельствует о доброте его души. Но когда бедняк режет испеченную в доме маисовую лепешку пополам и одну половину отдает вам, причем оставшейся ему вряд ли хватит, чтобы накормить всю свою семью, то есть делится буквально последним и с кем — с чужестранцем, беглым каторжником, — это поистине свидетельствует о величии духа.

В то утро все жители деревни — и мужчины, и женщины — вели себя как-то странно тихо. Лица встревоженные, озабоченные. Что происходит? Табисай и Ненита были со мной. Впервые за две недели мне удалось побриться. Ожоги уже затянулись тонкой розовой кожицей. До этого девушки видели меня только обросшим и плохо представляли, сколько мне на самом деле

лет. И пришли просто в восторг, когда оказалось, что я вовсе не старик, о чем они тут же простодушно поведали мне. Мне было тогда тридцать пять, хотя выглядел я на тридцать максимум. И в то же время я видел, как эти добрые существа маются и буквально не находят себе места от беспокойства.

— Что случилось? Скажи мне, Табисай, в чем дело?

— Должно приехать начальство. Из Гуирия, деревни, что недалеко от Ирапы. Полиция узнала, что вы здесь. Как это им удалось — непонятно. И они едут.

В этот момент в хижину вошла высокая и красивая чернокожая девушка в сопровождении очень стройного молодого человека, обнаженного до пояса и в брюках, закатанных до колен. В Венесуэле цветных женщин часто называют Негрита — нечто вроде прозвища, причем без какого-либо оттенка расовой или религиозной неприязни. Негрита поведала мне следующее.

— Сеньор Энрике, сюда едет полиция. С добром или злом — мы не знаем. И вот мы подумали и решили: может, спрятать вас на какое-то время в горах? Мой брат отведет вас в хижину, ни одна живая душа вас там не найдет. А мы — Табисай, Ненита и я — будем ходить к вам каждый день, носить еду и сообщать новости.

Я был очень тронут и пытался поцеловать этой благородной девушке руку, но она смущенно вырвала ее и сама поцеловала меня в щеку и лоб.

К деревне галопом подлетела группа всадников. У каждого на поясе с левой стороны, словно сабля, свисало мачете, опоясаны они были широкими патронташами, вооружение довершал огромный револьвер в кобуре. Они спешили. Высокий худой мужчина лет под сорок с монголоидным лицом, узенькими щелочками глаз и медного цвета кожей подошел к нам.

— Доброе утро! Я префект полиции. — Доброе утро, сеньор!

— Эй вы, люди! Вы почему не сообщили, что у вас тут укрылись беглые каторжники? Мне сказали, что они уже неделю как в Ирапе. А ну, отвечайте!

— Мы ждали, пока они вылечат свои раны и встанут на ноги.

— Так вот: мы сами за ними приехали. Отвезем в Гуирия. Грузовик скоро будет.

— Кофе?

— Да, пожалуй.

Мы сели в кружок и принялись за кофе. Я рассматривал лица новоприбывших и не находил в них ничего жестокого или неприятного. Обычные лица обычных людей, привыкших повиноваться приказам, которые в глубине души не всегда одобряют.

— Вы бежали с острова Дьявола?

— Нет. Приплыли из Джорджтауна, что в Британской Гвиане.

— Почему же вы там не остались?

— В тех краях трудно заработать на жизнь. Он улыбнулся.

— Считаете, что легче здесь, где нет англичан?

— Да. В конце концов ведь мы с вами одной крови — латиняне.

К нам приблизилась группа из нескольких человек. Во главе шел совершенно седой мужчина лет пятидесяти, со светло-шоколадной кожей. В его огромных черных глазах светились ум и незаурядная сила духа. Правая рука покоилась на рукоятке мачете.

— Что вы собираетесь делать с этими людьми, начальник?

— Отвезти их в тюрьму в Гуирия.

— Почему бы не позволить им остаться с нами, жить в наших семьях? Каждая с радостью возьмет одного.

— Это невозможно. У меня приказ губернатора.

— Но на земле Венесуэлы они не совершили ни одного преступления.

— Согласен. И все равно — люди эти очень опасны. Ведь не случайно французы приговорили их к каторге. Мало того, они сбежали без всяких документов, и власти наверняка затребуют их обратно, как только узнают, что они здесь, в Венесуэле.

— Мы хотели бы оставить их в деревне.

— Невозможно. Приказ губернатора.

— Все возможно. Что знает губернатор об этих несчастных? Никогда не стоит ставить на человеке крест, что бы он там ни натворил. В жизни всегда подвернется случай исправиться и стать добрым и полезным человеком для общества. Разве не так, люди?

— Да, — ответили женщины и мужчины хором. — Оставьте их с нами! Мы поможем им начать новую жизнь. Они уже целую неделю здесь, и мы знаем о них достаточно. Знаем, что люди они порядочные.

— Люди, более умные и образованные, чем вы, считают, что им место за решеткой. Чтоб больше не причиняли никому вреда, — ответил префект.

— А что вы называете цивилизацией, шеф? — вмешался я. — Вы думаете, что раз во Франции есть лифты, самолеты и поезд, бегающий под землей, то французы более цивилизованный народ, чем эти добрые люди, приютившие и выхаживавшие нас? Позвольте сказать, по моему скромному мнению, цивилизация тем выше, чем больше доброты и понимания в каждом члене этого общества, живущего просто и без затей на лоне природы, даже если это общество лишено всех плодов индустриальной цивилизации. Пусть они не пользуются плодами прогресса, зато имеют куда более высокие и истинные понятия о христианском милосердии, чем все так называемые цивилизованные народы в мире. Уж лучше я буду иметь дело с неграмотным человеком из этой деревушки, чем с выпускником Сорбонны. Первый — всегда человек, второй забыл, что это такое.

— Я понимаю, что вы хотите сказать. И все же обязан подчиняться приказу. А, вот и грузовик. И, пожалуйста, без инцидентов.

Каждая группа женщин обняла на прощание своего подопечного, Табисай, Ненита и Негрита рыдали, целуя меня. С каждым из мужчин мы попрощались за руку, они всячески показывали, как страдают от того, что нас увозят в тюрьму.

Прощайте, люди Ирапы, чье мужество и благородство противостояло властям, чтобы защитить нас, кого вы знали всего несколько дней. Хлеб, что я ел здесь, который вы отрывали от себя, отдавая нам, стал для меня отныне символом братства, отражающим древнюю истину: «Помоги каждому, кто страдает более тебя, поделись последним с голодным, если сам владеешь хоть малостью».

ТЮРЬМА В ЭЛЬ—ДОРАДО

Через два часа мы достигли большой деревни, порта с претензией на город, под названием Гуирия. Префект передал нас шефу местной полиции. В полицейском участке обращались с нами хорошо, но тем не менее тщательно допросили, причем какой-то туповатый офицер, ведущий допрос, напрочь отказывался поверить в то, что прибыли мы сюда из Британской Гвианы уже свободными людьми. Мало того, когда он попросил объяснить, почему мы прибыли сюда в таком плачевном состоянии, ведь путь был не столь уж далеким, и я рассказал ему о циклоне, он заявил, что мы над ним попросту издеваемся.

— Два больших корабля, груженных бананами, потонули во время этого шторма вместе с командой, — сказал он. — И корабль, груженный бокситом. А вы будете рассказывать мне сказки, что уцелели на какой-то лодчонке, открытой всем ветрам! Кто поверит такой чепухе? Да последний дурак с базара есть этого не станет! Вы лжете! И вообще во всей этой истории есть что-то подозрительное.

— Можете проверить в Джорджтауне.

— Я не хочу, чтоб меня подняли на смех англичане!

Не знаю уж, какой доклад состряпал этот Фома Неверующий, но на следующий день нас разбудили в пять утра и, скованных одной цепью, поместили в грузовик, который отправился в неизвестном нам направлении.

Мы под охраной десятка полицейских ехали по направлению к Сьюдад-Боливару, крупному городу, являющемуся столицей штата Боливар. Грунтовая, совершенно отвратительная дорога, где нас с полицейскими отчаянно подбрасывало и трясло, словно мешки с картошкой, причем длилась эта мука ровно пять дней. Ночевали мы в грузовике, а наутро снова пускались в путь по этой выматывающей тело и душу дороге, ведущей Бог ведает куда.

Наконец, удалившись от побережья километров на тысячу, не меньше, мы достигли цели. Грузовик прибыл в Эль-Дорадо. Кругом простирались девственные тропические леса. И охрана, и арестанты были вконец измотаны.

Несколько слов об этом самом Эль-Дорадо. Некогда на эти места возлагали большие надежды испанские конкистадоры, прознавшие, что проживающие в округе индейцы имеют золото. Им тут же пригрезилось, что здесь должны быть груды золота, ну, если не вся земля под ногами сплошь из золота, то хотя бы часть ее. Теперь же Эль-Дорадо — всего лишь навсего деревня на берегу реки, кишасей пираньями. Эти кровожадные рыбки способны сожрать человека и любое крупное животное за каких-нибудь несколько минут. Водились здесь и электрические угри, молниеносно поражающие жертву током, а затем объедающие гниющий труп до скелета. Посреди этой милой реки находился остров, а на острове — самый настоящий концентрационный лагерь.

Эта каторга-колония была самой чудовищной из всех, которые я видел в жизни. По форме территория представляла собой квадрат сто пятьдесят на сто пятьдесят метров, обнесенный проволокой под током. Человек четыреста заключенных жили здесь практически под

открытым небом, от дождя их защищали несколько навесов из оцинкованного железа, где места все равно всем не хватало.

Нас ни о чем не спрашивали и в объяснения тоже не вдавались, просто втолкнули в эту клетку прямо с грузовика, шатающихся от усталости и в кандалах. Они даже не потрудились записать наши имена. Примерно через полчаса нас вызвали и дали двоим лопаты, а троим — кирки. Нас окружили пятеро солдат, вооруженных ружьями и бичами из бычьей кожи. Командовал ими капрал.

Под угрозой быть исхлестанными бичами мы поплелись к тому месту, где шли работы. Мы тут же сообразили, что тюремная охрана только и ждет, чтобы продемонстрировать силу, и что проявлять неповиновение здесь крайне опасно.

Нас заставили копать канаву вдоль дороги, идущей сквозь джунгли. Мы без лишних слов принялись за дело в стали копать, не прерываясь ни на минуту. Вокруг слышались брань и звуки жестоких ударов, которыми охранники осыпали заключенных. Уже сам факт, что нас выгнали на работу через полчаса после прибытия, показывал, какие тут царят порядки.

Выла суббота. Грязные и потные, мы приплелись после работы в лагерь.

— Эй, французы! Пятеро! Подойти сюда! — крикнул капрал, высоченный полукровка с бичом в руке.

Это чудовище отвечало за дисциплину на территории лагеря. Нам показали, где повесить гамаки — прямо под открытым небом, у ворот. Над ними, правда, оказался узенький железный навес, значит, от дождя и солнца мы будем кое-как укрыты.

Большинство заключенных были колумбийцами, остальные — венесуэльцы. Ни один из каторжных лагерей Французской Гвианы не мог сравниться с этой колонией по степени жестокости обращения. Тут бы и лошадь сдохла от побоев. Но, как ни странно, почти все сидящие здесь были вполне крепки и здоровы на вид. Дело в том, что еды тут давали вдоволь, причем хорошего качества. Мы провели небольшой военный совет. И решили: если кого из наших ударит солдат, надо лечь на землю и не вставать, чего бы там они над ним ни вытворяли. Тогда этот факт обязательно дойдет до ушей офицера, и мы спросим его, на каком основании содержатся в колонии люди, не совершившие никакого преступления. Двое из наших, уже отбывшие срок Гитту и Барриер, попросят, чтобы их вернули во Францию. Затем мы решили вызвать капрала. Говорить с ним должен был я. Прозвали здесь этого монстра Негро Бланко (Белый Негр). Гитту сходил за ним. Монстр появился, со своим бичом он, похоже, никогда не расставался. Мы окружили его.

— Чего надо?

— Хотим сообщить вам одну вещь, — начал я. — Мы не нарушили ни одно из здешних правил, поэтому нет причин бить нас. Но мы успели заметить, что вы лупите своим бичом всех подряд без разбора, просто любого, кто попадется под руку. И решили предупредить вас вот о чем: в тот день, когда вы ударите одного из нас, вы покойник. Понятно?

— Да, — ответил Негро Бланко.

— И еще один момент.

— Что еще? — спросил он ровным безжизненным тоном.

— Если все, что я только что сказал, придется повторять, то я повторю это офицеру, а не солдату.

— Ладно. — И он повернулся и ушел.

Все это произошло в воскресенье, когда заключенных на работу не выгоняли. Появился офицер.

— Ваше имя?

— Папийон.

— Вы вожак французов?

— Нас пятеро, и мы все вожаки.

— Тогда почему именно вы говорили с капралом?

— Потому что я лучше других знаю испанский.

Со мной говорил офицер в чине капитана национальной гвардии. Он объяснил, что не является здесь самым высоким начальством, над ним стоят еще двое, просто в данный момент их нет. Они приедут во вторник.

— Говоря от своего имени и имени своих товарищей, вы, насколько я понял, обещали убить любого охранника, ударившего хоть одного из вас. Я вас верно понял?

— Да, и обещание свое мы сдержим. Но, с другой стороны, я также обещал, что мы не будем делать ничего, заслуживающего телесных наказаний. Возможно, вам известно, капитан, что никакой суд нас к этому заключению не приговаривал, так как на территории Венесуэлы мы преступлений не совершали.

— Нет, я этого не знаю. Вы поступили в лагерь без всяких сопроводительных бумаг, если не считать записки от начальника полиции в Гуирия, где сказано: «Этих вывести на работы сразу по прибытии».

— Ладно, капитан. Вы человек военный и, надеюсь, порядочный. Постарайтесь убедить ваших надсмотрщиков, что с нами нельзя обращаться, как с остальными заключенными, хотя бы до прибытия начальства. Еще раз повторяю: мы не совершали никакого преступления и приговаривать нас к лагерным работам совершенно не за что.

— Хорошо. Я дам соответствующие указания. Надеюсь, вы меня не обманываете.

В воскресенье у меня было достаточно времени, чтобы понаблюдать за жизнью заключенных. Первое, что меня удивило, — это прекрасная физическая форма, в которой они все находились. Второе: побои стали здесь столь заурядным явлением, что все они, казалось, привыкли к ним и словно не замечали. Даже в воскресный день, день отдыха, когда их вполне можно было бы избежать, держа себя, что называется, в рамках, они, видимо, испытывали некое мазохистское удовольствие, играя с огнем, то есть не переставая делать запрещенные вещи — играли в кости, трахали какого-то мальчишку в сортире, воровали друг у друга, выкрикивали непристойности при виде женщин, пришедших из деревни торговать сладостями и сигаретами. Они и сами торговали — обменивали какую-нибудь плетеную корзиночку или резную поделку из дерева на пачку сигарет или несколько монет. Находились и такие, что отнимали у женщин

их товар — прямо через колючую проволоку, а потом отбегали и прятались среди остальных.

Воскресенье мы провели в своей компании за питьем кофе, курением сигарет и болтовней. Несколько колумбийцев пытались к нам подойти, но мы вежливо, но твердо отбивали их. Надо было держать марку, показывая, что мы — люди совсем иного сорта, иначе конец.

В понедельник в шесть утра после плотного завтрака нас снова вывели на работу. Работы начинались со следующей церемонии: две колонны выстраивались друг против друга. В одной пятьдесят заключенных, в другой — столько же солдат, по одному на каждого. Между этими двумя рядами лежали на земле инструменты — кирки, лопаты, топоры, тоже ровно пятьдесят штук.

Сержант выкрикивал:

— Такой-то и такой-то, поднять!

Бедняга бросался вперед и хватал инструмент. Не успевал он вскинуть его на плечи и отойти к рабочему месту, как снова звучала команда:

— Следующий! — и так далее.

Вслед за несчастным кидался солдат и хлестал его бичом. Эта безобразная сцена повторялась дважды в день. Мы ожидали своей очереди, застыв в напряжении. К счастью, для нас был избран иной вариант.

— Эй, французы! Пятеро! Подойти сюда! Кто помоложе, берут кирки и топоры, постарше — лопаты!

И к своему рабочему месту мы отправились не бегом, а просто быстрым шагом в сопровождении четырех солдат и капрала. Этот день показался мне куда длиннее и утомительней первого. Несколько заключенных были объектом наиболее частых и жестоких истязаний, в полном изнеможении эти несчастные валились на колени, умоляя больше не бить их, и завывали при этом, как безумные. К полудню полагалось сложить из сучьев вырубленных деревьев и кустарников одну большую поленницу и поджечь. Остальные должны были подчищать за ними вырубку, а затем из полуобгоревших поленьев устроить огромный костер в центре лагеря. Каждый должен был подобрать полено и, подгоняемый бичом, бежать в лагерь. Во время этой безумной гонки все абсолютно сходили с ума и в спешке иногда хватали сучья за горящий конец. Длилось это часа три; босые люди бегали по углям, сжигая руки и ноги и осыпаемые градом ударов. Ни одного из нас, однако, на расчистку вырубki не послали. И слава Богу. Ведь мы сговорились работать, опустив головы и не произнося лишних слов, готовые в случае оскорбления выхватить у солдата ружье и начать стрелять в толпу этих подонков.

Во вторник нас на работу не отправили, а вызвали вместо этого в контору, где мы предстали перед двумя майорами национальной гвардии. Узнав, что мы попали в Эль-Дорадо без всяких документов и решения суда, они пришли в страшное изумление. И обещали обратиться к губернатору за решением этой проблемы.

Ждать пришлось недолго. Эти два майора, люди, безусловно, жестокие и слишком далеко зашедшие в своем служебном рвении, тем не менее повели себя корректно и упростили губернатору приехать лично, чтобы разобраться с нами.

Он прибыл с каким-то своим родственником и двумя офицерами национальной гвардии.

— Французы, я губернатор. Вы хотели переговорить со мной. В чем проблема?

— Прежде всего нам хотелось бы знать, какой именно суд приговорил нас к каторжным работам в этой колонии? На сколько и за какое преступление? Мы прибыли в Венесуэлу морем. Мы не совершили никакого преступления. Тогда почему мы здесь? И какое они имеют право заставлять нас работать?

— Начнем с того, что идет война, и нам надо точно знать, кто вы такие.

— Разумеется. Но это вовсе не означает, что нас надо сажать в лагерь.

— Вы бежали с французской каторги, и нам хотелось бы выяснить, не желают ли французские власти вернуть вас обратно.

— Допустим. Но еще раз повторяю: вы не имеете права обращаться с нами как с преступниками.

— На данный момент вы задержаны за бродяжничество и отсутствие документов, удостоверяющих личность. До тех пор, пока не будет проведено соответствующее расследование.

Спор продолжался бы бесконечно, если б один из офицеров не прервал его следующей сентенцией:

— Губернатор, я полагаю, что до тех пор, пока в Каракасе не решат, как поступить с этими людьми, мы должны подобрать им какое-то другое занятие и не выгонять на каторжные работы.

— Это очень опасные типы. Они угрожали убить капрала, если тот попробует их ударить. Разве не так?

— Не только его, губернатор, но любого, кто посмеет тронуть хоть одного из нас.

— А что если это будет солдат охраны?

— Все равно. Мы не заслужили такого обращения. Наш закон и наша тюремная система, может, и суровее вашей, но мы не допустим, чтоб нас хлестали бичом, как каких-то скотов!

Губернатор обернулся к офицеру с торжествующим видом:

— Я же сказал — они крайне опасны!

Тут тот майор, что постарше, молчавший все это время, огорошил присутствующих следующим высказыванием:

— Эти беглые французы правы. Они не совершили на территории Венесуэлы ничего такого, что оправдывало бы их пребывание в заключении и подчинение правилам здешнего режима. Так что есть два выхода, губернатор: или мы находим им другую работу, или не посылаем на работу вообще. Если они окажутся вместе с другими заключенными, тогда рано или поздно какой-нибудь солдат их ударит.

— Посмотрим. Пусть пока побудут в лагере. Я приму решение и завтра сообщу. — И губернатор удалился вместе со своим родственником.

Я поблагодарил офицеров. Они дали нам сигарет и обещали добавить пункт в приказ по режиму, запрещающий применять к нам телесные наказания.

Вот уже неделя, как мы здесь. На работу нас больше не выгоняли. Однако вчера — в воскресенье — произошло нечто ужасное. Колумбийцы бросали между собой жребий — кому убивать Негро Бланко. Выпал он одному парню лет под тридцать. Ему вручили металлическую ложку которая была заточена о цемент наподобие кинжала. Парень сдержал слово — он нанес Негро Бланко три раны в область сердца. Капрала унесли в госпиталь, а убийцу привязали к столбу в центре двора.

Солдаты сновали взад-вперед, как безумные, пытаясь отыскать остальное оружие. Они были в ярости, и, когда одному показалось, что я не слишком быстро стягиваю с себя брюки, он хлестнул меня бичом по заднице. Барриер схватил скамейку и обрушил ее на голову солдату. Второй охранник пронзил моему товарищу руку штыком. Я же нанес обидчику удар по яйцам и уже завладел его ружьем, когда раздался крик:

— Эй, вы все, полегче! Французов не трогать! Француз, брось ружье! — Это был капитан Флорес, принимавший нас в первый день. Он вмешался вовремя — я как раз собирался выстрелить в толпу. Если б не он, я наверняка уложил бы одного или двух человек, и мы распрощались бы с жизнью. Нелепая смерть в джунглях Венесуэлы, в этом забытом Богом уголке, в лагере, не имевшем к нам никакого отношения, равно как и мы к нему.

Благодаря вмешательству капитана солдаты нас отпустили и бросились удовлетворять свои садистские инстинкты на других. Мы невольно стали свидетелями самого чудовищного зрелища из всех, о которых когда-либо доводилось слышать человеку.

Привязанного к столбу колумбийца хлестали одновременно бичами двое солдат и капрал. Они, конечно, менялись. Длилось это с пяти вечера и до шести утра. Как мог несчастный выдержать все это — уму непостижимо. Правда, делались короткие передышки, во время которых парня допрашивали: кто его сообщники, кто дал ему ложку и кто ее заточил. Он никого не выдал, несмотря на то, что палачи обещали тотчас же прекратить пытку. Несколько раз он терял сознание. Его приводили в чувство, окатывая водой из ведер. Часа в четыре мучители заметили, что кожа несчастного уже не реагирует на удары, и оставили его в покое.

— Он умер? — спросил офицер.

— Не знаем.

— Отвяжите его и поставьте на четвереньки.

Палачи поставили колумбийца на четвереньки. Затем один из них взял бич и изо всей силы хлестнул несчастного между ягодицами, наверняка задев при этом половые органы. Этот «мастерский» удар вызвал у жертвы мучительный вопль.

— Продолжайте, — сказал офицер, — он еще не умер.

Они продолжали избивать его до рассвета. Эта средневековая пытка могла бы прикончить лошадь, но только не этого колумбийца. Его оставили в покое на час, а затем вылили на него несколько ведер воды. У несчастного достало сил встать на ноги с помощью нескольких солдат. Появился санитар со стаканом какой-то жидкости.

— Вот, выпей-ка микстурки, — сказал он, — это тебя взбодрит.

Колумбиец несколько секунд колебался, затем осушил стакан одним глотком. И через секунду повалился на землю с тем, чтоб уж больше никогда с нее не подняться.

В агонии он успел произнести несколько слов:

— Дурак... Они тебя отравили...

Нет нужды говорить, что ни мы, ни другие заключенные и пальцем не шевельнули, чтобы помочь ему. Все были парализованы страхом. Второй раз в жизни мной овладело неистребимое желание умереть. Невдалеке стоял солдат, он держал свое ружье как-то небрежно, и несколько минут я боролся с желанием выхватить у него оружие. Остановила только мысль о том, что, прежде чем я начну стрелять в этих мерзавцев, они меня наверняка прикончат.

Месяц спустя Негро Бланко вернулся к исполнению служебных обязанностей, на этот раз с еще большим рвением. Однако, видно, судьба ему была умереть в Эль-Дорадо. Однажды какой-то охранник прицелился в него, когда он проходил мимо.

— На колени! — крикнул он. Негро Бланке повиновался.

— Молись! Ты сейчас умрешь!

Он позволил ему прочитать короткую молитву и убил тремя выстрелами в упор. Заключенные считали, что он сделал это потому, что не мог спокойно видеть садистских штучек этого мерзавца. Другие говорили, что Негро Бланко опозорил этого солдата перед офицерами, рассказав, что знал его еще по Каракасу и что до армии тот воровал. Негро Бланко похоронили невдалеке от колумбийца, который хоть и был действительно вором, но обладал незаурядной стойкостью и мужеством.

Все эти события, безусловно, мешали властям принять относительно нас какое-либо решение. Более того, все заключенные в течение двух недель оставались в лагере и на работу не выходили. Руку Барриера вылечил какой-то врач из деревни.

Обращались с нами хорошо. Шапар через день ходил в деревню, где готовил губернатору обед. Гитту и Барриера освободили, так как из Франции пришло сообщение, что срок свой они уже отбыли. Что же касается меня, то пришел рапорт вместе с моими отпечатками пальцев и информацией о том, что я осужден пожизненно, где указывалось также, что Шапар и Депланк имеют каждый двадцатилетний срок. Губернатор был крайне доволен этими новостями.

— И все же, — сказал он, — раз вы не сделали ничего дурного на территории Венесуэлы, мы поддержим вас еще немножко, а там отпустим. Но глядите: чтоб вести себя пристойно и работать хорошо! За вами будет особое наблюдение.

В разговорах со мной офицеры довольно часто жаловались на нехватку свежих овощей. В деревне занимались сельским хозяйством, но овощей почему-то не выращивали. Там были рисовые и кукурузные поля, сажали также черные бобы — вот, собственно, и все. Я обещал им развести огород, если, конечно, меня обеспечат семенами. Сказано — сделано.

Мы с Депланком получили возможность выходить из лагеря. Позднее к нам присоединились еще двое заключенных, отбывших свой срок и арестованных в Сьюдад-Боливаре. Одного из них звали Тото, он был из Парижа, второй — корсиканец.

Вчетвером мы сложили из дерева два маленьких, но крепких домика с крышами из пальмовых ветвей — один для меня и Депланка, другой для наших товарищей. Мы с Тото соорудили

высокие подставки на ножках, которые находились в тазах с мазутом — это чтобы муравьи не сожрали семена, — и вскоре получили прекрасную рассаду помидоров, баклажанов, дынь и зеленой фасоли. Затем начали высаживать рассаду на грядки. Вокруг стеблей томата делалась маленькая канавка или углубление, постоянно заполненное водой — это увлажняло почву и предохраняло растения от вредителей, которые теперь не могли подобраться к ним.

— Эй, а это что такое? — спросил как-то Тото. — Смотри, какой блестящий камушек.

— А ну, помой-ка его, друг.

Он протянул мне камень. Это был кристалл размером с горошину. Промытый водой, он заблестел еще ярче, особенно в месте откола от скалы, где был вкраплен в какую-то очень твердую горную породу.

— Может, алмаз?

— Да заткнись ты ради Бога, Тото! Если даже и алмаз — тем более нечего поднимать шума. А вдруг нам повезло, и мы наткнулись на кимберлитовую трубку? Припрятать-ка лучше, вечером еще поглядим.

Вечером я давал урок математики. Учеником моим был капрал (теперь он уже полковник), готовившийся к экзаменам на офицерское звание. Сейчас этого простодушного и очень доброго человека — эти качества проверены вот уже двадцатипятилетней дружбой — называют господином полковником Франсиско Баланьо Утрера.

— Франсиско, что это такое? Кусок кварца?

— Нет, — сказал он, тщательно осмотрев находку. — Это алмаз. Спрячь получше и никому не показывай. Где ты его нашел?

— Под помидорной рассадой.

— Странно... Может, затащил туда вместе с речной водой? Ты ведь, когда набираешь воду, скребешь небось краем ведра о дно?

— Ну, иногда.

— Тогда точно оттуда. Ты принес этот алмаз с реки. Посмотри хорошенько, может, и еще есть. Обычно они по одному не попадают. Там, где нашел один, ищи и другие.

Тото принялся за дело. В жизни своей он еще никогда так не пахал. Он так старался, что два его напарника, которым он, разумеется, ничего не сказал, только удивлялись и твердили:

— Да не надрывайся ты так, Тото. Ты ж помрешь, а всей воды с реки все равно не перетаскаешь. К тому же ты еще и с песком ее носишь.

— А это чтоб почва была рыхлой, дружище, — отвечал Тото. — Если смешать ее с песком, она лучше пропускает воду.

Мы смеялись над ним, а Тото все таскал ведро за ведром без остановки. Однажды в полдень, когда все мы сидели в тени, он, проходя мимо нас, споткнулся и упал. Из песка выкатился алмаз размером с две горошины. И тут Тото сделал ошибку — рванулся вперед и схватил камень.

— Э-э, — протянул Депланк, — да это никак алмаз! Солдаты говорили, что в реке встречаются алмазы и золото тоже.

— Поэтому я и таскал эту проклятую воду. Теперь вы видите, что я не такой уж вовсе дурак, — сказал Тото. Он даже испытывал облегчение: отныне никто не станет смеяться над его чрезмерным усердием.

Короче говоря, через полгода Тото набрал где-то около семи-восьми каратов, а я — примерно двенадцать и еще штук тридцать совсем мелких камешков, попадающих в категорию промышленных алмазов. Но однажды я нашел один камень весом больше шести каратов. Когда позднее в Каракасе ювелир огранил его, из него получился бриллиант в четыре карата — он до сих пор сохранился, я ношу его в кольце, не снимая ни днем, ни ночью. Депланк и Антарталя тоже набрали ценных камушков. У меня сохранился патрон, в который я и сложил свое богатство. Ребята же сделали себе некое подобие патронов из рога и тоже хранили алмазы в них.

Никто об этом ничего не знал, за исключением будущего полковника Франсиско Баланьо. Помидоры и другие овощи росли исправно, офицеры щедро расплачивались с нами за столь существенную прибавку к столу.

Мы пользовались довольно большой свободой. Работали без охраны, ночевали в двух своих хижинах. В лагерь даже не заглядывали. Время от времени мы пытались убедить губернатора отпустить нас, на что он неизменно отвечал: «Скоро, скоро». Но прошло вот уже более восьми месяцев, а мы по-прежнему торчали в Эль-Дорадо. И я начал поговаривать о побеге. Тото и слышать об этом не желал, равно как и другие. Тогда я купил крючок и леску и начал исследовать реку. Заодно ловил и продавал рыбу — особым спросом пользовались пресловутые пираньи, эти кровожадные хищники, весившие около килограмма. Зубы у них были устроены как у акул, жутко опасные твари.

Сегодня в лагере случилось чрезвычайное происшествие. Гастон Дюрантон, известный своим друзьям под кличкой Торду или Горбатый, бежал, прихватив с собой из губернаторского сейфа семьдесят тысяч боливаров.

История этого типа весьма примечательна. Еще ребенком он был отправлен в исправительную школу на остров д'Олерон, где работал в сапожной мастерской. Однажды во время работы он умудрился повредить себе ногу. Лечили его плохо, бедренная кость срослась неправильно, и в совсем юном возрасте он стал калекой. Больно было смотреть, как он ходит — худенький, сгорбленный мальчик, приволакивающий за собой непослушную ногу. На каторгу он попал в возрасте двадцати пяти лет. Неудивительно, что, проведя практически все детство в исправительной школе, парень пристрастился к воровству.

Все называли его Торду, Горбатый, но, несмотря на физическую немощь, ему удалось бежать с каторги и добраться до Венесуэлы. В те времена страной правил диктатор Гомес. Немногим заключенным удавалось вынести режим, установленный им в тюрьмах и на каторгах.

Торду арестовала специальная полиция Гомеса и отправила работать на строительство дорог. Французские и венесуэльские каторжники трудились, прикованные цепями к тяжелым железным ядрам с клеймом в виде трех лилий — гербом Тулузы. На все жалобы был один ответ: «Но эти цепи и ядра поставяет ваша страна. Вот, глядите, клеймо!»

Так вот, Торду ухитрился сбежать во время дорожных работ. Через несколько дней его схватили и привезли обратно. Раздели, уложили лицом вниз на землю на глазах всех

заклученных и приговорили к ста ударам бичом.

Обычно даже очень здоровый мужчина не выдерживал больше восьмидесяти. К счастью, Торду был страшно худ. Он лежал плашмя, вжавшись телом в землю, и удары не достигали цели — они не могли разорвать печень, что обычно случалось при таких экзекуциях. После избиения мучители присыпали солью оставшиеся на теле раны и оставляли жертву на солнце. Голову же заботливо прикрывали большим свежим листом — желательно было, чтобы жертва погибла от избиения, а не от солнечного удара.

Торду выдержал эту средневековую пытку и, поднявшись на ноги, к своему изумлению обнаружил, что больше не горбится. Удары бича сломали неправильно сросшийся сустав, и бедренная кость стала на место. Никто не мог ничего понять, солдаты и заключенные твердили, что случилось чудо: Бог вознаградил несчастного за то, что он с таким мужеством перенес эти ужасные страдания. С него тут же сняли цепи и ядра. Затем долго лечили, после чего Торду была поручена относительно легкая работа — носить воду для заключенных, занятых на строительстве. Он выпрямился, окреп и, поскольку хорошо питался, вскоре превратился в настоящего атлета.

В 1943 году он снова бежал и осел в Эль-Дорадо. Рассказывал всем, что и до этого жил в Венесуэле, правда, умалчивая, что в качестве заключенного. Ему предложили работать поваром вместо Шапара, так как того перевели на огородные работы. И Торду жил себе поживал в деревне, в доме губернатора на противоположной стороне реки.

В конторе губернатора стоял сейф, где хранились все деньги. В один прекрасный день Торду забрал семьдесят тысяч боливаров, что в те времена равнялось двадцати тысячам долларов, и скрылся. В нашем саду начался жуткий шмон — губернатор со свояком, охранники и офицеры рыскали в поисках денег. Губернатор хотел отправить нас обратно в лагерь. Офицеры противились, они отстаивали, конечно, не нас, а поставку свежих овощей к своему столу. Наконец им удалось убедить губернатора, что мы ничего не знаем о краже, что если б знали, то бежали бы вместе с Торду и что наша цель — освободиться и осесть в Венесуэле, а вовсе не в Британской Гвиане, куда наверняка направился этот негодяй.

Торду нашли мертвым в лесу, километрах в семидесяти, недалеко от границы с Британской Гвианой. Выдали труп кружившие над ним грифы. Первая версия: его убили индейцы. Гораздо позднее в Сьюдад-Боливаре был арестован человек, обменивавший новенькие купюры достоинством в пятьсот боливаров каждая. У банка, отославшего губернатору в Эль-Дорадо эти деньги, сохранились номера купюр — они оказались тождественными с украденными деньгами. Мужчина сознался и выдал двоих своих сообщников, которых так и не нашли. Такова вкратце история жизни и смерти моего доброго друга Гастона Дюрантона по прозвищу Торду.

Некоторые офицеры тайком посылали заключенных на поиски алмазов и золота в реке Карони. Иногда сокровища находили, в небольших, впрочем, количествах, но достаточных для того, чтобы распалить аппетиты. Прямо напротив моего огорода весь день напролет трудились двое. У них был лоток в виде перевернутой ковбойской шляпы, они наполняли его песком и промывали — алмазы, более тяжелые оседали на дно. Вскоре одного из них убили — оказывается, он утаил часть добычи от босса. Скандал положил конец нелегальному бизнесу.

В лагере сидел один человек, чье тело было сплошь покрыто татуировкой. Надпись на шее гласила: «Эй, ты, хрен тебе!» Правая рука его была парализована. Рот кривился, иногда из него выпадал язык — очевидно, несчастный перенес удар. Где, когда?.. Никто не знал. Одно было точно известно — он бежал из французского штрафного батальона в Африке. На груди у него было вытатуировано его название. Охранники и заключенные называли его Пиколино.

Обращались с ним хорошо, кормили по три раза на дню и снабжали сигаретами. Голубые глаза его так и светились живостью и умом и редко бывали грустными. Когда он смотрел на кого-нибудь, они так и сияли от удовольствия. Он понимал каждое слово, но сам не мог ни говорить, ни писать — парализованная правая рука не могла удерживать ручку, а на левой не хватало трех пальцев. Каждый день этот калека выстаивал часами у проволоки, поджидая, когда я пройду мимо со своим товаром для офицеров. И вот каждое утро я останавливался поболтать с Пиколино. Он смотрел на меня сияющими голубыми глазами, преисполненными жизни в отличие от почти мертвого тела. Я рассказывал ему разные истории из своей жизни, а он, кивая и моргая, давал знать, что понимает меня. Я всегда приносил ему какое-нибудь лакомство — салат из помидоров и огурцов, сдобренный винным уксусом, маленькую дыньку или рыбу, поджаренную на углях. Голодным он не был, так как в лагере кормили хорошо, но гостинцы помогали разнообразить рацион. И еще я всегда добавлял несколько сигарет. Встречи с Пиколино настолько вошли у меня в привычку, что охранники и заключенные стали называть его Пиколино — сын Папийона.

СВОБОДА

Венесуэльцы оказались таким приятным, добрым и славным народом, что произошло неожиданное: я решил довериться им. Я не буду бежать. Я смирюсь со своей долей несправедливо лишеной свободы в надежде, что однажды смогу стать полноправным членом их общества. Это может показаться абсурдным, ведь жестокость обращения с заключенными может, казалось бы, отвратить любого от желания жить среди этих людей. Но постепенно я понял, и заключенные, и солдаты смотрят на телесные наказания как на нечто вполне естественное. Если солдат бывал в чем-то виновен, его тоже били. А через несколько дней он как ни в чем не бывало болтал с капралом или сержантом, лупившим его. Диктатор Гомес воспитывал их в этом духе в течение многих лет. Именно от него унаследовали они эту варварскую систему. Это настолько вошло в привычку, что и гражданские начальники часто наказывали своих подчиненных плетью.

Свобода была близка: дело в том, что произошла революция. Президент республики генерал Ангарита Медина был свергнут в результате полувоенного переворота. Он являлся одним из известнейших либералов в истории Венесуэлы и оказался настолько мягок и демократичен, что не решился ему противостоять. Говорят, он наотрез отказался от братоубийственной войны, которая наверняка развернулась бы, посмей он отстаивать свое кресло. Этот великий демократ наверняка не ведал, что творится в Эль-Дорадо,

Как бы там ни было, а месяц спустя после революции весь офицерский состав в лагере сменили. Власти начали расследование обстоятельств смерти колумбийца. Губернатор бежал, его сменил адвокат, находящийся одновременно на дипломатической службе.

— Да, Папийон, я собираюсь освободить тебя. Но хотелось бы, чтоб ты забрал с собой беднягу Пиколино. Я знаю, вы с ним подружились. Документов у него не было, но я выпишу. Что же касается тебя, то вот седула, удостоверение личности. Оно на твое настоящее имя и оформлено честь честью. Условие одно: в течение года ты будешь жить в какой-нибудь маленькой деревне, а потом сможешь получить разрешение поселиться в большом городе. Нечто вроде испытательного срока. Если местные власти дадут по истечении его справку, удостоверяющую хорошее поведение, а я уверен, так оно и будет, то ты будешь полностью свободен и волен сам выбирать себе место жительства. Я думаю, Каракас — это как раз то, что надо. В любом случае ты имеешь право легально жить в стране, и твое прошлое уже не имеет значения. Теперь все зависит от тебя — ты должен доказать, что достоин стать уважаемым членом общества. И да поможет тебе Бог! Спасибо, что готов взять на себя заботу о бедняге Пиколино. Я могу выпустить его только под чью-нибудь опеку. А там, глядишь, в больнице его подлечат.

Итак, завтра в семь утра я выхожу на свободу. Сердце мое пело от радости. Наконец-то я сошел с дороги, ведущей в преисподнюю. Я ждал этого тринадцать лет. Было 18 октября 1945 года.

Я пошел в сад. Извинился перед друзьями и сказал, что мне надо побыть одному. Слишком уж переполняли меня чувства.

Я стал любоваться удостоверением личности, что дал мне губернатор. В левом углу моя фотография, вверху номер: 1728629. В середине фамилия, под ней имя. На обратной стороне дата и год рождения 16 ноября 1906 года. Удостоверение было в полном порядке, на нем стояли печать и подпись директора департамента удостоверений. Статус в Венесуэле: постоянно проживающий. Какое волшебное слово! Оно означает, что отныне Венесуэла — мой дом. Сердце мое бешено билось. Я упал на колени и возблагодарил Господа Бога. Завтра я буду свободен, совершенно свободен! А через пять лет стану натурализованным венесуэльцем. Потому что уверен — не совершу на этой земле, давшей мне пристанище, ни одного дурного поступка. Я буду вдвое порядочнее и честнее любого гражданина этой страны.

Я вышел из хижины и прошелся по саду. Того закручивал усики бобов вокруг стеблей, чтоб крепче держались. Все трое были там — Тото, оптимист-парижанин с задворок Рю де Лапп; Антарталя, корсиканец, карманный воришка, в течение нескольких лет облегчавший содержимое кошельков парижан; и Депланк из Дижона, убивший некогда своего приятеля-сутенера. Они смотрели на меня, и по их лицам было видно, как счастливы они, что я выхожу на свободу. Ничего, скоро настанет и их черед, я уверен.

— А ты не догадался захватить из деревни бутылочку вина или рома отметить освобождение?

— Вы уж простите меня. Настолько ошалел, что не подумал. Мне, право, очень стыдно.

— Ладно, чего там. Сварим кофе.

— Брат, ты счастлив, наконец ты свободен после всех этих долгих лет борьбы. И мы рады за тебя.

— Ваша очередь тоже скоро наступит.

— Ясное дело, — кивнул Тото. — Капитан обещал, что будет выпускать нас по одному, раз в две недели. А чем ты собираешься заняться на свободе?

— Чем заняться? Ну, тут все просто. Найду работу и буду честно трудиться. Стыдно вставать на преступный путь в стране, которая тебе доверяет.

Однако вместо ожидаемых мной иронических смешков и улыбок я услышал от всех троих примерно следующее:

— И я тоже решил исправиться. Ты верно говоришь, Папийон, это хоть и трудно, да надо сделать. Венесуэльцы не заслужили, чтоб мы платили им черной неблагодарностью.

Я не мог поверить своим ушам. Тото, этот парень из трущоб, и произносил такие речи! Поразительно, что всю жизнь очищавший карманы Антарталя реагирует таким образом. Или чтоб Депланк, профессионал-мошенник и альфонс, не мечтал найти женщину, которую можно выгонять на панель и вытягивать из нее деньги? Удивительно! И все мы дружно расхохотались.

Мой ученик, ставший потом полковником, подарил мне замечательный костюм цвета морской волны. Месяц назад он уехал в школу офицеров, успешно сдав экзамены. Я радовался, что

немного поспособствовал этому успеху. Перед отъездом он подарил мне, помимо костюма, еще кое-что из одежды, все вещи были новые и прекрасно мне подошли. Я выхожу из тюрьмы прилично одетым благодаря Франсиско Баланьо, капралу национальной гвардии, женатому человеку и отцу семейства. Выхожу в прекрасном настроении и твердо настроенный начать новую жизнь. Но вот проблема — у меня нет никакой специальности. Придется, видимо, взяться за любую работу, которая даст возможность просуществовать. Это будет непросто, но другого выхода нет. В конце концов мне всего тридцать восемь, я молод и абсолютно здоров. Ни разу в жизни ничем серьезным не болел. Умственные способности тоже вроде бы в порядке. Так что путь в преисподнюю не разрушил меня, и в глубине души я был уверен, что причина тому одна: я никогда не принадлежал по-настоящему этому миру, миру несвободы.

В первые же недели надо не только отыскать способ как-то заработать на жизнь, но и позаботиться о бедняге Пиколино. Ведь и его содержать придется. Ноша, конечно, нелегкая, но я сдержу обещание, данное губернатору, и не оставлю несчастного, пока не удастся пристроить его на лечение, причем не куда попало, а в заведение, где работают врачи, по-настоящему знающие свое дело.

Стоит ли сообщать отцу, что я теперь на свободе? Ведь он в течение многих лет не имел от меня никаких вестей. И где он теперь? Да я и сам давным-давно не имел от него известий, знал только, что всякий раз после моего очередного побега его посещали жандармы. Нет, не следует торопиться. Я не вправе беречь рану, которая, возможно, уже затянулась по прошествии стольких лет. Напишу, когда по-настоящему стану на ноги, когда смогу сказать ему. «Дорогой отец, твой маленький мальчик свободен и стал честным человеком — он исправился. Живет там-то и там-то, положение занимает такое-то. Ты уже можешь не опускать головы всякий раз при упоминании его имени. Поэтому я и пишу тебе это письмо и хочу сказать, что всегда любил тебя и буду любить до конца своих дней».

Но куда все-таки конкретно я пойду? Осяду, пожалуй, в деревне под названием Эль-Калья, что возле золотых приисков. Там можно прожить испытательный срок. А что я буду там делать? Бог его знает... Но прыгнул в воду — плыви! Если придется просто копать землю, чтоб заработать на кусок хлеба, буду копать. Конечно, трудно придется. Ведь за все эти тринадцать лет, если не считать нескольких месяцев в Джорджтауне, мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы заработать на хлеб насущный. Ну а разве в Джорджтауне я бедствовал? Вовсе нет. Так что приключения продолжаются, и от меня теперь, как и прежде, зависит все. Больше надеяться не на кого. Итак, решено. Завтра с утра — в Эль-Калья!

Семь утра. Яркое тропическое солнце, безоблачное синее небо, всюду заливаются птички, мои друзья уже собрались у ворот. Пиколино, чисто выбритый и аккуратно одетый, тоже там. Рядом офицер — он собирается проводить нас на ту сторону.

— Ну, обнимемся, — воскликнул Тото, — и вперед!

— Прощайте, братья! Будете недалеко от Эль-Калья, заходите проведать. А если я к тому времени обзаведусь домом — он всегда ваш!

— До встречи, Папи, счастливо!

Пиколино ходил прекрасно, лишь верхняя левая часть тела была у него парализована, а ноги в полном порядке, и мы быстро дошли до пристани и сели в лодку. Через четверть часа мы уже высаживались на противоположном берегу

— Вот документы Пиколино! Удачи вам! Отныне вы оба свободны. Прощайте!

Как легко падают цепи, которые ты носил тринадцать лет! «Отныне вы свободны». И они поворачиваются к тебе спиной и больше не смотрят, куда ты там пошел. И все. Через несколько минут мы уже карабкались по каменистой тропе в гору. Багаж нас не обременял — всего лишь маленький узелок с тремя рубашками и двумя запасными парами брюк. На мне были костюм цвета морской волны, белая рубашка и галстук в тон костюму.

Как вы понимаете, начать новую жизнь — это вам не пуговицу пришить. И хотя теперь, двадцать пять лет спустя, я — солидный женатый человек, отец дочери, живу счастливо и в достатке в Каракасе, достигнуть этого было непросто. Были новые приключения и события, победы и провалы, радость и печаль, но все это были приключения совсем другого, свободного человека и честного гражданина. Возможно, когда-нибудь я поведаю вам о них и о многих других замечательных событиях и судьбах, для которых у меня не нашлось места в этой книге.

mir-knigi.org